

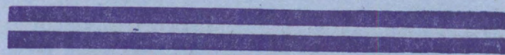
НОВОБЫИ МИР

|| 88 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1979 ||

8



1979



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА — Алексей Смирнов, Владимир Вишневский, Аркадий Петров, Елена Алексеева, Мария Арбатова, Евг. Блажеевский, Зоя Велихова, Юрий Трифонов, Тамара Гарина, Наталья Грачева, Л. Григорьева, Лорина Дымова, Марина Лесовая, Виктор Гофман, Г. Кружков, Е. Муравина, Наталия Слатина, Н. Стрижевская, Олег Хлебников, Ольга Чугай, Ободляв Шамхалов (перевели с аварского Юрий Кушак, Яков Серпин), Виктор Широков, Лев Котюков, Изумруд Кулиева, Александр Щуплов	3
РУСТАМ ВАЛЕЕВ — Земля городов, роман	18
СТИХИ ПОЭТОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ — Вилем Завада, Донат Шайнер, Карел Боушек, Мирослав Флорян, Олдрих Рафай, Войтех Мигалж. Перевели с чешского Игорь Инов, Вера Игельницкая, Виктор Боков, Ю. Шкарина, М. Михайлов и со словацкого Е. Аронович	158
ЙОЗЕФ КАДЛЕЦ — Виола. История, почти забытая. Перевела с чешского Т. Миронова	164
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Тридцать минут у Ленина	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ТУРБИН — Связь времен. Серия «Литературные памятники». Заметки	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	262
Марк Соболев. Последняя книга Сергея Орлова.— Л. Лазарев. «А мы с тобой, брат, из пехоты...» — В. Пискунов. Достоинство критики.— М. Шнейдер. Китай: классика и современность.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	275
В. Карлушиц, Я. Поварков. Обреченный мир.— Лев Глязбург. В предрасветный час.— В. Пашуто. У истоков древнерусского права.	
КОРОТКО О КНИГАХ: А. Алексеев.— Сергей Марков. Летопись. ✦ Г. Койранская.— Вал. Савицкий. Солнечный зайчик на старой стене. ✦ Григорий Поженян.— Виктор Федотов. Миг. Книга стихов. ✦ Григорий Левин.— Лев Квитко. Избранное. Стихи. Жизнь и творчество Льва Квитко. ✦ И. Дубашинский.— Д. Урнов, М. Урнов. Литература и движение времени. ✦ Анна Илупина.— Феликс Розинер. Токката жизни.	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА



АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

Гул прибоя

Моря не видно. Поселок уснул.
Ночь его оберегает.
Только прибоя встревоженный гул
издалека набегает.
Здесь, где на землю сошли небеса,
берег волною расхлестан,
выброшен был черноморский десант
на пулеметные гнезда.
Всем, кто погиб под волнами в бою,
черные демоны моря —
слышите? — вечную славу поют,
ставшую гулом прибоя.

Вечер

Вечером дети с реки возвращаются.
Встречные ласточки пробуют петь.
Велосипедные спицы вращаются,
как паутины упругая сеть.
А на верандах волнение особое
возле нарядных субботних столов.
Тихо душистое солнце сосновое
мимо плывет между красных стволов.
Летней аллее конца не намечено.
Все это только еще началось.
Первый дымок долгожданного вечера,
шелест колес и бесшумная ось.
Где-то танцуют, никто не прощается.
Вальс со второго звучит этажа.
Велосипедные спицы вращаются,
стебель вплетенной ромашки кружа.

* * *

Трепал траву, пускался в пляс,
бодал свой колышек козленок.
Внимательно бесшумный барс
спускался ощупью по склону.
Ему в пятую, скользя вослед,
гюрза нацеливала жало,

и осторожный змеед
 за ней следил из краснотала.
 Где гор крошатся этажи,
 за смертью смерть идет по кругу...
 И в то же время это — жизнь,
 в которой все нужны друг другу.

ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ

* * *

...Кажется, не гул аэродрома,
 Не моторов сумрачная мощь —
 Это первым, юным, ломким громом
 Полнится округа день и ночь!
 Вновь для нас военно и воздушно
 Длится время, на лету звеня,
 И не первый день весна и служба
 На повестке солнечного дня.
 Нелегка весна у службы срочной,
 Но зато легко душой взростеть.
 Эти чрезвычайные денечки
 Надо не прожить — преодолеть!..

АРКАДИЙ ПЕТРОВ

* * *

Сквозь строй реклам Аэрофлота
 Усталый я иду домой.
 Нет, не романтика, работа —
 Летать над нашей землей.
 Работа, все-таки работа
 Возить и грузы и людей
 И повседневная забота
 О хлебе для семьи моей.
 Но, видно, не забыть пилоту
 Им завоеванных высот,
 И снова тянет к самолету,
 И снова хочется в полет.
 Сильней земного притяженья,
 Сильнее всех возвратных сил
 Мгновенья взлета и паренья
 И чувство обретенных крыл.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА

Весенняя метель

Мне утром пела маленькая птица,
 Что снег уходит, что идет весна,
 Что в тучах скрыты золотые спицы
 И скоро воздух легкий закружится...

Кружится белая воздушная стена.
Из тьмы наружу рвется белый ветер,
Крылатых мыслей блещет быстрый рой.
Цветы и листья вскрылись под корой...
А утром снова маленькая птица
Поет свое: «Скорей, скорей, скорей!»
Сверкает золотая колесница,
Небесный путь просторен, чист и светел.

МАРИЯ АРБАТОВА

Грузинский мотив

Как здесь живут и любят, я не знаю,
Но знаю, что, когда приходит ночь,
Течет вода торжественно, как знамя,
И в бочках пляшет красное вино.
В обуглившемся небе тесно звездам,
И сладок от плодов поспевший воздух,
И по земле с садами на плечах
Блуждают сны, как женщины в плащах.
И как утес стоит над садом дом,
Он в хороводе тоненькой ограды,
И розовые капли винограда
Висят остановившимся дождем.

ЕВГ. БЛАЖЕВСКИЙ

* * *

Ночью сентябрьской птицы кричали,
Над виноградниками шурша.
Чувству свободы и чувству печали
В эти минуты училась душа.
Музыка шла неизвестно откуда
Или сочилась, а может, текла...
Пение неотлично от гуда,
Теплая ночь — от большого крыла.
Все начиналось, деревья шумели,
Долго и трудно листвою шевеля,
Словно усталые лошади ели
И неохотно сползала шлея.
Все начиналось, и тени парили
От керосинки — и под потолок,
Словно худые и черные крылья,
Руки воздев, по стене поволокло.
Музыка шла из ночного предела,
Мучила, жалостью сердце скребла.
От одиночества ежилось тело,
Но облегчением книга была.
«Детство» Толстого... Наставник хлопнушку
Взял, обходя близоруко кровать...
Мать на дежурстве, и можно в подушку
Плакать и мамин халат целовать...

Весна

На город снизошла весна,
 Подобная, пожалуй, чуду.
 И серой скукой ремесла
 Я занимать себя не буду.
 Сухому вороху бумаг
 И виршам из поэмы новой
 Я предпочел широкий шаг
 По жиже скользкой и вишневой.
 Я предпочел, хмельной слегка,
 Дойти с приятелем до Трубной
 И выпить пиво у ларька
 Из кружки, по-мужицки крупной.
 Я предпочел узреть мельком
 У девушки, сидящей в сквере,
 Полоску тела меж чулком
 И юбкою, как свет под дверью.
 Я предпочел увидеть лед,
 Который бьют кайлом с размаха.
 Я чую запах талых вод,
 Как раненую дичь — собака...

ЗОЯ ВЕЛИХОВА

* * *

Где волн веселых шумное безбрежье,
 Надеждой пахнут ранние цветы.
 Там ветер влажный веет с побережья,
 Там поселились навсегда мечты.
 Нашли покой в краю морском зеленом
 И раны залечили как могли.
 Не помнят, не грустят об отдаленном,
 Глухом пространстве северной земли.
 Привольно им — не знают мук бесплодных.
 Беспечны, у кого над головой
 Нет облаков лохматых и холодных,
 А только яркий купол голубой.
 И здесь без них куда спокойней стадо.
 И трезвости шершавая рука
 Уже ладонь худую цепко сжала.
 И — вздрагивает вена у виска.
 Но временами, пенно-огневая,
 Неукротима и над всем вольна,
 Посланицей того морского края
 Идет ко мне прозрачная волна!

ЮРИЙ ТРИФОНОВ**Звукоархивист***Льву Шилову.*

Я из детства вышел, как из леса,
 Как идет не ради интереса

Из-под снега первая трава.
 Пробую, как яблоко, слова.
 Я беру ничейные подарки
 В облаке, и в травах, и в росе,
 Пробую распахнутые арки
 Разместить на лесополосе.
 Я в лучеобразную столицу
 Кольцевые годы занесу —
 Соснами над городом кружится
 Время, застывая на весу.
 Я сквозь это время слышу голос,
 Зазвучавший вновь из-под иглы,—
 Уличное шествие глаголов,
 Столкновений вяжутся узлы.
 Речь моя в сохранности пребудет,
 Голоса поэтов не умрут,
 В круговом терпенье выдох труден,
 Но я принимаю этот труд.
 Звукоряда вызубрить науку —
 На бумаге слог глухонемой —
 Я пришел из леса, чтобы в звуки
 Обратить умение свое.
 Чтобы зазвучали, как бывало,
 В столбики вошедшие слова,
 Чтоб они отныне не теряли
 На произнесение права.

ТАМАРА ГАРИНА

* * *

Вокруг ствола рассыпаны плоды.
 Могу сравнить с далекою галактикой.
 А этот едкий, горьковатый дым
 С туманностью небесною над Арктикой.
 Щекой румяной яблоко прижалось
 К сырой земле, чтоб потихоньку сгнить.
 К чему ж моя возвышенная жалость
 И образов космическая нить?
 Стихи слагаю! Бабушка в саду,
 Как вечный спутник маленьких планет
 (В них зреет семя будущих галактик),
 Выбрасывает в вечность лебеду.
 Пока не поздно, я к тебе иду,
 Чтоб в этом мире было звездно!

Полтава.

НАТАЛЬЯ ГРАЧЕВА

* * *

А я больна нечаянным движеньем,
 Я так резка и так неосторожна,
 Так гладь воды внезапно и тревожно
 Вдруг оживает от прикосновенья.

И тороплюсь, и не могу остаться,
 И оттого, должно быть, устаю,
 И все боюсь, что на твоём краю,
 Наверно, не сумею удержаться.

* * *

Срезает острым краем
 Кленовый лист
 Зазубренное небо,
 Упавшее так низко,
 Что даже ветру тяжело
 Его ворочать,
 Как пьяному язык
 В распухшей глотке...

Л. ГРИГОРЬЕВА

Разлука

К утру, когда метели затихали,
 ты мне сказал: не говори стихами.
 И я уже давно не говорю.
 По белому большому январю
 уйду одна. И в зимнем полумраке
 подумаю, когда прикрою дверь:
 из пустоты твоей, как из атаки,
 не выйти без ранений и потерь.

ЛОРИНА ДЫМОВА

Я связана с тобой...

Я связана с тобой
 невидимым теченьем,
 тоской и немотой
 подспудных вечных вод.
 Я связана с тобой
 таинственным свеченьем
 души, когда она
 вот-вот слова найдет.
 И боль, и тишина,
 и нежность — все проходит.
 И звезды, что весной
 куда как хороши!
 Но остается свет...
 Во мне он тихо бродит
 и все тебя зовет —
 на самом дне души...

МАРИНА ЛЕСОВАЯ**У обелиска**

Тишина, успокойся, стань тише.
Дай мне вслушаться в голос огня.
Пламя движется, пламя дышит!
Люди смотрят, думы храня.
Кто о ком... Кто о ком, кто о ком...
Все — о мертвых и о живых.
Опускается рядом с венком
Горсть цветов полевых.
Тишине нашу совесть жечь.
Неспокоен погибших сон:
Против войн голосами жертв
Голосует вечный огонь!

Такая праздничность кругом!
Забыты будней кривотолки.
И солнце в комнате — как елка,
Весною послано в мой дом.
Веселый звонкий детский крик
В мое окно влетает птицей.
Ловлю: на руку опустился
И смолк, растаял в тот же миг.

Киев.

ВИКТОР ГОФМАН

Люблю березовую рощу,
когда сухой октябрь сквозит
и лист летит как бы на ощупь,
но плавно в воздухе скользит
и словно росчерк предо мною
выписывает, еле зрим,
и притяженье неземное
так ласково владеет им.

Г. КРУЖКОВ

Как много времени на одеванье
И умыванье — черт его дер! —
Когда мечты стремительные зданья
То зиждятся, то рушатся внутри.
И если ты как раз один в квартире
И нету рядом будничных остуд,
То кажется, что люди в целом мире,
Как дети, твоего подарка ждут.

Е. МУРАВИНА**Апрельский сонет**

Как трудно, милый, мы живем
 в апреле семьдесят восьмого,
 как ищем дружно и толково,
 зачем нельзя нам быть вдвоем.
 Как мы несемся напролом
 и впопыхах теряем слово,
 как беспощадно и сурово
 свой сук кромсаем топором.
 Мой милый! Как-нибудь потом,
 когда мы нашу жизнь сочтем,
 переживем все это снова:
 в апреле семьдесят восьмого
 нелепо, трудно, бестолково
 живем — но все еще вдвоем.

НАТАЛИЯ СЛАТИНА**Музыка**

Ах, как поют на Вологодчине!
 Беседы плавные ведут —
 Такое выведут узорочье,
 Такое кружево сплетут!
 Что неудачное замужество!
 Ушел — задвинула засов.
 А голова все так же кружится
 Под переливы голосов.
 Давно забыто нехорошее,
 Иное помнится — как тут
 Свекровь с соседкою непрошеной
 Дуэтом новости поют
 Да издали, длинноголосые,
 Ведут мелодию мостки,
 И музыка звучит над соснами,
 Над молчаливостью реки.
 Река белесым паром застлана,
 Что с ночи выбелил причал,
 Спросонья рыбиной глазастою
 Прислушивается к речам...

Н. СТРИЖЕВСКАЯ**Волхонка**

Легкие листья насыплет на плиты,
 Елей ясней похоронная хвоя,
 И синева туго выгнется парус
 Между колонн над музея античным порталом.
 Вслед за тобой повторю: мы вернемся другими,

Плоских героев разглядывать будем на вазах,
 Рук не разняв. И опять паутину
 Парки сплетут на горячей чугунной ограде.
 Но повторю: мы другими должны быть, другими;
 Легкой листвою засыпает крутые ступени,
 Да и Геракл не воротится к отчему дому,
 В знании мертвом растратив наивную силу.
 Синью тугой мы подхвачены, облачком белым,
 Вихрем шуршащим, кольцом горьковатого дыма,
 Глаз не таим, только головы клоним печально,
 Паркины нити стремясь не задеть ненароком.
 Вихрю твердим: то, что прожито дважды, то вечно, —
 Похорони же под легкой летящей листвою.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

* * *

Я ненадолго расстанусь
 с моей любимой. Это значит:
 она совсем напрасно плачет —
 как прежде, крепок наш союз.
 Я ненадолго — десять дней.
 Она рукою машет долго.
 Так долго, что не чувство долга
 перед разлукой бьется в ней.
 Нам жить — как всем. И всех разлук
 десятка три или четыре
 дано и нам, как всем вокруг,
 на жизнь. Как на пристрелку в тире.
 И потому что было сил
 смотрю ей вслед не отрываясь,
 туда, где жест ее застыл,
 где взгляд ее... И отвлекаюсь
 на пустяки. На этот мир.

ОЛЬГА ЧУГАЙ

* * *

Вдохновение легче дыхания:
 Взмах невидимого крыла,
 Листьев тополя трепыхание,
 Кроны тихое колыхание,
 Блеск и трепет и тени мгла.
 Вдохновение — суть дыхания,
 Изумленно открытый рот —
 Все, что маялось без названия,
 Вдруг по имени назовет.
 Вдохновение... Вдох!.. И сгнуло
 Вместе с тополем и листом,
 Словно с облака наземь скинуло —
 Так и вышла с открытым ртом!

* * *

Созреет юное вино
 Во мгле сосудов тонкостенных —
 Так в превращеньях постепенных
 Свершиться осени дано:
 Она оставит колосок
 У края скошенного поля,
 Вернет синичий голосок
 И звон заречных колоколен
 Вплетет в открытое окно.
 В небесном пламени дано
 Заполыхать листом кленовым
 И вдруг очнуться в мире новом,
 Где жить бессмертно суждено.

ОБОДИЯВ ШАМХАЛОВ

С аварского

Откровение

И козни подлецов и горе — все бывало.
 От ярости дрожа, терпел я злой навет.
 И вновь из-под камней, из-под снегов обвала,
 Ломая ногти в кровь, я вылезал на свет.
 Но горше во сто крат души моей сомненья:
 И тьмы не одолеть и плакать я готов
 В тот час, когда меня покинет вдохновенье,
 Как жажду без питья, — оставит без стихов.

Прекрасная земля, во мне твои печали,
 Как страшный срез пластов душа обнажена.
 И песнь моя звучит, мне душу облекая
 Надеждой, что она кому-нибудь нужна.
 Так, видно, от себя мне никуда не деться,
 И что бы ни стряслось во времени лихом,
 Не знающее зла, да не устанет сердце
 Все словом отмечать и отмерять стихом.

Божественная власть мучительного слова!
 Не вы меня спасли, усталые врачи,
 А слово, что к утру проснулось снова,
 Стекая по щекам, как слезы со свечи.
 Не волею судьбы вернувшийся на землю,
 С невысказанной тоской гляжу на небеса.
 Как сладко повторять: «Все вижу, все принимаю!» —
 И в слово собирать земные голоса.

Перевел ЮРИЙ КУШАК.

* * *

О вечность, ты — как бездна, где, вскипая,
 Клубится мгла и дымкой путь повит.
 Пусть жизнь моя, как свечка восковая,
 Хоть краешек той бездны озарит.

Хватало жизни грусти и сомненья,
 И боль касалась струн ее не раз,
 Но светом истинного вдохновенья
 Она не зря в глазах моих зажглась.
 Вольна порваться на ветру весеннем
 Тугая нить сегодняшнего дня —
 Меж вечностью и яростным мгновеньем
 Нет разницы особой для меня.
 Пусть смертен я —
 Бессмертна синь Тобота,
 Тропа крутая, звездный небосвод,
 Хоть и не я по той тропе, а кто-то
 Взамен меня над бездною пройдет.

Перевел ЯКОВ СЕРПИН.

ВИКТОР ШИРОКОВ

Пыльная баллада

Молчу. Один.
 Перед листом бумаги
 как будто перед совестью своей
 ответ держу. И не меняю флаги,
 и белый не взовьется, хоть убей!
 Не сдамся ни тоске, ни скуке, ни позору
 быть притчей во языцех земляков...
 Я из родной избы повымел столько сору,
 что пыль набилась
 в легкие стихов.
 Я так восторженно орал мальчишкой песни,
 бездумно гирями бумажными играл,
 звал стихопад, потом стихообвал
 чуть не прибил, и тем исход чудесней.
 Мне — тридцать. Волос хоть и поредел,
 но нет тонзуры... Голос мой не жидок...
 И столько впереди серьезных дел
 и столько нераздаренных улыбок!
 Мне тесен ворот истин прописных
 и ногу жмет башмак знакомых улиц,
 и я спешу на поиски весны,
 я не хочу, чтоб мы с ней разминулись.
 Любое б оскудело государство
 без золотого таинства любви,
 и если на бегу ты обознался,
 одну весну на выручку зови.
 Пыль на зубах скрипит, и скряга случай
 боится медный фартинг золотить,
 и ветреная туча
 рвет солнца нераскрученную нить.
 В глазах темнеет. Липовую оголь,
 весна, зеленой влагою насыть!
 Русь-тройка, как тебе молился Гоголь!
 Нельзя,
 родившись здесь,
 отчизну разлюбить.
 Мой город, сохрани мой легкий след

не мраморной доской — вниманием к литсмене,
 дай побарахтаться в газетной пене —
 и раз в десяток лет здесь вырастет поэт...
 Привет, привет! Отхаркивая пыль,
 сбегаю к Каме по натруженным ступеням.
 Как хорошо, что я не стал степенным
 и, как река, не утихает пыл!..
 Катись, река! Далёко-далеко...
 Впадай, как в сердце, в яростное море;
 и мне б хотелось песенной строкой
 до сердца дотянуться вскоре.
 Мне — тридцать лет. Растет моя семья.
 Еще не написал я главную из книжек,
 не побывал в Нью-Йорке и в Париже,
 но позади студенчества скамья.
 Моя страна, шестая часть Земли, —
 я не боюсь в признание повториться —
 ты голосу провинции внемли,
 провидцы происходят из провинций.
 Коров рязанских льется молоко,
 и пермские работают заводы,
 моя любовь лишь часть твоей заботы,
 твоей реке струиться далеко.
 И если я песчинкою мелькну
 во временном круговороте,
 спасибо материнскому окну,
 где первый луч согрел и озаботил.
 Спасибо первым ласкам, синякам,
 спасибо нескончаемым ушибам,
 врагам спасибо, а моим друзьям
 воистину несчетное спасибо!

ЛЕВ КОТЮКОВ

Ночная весна

Над Россией всю ночь непогода,
 Запоздалые ветры весны
 Обрели наконец-то свободу
 На просторах родной стороны.
 Оказались пустыми прогнозы
 О поре холодов затяжных...
 И, кренясь, выгребают березы
 На вершины валов ветровых.
 Свежей бури подъемная сила
 Овладела пространством ночным,
 Непогода в пределах России,
 Непогода над домом родным.
 Над равнинной моей полосой,
 Словно знаменье общей судьбы,
 Есть примета — под бурей весною
 Распускаются ночью дубы.
 И тревожно душе и беспечно —
 Над Россией ночная весна,
 И, наверное, все-таки вечно

И была и пребудет она.
И душа в огневом мирозданье
Вместе с бурей летит грозовой,
Пережив холода и страданья
С ветровою, весенней волной.
Грянет утро за бурей погожей,
Ночь закончится, делу венец,
Но не будет конца, непохоже...
И не мыслим сегодня конец.
А пока над страной непогода,
Облака грозового огня.
Но до срока скрывает природа
Ясный образ спокойного дня.

ИЗУМРУД КУЛИЕВА

Баку

Не могу без тебя, не могу,
Ты мне снишься ночами, Баку!
Ведь горенье всей жизни моей —
Это жар апшеронских огней.
Не могу без тебя, не могу...
Чем теперь я себе помогу?
Сяду тихо в ночной самолет,
Ту же песню мотор мне споем...
Не могу без тебя, не могу...
Как в Хазара я волны вбегу?
Как я солнцу подставлю плечо,
Чтобы стало плечу горячо?
Не могу без тебя, не могу...
Хоть на миг, но к тебе я сбегу.
Будет нора мне газели читать,
Мои волосы путать опять.
Не могу без тебя, не могу...
Я тебя как мечту берегу...
Где мой дом? Как ты, друг мой, живешь?
Может, тоже тоскуешь и ждешь?..
А у старых парадных ворот
Тот же черный тутовник растет?
И опять повторяю строку:
Не могу без тебя я, Баку!

Труа

Я убегаю от молчания,
Я ускользаю от себя
Так отрешенно и отчаянно,
Как выбегают из огня!
Я убегаю от ненужностей,
От дьявольских ужимок дня,
Правдивой лжи, пустых недужностей,
Густого дыма без огня.

О труд мой, бедственно и гордо
 Лишь одному тебе служу.
 И в трубку телефона твердо
 «Нет, не люблю» сейчас скажу.
 Мне говорят, что время лечит,
 Но годы память не сотрут,
 Надежен лишь, и чист, и вечен
 Товарищ неизменный — труд.

АЛЕКСАНДР ЩУПЛОВ

Лирическое отступление о Марусе

В окне мелькают взмыленные лодки,
 сверкающие в пене, как в снегу.
 Шныряют сквозняки в пустой столовке
 на хмуром и осеннем берегу.
 В прозрачном парке крутят фильм с Карузо.
 Таращатся потемки из углов.
 И ходит одинокая Маруся,
 солонки собирает со столов.
 У ней глаза смешные, золотые.
 И бегают лопатки по спине.
 А зубы, как жемчужины большие,
 смеются человечеству и мне.
 Я ей кажусь бедовым, бестолковым,
 рожденным, чтобы бегать от долгов,
 живущим по неписанным законам
 и достающим деньги с потолков.
 Вода жгутом свернется из колонки.
 В стаканчиках — пучки потухших верб.
 Звенят, звенят Марусины солонки,
 как лилии, подпрыгивают вверх.
 Садится солнце в водяные струи,
 и огненная пыль стоит в лучах.
 И мотыльки сидят, как поцелуи,
 на розовых Марусиных плечах.
 Мерцает фильм за тусклым водоемом,
 текут во тьму любовные слова.
 И пахнет женским, теплым, затаенным,
 как осень пахнет осенью сперва.
 Забыются лодки в темные пролеты.
 За лесопильней фыркнет паровоз.
 Из тучи золотая рожь прольется,
 и молнии пойдут в ночной покос.
 Распахнутые рамы подтекают,
 и мошки залезают в мой кулак.
 И в сумерках горят и потухают
 Марусины солонки на столах.

* * *

Заткнуть магазин за ремень поясной.
 Бежать. Захлебнуться. Очнуться.
 Сквозные березы начнутся весной,
 и новые песни начнутся.
 И дети затеют в потемках игру,

копируя правила смерти.
И с ног инвалидов, припавших к окну,
не снимут сапожники мерки.
Зеленое небо шарахнет грозой.
Расколется озеро блюдцем.
Сквозные березы качнутся весной,
и новые дети начнутся.
Останутся капли дождя на стекле,
деревья, где птицы гнездятся.
Останется все, что должно на земле
проклюнуться, выжить, остаться.

Парус

Он воду разрезал стремглав,
следя с иронией равнодушной,
как рядом катер, обогнав,
зияя воздушною подушкой,
как пароход, дымя трубой,
за горизонт ушел поджарый...
И только в чайке над волной
соперник виделся. пожалуй.
И только в чайке виден был
соперник и собрат по делу:
пускать в глаза вселенной пыль
и заполнять собой пробелы.
Пробелы в судьбах и веках,
вспоминаньях о скитальцах,
пробелы в приторных стихах,
написанных от зуда в пальцах...
Мы бороздим в земных морях,
о волны бытия ошпарясь,
глаза уставим на маяк,
а сердце держит курс на парус.



РУСТАМ ВАЛЕЕВ



ЗЕМЛЯ ГОРОДОВ

Роман

Живу я в городке,
Безвестностью счастливым...
А. С. Пушкин, «Городок».

ПРОЛОГ

С третьего этажа гостиницы в полевой бинокль смотрел я на северо-запад. Взгляд мой проносился над впадинами между пологих крыш, над мерцающей речкой и влажными лужайками — к потемневшим холмам и свежим гребням рыжеватой земли. Крохотные самосвалы, вытянув осунувшиеся капоты, тащили рыжеватую крохотную свою кладь. Трубы эстакад, краны и скреперы мелко, хрупко рисовались на бледно-синем просторе, усиливая во мне чувство воспарения. «Как смелый житель неба, он к солнцу воспарит...»

Когда я вернулся в нашу комнату, маленькой представилась она, и даже тяжеловесный камин с крупными изразцами казался теперь скромным камельком. Четыре допотопных кровати с никелированными шарами на спинках стояли вдоль стены унылым строем. Моя же кровать стояла в алькове, и там же громоздились наши чемоданы. Отсыревшие углы комнаты отдавали дремучей затхлостью и холодом. Ангелы оскорбленно глядели с высоты лепного потолка, жалобно корчились, когда в приоткрытую балконную дверь врвался ветерок, тасуя мягкие тени предвечерья.

Я сел к столу, на котором лежало написанное утром письмо. Думал, отправлю сразу, и не отправил. И уже робел, жалел о чем-то, может быть о том, как бедны слова, когда надо сказать о важном.

Послышалось басовитое мычание коров, донесли запахи чабреца и полыни, молока и коровьих лепешек. Женщины мелодично кликали своих буренок. Я вышел на балкон и увидел стадо, над стадом белую пыль, а в клубах пыли качалось и пыло трубное мычание. Узорное железо балконной ограды казалось вырисованным плавным и затейливым колебанием пыли.

Напротив гостиницы домик аптекаря Бауэра напоминал лубочную картинку. Некогда там жил невзрачный костлявый человек, но тогда он казался мне красивым — с козлиной бородкой, рыжеволосый и необычайно худой, он выглядел изысканным в сравнении с коренастыми грубыми горожанами. Зареванного, измученного зубной болью, вел меня однажды отец в поликлинику. Когда мы проходили мимо этого домика, на парадное крылечко вышел Бауэр, и отец вдруг смешался, дернул меня за руку и проговорил, обращаясь к ап-

текарю: «Вот видите?..» «Вижу, вижу»,— усмехнулся тот. За ним закрывала дверь толстая почтенная женщина, из-за юбок женщины выглядывал мордастый пес-урод, который, впрочем, тоже казался изысканным в сравнении с голенастыми крепкими городскими дворнягами. «Что о нас подумает Иван Станиславич!»— с укором и страданием прошептал отец.

...Навстречу стаду, гудя и фыркая, продвигался «газик». Из него выскочил Салтыков и, похлопывая по коровьим бокам, побежал к подъезду гостиницы. Он поднял весело оскаленное лицо и помахал мне рукой. Я вернулся к столу, чтобы прибрать свои листочки.

Салтыков ворвался, простирая за собой серую болонью, печатая на полу следы пропыленными штиблетами. Его прямые светло-русые волосы, зачесанные со лба, казались сейчас еще светлей, может быть все от той же пыли.

— Мне прислали шесть вместительных палаток,— сказал Салтыков.— В них-то я и размещу свои службы.

— Пестерев мечтал о вагончиках,— сказал я.

— Вагончики только для жилья. В среднем в день мы принимаем семь-восемь человек. Десятки людей квартируют в окрестных деревнях. Кстати, прекрасный выход подсказал нам тогда Халиков. Но осенние дожди размоют дороги, надо переселять людей поближе к стройке.

Я сказал со вздохом:

— Если и ты переберешься в палатку или вагончик, то меня, пожалуй, выживут из алькова.

Он засмеялся. Гостиничным номером я располагал только благодаря ему. Другие корреспонденты, даже столичные, обходились углом в конторках или устраивались на постой к горожанам.

— Ты угадал,— сказал он,— буду переселяться в вагончик. Сегодня на профсоюзной конференции мне задали вопрос: а где вы сами-то живете?

— И только поэтому ты возьмешь и переедешь? Ведь это, извини, глупо.

— Просто я буду поближе к стройке,— сказал Салтыков, нахмурившись и постучав ручкой по стеклу стола.— А тот, кто спрашивал, вероятно, с детьми приехал издалека, очередь в ясли-садики не раньше чем через год, живет в цельнометаллическом вагончике, а человеку надо работать и жить по-людски. Так что ему простительно раздражение.

— Какие еще вопросы задавали?

— Жаловались на заработки. Больше ста тридцати никак не выходит. И это на бетонном!

— Я, например, получаю столько же. Скажешь, и тут правы твои ребята?

— Правы,— просто ответил Салтыков.— При хорошей организации работ они могут получать в два и два с половиной раза больше. И они будут получать!— сказал он как пригрозил.

— Извечные твои заботы.

— Ничуть! Я вот уже четырнадцать лет строю, но я всегда пристраивался рядышком с какой-нибудь домной или мартеном, строил опять же домну или прокатный цех, в соцгороде на долю моих рабочих полагались сотни метров жилья. А тут... впервые на пустом месте.

Последние слова его неприятно кольнули меня.

— Ну, не совсем на пустом. Здесь все-таки город, ему двести с лишним лет.

Он махнул рукой за окно:

— Там почти сто гектаров полевой пустой земли! Это только под наши заводы. А кругом — немереные просторы... — Он возбуждался с каждым мгновением. — Все-таки у человека, у строителя по крайней мере, должна быть в жизни хоть одна такая стройка. Ты говоришь — город. Плоский одноэтажный спящий город, из которого бежит молодежь, тридцать тысяч жителей. А через три, через пять лет здесь будут жить триста тысяч. В многоэтажном городе. Иначе за каким чертом было приезжать сюда! Да вот хотя бы тебе?

— Ты же меня и сманил.

Он только отмахнулся, точно от введливой доуки.

— Я, может, только здесь поверил, что есть на свете романтики, есть нуждающиеся в квартирах, есть люди, любящие литейное производство так же, как, например, ты любишь... Что ты любишь?

— Финскую баню.

— Пусть так, если финская баня добавляет смысла твоему существованию. Так вот, люди едут только для того, чтобы потом, когда мы построим литейный комплекс, работать с новой техникой, экспериментировать. А пока они глотают пыль, задыхаются от зноя, потом будут мокнуть и мерзнуть, вкалывают за милую душу, чтобы только дожить до заводов...

Пришел Пестерев, начальник производственного отдела управления. В целлофановом мешочке принес пиво. Мы разлили пиво по стаканам и жадно выпили. Пестерев закурил.

— Как это кстати — пивзавод в городке. В поселок привезли две цистерны. А верно ли, что спиртным торговать не будут?

— Да, — подтвердил Салтыков, — по крайней мере водкой. В облторге Халиков договаривается насчет сухих вин. Кстати, продуктовый в Литейном действует нормально.

— Теперь люди просят промтоварный.

— Райпотребсоюз обещал посылать автолавку.

Пестерев вздохнул и ничего не ответил.

— Там баню начали было строить, — заговорил он опять, — а сегодня, слышу, детский сад.

— Баня есть в городе, есть на Гончарке, — сказал Салтыков. — А детский сад нужен позарез. Только проследите, чтобы половые доски больше не трогали.

— И на детсад нельзя?

— Нельзя. В Литейном все временное — и сам поселок и детсад тоже. Заказчики против капитальных построек. Надо поскорей решать вопрос, где строить жилой массив для литейщиков — в городе или близ заводов. Это, между прочим, должны были решить еще проектировщики.

— Горисполком за строительство в городе.

— Там придется сносить старье.

Я сказал:

— Иное старье здесь крепче твоих железобетонных строений.

— Угу, — отозвался Салтыков.

Стали возвращаться остальные жильцы: главный бухгалтер, один из будущих директоров литейки, секретарь парткома Ермашов, два начальника СМУ, которых Салтыков давно уж хотел выпроводить из гостиницы: живите на участках, в палатке, где хотите!

Когда собрались все, Салтыков встал и негромко, но непреклонно сказал:

— На днях переселяемся в вагончики. Учтены все выгоды — не будем тратить время и деньги на транспорт. Кто взял мой бинокль? —

сварливо спросил он.— Ты? Так будь добр, возврати на место.— И, быстро переменяв раздраженный тон, шепнул:— Не ужинал? Идем.

Когда мы спустились по лестнице, он подхватил меня под локоть.
— Признайся, надоел я тебе с дурным своим настроением?

Надоел... Он был единственный человек, с которым я чувствовал себя хорошо и просто в эти смутные свои дни.

— Сегодня я написал письмо,— сказал я.— Деле.

— Зови ее сюда,— сказал он тихо.— Зови же, зови!..

В то лето я готов был ехать с Салтыковым хоть к черту на кулички. Но я, пожалуй, и без него бы уехал, не знаю только куда.

А в Маленьком Городе я оказался раньше Салтыкова и узнал о предстоящей стройке еще до того, как он получил туда назначение. В сентябре редактор сказал, посылая меня в городок:

— Там, кажется, что-то собираются строить, что-то, знаете ли, грандиозное.— Он произнес это не без иронии, ибо всегда в его краю строилось что-нибудь грандиозное — то Магнитка, то ЧТЗ, то трубо-прокатный, — а где-то в Маленьком Городе не могло произойти ничего такого, что удивило бы его.— Проектировщики уже там, с ними в Маленький Город поехал главный архитектор области Канбеков. Погляди, послушай — строк сто, не больше.

И я поехал. Признаюсь, без большой охоты. Это был городок, где жили мои деды, мои родители. И хотя я вырос в Челябинске, вся моя жизнь — и в детстве и потом — была связана с городком и его обитателями. Более того, городок жил во мне самом. К нему я относился со стыдом и жалостью.

И на этот раз мне было немного стыдно видеть подобострастие, с каким принимали проектировщиков местные руководители. «Вы не патриоты, а рабы своего города, — думал я, — рабы его привычек и порядков, его захолустного снобизма». Потом все объяснилось очень просто: с появлением заводов город получил бы деньги на капитальное и жилищное строительство, асфальт на улицах, водопроводы в домах, щедрое электроснабжение и прочие удобства городского бытия.

Я точно душой притронулся к бедности этого некогда процветавшего торгового города. Вот река, когда-то глубокая и полноводная, а теперь обмелевшая, мутная, едва пульсирующая на желтых перекатах: рубка водоохранных лесов сурово мстила за себя через десятки лет. В наш-то век городок освещали три старых локомотива, каждый из которых имел своего хозяина: пимокатную фабрику, швейную фабрику, жиркомбинат. Городу не хватало общественного транспорта, водоразборных колонок, детских садов, жилья.

С будущими заводчанами местные руководители торговались за каждый клочок городской земли, но потом с легкостью уступали, лишь бы проектировщики не уехали. Страсти кипели вокруг выбора площадки для заводов будущего литейного комплекса. С юга к городку подступает лес, его нельзя трогать, с востока чаще всего дуют ветры — думы на город пойдут. Проектировщиков привлекала северо-западная окраина, за поселком Гончарка, и городские власти, понятно, не возражали: пусть заводы расположатся там, а поскольку город будет разрастаться, то пусть заводчане строят на юго-востоке — там степь. Но там находились и кладбища, какие бывают только в старых городах, и особенно колоритно татарское — с высокими каменными стенами, со сводчатыми воротами, склепами, с вековыми соснами. Кто-то из проектировщиков спохватился вовремя:

— Постойте, во-первых, мы все-таки предпочли бы строить по-

селок литейщиков близ заводов. А во-вторых, кладбища... это же исторические памятники!

Кончилось тем, что заявочные столбы поставили за поселком Гончарка, на ровной, как стол, степи, распростершейся на десятки гектаров, заводам предстояло занять около ста гектаров. Тут же вскоре наметилась новая ветка железной дороги, по которой должны были доставлять строительные материалы. Не решили пока еще, где строить жилой массив для литейщиков — в городе на месте старых домишек или тоже за Гончаркой; и тот и другой варианты имели свои выгоды и недостатки...

Уезжая из городка, я думать не думал, что через полгода Салтыков и я окажемся здесь.

Сегодня утром, выйдя в умывальню, я столкнулся там с Женей Доброхотовым, корреспондентом АПН.

— Привет,— сказал он и подошел к столику, на котором закипал электрический чайник. Женя налил из чайника в алюминиевый стакан и пошел к зеркалу править усы и бороду. Чайник он купил на днях не чаевничать, а вот так прибежать сюда утром из аптекарского домика, где квартирует, нагреть воды, побриться и умыться.

— В бывшем юзеевском магазине продают термосы,— говорил он, подбывая бороду.— Купи обязательно. И не пей в магазинах сок и воду, если не хочешь склопотать инфекцию. Да разживись целлофановыми кульками. Случается, пиво продают, так ведь не станешь таскать с собой бидон.

Я завидовал его способности с комфортом устроиваться даже в этих условиях.

— Здесь только удобств минимум,— продолжал Женя,— а все остальное в грандиозных размерах. Извини, старик, но пятьсот тысяч тонн литья в год — это впечатляет! Хватит и для собственных нужд и на продажу. Европа, говорят, уже приторговывается и японцы тоже. Но, к сожалению, грандиозны и всякие неурядицы. Ты записываешь каждый день? Иначе все перемешается. У меня три блокнота полны сведениями о городке. Технократы смотрят на меня как на чудака. Подружиться с ними нелегко. Они деликатничают по-медвежьи, обращаются к тебе только на вы, делают вид, что заняты по двадцать часов в сутки, плюют на экзотику.

— Мне тоже кажется странным твое увлечение экзотикой,— сказал я.

— А потому что ты не предполагаешь во мне сострадания. Старый город! На него наступают, его теснят, обижают небрежением, а то и просто готовы снести с лица земли. Всех интересует только литейный.

Умывшись, он предложил мне позавтракать в блинной на зеленом рынке. Ожидая его на улице, я разглядывал гостиницу — «Биржевую гостиницу», как значилось на фронтоне здания, — в стиле венского модерна, с замысловатой лепкой, куполами, изогнутыми балконами. Появился Женя, и мы постояли еще несколько минут, созерцающая и разговаривая.

— Между прочим, балконные ограды тоже литье, и великолепное,— говорил Женя.— На уральских заводах отливали. О литье можно рассказывать так же, как, например, о самоцветах! С тобой живет Кесоян...

— Кесоян?

— Боже мой, сам знаменитый Кесоян, директор будущего завода цветного литья! Теоретик, десятки научных трудов, ну и практик тоже. Здесь же у вас, на Магнитке, начинал свою карьеру.

Стройка на каждом шагу напоминала о себе. На фронтонах каменных зданий атели плакаты, по улице с великаншей осторожностью продвигались панелевозы. Возле райисполкома, где разместился отдел кадров стройки, прохаживалась, сидела на чемоданах, закусывала на ходу пестрая молодежь.

— Такие города возникали как крепости, чтобы обозначить предел независимому кочевью. Укрепленные линии углублялись все дальше в степь, а крепости становились обычными городами. Боев тут не было, так что торговый народец решительно завладел бывшей крепостью. Тропа Меркурия, а не Марса пролегала здесь — древний караванный путь в Центральную Азию и дальше еще, в Небесную империю...

Мы пришли в блинную, взяли блинов и чаю и сели в душном скверике, где за столиками поспешно насыщались приезжие ребята.

— Вот и ты, — продолжал Женя, — даже ты не понимаешь моего интереса к прошлому. Да, я приехал на большую стройку, тоже мечтаю о заводах и новом современном городе. Знаешь, я часто езжу, и почти всегда мне приходится преодолевать неуют этих точно на дрожжах поднявшихся городов. А городок... он ведь не вдруг возник и в облике своем имеет отсвет издалека идущего времени. Не раздражает даже тщеславие купеческих построек, оно растворено в незатейливости одноэтажных улиц. И вот я иду — и мне уютно, как в старом, хорошо обжитом доме, где все мелочи основательны и на вещи приятно смотреть и приятно с ними иметь дело. Дорогой мой, они хранят тепло многих поколений!..

— Это похоже на умиление бабушкиным комодом, — сказал я уязвленно: и о прошлом городка, и о нынешней стройке, и о том же Кесояне он знал больше меня. — Бабушкиным комодом, — повторил я, — или каким-нибудь ампириным особнячком.

— Плевал я на моду! — воскликнул Женя. — Я не о моде... Извини. Сегодняшняя урбанизация хороша бытовыми удобствами. Но удручает стилевое однообразие, нет временной многомерности. Плоскостной стандарт — глазу не на чем остановиться, чтобы сравнить, удивиться, вспомнить.

— Если бы вся твоя жизнь была связана с Маленьким Городом, — сказал я, — ты любил бы его чуть меньше.

— А я люблю, — сказал он, смеясь и как бы дразня. — Вот город, который складывался сам по себе, как-то неумышленно, что ли, в той необязательности, которая в конце концов проявляется как естественность жизни...

— Все дело в том, — сказал я, — все дело, наверное, в том, что городок, его исторические кладбища, где похоронены мои предки, для меня совсем не история...

— Продолжай дальше: здесь все живо, пульсирует, кровит даже. История не кладбище, не прах... — Он засмеялся, собрал тарелки и стаканы и отнес в кафе. — Ну, двинули! То-то и хорошо, — без всякого перехода взялся он за свое, — то-то и хорошо, что у нас неодинаковое отношение к городку. Кому-то надо иметь право и основания для того, чтобы ниспровергать его глухотоманные привычки.

— Я не гожеус в ниспровергатели. Скорей я романтик, и меня привлекают места еще пустынные.

— М-да! Романтики и первопроходцы рвутся в места необжитые. А я убежден: большинство людей всегда тянутся к местам, где уже что-то было. В этом чувстве, милый ты мой, таится огромная созидательная сила. Прошлое таких мест не балласт, а стимул к постоянно-му обновлению.

— Стимул к обновлению? Но таким, как я, вообще жителям городка надо пройти через отрицание.

Женя ухмыльнулся.

— Тут ходит по властям один потешный старик, Якубов, что ли, его фамилия. Так он предлагает собрать на каком-нибудь клочке города старые деревянные дома с утварью, идея в наши дни известная и горячо поддерживаемая. Но весь фокус в его подходе. Он предлагает некие свидетельства мрачного прошлого, некое хмурое назидание потомкам. Даже экспозиция по этнографии татар должна выглядеть чем-то устрашающим или хотя бы смешным. Ну а гордостью должна стать его собственная экспозиция, в которой торжествует технизация городка: он сам когда-то фантазировал с парусными колесницами, делал планеры, был летчиком или планеристом. Словом, все это и должно стать основой музея, то есть музей должен начинаться не с останков мамонта, найденных в ближайшем овраге, а с парусных колесниц Якубова. Тоже любопытно. Правда, все это похоже на памятник себе. Уж если у тебя чешутся руки,— сказал Женя,— вот о чем ты должен писать.

— Я, пожалуй, тоже похож на твоего нового знакомого,— ответил я.— Я не хочу писать о древностях и тем более не смогу, наверно, быть их хранителем. Вот почему я таскаюсь с Салтыковым по каждому метру, открытому скреперами и бульдозерами, и стараюсь написать о новизне. Моей душе, Женя, не хватает новизны.

— С тобой трудно спорить,— сказал он.— Ты дитя природы, к счастью, вполне образованное.

Якуб, которого по ошибке Женя назвал Якубовым, был моим отцом, от которого мама увезла меня еще во младенчестве. Я жил в Челябинске, отчима называл папой, но мои связи с отцом не прерывались — каждое лето я ездил в городок и принимал его попечительство, пока наконец, уже почти взрослым, не бежал от него. Он был для меня... в ряду других родственников, такой же близкий, такой же любимый, но не больше, чем, например, дедушка или бабушка.

Городок вспоминался мне всегда. Неожиданно и порывисто, исподволь и мягко возникал он в моей памяти и в детстве и в зрелом возрасте. Бывало, иду я тихим майским утром в мягкой дреме переулка — и померещится улочка, одна из тех, в чьих зеленых росистых чашах вскипает и клубится солнце: и дедушка ведет лошадь на водопой, погружаясь вместе с нею в пенный надбережный туман, его прямую спину облегает синяя, сильно выцветшая рубаха, ретивый утренний ветерок раздувает ее вокруг коричневой жилистой шеи...

Когда я приехал в городок, еще в начале строительства, меня встречал на вокзале отец, уж не знаю кем предупрежденный о моем приезде. Его поджарая, облаченная в подбористый защитный китель фигура выражала энергичное ожидание, он, казалось, был впаян в бетонку подошвами своих яловых сапог.

Он колченого устремился ко мне. Ветерок на перроне был насыщен исступленными запахами дороги — новоявленной свежестью молодой травы, зеленеющей по бокам пути, и тепловатой смачной терпкостью гари. Точно дальний путь, а не три часа пригородным поездом проехал я.

С пригорка открывался городок. Он всходил, он точно всходил из тех зерен, маленьких его черточек и звуков, которые долго лежали в уюте и тепле моей памяти. «Конечно, конечно, ты не мог не приехать! — говорил отец с пафосом. — Ты должен запечатлеть этот революционный размах, это обновление!..» Всем своим видом он внушал, что настал наконец-то и его час, хотя уж и силы и время его ушли невозвратно...

— Ты дитя природы,— прервал мои воспоминания Женья,— но в этом есть свой положительный смысл. Знаешь, я много ходил по здешним старожилам, много записал... В этом народе такой запас здорового оптимизма, которого, может быть, не хватает иным рафинированным интеллигентам...

— Не так-то уж много мы видели в жизни рафинированных интеллигентов.

— Не смею спорить,— рассеянно произнес Женья, но мысли его были заняты чем-то другим.— Над городком витают саги,— заговорил он с мечтательной улыбкой.— Боже мой, как я хотел бы послушать сагу, в которой пусть хоть намеком сказалось бы о каком-нибудь моем предке! Но я свою родословную веду от командира индустрии, попавшего в водоворот жизни из детского приюта. Может быть, дети мои будут счастливей.

Вчуже я сочувствовал ему, но моего сердца слова эти не задевали. И он, наверное, понял это, и голос его прозвучал с укором и обидой:

— Как же об этом забыть... об этих маленьких людях, которых жизнь теребила без всякой жалости, но они все-таки упорствовали в неодолимом желании жить.

— Но чему научили они меня?

— Дурачок,— сказал он ласково, и в глазах его я увидел влажный свет.— Они, может быть, научили тебя страдать, нет, сострадать... вот чего недостает тебе и мне.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Он, говорят, прибыл в Маленький Город с караваном бухарцев. Представьте себе широкую понурую дорогу, на ней покачивающуюся линию верблюдов с тучными вьюками на горбах и чалму караван-баши — белый свет маяка в непогоде пыли и зноя,— а где-то на самых задворках этого поезда Хемета, едущего на вдрызг разбитой колымаге с женой и малолетним сыном, среди рваного тряпья и вороха закисающей травы. Со своей колымаги взирал он сквозь тучи пыли на блеск минаретов и крестов Маленького Города.

Непонятно только, почему с восточной стороны въезжал он в городок ярким майским днем. Скорее всего безрассудство двинуло его в Индию, ну не в Индию, так в Ташкент по крайней мере. И может быть, его, помирающего с голоду, шалеющего от зноя, подобрали караванщики и взяли с собой в Маленький Город.

Вместе с караванщиками он обосновался на Меновом дворе, устроив под разбитой колымагой некое обиталище для своей семьи. А сам шнырял возле шатров, забредал на городскую площадь, а по вечерам, следуя призывам муэдзинов, ходил в мечеть — в таких мечетях, роскошь которых ему и не снилась, он наверняка молился следяко, если, конечно, не засыпал от дневной усталости и его не выбрасывали вон как богохульника.

Но чаще он торчал на конном базаре. Он суетился возле коней, которых заарканивал пастушок, подводил к покупателям, и Хемет — наравне с достойными покупателями — смотрел коню в зубы, ощупывал бабки, а однажды, раззадорившись, вскочил на неоседланную полудикую лошадь и, лихо проскакав по кругу, подвел к пастушонку. С того раза, примеченный торговцами, он проминал застоявшихся полукровок, гарцевал на площади, горяча, возбуждая честной народ...

Два месяца провел он очарованным жителем ярмарки, не торговец и не покупатель, мучимый созерцанием редкостного великолепия. В один из августовских дней городок затих, потускнел — снялись шатры, улетучилась пестрота халатов и шапок, на пепелище явились бродячие псы. И на пустом пространстве Менowego двора Хемет остался один, точнее с безмолвной женой и пискленком сыном под колымагой, да еще высокий тощий верблюд стоял у колымаги, скорбно глядя в даль караванной дороги, по которой уходили его собратья. Этого одра оставили Хемету караванщики — то ли подарили, то ли отдал он за него последние гроши. Хемет остался на виду у всего города и, должно быть, каждую минуту чувствовал на себе — издали, из-за реки, — любопытствующие, а то и опасливые взгляды горожан.

Однажды странная процессия остановилась у ворот самого богатого дома в Маленьком Городе — впереди Хемет в облезлой замасленной тюбетейке, в длинной домотканой рубахе, выпущенной на холщовые брюки, за ним верблюд без узды, облепленный по впалым бокам жесткими колючками, лениво жующий жвачку, а за верблюдом жена Хемета, повязанная платком, в длинном, почти до пят платье, босая, и с нею, держась за руку, сынишка с большими глазами, с коростой на голом тощем тельце, тоже, как и мать, босой.

На парадное крыльцо вышел купец Яушев, хозяин не только Маленького Города и окрестья, а, возможно, всего огромного края, легшего от Уральских гор до Каспия.

— Может быть, эфенди, вам нужны работники? — спросил Хемет. Яушев ответил, что ему не нужны работники.

— Но, может быть, эфенди, вам нужны стряпухи? — И Хемет не обернувшись, а слегка только качнув головой назад, показал на жену. — Она хорошо умеет печь лаваша...

И тут Яушев рассмеялся. Он наверняка не забыл еще пищу бедняков — лаваша, ведь он не был потомственным купцом, скупщик тряпья, приказчик, сам не так давно выбившийся в купцы. Может, Хемет, зная это, и рассчитывал на некоторое взаимопонимание с мещественным Яушевым.

— Во всяком случае, эфенди, моя жена очень старательно печет лаваша, — сказал Хемет.

Купец ответил:

— Я бы взял твою жену стряпухой, если бы ты сам убрался подальше.

— Можете не беспокоиться, — спокойно согласился Хемет.

Жену его Яушев взял готовить пищу работникам, и закуточек для нее и мальчонки нашелся в купеческом дворе.

После долгих ежедневных блужданий по городочку Хемет, говорят, приходил к воротам Яушева, но работники не пускали его во двор. Тогда он уходил за речку и, притулившись у облезлого бока верблюда, засыпал до утра, чтобы утром опять отправиться вдоль лабазов, затем обойти сенной и конный базары и завершить свои хождения у обжорных рядов за мисочкой супа из тубухи.

А верблюд пропадал за речкой, в степи, и никто, конечно, его не трогал — кому нужна дохлая животина. Поговаривали, что Хемет связывал с верблюдом некоторые надежды, то есть пытался наскрести с него хоть фунтик шерсти и продать ее. Он даже надеялся, что старушка разродится верблюжонком и тот подрастет, — и тогда уж он сможет счесывать с них шерсть и торговать.

Эти мысли были самые скромные из всех, что посещали его разгоряченную мечтами голову. Пример безродных, мгновенно разбогатевших удальцов, чье богатство подымалось как на дрожжах, не давал ему покоя. Проходя по несколько раз на дню мимо яушевского

пассажа, он, конечно, вспоминал историю его возникновения: невидный купчишка, приехав в Маленький Город, попросил у отцов города участок земли, и те уступили ему самый захудалый, заболоченный — к нему не подступал ни один из домиков городка, и он был как остров необитаемый и мрачный среди веселого копошения жизни вокруг. Отцы города были уверены, что не только торговый дом, а и легкую избенку там не поставит. Но Яушев поставил-таки трехэтажную махину.

А гостиница Башкирова — в балконах, узорах по каменным стенам, с номерами с глубокими альковами, рестораном, — гостиница была, наверное, как бельмо на печальном, жадном глазу бродяжки Хемета. Башкиров и не думал никогда строить гостиницу, но однажды на ярмарке в Ирбите он пылко поспорил с купцами, утверждая, что в Маленьком Городе есть биржевая гостиница, и расписал ее точь-в-точь такую, какой она стоит сейчас. Вернувшись в городок, он за год отгрохал шикарное сооружение.

А кем он был, тот Башкиров? Ловкач, с кустарного производства дегтя начавший восхождение на вершину, на которой пребывал теперь!

В тот год грянула на городочек холера из Китая, и Яушев запретил своей челяди покидать двор, чтобы не пустить во владения сразу. Хемет, таким образом, лишился редких свиданий с женой и сынишкой, во время которых жена могла ему сунуть сверточек с лавашами (она, говорят, и во время холеры ухитрялась-таки бросать через забор свертки со снедью, и старым горожанам до сих пор будто бы помнится ее кроткий голос из глубины двора: «Хемет, взял ли ты лаваша?»), и он все бродил по широким, могильно затихшим улицам и слободам. Одежда истлела на нем, от скудной еды он сильно отощал и видом был совсем нищий. Ночевал он по-прежнему под боком у своего верблюда на заречной стороне.

Пожары часто случались в городке: горели ночлежные и публичные дома, трижды горел дом священника Сперанского. И Хемет поднимался, переходил речку, на ходу ополаскивая сонное лицо, и направлялся на свет зарева. Белым днем он вряд ли особо отличался от прочих зевак на пожаре, но в холерном безлюдье ночных улиц его заметили быстро, и вскоре по городку поползли слухи о зловещей фигуре бродяжки-поджигателя. Да и резонно: на широкой, ярко освещенной площади стоял он так близко от огромного, обжигающего зноем костра, что искры впивались в лохмотья одежды, и лохмотья дымились, а Хемет только щурился от жара — пристрастному человеку могло показаться, что он смеялся от злорадства.

А однажды на такой пожар приплелся за Хеметом его одр, и тень верблюда пересекала улицу наискось, зловещая, уродливая тень, которая уже одна могла внушить страх даже не очень трусливому обывателю, — так что и благодаря одру он особенно запомнился горожанам.

А Хемет, наблюдая пожары, был бесстрастен к окружающему. Трудно сказать, что именно испытывал он, видя уничтожение чужого богатства, вряд ли просто радость оттого, что кто-то лишается имущества и на ступеньку ли, на полступеньки сходит к нему, не имеющему ничего. Скорее всего он думал о другом: он наверняка знал о том, что священник Сперанский, имея пятьсот рублей, заложил на эти деньги фундамент под большой дом и взял под недвижимое имущество в банке кредит в тысячу рублей и выстроил первый этаж; затем в другом банке под первый этаж взял уже две тысячи рублей, вернул первому банку долг и на оставшиеся деньги достроил второй

этаж, а там застраховал дом на большую сумму и поджег его. Говорят, он трижды поджигал свой дом, и все три пожара видел Хемет.

Так вот Хемет скорее всего думал об изворотливости людей, умеющих добывать богатства, и, возможно, ему мерещился иной пожар, а может быть, не пожар, а что-то другое, что светилось ему в огромном огне, и он не просто шурился, а и вправду смеялся, воображая ту, иную картину.

Ну, стали поговаривать о нем как о поджигателе. Почему бы самому Сперанскому не пустить слушок, или страховому агенту, получившему взятку, или брандмейстеру, тоже не обойденному. Так что все это для Хемета могло плохо кончиться. Но произошел один необыкновенный случай.

После обычных хождений по городу Хемет спал мертвецким сном у забора — уж неизвестно, почему не пошел он под теплый бок своего дряхлого верблюда, — и проходившие на рассвете санитары (они подбিরали трупы умерших от холеры) положили его в гроб и уже стали заливать известью, чтобы потом заколотить крышку и унести на кладбище. И тут он проснулся и поднялся, как привидение, как воскресший из мертвых, с лихорадочными глазами на тонком, изможденном лице, вывоженный в извешке. Санитары, побросав свои орудия, разбежались, а он спокойно перешагнул через край гроба, некоторое время еще стоял, снимая ладонями жидкую известь с одежды, отплевываясь, но не кляня санитаров, затем пошел на противоположный берег досыпать под боком у своего одра.

В ту ночь, когда он спал под забором, над городом прошла яркая звезда с большим огненным хвостом, медленно проплыла по небосводу и скрылась во мгле степного неба. Это была комета, ее ждали, и обыватели говорили о божьем возмездии, о светопреставлении. И вот в ночь божьего знамения некий бродяжка, юродивый, вернулся, считай, из могилы. Внезапный курьез обернулся для Хемета удачей. Сам он, впрочем, едва ли догадывался о висевшей над его головой беде...

Однажды Хемет исчез из городка. Будто бы видели ранним утром, как верхом на верблюде уезжал он караванной дорогой. Куда — никто не знал, приятелей у него не было, так что не с кем ему было делиться планами, а с женой он и не общался почти, если не считать редких встреч, во время которых она успевала только сунуть ему лепешки.

Но летом, когда начали созреть хлеба, кто-то из горожан увидел его среди черкесов, объездчиков помещичьих угодий, километров за семьдесят от городка. В черкесской одежде, на прекрасном коне, помолодевший, он ехал вдоль поля и даже среди молотцов черкесов выделялся статью и лихостью. Многие вспомнили тогда, как минувшей весной на ярмарке садился он на полудиких скакунов и джигитовал на площади, вспомнили восхищение в его глазах, и жадность, и обожание, с каким смотрел он на коней. И решили, что теперь-то странный бродяжка нашел то, что искал.

Но прежде чем о нем успели забыть, он вернулся в Маленький Город. Даже то непродолжительное время, которое он провел в объездчиках, сделало его походку особенной, колеблющейся, будто шаги по земле стали обременительны ему. Но печать разочарования, почти тоски лежала на его задумчивом лице.

Опять он маялся, бродя по городочку, ночуя где придется, кормясь тем, что бог пошлет, пока не связался с башибузуками.

Однажды они увели у казахов табунок коней и пригнали во двор к женщине по прозвищу Чулак (Колчерукая), которая одиноко и уютно жила за рекой. А оттуда переждав погоню и поиски, они от-

правились ночью потемней на север — к Екатеринбург, дальше — к Тюмени и Тобольску, где кони были еще дороже. В дороге жеребой кобылице приспело время рожать. Самое разумное в их положении было — оставить лошадь с бременем и продолжать путь. Так все и порешили, но Хемет! — он взмолился, чтобы главарь не приневоливал его к дальнейшей дороге, клялся, что не выдаст их и не потребует своей доли, но чтобы ему остался жеребенок — вот и все, чего он хотел.

Обесиленная гоньбой, преждевременным разрешением от брени, кобыла испустила дух. А Хемет взвалил на загорбок жеребенка, шел всю оставшуюся ночь и на рассвете очутился у ворот Чулак.

С того дня он поселился во дворике Колчерукой и всецело занялся жеребенком. Он поил несмышленища козым молоком, мучной болтушкой, проращивал зерно и юными стебельками кормил жеребенка. А когда тот занемог, колдовал над лекарствами, растирал в порошок стручковый перец и табак, мешал с дегтем и мазал опухоли на тельце малыша.

Забот у него хватало. Колчерукая делала брынзу и продавала ее на городском базаре, но это скорее всего для видимости, а вообще она сбывала кой-какой товарец, добытый башибузуками. Так вот Хемет платил ей за кров тем, что носил на базар круги брынзы и наверняка тот темный товарец. Вряд ли угрызения совести мучили его, ему все равно было — брынзу ли продавать или бешметы с убитых путников, лишь бы Чулак не прогнала его однажды вместе с жеребенком.

2

Так прошло два года, и два года Хемет выполнял все, что ни поручала хозяйка, — пас ее овец, заготавливал на зиму сено и топливо, чистил овчарню, носил на базар товарец, которым она награждала, встречал и провозжал ее «гостей» — и за все это время не купил себе даже завалыщего бешмета или башмаков. Он подкапливал деньги копейка к копейке на добрую сбрую и телегу. Но, прикинув однажды, что копить еще долго, взялся за изготовление кирпича.

Он носил с реки песок, глину из оврага, сыпал в том месте, где некогда топтался его верблюд, и часами, обливаясь потом, звучно хрипя, месил эту массу босьми ногами, чтобы в конце концов слепить десяток-другой кирпичей. Потом нес их на базар (он не пользовался услугами лошадиников, чтобы не ушла лишняя копейка).

Так прошло еще два года. Жеребенок стал веселым, статным конягой. Хемет купил новую сбрую, ходок с плетеным коробом и повою. Ему, хорошему наезднику и знатоку коней, нетрудно было приучить своего Бегунца ходить под седлом и в хомуте. И пришел час, которого Хемет долго и терпеливо ждал: он сел в ходок, тронул с нежностью ременные, тяжелые приятной тяжестью вожжи: «Пошел» — и выехал со двора Чулак. Он переехал речку, мелкой дробью рассеял звуки легких, изящно ошинованных колес по мостовой и остановился у лабаза хлеботорговца Спирина.

Вот с того времени, может, и началась его удача.

В голодный для Поволжья год Спирин отправлял туда подводы, груженные хлебом. Всю осень и зиму Хемет ездил на своем Бегунце вместе с гужевиками и был доволен конем, работой и хлебом.

Но слишком крепко любил он Бегунца или, может быть, слишком боялся остаться без коня — именно поэтому одна поездка кончилась для него плачевно. Они направлялись домой, когда началась сильная оттепель, и гужевики продали своих лошадей, сани и сбрую, чтоб вернуться железной дорогой.

Хемет не продал Бегунца. Он пошел, ведя коня в поводу. Люди в селах голодали, дохла скотина, никто ни за какие деньги не мог бы дать ему хлеба, а лошади корму. Он нес за плечами мешочек с мукой, из которого не останавливаясь доставал щепотку и бросал себе в рот; на хребтине коня лежал мешок побольше, с овсом — вот и все, что у них было на долгую и опасную дорогу.

Он не останавливался на ночлег в деревнях, страшась потерять коня...

Однажды заметил, как следом за ним продвигаются словно тени двое. Когда Хемет останавливался, замирали и они, не прячась, не отскакивая за кусты, и сумасшедшее свечение в их ярких от голода глазах было таким, что зябло сердце. У Хемета была мысль сесть на Бегунца и оторваться от преследователей, но жаль было коня — скачка отняла бы у него силы.

Они преследовали его с утра, и весь долгий путь Хемет не решался на передышку, и они тоже шли упорно, неотступно, движимые одной только целью.

На ночлег Хемет остановился в глубокой балке. Наломал немного прутьев от кустарника, мелко крошил и, смешав с горстью овса, протянул в ладонях коню. Когда поел конь, он извлек из своего мешочка горсточку муки и сам поел тоже. Затем подошел к коню, охватил его шею руками и закрыл глаза, думая подремать вместе с конем, а когда начнет студить утренний холод, тронуться в дорогу.

Он дремал и чувствовал: преследователи где-то очень близко; порою казалось, что он слышит их прерывистое дыхание.

Наступить на них не имело смысла: когда б он кинулся на одного, другой перерезал бы коню горло. И вот он стоял, охватив шею Бегунца, и надеялся, что не даст дреме окончательно обволочь себя, и, когда они выйдут, кинутся на него, он сумеет отбиться.

Он упустил-таки момент — удар дубинкой тупо и тяжело опустился ему на плечо. Как бы сбросив удар с себя, Хемет рванулся к противнику, взвизгнул, увидев, как второй такую же тяжелой дубинкой замахивается на Бегунца. Голодные и бессильные от голода, они хотели сперва отогнать лошадь подальше, а потом настичь ее и убить, но теперь-то, поняв, что не хватит сил поймать ее, решили, видать, уложить ее на месте, чтобы уж наверняка иметь добычу.

Ярость голодных людей уступила холодной силе Хемета, и вскоре оба налетчика лежали на снегу, повизгивая от злости и отчаяния, уже не способные ни нападать, ни защищаться. Но стоило Хемету взять в повод коня и двинуться, как они начали подниматься. Тогда он остановил коня и пошел на них. Дай он им мешочек с мукой, они, может, и перестали бы его преследовать. Но эта мука было последней, что еще давало ему силы двигаться и вести, нет, уже тащить с каждым днем слабеего коня. И он со всею силой злости и сострадания швырнул в лицо тому и другому по горсти муки. Те ладонями собирали мучную пыль, пихали в рот, лизали себе руки.

И все-таки конь издох в дороге. Хемет видел, конечно, как тот плох, и мог бы, наверное, еще продать или обменять его на одежду, но нет, он упорно вел, почти тащил за собой лошадь, пока та не пала.

В Маленьком Городе Хемет появился весной с кнутом в руке, с пустой котомкой, притороченной к поясу, в тряпье, исхудавший, почти высохший от голода и горя.

И опять он остался гол как сокол, но упорство его не истощилось, он не стал отдыхать и отъедаться, а собрался на последние гроши в дорогу, очень далеко — в Сибирь, на золотые прииски. Пять тысяч верст прошел и проехал он в компании искателей счастья, нанимаясь

в пути на поденные работы, и через полгода достиг Олекминских приисков.

В тайге он провел год и сколотил приличные деньги, складывая рубль к рублю. Даже ежедневный стакан водки, что полагался от щедрот хозяина, он уступал приятелям за плату. Наконец перевел на свое имя в уездный банк — в Маленький Город деньги, боясь, что израсходует в пути или будет ограблен, и опять проделал полугодовой путь в родные места: гнал баржи, устраивался на мелкую поденщину.

Он построил дом, купил коня, корову и овец, завел инвентарь и сбрую и опять работал у хлеботорговца Спирина, возил хлеб и далеко и близко...

И только теперь он, словно вспомнив о существовании жены и сынишки, забрал их к себе. Тут стоит наконец сказать о том, как он оказался женатым.

Она была его троюродной сестрой. Семья ее так же бедствовала, как и его. Хемету едва исполнилось шестнадцать, когда отец решил его женить. По этому случаю на него впервые в жизни надели брюки, а до этого, как и все его сверстники из бедных семей, он ходил в длинной, до колен, посконной рубахе. Он был мал ростом, худ и на свадьбе, говорят, подвигал шапку повыше, чтобы казаться побольше ростом.

Хемет не знал любви, а полюбил впервые, когда уже мальчонке его было лет, наверное, восемь. Как, должно быть, странно и муторно было ему увидеть рядом с собой нелюбимую жену и плод их обоюдного, почти полудетского любопытства, когда наконец-то ожгло его первое чувство...

Помните, как прежде, бедный и одинокий, бродил он кварталами городочка, обозревал дома и лабазы, как смотрел на пожары? Сейчас он уже не был таким сиротливым и ничтожным, как прежде. На ночлежки он смотрел не как на возможное кратковременное пристанище в холодную ночь, а как на предмет, который — захоти и поднатужься — он мог бы и приобрести. А публичный дом, куда прежде ходу ему не было хотя бы по той причине, что не звенело в кармане, был ему сейчас доступен, как и всякому, кто имеет дело и деньги.

Так однажды забрел он в эдакий дом. И стал свидетелем, а через несколько минут и участником потасовки на подступах к одной спаленке.

Он выбрал сперва среди многих услужливо подsunутых ему фотографий ее фотографию и робко — поджилки, наверно, у него тряслись — ткнул в нее пальцем. А потом уж увидел потасовку у дверей девушки и ввязался в драку, так как мог теперь наравне с другими состязаться в праве войти в ту спальню, куда устремлялись не лучшие, чем он, горожане. Он вышел оттуда побитый, шатаясь и отплевываясь, и долгу не уходил с крыльца, плакал в голос и точно озверевший кидался на всякого, кто пытался подступиться к нему.

Он не мог, конечно, запомнить всех, кто награждал его тумакми. Но одного запомнил. Это был яушевский отпрыск, чей отец когда-то унижал Хемета, прогнав от своих ворот.

Через несколько дней произошло одно веселенькое событие, о котором даже напечатали в газетке Маленького Города.

У яушевского сынка был автомобиль, и он, что ни день, разъезжал на этом автомобиле по улицам городка, распугивая кур и гусей. В то утро, когда Хемет вел коня на водопой, яушевский сынок ехал по набережной. Хемет вспрыгнул на Бегунца (нового коня в память о первом он тоже звал Бегунцом) и, ударяя его пятками по бокам,

нахлестывая слева и справа концом уздечки, понесся за дымящим и громыхающим автомобилем. Он догнал автомобиль, затем проскакал вперед и оттуда широким галопом устремился наискось к машине, и конь мощной грудью ударил и опрокинул машину, и, говорят, колеса еще вертелись, когда вокруг собралась огромная, как на пожаре, толпа. Владелец машины, к счастью, не покалечился, но сраму набрался.

В тот вечер Хемет впервые прошел в заветную спальню. Веселье в заведеннице, галдеж — о Хемете тотчас же забыли, — но под утро, когда посетители стали покидать домик, все вдруг услышали, что из той комнаты доносится негромкое, в два голоса пение. Не лихое, не залихватское пение взвеселившегося посетителя, а печальное, почти скорбное.

И в другие ночи — а теперь Хемет ходил туда, не пропуская ни одной ночи, — тоже они пели, и это обстоятельство возымело два последствия. Во-первых, о том, что Хемет ходит в милое заведение, узнали все, кому он мало-мальски был известен. Во-вторых, воспротивилась хозяйка заведения, потому что скорбное пение шло вразлад со всеобщим весельем, и гости становились не так бесшабашны, и девицы, говорят, слезами заливались...

Однажды со двора Хемета выехала повозка. Впереди сидел он сам, сзади жена, окруженная узлами, покрытая по плечам широкой пуховой шалью, а рядом сынишка в новом картузе, в добром стеганом пальтеце, которое распахнул и скашивал сейчас глаза на коленкоровый подклад. Повозка прямым ходом направилась на вокзал.

Хемет втащил узлы в вагон, а когда ударили отправление, он, говорят, обнял и поцеловал сынишку, а жену ласково похлопал по спине и помог обоим забраться в вагон. Затем не оглядываясь пошел к телеге.

Накануне он сказал жене трижды «талак» и этим развел себя с ней, а потом, собрав все добро, что имелось в доме, в большие узлы, поспешил отправить ее и сына в деревню, в которой воля отцов соединила их.

Скоро, чуть ли не в тот же день, Хемет продал дом, овец и корову, оставив только лошадь и телегу, вручил все деньги хозяйке веселого заведения, и та отпустила Донию с Хеметом.

Что он увидел в ней? Что открыл? Какую радость он ожидал от нее? Или какую готовил ей? Или, укоренившись в жизни, он бросил запоздалый вызов давней несправедливости, и тем сильнее звучал этот вызов, что Дония была из публичного дома?

Отца Дония не помнила совсем, мать оставила по себе смутные воспоминания: от нее пахло козьим молоком, дымком сторевшей полыни, которой она растапливала глинобитный очаг во дворе, куда был вмазан большой прокопченный котел. В голосе ее преобладали интонации умиротворенности, благодарения кому-то за что-то — может быть, козе за ее щедрость, может, огню, который занимается быстро и охотно.

И долго еще после смерти матери звуки ее голоса будто бы жили отдельной жизнью — в комнатах, в сенцах, во дворе. И запахи ее витали вокруг Донии, пока наконец не укрепились в самой девочке, когда она подросла.

Отчим Донии был беден, земельный надел приходился только на одну мужскую душу, так что обрабатывать его не было расчета и он сдавал надел свой соседу, получая за это корм для козы и мешок пшена. А сам уходил плотничать. Но оставшись с малолетней девочкой на руках, он прекратил хождения из села: плел лапти, корзины из таловых прутьев, клал соседям печи. А когда девочка подросла

настолько, что могла возиться на грядках, он вскопал на обширном дворе землю.

С тех пор любопытствующие соседи каждую весну видели через плетеную изгородь, как он колдует над грядками, роет лунки и каждую посыпает золой. А девушка выходит из избы, грациозная, как юная ханша, в туникообразной из белого холста рубахе с вышивкой вокруг ворота и на подоле, несет на голове противень, на котором слой мелкого сырого мха так пророс огуречными семенами, что вся зелено-плюшевая поверхность его нежно светит бледными лепестками. Плавню присев, она опускает противень возле отчима, и пока он отщипывает крохотные клочки мха и бросает их рядочками в лунки, она уже бежит за водой в конец гряд, где стоит двухсаженная колода, наполненная согретой на солнце колодезной водой.

Отчим хворал, частенько сживал у стены сарая и наблюдал, как она носит по вечерам воду из колоды и поливает грядки.

Он учил ее всему, что умел делать сам — плести лапти и корзины, шить рубахи, прятать и пилить. Во дворе у него стоял трехстенный прируб, приткнутый к сараю, так себе трехстенник, но в нем хранилась одна штука, гордость его и краса — верстак. Сработан он был из дуба, выдержанного три года в бане под каменной, винты, перемещающие коробки зажимов, вырезаны были из железистой, свиловатой березы, растущей только на высоких каменистых берегах вдоль оврагов. Так вот отчим учил Донию столярному ремеслу. Стоять за верстаком не женское дело, но ведь сомов багрить и подавно не женское. А он брал ее с собой и на охоту за сомами.

Годам к шестнадцати Дония была рослая, красивая девушка. Работа, которой она ежедневно занималась, не смирила ее легкую поступь, раздвинув ее плечи, ничего не смогла поделаться если не с хрупкостью их, то хотя бы с видимостью хрупкости, которая так мило угадывалась под покровом ее свободного платья. Лицо она не берегла от солнца, и загар покрывал его, но какая-то неподатливая нежность в ее чертах словно не давала загустеть загару.

Именно тогда начала она замечать охоту за собой. Сперва то были взгляды, на первой поре просто любопытствующие, скорее рассеянные, чем точно определившиеся в какое-либо желание, затем жадные, бескомпромиссные, они скользили по ее телу, сверкали из щелей в заборах, пронзали кустарниковую чащу вблизи речки, где она купалась с подружками. Потом слова, облаченные то в заискивание, то в нежность, то в похабщину. Выйдя за полночь с посиделок в сопровождении хозяйки и подружек, она чувствовала в застойном, сонном воздухе улочек дыхания опасности, чреватой безумным налетом, бешеной скачкой, стыдом и болью.

Вскоре отчим умер. А примерно через неделю глубокой ночью на избу Донии был совершен налет. Трое или четверо парней вынесли девушку, завернутую в попону, но во дворе она выскользнула, сшибла одного, второго и убежала в избу. Те кинулись в истовом старании настичь, сломить! — каждый хотел быть причастным хотя бы к похищению, хотя бы к тому, чтобы увидеть ее поражение и навсегда успокоиться. В то время, пока они, сшибаясь в сених, ломались в запертую дверь, она выскочила в окно и подохла во дворе кучу соломы. Она молча отбивалась до тех пор, пока они не бежали с позором.

С соседями Дония потушила пожар. Наутро, направляясь за водой, она увидела Юсуфа — сына богатого сельчанина. Он вел коня на водопой, сильно хромая и пряча лицо, отмеченное синяками.

Дония была в той поре, когда девушки не задерживаются в отцовском доме. Но к ней, безродной и нищей, зикто сватов не засы-

лал. Человека, к которому она могла бы уйти сама, не было, и она знала: ее похитят — пусть не Юсуф, но кто-то другой, и ей никуда от этого не деться. За парнями был вековечный опыт и предощущение того почти первобытного чувства победы, обладания, равного почти героизму. А за ней — инстинктивная готовность подчиниться, смириться... И она пробыла-таки у Юсуфа в плену три дня.

Неизвестно, что там было. Известно только, что бай, которому вовсе не хотелось женить сына на нищенке, сам увез ее из села и отдал в то заведение...

Хлеботорговец Спириин отвел Хемету и Донии под жилье один из своих амбаров. Привередничать им не приходилось, да и давно ли тому Хемету крышей было небо и постелью полынная земля, а тут — бревенчатый, с чистым духом амбар.

Тут, если хотите, еще одна история, точнее продолжение историй единоборства Хемета с яушевским отпрыском (единоборство — так могло показаться только Хемету, жаждущему неуступчивости, уверенности в себе, алчущему доказать это любому, даже самому Яушеву).

К тому времени умер старик Яушев и сынок его принял дело. И начал с чудачества, чтобы переплюнуть покойного отца, который, бывало, прикуривал от десятирублевой ассигнации. Так вот, узнав, что Хемет живет в амбаре Спирина, он стал встречать за городом подводы с хлебом и, заплатив по рублю за пуд, направлял их к Спирину, говоря, что остальное — еще вдобавок по рублю — доплатит Спириин. Крестьяне подъезжали ко двору Спирина и просили рубль за пуд. А так как на базаре пуд хлеба стоил полтора рубля, то Спириин пошире открывал ворота.

Что ни день, то полон амбар. И вскоре пришлось Хемету соорудить шалаш во дворе.

Хемет всерьез полагал, что Яушев-младший бросил ему вызов, и испытал, наверное, удовлетворение оттого, что сможет потягаться с ним в остроумной отместке. Однажды он остановил свою подводу, груженную зерном, рядом с автомобилем Яушева, стоявшим у подъезда банка. Спокойно сыпал зерно в автомобиль и выбежавшему ошеломленному купцу сказал:

— Вы перестарались, эфенди. Одна подвода оказалась лишней и в амбар не вместились.

Долго ли, коротко ли, а подкопилось у Хемета деньжонок, и он построил новый дом. И теперь в новом доме ему было приятно вспоминать, как Яушев прокатился по городу с полным кузовом зерна.

В то лето Хемет чуть не потерял коня. Он мог потерять не только коня, но и свой дом и жизнь, которой стоило дорожить хотя бы ради дочки.

Говорят, он глухой ночью вывел из конюшни Бегунца, постоял, оглаживая ему дрожащие бока (в упругой, настороженной тишине ночи то и дело трещали выстрелы), затем снял с него уздечку и заменил ее веревочкой.

— Куда ты в такую темень? — сказала ему жена. — Ведь убьют, как только выйдешь со двора. Эти казаки прямо обезумели.

— Может, я и проскочу, — ответил он. — А вот если утром они придут... Как ты думаешь, отдам я этим удирающим казакам коня? Как бы не так! Значит, они и меня прихлопнут и коня захватят. Так что...

И он, ничего больше не сказав, повел Бегунца со двора. Жена закрыла за ним ворота.

Хемет спустился к речке, глянул еще раз в ту сторону, где шла перестрелка, затем вскочил на коня и шлепнул босыми пятками его по бокам. За два или три часа скачки он достиг села и, оставив там Бегунца у знакомого человека, пустился обратно пешком. Босой, в латаных штанах, в изодранном бешмете, он был похож на бродяжку, и вряд ли дутовцы обратили бы на него внимание, если бы повстречались ему.

Утром он вошел в город и, проходя мимо яушевского дома, увидел автомобиль, в котором сидел вдрызг пьяный Яушев и кричал своей челяди, таскавшей тюки с добром:

— Эй... где, я вас спрашиваю!.. Где, спрашиваю!.. Никто не знает? Ну как называется эта дрянь?.. Эй! — Это уже относилось к Хемету. — Эй, бродяга, как тебя?..

— Я не бродяга, — ответил Хемет, остановившись, — то есть я хочу сказать, эфенди, что теперь не я, а как раз вы бродяга.

— Пошел к черту, образина! — закричал Яушев. — Ты только скажи мне, как называется эта штука, из которой чай пьют. И ступай к черту, понял ты, образина?

— Зря беспокоитесь, эфенди, — сказал будто бы Хемет. — Вам эта штука, может, и не понадобится. Вам и времени-то не будет останавливаться и распивать чай.

И тут Яушев закричал:

— Самовар! Самовар же! Вспомнил! Самовар тащите, эй вы, дерьмо собачье! Несите самовар!..

Из-за угла вывернулся тарантас о двух лошадях и бешено понесся по булыжной мостовой. В тарантасе ехали офицеры. Яушевский шофер спешно стал заводить автомобиль. Когда автомобиль тронулся, со двора одна за другой выскочили две повозки, груженные разным добром, и пустились вслед автомобилю.

Через два часа город полностью был занят красными. К этому времени Хемет, сменивший ветхую свою одежду на приличный костюм, стоял у ворот и смотрел, как едут красноармейцы, и копыта их разгоряченных коней цокают по мостовой.

3

В одно сентябрьское утро уездный продркомиссар Каромцев увидел из окна кабинета подводу у коновязи. Морда коня высоко была вздернута уздечкой, привязанной к кольцу под дугой. А возле коня стоял человек в коротком бешмете, в барашковой низкой шапке, и голова его тоже была высоко поднята, а в руке колыхалась какая-то бумага.

— Кто такой? — спросил Каромцев не строго, а просто отрывисто, как и привык уже спрашивать, велеть, запрещать.

Тот не ответил прямо, сказал:

— В семь утра пришел. Вот по этой бумаге. — Быстрым жестом лошадиник протянул листок.

Это было постановление исполкома о продразверстке, отпечатанное на днях и вчера расклеенное по городу: все граждане уезда обоего пола от восемнадцати до пятидесяти лет мобилизуются для проведения разверстки хлеба и фуража... все подводы Маленького Города и уезда поступают в распоряжение райпродкома и направляются по его указанию...

Каромцев глянул на лошадиника:

— Надо зарегистрироваться. В исполкоме. А работать...

— Значит, сегодня не будет работы? — спросил Хемет.

Он так это спросил, что Каромцев, внимательней глянув на него,

увидел: глаза лошадики выражают не просто минутное настроение, а настроения его бытия, что ли. Была в них готовность что-то преодолеть. И смирение. Но не миротворческая готовность терпеть поражение, позор, неудачу, а смирение преодолевать и идти дальше, если, конечно, за первой целью возникнет у него и другая и третья.

Каромцев спросил простодушно:

— А почему ты так высоко задрал коню голову?

Хемет усмехнулся и ослабил уздечку так, что она провисла. А голову конь все равно держал высоко, сейчас даже приметнее было, как это гордо у него получается.

— Как зовут коня?

— Бегунец,— ответил лошадики, и конь попрядал ушами.

С удивлением заметив это, Каромцев спросил:

— Ты по-русски его зовешь?

— По-татарски Югрек,— ответил лошадики, и конь опять попрядал ушами, услышав свое имя.— Я у Спирина работал, у хлеботорговца,— сказал лошадики.— Слыхал, наверно.

— Хороший был хозяин?

— Мне он не хозяин был,— ответил лошадики.— Он своему хлебу хозяин был, дому, бабе своей. А мне он не был хозяин.

— Как же он не был хозяин, когда эксплуатировал твой труд?

— Я мог уйти от него всегда. Я тоже хозяин. Я мастер.

— Мастер? — несколько растерянно повторил Каромцев.— Я понимаю, гончар или шапочник — мастера..

— Мой конь...— сказал Хемет, и движение мысли изменило его непроницаемо спокойное лицо, но ему не удалось выразить то, что он хотел, и повторил опять:— Мой конь.

И лицо его опять приняло выражение спокойного ожидания.

— Ну ладно,— произнес Каромцев.— Тебе, конечно, понятно, что все подводы города и уезда... независимо от желания владельцев подлежат...

— Я это понял,— перебил Хемет.— Только сегодня я остаюсь без работы. Так, выходит?

— Хочешь возить меня?

— Тебя? — Хемет посмотрел на продкомиссара.— Тебя — нет,— сказал он.

— Почему? — спросил Каромцев резко. Но резкость шла не от обиды, а от изумления.

— Коня могут убить, если с тобой ездить.

— Но ведь и меня!..— негодуяще воскликнул Каромцев.— Меня в первую очередь могут убить. И тебя!..

— Конечно,— согласился Хемет.— Но и коня тоже.

— Ты мелкобуржуазная стихия...

— Меня зовут Хемет.

— Мелкобуржуазная ты стихия, Хемет! Ведь ты будешь возить на ссыпной пункт хлеб, взятый у кулака. Так что же ты думаешь, бандиты не могут напасть на тебя, отобрать хлеб, отнять коня? — Он помолчал, но Хемет ничего не ответил.— Своего коня я отдал Петухову, ему он нужней. (Петухов то и дело скакал по селам, где было неспокойно.) А наши клячи не годятся для дальних поездок..

— Это будет работа?

— Ты будешь получать то, что положено всем мобилизованным лошадикикам.

Когда он повернулся и направился к крыльцу, услышал за спиной:

— Так смотри...— Хемет стоял возле телеги и держал в обеих руках вожжи.— Так смотри, завтра буду утром.

— Да, да. Приезжай,— сказал Каромцев и проследил, как тот сел в телегу, забросив ноги в плетеный короб, и конь, легко двинув ходок, побежал бодрой рысью.

Стороны отвоевали, не тронув Хемета, а лишь невольно попугав его, ничего у него не отняли, но и ничего пока что не дали — он так и оставался лошадиником, владычествующим над собственной животной, постройками и грядками на дворе, кой-каким имуществом в сундуках. Новая власть продолжала единоборство с противником: нынче ей надо было отнять хлеб у враждебного ей кулака и накормить голодающих детей, рабочих, красноармейцев.

Хемет ездил с продкомиссаром, делая с ним его дело, воюя его войной. А у него были свои заботы, нависали жестокой угрозой, и он едва ли подозревал, что его и Каромцева горькие заботы смыкаются близко.

Из деревни он получил весть о том, что мать ребенка умерла от тифа, а мальчонка исчез. Скорбные вереницы беспризорников, мелькающих на станции, в слободах и на улицах Маленького Города, рассказы о христарадничающих малолетних «беженцах», ватажками набегавших на гумно и мельницу, находивших приют в волостных детдомах, наводили его на мысль о странствующем сыне. Где он, потерявший мать, не ведающий об отце? Где, в какой ватажке несчастных детей? Да жив ли?!

Он, рассказывают, отыскал сына в Кособродах в волостном приюте и был ошеломлен тем, что парнишка отбивается от него как от чужого. Сын не узнавал его. Хемет заплакал и стал связывать его вожжами. Когда парнишка, обессиленный сопротивлением, заснул в повозке, Хемет расслабил узы и сам прикорнул рядом.

Когда он проснулся, мальчика в повозке не было.

Лошадь остановилась у ворот, тихо заржала. Хемет бросил вожжи и, спрыгнув с ходка, пошел стучать. Двор за высоким забором безмолвствовал, и он поднял кнутовище, чтобы постучать еще. И тут его осенило: не взлаяла собака, темны окна, а сумерки только пали. Он осторожно, весь напрягшись, огляделся — так явственно было ощущение засады в окружающем безмолвии потемок. Неизвестно откуда и неведомо чьи проскреблись в уши настороженные шаги, и когда послышался женский испуганный голос: «Кто? Не ты ли, Хемет?» — тогда только он понял, что шаги слышались со двора и не жена шла отворять ему.

— Я. Кто же еще! — слишком громко сказал он.

Когда отворилась калитка и он подался вперед с тревожным чувством, что глянет сейчас в бездну, беспокойно заржал конь. Хемет поспешно коснулся рукой жаркой морды коня. Потом он глянул в ту открывшуюся ему бездну двора и увидел там покаянно сжавшуюся женскую фигуру.

Мелким спотыкающимся шагом он пошел по двору. А позади соседка Мавлиха отворила ворота и впустила коня, и конь теперь двигался тихонько за хозяином, чуткий в тишине и потемках.

— На третий день, как ты уехал,— заговорила Мавлиха,— Дония ходила на базар..

— Она дома? — громко спросил он, и конь тревожно заржал, завозился в оглоблях.

— Дома, дома,— быстро сказала старуха.— А пришла ни жива ни мертва. Видала, говорит, на базаре Юсуфа, и он будто бы шел следом за ней. Ей с перепугу могло и померещиться, но наутро во дворе не оказалось собаки. А на другую ночь кто-то ходил по двору, а потом

дергал дверь. Дония с тех пор ночует у нас, а я... зачем ему я, если он даже вздумает взломать дверь? Ведь ему Дония нужна, раз уж он воровал ее однажды.

— Дальше,— сказал Хемет,— что дальше?

— Сеновал поджег кто-то,— сказала она.— Потушили.

Только теперь он задним числом опознал неясный запах, чуждый его двору, запах горелого, и снова ощущение опасности охватило его.

Он распряг коня, привязал его к столбу, чтобы тот остыл после дороги, затем привел от соседей жену, уложил ее в постель и, погасив лампу, вышел в сени (в сенях он покурив и потом на протяжении всей ночи несколько раз возвращался туда и, оставляя дверь полуоткрытой, закуривал, пряча сигарку в ладонях и не отрывая глаз от двора), взял в чулане ружье и пошел к забору, где густо, почти непролазно росли лопухи,— там он сел и застыл, положив ружье у бедра.

Открывалось небо — луна убежала от тучки и далеко откатывалась, и теперь она как бы оглядывалась на пустоту вокруг себя. В белом густом свете он увидел угол сеновала, темный и суровый, и что-то укоризненное было в его печальной обугленности. Заржал Бегунец. Хемет поднялся, набрал в колодце воды и напоил коня, затем насыпал в корыто овса и занял прежнее место. Конура зияла черно. «Хороший был пес,— подумал он.— Из чужих рук не брал еду».

К утру Хемет стал мерзнуть, но не покинул своего места и просидел, съежившись, до той поры, пока совсем не посветлело небо. Потом он поднялся и опять глянул на сарай, на обгорелый черный угол сеновала и вздрогнул, представив пожар и Бегунца в сарае. И хотя было светло, он пошел в конюшню, лег там на сене и уснул, уверенный, что при первом же тревожном ржании коня очнется и, если уж случится лихо, успеет вывести его из конюшни.

Когда Хемет проснулся, в раму настезь открытой двери падал яркий свет. Он быстро вскочил и вышел из конюшни. В сенях кипел самовар, жена брэнчала посудой в доме.

— Мне надо идти,— сказал он, войдя в дом.— Мне надо идти. И приду я не скоро.

Жена налила ему чаю, и он стоя выпил всю пиалу, обжигаясь, быстрыми глотками. Потом он опять глянул на жену. Она опустила глаза, но, когда он шагнул к двери, сказала:

— Ты ружье повесил на место?

— Да,— сказал он не задумываясь и вышел на крыльцо.

Он шел пустынными улицами мимо облупленных, помеченных пулевыми язвочками стен казенных зданий, мимо магазинов и лавазов, небрежно и грубо заколоченных досками, которые уже начали матереть под дождями и ветрами. Слишком уныл и пустынен был городок, и ему подумалось, что случись какое-нибудь насилие, городок и не колыхнется от выстрелов, криков о помощи. И снова тревога коснулась Хемета, он представил жену, вспомнил ее вопрос: «Ты ружье повесил на место?» — и то, что она готова была защитить себя, наполнило его гордостью и страхом.

Улица привела его на бывший конный базар, где теперь темно роился толкучий рынок, исполненный энергии и отваги до первых намеков на облаву, и Хемет, в общем-то безучастный к купле-продаже, невольно приускорил шаг совсем как раньше в предвкушении восхитительного движения среди гула и запахов.

Он купил несколько пирожков и, присев в стороне, съел два или три, а остальные, завернув в бумагу, сунул в карман бешмета. Подумав, он еще купил пирожков и положил их в другой карман: если встретит сынишку, они сядут где-нибудь у забора и поедят. Может

быть, к тому времени пирожки не совсем остынут. «Только бы успеть,— думал он,— только бы успеть увидеть его до того, как поймают. Он голоден, и он обязательно попадетсЯ. Только бы успеть».

Он вошел в толпу, несильно напирая плечом, и она подавалась и тут же смыкалась. В уши ему жужжали голоса: старуха подсовывала сшитое из домотканой скатерти женское платье, кто-то бекешу, кто-то хрусталь, и все в обмен на хлеб; ухватился за рукав прощельного вида человек и стал шептать, что хорошо бы найти подводу и съездить в одно местечко за зерном. Хемет почти с брезгливой поспешностью выбрался из толпы и двинулся к обжорным рядам. Под длинным навесом стояли грубо сколоченные столы и скамейки. Бродяжки, пропойцы, крестьяне, чьи подводы стояли у оградки сквера, оборванные и обросшие дети—одни с жадностью поедали бог весть какое хлебово, другие растянулись в очереди к окошку в дощатом, наспех сколоченном сооружении. Там в пару и чаду мелькало воодушевленное лицо Колчерукой. Взмахивая здоровой рукой, она руководила своими помощницами, которые ловко подавали жестяные чашки в протянутые к окошку руки.

Хемет зашел с противоположной стороны и попросил вызвать Чулак.

— Ты не видела мальчонку? Рыжий...

— Здравствуй, Хемет! — сказала она, крепко ударяя рукой Хемета по плечу.— Я уж думала, тебя дезертиры подстрелили или комиссары за решетку упрятали!..

— Отвечай,— отрывисто сказал он.— Не видела ли ты среди своего сброда рыжего мальчонку? Очень рыжий, даже на ушах у него веснушки...

Она напряженно задумалась. Потом покачала головой:

— Нет, не видела. Но буду теперь смотреть.

— Очень рыжий,— повторил он.

— Зайди, я налью тебе супа,— сказала Чулак.— Он не так уж плох, как ты, может, думаешь.

Хемет отказался, обошел строеньице, глянул на два ряда столов, но нигде не увидел рыжей головы.

В тот день он еще заглянул на сенной базар, затем был на станции. На путях стояли поломанные вагоны, бездействующие паровозы. По перрону бродили, лежали у тумб, у некогда обильных лотков оборванные, изможденные люди. Стал сеяться мелкий дождь, и некоторые поднялись и легли у стены вокзального зданьяца. Он остановил двух маленьких оборванцев и спросил, не видали ли они очень рыжего мальчишку, и они внимательно смотрели на него, слишком внимательно—ему даже показалось, что они внохиваются в него. Подбежали еще несколько мальчишек. Нет, сказали они наконец, не видели рыжего, такого, чтоб очень рыжий.

Он отошел от них и когда машинально сунул руку в карман, там не оказалось пирожков. Он усмехнулся, вынул пирожки, которые были у него в другом кармане, и стал искать мальчишек. Их словно ветром сдуло. Он положил пирожки на лоток, а когда, оводя немного, оглянулся, увидел у лотка пыльное копошение оборванных фигур.

Ночь была темная и сырая, капало с крыши сарая и дома, и рядом с листьям лопуха капало, волглый, прохладный воздух больно входил в легкие, и Хемет прятал нос в воротник полушубка, чтобы не простудить горло и не кашлять. Подстелив под себя потник, он стоял на коленях, запахнув покрепче полушубок и поверх него плащ, под кото-

рым спрятано было ружье. Мучительно хотелось курить, но он боялся уйти из засады, чтобы не открыть себя.

Он очень устал за эти дни и ночи, но страх, и гнев, и горе так возбудили его, что он не мог спать, только яркими отрывками пронеслись в его воспаленном мозгу картины минувших дней и ночей: звероватый мальчишка, связанный по рукам и ногам, в повозке, жена, спрашивающая: «Ты ружье повесил на место?»...

Лопушиный лист качнулся под легким ветром и окропил лицо Хемета влагой. И тут же он услышал ржание Бегунца, а потом какое-то ~~воскресение~~ по ту, уличную сторону копытки. И хлынул жар — к голове, к груди, и невыносимо было это ~~борение~~ озноба и жара.

Хемет легко поднялся, откинул ногой потник из кустов, положил на него ружье, затем снял плащ, полушубок, живым свободным шагом пошел к забору и легко перемахнул через него, не произведя почти никакого шума.

Хемет не удивился, когда столкнулся с Юсуфом, едва завернув за угол, но был ошеломлен его высоким, слишком высоким ростом. Едва Хемет ударил в его крепкую грудь кулаком, ничуть не поколебав ее, как понял, что уже оплошал и может оказаться поверженным, но в следующую же секунду он пружинисто отскочил, а затем головой ударил противника в живот; а когда тот, гулко ухнув, согнулся, заработал кулаками. Хемет слышал, как хрюкают скулы, и почувствовал, что Юсуф не то чтобы уступает ударам, а ждет под их каскадом момента, — тогда Хемет опять отскочил и с силою ударил его ногой в пах.

Противник упал, а Хемет, все еще тяжело дыша, но без ослепления, без ненависти, понимая только, что малая долька жалости обернется против него, опустил на голову Юсуфа кулак...

Он вывел со двора коня, с усилием переброешил тяжелое тело противника поперек хребта лошади, затем вспрыгнул сам и поехал к реке.

На середине реки, где вода, темная, дышащая глубинным холодом, дошла коню почти до шеи, он почувствовал, как дрогнуло тело Юсуфа, и у него чуть не сорвалось с языка: «Не бойся, в воду я тебя не сброшу. Я только отвезу тебя подальше и отпущу».

Конский топот послышался за спиной, затем крики, и он прищипнул коня, а когда Бегунец, отягченно ухая нутром, лег было на крупную рысь, Хемет оглянулся. Его настигали четыре всадника. Хемет отвернулся и опять стал подгонять коня. Его уже настигали, стали обходить, а он и не думал останавливаться.

— Далеко ли собрался? — почти в ухо сказал ему Каромцев и перехватил узду.

Хемет молчал.

Каромцев, уронив поводья и упираясь в луку седла обеими руками, взгляделся в пленника Хемета и, выпрямившись в седле, кивнул спутникам. Те приблизились, плотно окружили коня с двумя седоками.

— А ну-ка снимите его, — приказал Каромцев, и бойцы сняли пленника.

— Не отдам, — сказал Хемет, не глядя на Каромцева. — Он ничего вам плохого не сделал.

— Помолчи! На то и суд, чтобы судить бандитов, — услышал Хемет суровый, почти жестокий голос и вслед за ним топот копыт.

Бегунец повернулся и тронул было за конями, но Хемет придержал его и простоял до тех пор, пока бойцы и пленник среди них не скрылись в сумеречных потемках городка.

Разве он просил их о защите и помощи, разве он неправильно бы сделал, поступив с противником так, как он считает нужным?

Февральским утром добрался до уездного центра раненый и обмороженный боец с кордона (на границе с соседней губернией были размещены кордоны из вооруженной охраны, чтобы воспрепятствовать утечке хлеба за пределы продрайона) и сообщил, что неизвестно откуда взявшиеся бандиты перебили их отряд и отряды на соседних кордонах тоже. На следующий день прискакал нарочный из Рождественки с известием о кулацком восстании. А наутро третьего дня из городка выступил отряд во главе с Каромцевым, остальную часть батальона должен был привести на станцию Хорошево в случае нужды в подкреплении его командир Петухов.

Сотня бойцов — неполная рота — выехала на подводах, мобилизованных в окрестных селах и в городке, и к полудню второго дня прибыла на станцию Хорошево и разместилась в зданиях кондукторских бригад, в теплушках, застрявших в тупиках. Отсюда Каромцев намеревался напасть на мятежников. Находясь вблизи станции, он мог бы действовать в согласии с командой бронепоезда, который, по слухам, вышел из губцентра в район восстания.

Отряд без особых усилий освободил Рождественку и, подстегнутый удачей, двинулся в соседнее село и занял его. Но следом же прискакал мужик из Рождественки: мятежники вернулись в село и собираются двинуться на станцию.

Спешно воротились на станцию и устроились на ночевку, выставив посты.

Хемету среди ночи послышалось храпение коня, и он таращась во тьму, прислушался. Мужественный храп стоял над распростертыми телами возчиков. Хемет повернулся на другой бок, но сон пропал. В огромной кондукторской витал морозный дух, перемешанный с запахом масла, табака, вонью портянок, сырой овчины.

Он поднялся, откинув тяжелый тулуп, затянул бешмет поясом и вышел наружу. Пляска метели продолжалась, в зыбком, колеблющемся свете фонаря качалось тупорылое тело паровоза. Он обогнул здание и пошел туда, где под защитой длинной стены и поставленных полукругом саней стояли кони. Теснясь среди крупов, он пробрался к Бегунцу и потрепал его по холке, забитой снегом. Руки у Хемета стали мерзнуть, и он просунул их глубоко под гриву и постоял так несколько минут. Потом он вспомнил, что на дне дровней под сеном лежит полмешка овса, и наклонился было, чтобы взять, но передумал. Еще неизвестно, скоро ли они попадут в село, запасы сена могут кончиться, так что пусть овес лежит впрок.

Он молил бога о том, чтобы поскорее все это кончилось, чтобы сынишка оказался подальше от этих мест, где назревают, а кое-где уже идут бои.

Бегунец не хрустел сеном, а стоял, затихнув. Хемет потрепал коня по загривку, стряхнул с него снег и медленно двинулся прочь. Но выйдя из-за стены, он лицом к лицу столкнулся с Каромцевым.

— А-а,— сказал Каромцев. Он проверял посты и, услышав шум у коней, завернул к стоянке. — Не спится?

— Не спится,— ответил Хемет, отступая за стену, и Каромцев тоже зашел в укрытие. — Куда дели того человека, комиссар? — спросил Хемет.

— Он в губернской тюрьме,— ответил Каромцев тихим голосом. — Ты не жалеешь о нем.

— Я не жалею,— хмуро ответил Хемет.

— Вот ты спросил в тот раз: «Что он сделал вам плохого?» Он нам классовый враг. А теперь можно мне спросить: что он тебе сделал?

— У меня с ним свои счета. Вот и все.

— На его совести десятки жизней, Хемет. Вот потому-то мы и воюем, чтобы не было ни убийств, ни разбоя. Ты понимаешь, что у нас с тобой общий враг?

— Я понимаю,— сказал Хемет.

Они долго молчали, вслушиваясь в шебаршение метели за стеной, вздохи лошадей, приглушенные голоса часовых. Затем Каромцев заговорил:

— Скажи мне, Хемет, ты всех возчиков наших знаешь?

— Городских всех знаю.

— Бойцов своих каждого я знаю. Кто на что способен, про родителей их знаю, про жизнь их знаю. А из возчиков только тебя. Хотел бы я знать, как тебя, хотя бы с десятков возчиков.

— Зачем? — спросил Хемет.

— Очень хотел бы!

— Ахматша — хороший человек,— сказал Хемет.— Порфирий, Зайнулла, много мы с ними ездили. Верные люди. И кони у них хорошие.

— Кони? — задумчиво повторил Каромцев.— Что ж, кони, кони...

Если бы Хемет не показался ему таким хмурым и скрытным, Каромцев, может быть, и рассказал бы о своем плане. Посреди ночи он намерен был с грохотом, санным визгом и выстрелами пустить с десятков возов в село — и чтобы во главе мчался самый быстрый конь и верный, беспрекословно подчиняющийся приказу возчик. Свой план Каромцев мог осуществить и не говоря ничего Хемету, но ему очень хотелось сказать, чтобы тот знал, на что идет. И в то же время он побаивался колебаний лошадника — все же Каромцев не мог ему приказывать, как своим бойцам.

— Ладно,— сказал он.— Ладно. Идем отдыхать.

Когда Каромцев ушел к себе, Хемет долго еще стоял посредине снежного кружения. В темноте метелицы, уже замирающей, спадающей, мерещился ему новый день, тревожный, опасный не пулями, нет: он мог потребовать от Хемета чего-то другого, отличного от того, что он делал всегда. Чего — он не знал, но предчувствовал это, и было ему тревожно...

Всего несколько минут продолжалось это невероятное ощущение медленного полета над обморочно покойными полями, под ветром, дующим, кажется, прямо с неба,— всего несколько минут вплоть до той, когда вдруг означились и хлынули окраинные избы, и густые белые дымки над ними в белесых потемках, и лай собак. И в ту же минуту Хемет ощутил, как стремительно движение, ощутил всю краткость скачки, и тень тревоги, и кромку страха, коснувшуюся его.

Ответная стрельба загремела часто и бестолково, оставаясь уже позади, и то, что они сделали, открылось Хемету в своей простоте и разочаровало его слегка.

Утром — он только напоил коня и тронулся было от колодца — увидел сына, идущего с ведрами за водой.

— Чей? — с дрожью в голосе спросил он у молодаяйки, крутившей ворот.— Чей это мальчонка?..

— А бабушки Лизаветы, Гришкой зовут, из беженцев.

Хемет свернул в переулочек, подождал, пока мальчишка наполнит ведро, и тронулся следом за ним, ведя в поводу коня...

Во дворах уже скрипели сбруей запряженные кони, перед зданием нардома Каромцев, выстроив отряд, рассчитывал личный состав. И уже возчики один за другим выезжали из дворов, и бойцы рассаживались по саням, когда вдруг скоком выехал на площадь Хемет и, миновав вереницу саней, остановил коня во главе колонны, где стоял Каромцев. Прислонившись к передку саней, одетый в полушубок, сильно перетянутый в поясе широким кушаком, сидел мальчишка, а посреди саней, натянув вожжи,— Хемет, и вожжи как бы ограждали юного седока с той и другой стороны.

— Нашего воинства прибыло, так, выходит? — сказал Каромцев, слегка теряясь. Он наклонился к Хемету: — Под пули едем, знаешь...

— Я его нашел,— сказал Хемет.— Я его нашел,— говорил он с упорными, неподатливыми интонациями в голосе, видя, что Каромцев медлит садиться.

Сперва они ехали широким, хорошо наезженным шляхом, затем от него ответвилась дорога поуже, но тоже хорошо наезженная — на Ключевку, до которой было километров десять. Когда проехали половину пути, Каромцев выслал вперед троих конных разведчиков. Вернувшись, они сообщили, что дорога впереди свободна. И они поехали дальше. Возницы азартно подхлестывали коней, бойцы, на ходу соскочив с саней, бежали некоторое время рядом, опять падали в сани — так солнечно и студено было в окружающем их пространстве, такой незыблемый покой чудился в каждом звуке, в мерцании белого снега! Каромцев, глядя на бойцов, тоже соскочил с саней и побежал рядом, и мальчишка рассмеялся и вскинулся было с места, но тут Каромцев под взглядом Хемета прыгнул в сани. Он прыгнул неловко, повалился и, когда умащивался удобнее, взглянул назад и увидел много конных. За конными мелькнул на развилке дороги и обоз.

Каромцев скомандовал было развернуть сани с пулеметами, а бойцам залечь. Но мятежники свернули на параллельную дорогу и, вроде бы не заметив бойцов, продолжали движение, но теперь они ехали несомненно быстрее, чем прежде. И тогда Каромцев сообразил, что они торопятся первыми войти в село. Он приказал развернуться и ехать побыстрее, чтобы опередить противника. «Что это за отряд,— думал Каромцев,— тот ли, что бежал из Рождественки? Или новая группировка?»

Колонны некоторое время ехали рядом по параллельным дорогам, и там, где они сходились особенно близко, Каромцев различал бородастые лица. Между колоннами то там, то сям возникали перелески, воздух был прозрачен и чист, и каждый звук точно отливался в легкий звонкий металл. Каромцев не спешил вырваться вперед. Ему хотелось понять — действительно ли мятежники спешат в село или, может быть, готовят какую-то ловушку? Судя по ухмылистым лицам, ничего худого для себя они не видят. Вон даже задирают бойцов:

— Эй, тифозные, не притомился ли кто из вас?

— Куды поспешаете? Не к молодкам ли ключевским?

— Ку-у-уды! Укатают сивку крутые горки. Рази што комиссар ихний с лозунгом удюжит!..

Вскоре казачки и постреливать стали, бойцы отвечали им, и такая разухабистая перестрелка началась, что зайцы из перелесков стали выскакивать и, ошалев от грома, бежали прямо на сани...

Дороги, что катились рядышком, отдалились одна от другой — та, которой следовал отряд Каромцева, стала широко разворачиваться, в то время как соседняя напрямик устремилась к селу, окраинные избы которого уже помахивали дымками. Бандиты прищпорили коней; вот и последние сани сверкнули на повороте полозьями, и тускло блеснул ствол пулемета.

Каромцев приказал остановиться. Он поднял к глазам бинокль и долго всматривался в сторону села. Когда первые конники бандитов приблизились к околице, из-за снежных валов поднялись бородатые, в тулупах люди, и Каромцев понял, что село уже занято мятежниками. Что ж, нет худа без добра: поспеши отряд и оставь позади себя противника, оказались бы в тисках. Он подозвал командиров отделений.

— Вот что,— сказал он.— Обстановка у вас на глазах. Соберите у коммунистов партийные билеты.

Он ничего больше не прибавил, кликнул ординарца Петруху и спросил у него, далеко ли запрятана шкатулка (в ней хранились копии донесений, приказов, плакаты на случай, если без промедления надо вывесить). Затем пошел вместе с Петрухой к саням. Из вороха соломы Петруха извлек шкатулку.

— Сейчас командиры принесут тебе партбилеты. Схоронишь по-лучше. Лошадь...— Каромцев поглядел на коня, на сидевшего в санях мальчишку в полушубке, на Хемета, стоявшего рядом.— Лошадь возьми у Снежкова. И если... так придется, гони на станцию доложить в штаб кавполка... Он должен прибыть туда...

Командиры тем временем принесли билеты, и Петруха, положив их в шкатулку, закрыв и перевязав ее ремешком, пошел к саням Снежкова. Каромцев подозвал Хемета.

— Обоз мы расположим на опушке у березняка,— сказал он без вопросительных интонаций, но надеясь все-таки услышать мнение Хемета.

— Верно будет.

— А ты за старшего,— сказал Каромцев.— Будешь здесь за старшего,— повторил он.— Без паники чтоб!..

Не оглядываясь больше на Хемета, на сани, отъезжающие к опушке, Каромцев направился к отряду. Он глянул на село, на его пустые улочки и велел бойцам рассыпаться в цепь. Бойцы Снежкова, пригибаясь, побежали в сторону села. Из окопов, видел Каромцев, высовывались головы, окруженные широкими воротами тулунов. Бойцы бежали все шустрее и кричали что-то. Но произошла заминка, когда, казалось, бойцам оставалось уже приступом брать окопы. Они остановились, а мятежники усилили стрельбу.

Вернулся Снежков, задыхаясь от бега:

— Стервы!.. Разбросал бороны зубьями вверх и присыпал снегом, стервы... Есть раненые, пошлите подводу!..— И сам опять побежал туда, к цепям, где множились звуки выстрелов и падали бойцы — то ли скошенные пулями, то ли залезающие в рывины, чтобы ловчее скрыться и стрелять.

Двое бойцов поехали на санях и вскоре привезли раненых, затем поехали опять.

Каромцев видел, что бойцы продрогли. А мятежники в тулупах да еще защищены снежными валами. Он не знал, сколько времени все это протянется, но до темноты хотел удержать напряжение, чтобы потом под покровом ночи отступить в березняк, собраться кучно и отстреливаться, если противник станет наступать. Кавалеристы не больно-то попрут по сугробам и чащобам. А к тому времени, может, и помощь подоспеет.

Он вздрогнул. Тяжело, гулко прогрехотал выстрел, и минутой позже — еще не замерли звуки первого выстрела — громыхнул второй. Вот чего не предвидел и не мог предвидеть Каромцев — что они станут стрелять из трехдюймовых орудий. Но и это было не страшно, отряд мог отступить в недосыгаемое место, а конные мятежники опять же не попрут по сугробам.

А трехдюймовки стреляли. Снаряды пролетали далеко над бойцами, лежащими в цепи, и над тем местом, где стоял Каромцев,— возле шалашика, наскоро сооруженного для раненых. Он глянул назад и обмер: бандиты обстреливали обоз, надеясь отрезать отряд от возчиков. И снаряды ложились то справа, то слева, то не долетая, то перелетая, но все неуклонней нашаривая ту смертную точку, в которую они потом будут бить не переставая. Но еще можно было отвести обоз подальше, и он вспрыгнул на коня и погнал к обозу. Если бы чуть раньше, чуть раньше! Он видел, как возчики кнутуют коней и выскакивают на дорогу.

— Стой! — закричал он, вылетая на дорогу.— Стой!..

Возчики приостановили лошадей.

— Не пускать! — велел он подбежавшим бойцам.— Стреляй, кто тронет коней!

Но снаряды рвались над головой, и несколько коней упало и дрыгалось в постромках, испуская дух. Возчики панически напирали на бойцов, а те кричали и палили в воздух. Объезжая их, возчики по целине выбирались на дорогу и, нахлестывая коней, уносились прочь.

— Сволочи! Трусые!..— Каромцев пристрелил одну за другой двух лошадей. Курок бесплодно щелкнул. Каромцев отбросил револьвер и выдернул из рук бойца карабин. Но стрелять было поздно, бесполезно: на опушке у самой чащи на прежнем месте стояла только одна упряжка и в санях сидел Хемет.

— Хемет! — крикнул Каромцев и двинулся туда, волоча карабин и повторяя уже без крика, тупо и укоризненно: — Хемет, Хемет!.. Обоза нет, нет коней. Восемь возов патронов — их нет.

Хемет сидел не шевелясь, и мальчишка тоже не шевелился. И Каромцев увидел, глянув пристальней, что парнишка сидит, как и сидел, спиной навалившись на передок саней, но голова у него откинута набок и на щеках как бы замерший румянец.

— Товарищ комиссар, товарищ комиссар!..— тербил Каромцева за рукав Петруха, и он встрепенулся, глянул назад.

Бойцы отступали. Отдельные конники уже выскакивали из села и устремлялись к ним, высоко размахивая клинками.

— Вот шкатулка,— услышал он и, увлекая с собой Петруху, побежал к Бегунцу, выхватил тесак, обрезал поводья и, толкнув Петруху в сани, крикнул: — Гони!..

Конь крупным галопом сперва по целине, затем по дороге пустился прочь...

Хемет слышал: кто-то тербит его за рукав и чей-то голос, полный отчаяния и скорби, зовет его куда-то. И по мере того как его звали и тербили, он помаленьку стал приходить в себя. Сперва он почувствовал запах, присущий только коням,— пота, свежего навоза, сырмятной кожи,— затем ощутил легкое дрожание земли, позванивание сбруи и тогда, вяло поведя взглядом, увидел встречную колонну всадников в шлемах, в полушубках, перехваченных вокруг пояса и наискось через плечо ремнями, с винтовками за спиной и шашками, побалтывающимися на боку. И когда хвост колонны миновал повозку, Хемет обратился к Петрухе, отчаянному, осунувшемуся, и понял, что это парнишка тербит его и зовет куда-то.

— Едем же, Хемет. Ведь закоченеешь! — сказал он опять, но Хемет ничего не ответил и двинул лошадь знакомой дорогой в сторону Маленького Города.

Сын по-прежнему сидел спиной к передку саней, только сполз немного, будто бы устроился поудобней, голова его была запроки-

нута назад и набок, и то выражение ликования, которое не сходило с его лица во время боя, так и осталось, но тогда он словно не замечал присутствия отца, а теперь будто все ликование, всю радость обращал к нему. И краска все не меркла на его лице.

Они ехали очень медленно, шагом, совершенно пустой среди белого поля дорогой. И не было в Хемете того чувства дороги, которое жило в нем всегда, оно исчезло тогда, когда он увидел уходящие глаза мальчонки.

Но когда он приблизился к дому, когда увидел издали зеленые ворота и на фронте дома два соприкоснувшихся остриями полумесяца, на лице его вместе со скорбью было уже то характерное для него выражение готовности преодолеть и еще преодолевать все, что ни пошлет ему судьба.

Через несколько дней Каромцев увидел в окно, как подъехал на лошади Хемет, привязал ее на обычном месте и направился к крыльцу.

Он вошел без стука, стал у двери, стащил с головы шапку и, поправив на макушке тюбетейку, сказал:

— Здравствуй, Михайла.

Каромцев пошел к нему, прикачивая левой рукой правую, толсто спеленатую бинтами.

— Здравствуй,— сказал он.— Я ждал тебя.

На лице Хемета отразилось спокойное удовлетворение.

— Я ждал тебя,— смущенно повторил Каромцев и слишком поспешно стал доставать планшет, а из планшета сложенную вчетверо бумагу.— Я вот бумагу тебе написал. Все как положено, печать стоит...

— Какая бумага? — спросил Хемет.

— Что ты... участвовал в бою. В общем, если тебя, может быть, спросят...

— Кому я ее покажу, бумагу? — спросил Хемет, и в голосе не было ни обиды, ни удивления, а только непонимание: кому надо показывать бумагу и кому может прийти в голову спросить у него бумагу? Наконец что-то ему стало как будто понятно. Он сказал: — Разве ты забудешь?

— Не забуду, Хемет,— с чувством сказал Каромцев и, подойдя к нему, тронул его плечо.— А бумагу все же возьми,— добавил он голосом уже обычным — и добрым и властным.

Хемет взял, постоял с минуту, не глядя ни на бумагу, ни на комиссара, а глядя в окно, за которым играло яркое, безмятежное сияние на снегах, потом извлек из кармана кисет и, развязав его, сунул туда бумагу и, опять завязав, положил в карман.

— Теперь я пойду,— сказал он.

Каромцев сказал:

— Ездить мне пока нельзя, а тебе еще придется...

— Теперь я пойду,— повторил Хемет и надел шапку, завязал у горла наушники.— Выздоровливай,— сказал он.

Вот уже четвертое утро, заночевав в бывшем детском приюте, он вел Бегунца через всю деревню за околицу, сопровождаемый смешками баб и девок, суровый, сосредоточенный в своем упорстве, не обращая ни на кого внимания, только поглядывая на небо и вздыхая.

4

Пройдя с версту и увидев впереди, у березового колка, табун крестьянских лошадей, он остановился и стал оглядываться, будто

ища, куда бы свернуть. На лице у него было выражение обреченности и тоски.

Табун, когда они приблизились, весь почти стянулся в колок, только лошадка под седлом торопливо пощипывала сухую жесткую травку и тоже подвигалась к березкам. Хемет увидел пастуха, лежащего под деревом, подошел к нему и тронул носком сапога.

— Эй,— сказал он высокомерно,— если ты сегодня не привяжешь к дереву эту гнедую вертихвостку, то я сейчас же и уеду.

— Уезжай.— Сказав это, пастух приподнялся на локоть, жалостно и одновременно с укором поглядел на него.— Дак хоть привязывай, не дается она. Переневолилса твой жеребец..

Хемет не ответил. Он смотрел, как идет гнедая за шторую березовых ветвей дразнящей неуступчивой походкой и длинная извилистая спина ее бархатисто блестит. Бегунец заржал тихонько, и гнедая искоса глянула на него.

— Лови и вяжи,— сказал пастух.— Что хошь делай. Только, говорю тебе, перестарел твой жеребец.

Он выпростал из-под себя свиток аркана и притолкнул к ногам Хемета. Тот, нагибаясь за арканом, глянул в лицо пастуха и сказал:

— Не годится жеребца гонять. Возьму твоего коня.— И, не дожидаясь ответа, взяв еще курук, пошел к пастуховой лошади.

Бодря, зля лошадку, размахивая куруком, он выгнал гнедую на простор и поскакал за нею галопом, забирая в сторону. Улучив момент, он набросил аркан на шею гнедой, а потом концом курука поддел скользящую в траве бечеву и стал наматывать на руку. Гнедая оскорбленно заржала, но аркан все туже сжимал ей шею.

Наконец Хемет привязал кобылицу к березе, затем пошел к своему коню и, сняв с него уздечку, хлопнул его по боку.

— Ничего,— проговорил он смущенно.— Сегодня и поедем. Только обрати ты, ради всевышнего, эту вертихвостку.

Не оглядываясь он пошел в колок и сел рядом с пастухом.

Осень и зиму он пробавлялся случайными заработками. В начале весны сосед ветфельдшер Кямилль прочитал ему в газете, что в округе озабочены выведением хорошего потомства лошадей, общинам предлагалось не выпускать на пастбища полевых жеребчиков-заморышей, кастрировать их и приобретать породистых. Хозяин, чей жеребец покрыл бы двадцать кобыл, освобождался от сельхозналога и еще получал награду. И вот в течение весны Хемет раз за разом приезжал в Ключевку и, пожив с неделю, возвращался в городок. Этот приезд по его расчетам должен был стать последним.

«Сегодня же и поедем»,— подумал он, сплевывая густую, вязкую слюну. Застойный воздух в колке вызывал истому, почти удушье. В степи бесновались жара и ветер, серо-желтый куст курая летел, крутясь и вихляясь, в горячих цветистых струях воздуха.

Хемет отвел взгляд от курая и увидел, как Бегунец, наострив уши, стройно вытягиваясь мускулистым туловом, шел к гнедой. Подойдя, он вытянул шею и дотронулся до холки гнедой, но та стала отступать бок и в следующую минуту, сильно махнув задом, христнула копытами в грудь Бегунца. И потом каждый раз, когда он приближался, кобылица, вертясь вокруг березы, взмахивала задом и ударяла копытами.

— А чудится мне, ошибся ты в счете,— заговорил пастух, и в голосе его были ложь и великодушие.— Жеребец-то твой как раз и обработал двадцать кобыл, чуешь? Сивуха как раз и была двадцатая.

— Так двадцатая ли?..

Тут пастух закричал:

— Забирай свово жеребца! Ступай, ступай, скажи в Совете: мол,

как раз двадцатую кобылу обработал коняга, мол, Петра подтвердит. Иди!

Хемет молча пошел из колка и, поймав коня, надел на него уздечку и повел к дороге. Но, сделав несколько шагов, обернулся и спросил:

— Не слышал, на Коелинских песках все бурят?

— Да говорят,— ответил пастух, отвязывая гнедую и сильно стегая ее концом аркана.

«Надо завернуть туда,— подумал Хемет,— если вдруг они надумают в город, так чтобы ехать не порожнему».

В тот же день, взяв в сельсовете справку, он поехал на Коелинские пески.

Они начинали на рассвете и работали не переставая дотемна — так изо дня в день вот уже второй месяц, спеша хоть на день, на два опередить нашествие суховеев. Но вот уж и первое дыхание суховеев обвело их, а все так же подымались они на заре, и длинная вереница повозок, переваливаясь на песчаных бурунах, трогалась к займищам, а Каромцев и его помощник по земотделу Якуб шли к краю песчаного поля, взрытого рядами борозд и засаженного долгими черствыми хлыстами щелюги. Они смотрели вдаль, и до самого горизонта была взрытая песчаная полоса.

— А ежели бы не шестнадцать подводчиков, а, к примеру, сок,— говорил мечтательно Каромцев,— так мы бы всю Коелю засадили щелюгой, чтобы проклятые пески так и полегли намертво!

Вскоре в первых золотистых лучах солнца показывалась головная подвода; высоко груженная хлыстами, она подымалась на взгорье, а за нею вторая, третья, возы колебались на бело-синем фоне с легкостью перекаати-поля. Хлысты сбрасывались вдоль поля, где должна была пройти борозда, подводчики распрягали лошадей, а Якуб с рабочим Епишевым брали двух коняг и запрягали их в плуги. И начиналось! Якуб вел борозду, а подводчики двигались следом и легонько втыкали в бока свежей борозды хлысты комлями, присыпали середину хлыста и притаптывали ногой. А Епишев, поотстав, вел свою борозду рядышком, заваливая первую. Сперва Каромцев наблюдал работу, потом и сам становился в ряд с подводчиками и втыкал хлысты, присыпал песком и придавливал негнущейся ногой. Поработав, он шел к палатке, в тень.

Он думал об этой черствой, неприютной земле, о работе, которой хватит на долгие годы, прежде чем земля станет плодоносной, о странной и счастливой своей судьбе.

В апреле 1922 года бывший уездный продкомиссар поехал на Дальний Восток, где еще шла гражданская война, там был дважды ранен, в голову и в ногу. Полгода провалявшись в госпиталях, он месяц почти добирался до родных мест, с полгода еще лечился в городе и наконец назначен был заведовать земотделом М-городского округа.

Округ вобрал в свои границы и прежний уезд и еще огромные пространства — от лесостепных ландшафтов через сухие жаркие степи до глинистых и песчаных полупустынь. Всем, что относилось к земле с ее злаками, пашнями, пастбищами, водой, тварью дикой и прирученной, обязан был заниматься Михаил Егорович.

Нынче всю весну он пропадал на Коелинских песках. Здесь пески, движимые непрерывным ветром, шаг за шагом вытесняли травы, отсюда тучи песка летели над гладким голым пространством и ложились на пашни, сенокосные угодья, жестоко истощая их... С посадкой щелюги проблема песков не исчерпывалась. Чтобы осво-

ить Коелу, надо было обеспечить ее водой, и сейчас на другом краю Коелы, далеко за барханами, рабочие бурили скважины, чтобы потом, на будущий год может, вырыть шахтные колодцы и поставить водоподъемное оборудование. Тогда с теперешних пастбищ по крайней мере часть скота можно было бы перевести на Коелу, а пастбища не трогать, пока не прорастет трава и не даст семена. На случай суровой зимы с этих пастбищ можно было бы заготовить запасы сена.

...Однажды, сидя уже в темноте, он услышал конское ржание, тарактение телеги.

— Эй-эй! — крикнул он. — Кого бог принес?

Телега остановилась на дороге, не завернув к табору.

— Каромцев тут? — услышал он и вскочил с места.

К нему направлялись трое, и по голосам он узнал бурильщиков.

Он позвал:

— Сюда! Здесь я... Случилось что?

— Есть вода, товарищ Каромцев!

— Вода? На Коеле?

— Как вы и предполагали, — смеясь, ответил старший из бурильщиков, — на Коеле наверняка миллиарды кубометров воды.

— Якуб! — крикнул Каромцев. — Братики, слышите ли? На Коеле вода!.. Вода, язви вас, дрыхнете, что ли?!

Потом, уже усадив бурильщиков возле не остывшего еще костра и угощая их чаем, он спросил:

— А где же ваш подводчик? Зовите и его.

— Так он в город поехал. Звали мы его, да не захотел.

А Хемет в это время был уже далеко от табора. Бурильщики, которых он подрядился было везти в город, расплатились с ним щедро, но какая-то досада мучила Хемета теперь, когда он оставил их в становище у Каромцева. «Не спит Каромцев, — думал он. — Давно мы с ним не видались. Э-э, сказал бы Каромцев, ну и промысел ты себе выбрал, друг Хемет!» И он сильнее подгонял коня.

На другой день у себя в кабинете Каромцев писал письмо в облземотдел. Тут на пороге стал Якуб и заговорил, помахивая бумажкой в руке:

— Поглядите, какую справку привез нам один владелец жеребца. — В глазах его был яркий блеск, примета недавнего веселого и беспощадного смеха. — Стало быть, его жеребец, как это видно из справки, покрыл ровно двадцать крестьянских лошадок! Ему, значит, полагается премия и освобождение от сельхозналога...

Каромцев нахмурился и протянул руку за бумажкой.

— Кто такой? Что за справка?

— Да все его знают. — Улыбаясь, Якуб подал ему справку. — Лошадник Хемет. Всю жизнь мечтал разбогатеть. Рассказывают, держал верблюдов и хотел открыть торговлю шерстью. Да на животин этих мор напал, все подошли. А теперь вот новым промыслом занялся. Если, конечно, к осени этот его жеребец еще двадцать кобыл....

— Я знал одного лошаdnика по имени Хемет, — сказал Каромцев, — если только тот...

— Да как же не тот. Он и есть, единственный!

И тут Каромцев пристально посмотрел на своего помощника:

— Надеюсь, ты не хохотал ему в лицо, этому лошаdnику?

— Нет, — сказал Якуб. — Он был злой как черт. — Помолчав, он добавил с ненавистью: — Я их, Михаил Егорович, терпеть не могу!

Лошадник был, без сомнения, из того же племени, к которому принадлежал и его отец, шапочник Ясави. У Якуба с родителем шла давняя и непримиримая война.

Когда ему исполнилось четырнадцать, отец стал усаживать его за шитье шапок. «Что за мужчина, который в четырнадцать лет не умеет держать иглу в руке!» Якуб только сжимал зубы и чувствовал мучительную затверделость на скулах.

Ясави слишком гордился своим ремеслом и торговлишкой, чтобы поверить, как все это чуждо сыну. Он, пожалуй, и мысли не допускал о небрежении к своему ремеслу. Пока сын учился сперва в медресе, а потом в новой школе, он не интересовался им. Только позже, когда сын превратился в рослого и сильного подростка, Ясави стал тяготиться его учебой, как будто его самого заставляли учить буквы и писать. Он сказал сыну: «Хватит!» — когда тот окончил семилетку, но время уже было упущено — сын так упорно, с таким неистовством отказывался от шитья шапок, что Ясави загоревал. Однако, повздыхав, он спустился однажды в погреб, принес оттуда горшочек с топленным маслом и сказал: «Ступай к директору техникума и скажи, как велико твое желание учиться!»

Якуб, обрадованный и ничего сумасбродного не подозревающий в своем действии, явился к директору сельхозтехникума Кальметеву, поставил горшочек на стол, затем вынул из кармана свидетельство об окончании семилетки. Кальметев рассмеялся и вернул ему горшочек с маслом. На первом же экзамене Якуб провалился и опять пришел к директору. «Я не прошел испытания, — сказал он дрожащим голосом, — но учиться желание большое. Не откажите принять, масло очень хорошее, домашнее». Кальметев опять рассмеялся и велел, чтобы его зачислили на случай отсева.

Про тот случай с топленным маслом он никому не проболтался, он и за Кальметева мог бы поручиться. Но почему же соседские парни, а потом и техникумовская братва поддразнивали его? Он бросался с кулаками на каждого такого шутника, пока наконец ему не пришлось в голову, что сам же отец и похвастался: вот, мол, какой верный совет дал своему отпрыску! И вся его обида и злость обратились против отца. Не думает ли он, что Якуб и впредь будет послушно следовать его советам, не кажется ли ему, горделивому кустарю, что сын его в чем-то похож на него самого?

Сейчас он работал в земотделе и был куда независимей, чем прежде. Но он оставался сыном хитроумного торговца, он приходил домой и слышал все тот же отвратительный запах овчины и все те же разговоры о выгоде и потерях, и молчаливое, подавленное сожаление о себе, изменившем ремеслу отца, угадывал он в глазах матери. «Я уеду из этого городишка! — думал он. — Я все-таки уеду, и ничто не заставит меня вернуться сюда!»

Он горько сожалел теперь, что послушался отца и поступил в сельхозтехникум. Коровы и лошади ничуть его не интересовали. Вот если бы он поехал в большой город, в такое училище, где его научили бы делать машины или... чтобы летать на аэроплане!

А пока он бредил колесницей на парусах, пропадал в мастерских депо, носил им старые двигатели, требовал части для какого-то — он еще и сам смутно представлял — фантастического комбайна и являлся в земотдел перепачканный как черт. «Мальчонка-то шапочника, смотрите, какой чумазый, — говорили обыватели, — он никак на тракторе учиться ездить? Уж не на ярмарку ли он собирается на тракторе, а?» «Погоди же, старый хрыч! — грозил он городишку. — Погоди же у меня!..»

На задворье окрисполкома было три конюшни, в которых стояло десятка два тощих неопрятных лошадок, и гнилой навес, под которым одни на другие были свалены сани, так что телеги и поставить было некуда, и они во всякую погоду стояли открыто, неопрятные, побитые и едва чиненные. Кучеров было четверо, и те возили только председателя и секретаря исполкома, секретарей окрпарткома, остальные работники запрягали и кучерили сами. Когда Каромцев сказал председателю исполкома о своем решении навести порядок на конном дворе и что для этого им и человек найден, тот сказал только: «Добро!»

— Я, кажется, нашел тебе дело,— говорил он на следующий день Хемету.— Весь инвентарь и коней передаем тебе по списку. И усадьбу Спирина получишь под ямщину.

Ямщина не стала дивом для жителей городка. Еще не забылись щегольские выезды городских ямщиков, их мохнатые, сытые, с ясными боками лошади, перезвон колокольцев и громок повозок. Еще живо было поколение тех ямщиков, имеющих в зарежье свою свободу. А что касается Хемета, быстро наладившего дело, тоже неудивительно: он знал дороги верст на триста окрест, понимал толк в конях и в хорошей сбруе и инвентаре, знал цену копейке. Он распродал исполкомовских лошадок старше десяти лет и купил неказистых на вид, но быстрых и выносливых коняжек у казахов. Покупка и продажа, видать, произошла с выгодой, так что Хемет приобрел два ходка с плетеными коробами и выплатил аванс нанятым на работу ямщикам. Неделю-другую он вместе с ямщиками приводел в порядок сбрую, ходки и сани, а потом, когда дела в ямщине пошли лучше, на дворе усадьбы появились мастерские — шорная и по ремонту повозок. Ямщина заимела даже своего ветеринара...

В один прекрасный день у крыльца исполкома остановилась тройка, запряженная в тарантас, высоко на козлах сидел Хемет, накрутив на руки вожжи. Каромцев вышел на крыльцо. И тут же вскочил за ним Якуб:

— Я с вами, Михаил Егорович! Мне так важно съездить в Ключевку.

Пока они усаживались, Хемет пристегнул головы пристяжных так, что они колесом выгнули шеи. Ох, мчались они через всю главную улицу! Однако когда выехали за город, Хемет остановил повозку, слез и отстегнул ремни. Дальше они ехали легкой рысью, почти трусцой.

— Пыль в глаза пускает,— проговорил Якуб.

— Пыль? — переспросил Каромцев.

— И больше ничего. Зеваки шарахаются в переулки, грохот и звон — и не хочешь, да поедешь. Жизнь к тому движется, чтобы техники побольше, а мы... ямщину рекламируем.

Каромцев усмехнулся:

— Уж не сани ли с парусами — техника?

— Зря вы смеетесь,— сказал Якуб.— В ту зиму у меня не получилось, потому что паруса-то к дровням приспособлявал. А если бы легкие сани, то, может, на парусах бы и ездили в ту зиму.

— Мечты, мечты...

— Вот вы говорите так,— возразил Якуб,— а ведь никто не верил, что в воздух можно подняться. А люди летают! — Он помолчал, потом опять о своем: — Такие степи, Михаил Егорович... Вот ветер дует. Бывает ли такой час, чтобы ветер в степи устал? Никогда. Это значит, хоть днем, хоть ночью езжай куда только хочешь!

День уже меркнул, солнце сближалось с курганами, и лиловые тени пошевеливались на бегучих ковылях. Небо еще краснело, алело

вспыльчиво. Но не хлопотали птицы, скрылись в норках суслики. И угмонней, прохладнее потек ветер. Они спустились в лощину, а когда поднялись, впереди показались купы осокорей и колоколенка. Хемет остановил коней и стал пристегивать шеи пристяжных к хомутинам. В село они влетели под грохотище колес, дикие пошвысты Хемета, ярый звон колокольцев...

В Ключевке, Каромцев знал, имелась тысяча десятин земли, а записано было по подворным спискам восемьсот. Он хотел выяснить, где числятся те двести десятин и почему с них не платится налог, и он надеялся, когда брал Якуба с собой, что тот поможет ему побыстрее управиться с этим делом. Но тот исчез куда-то.

Не дождавшись Якуба, он взял с собой нескольких активистов и отправился на поля. До вечера они замеряли пашни, на другой день с утра тоже пропадали на поле. Якуб точно в воду канул.

— Не видали ли моего помощника? — спросил Каромцев крестьян, и те ответили:

— Так он по дворам ходит, автомобиль ищет.

— Какой автомобиль? — удивился Каромцев.

Те только плечами пожали.

Якуб появился наутро, волоча побитый, облезлый велосипед. Лицо у него было осунувшееся, бледное, одежда в пыли.

— Ты, кажется, не терял времени даром, — с сарказмом сказал Каромцев, держась за край тарантаса.

— Да как сказать, Михаил Егорович, — ответил Якуб, поглаживая никелированный руль машины. — Я облазил всю деревню, всю! Да вот... только велосипед нашел. На чердаке, знаете, бывшего детприюта. Говорят, ребятишки украли у поповича да спрятали...

— Так ты не велосипед искал?

— Велосипед тоже неплохо. А искал я машину Яушева. Ничего удивительного, Михаил Егорович: Яушев, когда драпал, выехал из города на автомобиле. А уже в Ключевке пересел на коней. Дескать, надежней будет. — Он помолчал, что-то обдумывая. — Да вы не беспокойтесь, я найду его. Может, Яушев не в Ключевке его оставил, а в Гореловке или еще где...

Окрисполкому выделили автомашину, драндулет из драндулетов, — колеса ее были голы, повыбиты спицы, она жалобно скрипела всеми сочленениями, когда скатывали ее с открытой площадки вагона, а потом грузили на широкую, ломового извозчика телегу, кузов был продырявлен пулями в нескольких местах, дверца одна никак не закрывалась, и Якуб все придерживал ее, пока автомобиль скатывали с вагона и водружали на телегу, а потом везли от самой станции через весь город к окрисполкому. С того дня он не отходил от автомобиля. Он снимал с амбара тяжелый, прохладный от росы замок, выкатывал на середину двора автомобиль. Заведя мотор, садился в кабину и слушал, прижмурясь, постукивание двигателя, надавливая на газ то слабо, то сильно, то совсем убирая ступню с акселератора. А двор между тем наполнялся светом и теплом пенистого, сытого звуками и запахами удивительного утра. Распахивались на двор окна, там мелькали фигуры людей, дробно выскакивала трескотня пишущих машинок, звенели телефоны.

Посидев так, он глушил мотор, выходил из кабины и, оглядев автомобиль, принимался протирать стекла, спицы. Однажды он раздобыл черный лак и два дня был занят покраской. Исполкомовские работники, чье любопытство было утолено за день-два, не обращали теперь внимания ни на автомобиль, ни на Якуба, даже те, кому эта возня казалась забавной и никчемной, не задирали его больше на-

смешками. Но равнодушие ему было обиднее, чем самые язвительные насмешки. Только в разговорах с исполкомовским сторожем он отводил душу, мечтая о могучих моторах, о том, что и сам он когда-нибудь станет их отважным повелителем. Сторож дымил сигаркой и вежливо поддакивал.

— Хорошо ли закрываешь амбар? — сказал он как-то. — А то вон в ямщине коня увели. Говорят, цыгане стали табором в степи.

— А зачем цыганам машина? — сказал Якуб. — Им кони нужны, а машина им ни к чему.

Но, запирая амбар, он взвесил на ладони замок, с удовольствием ощущая его тяжесть.

А конь и вправду исчез со двора ямщины. Наутро Хемет выяснил, что один из ямщиков ездил на мельницу, вернулся поздно и поставил коня на выстойку. Сам он прилег на телеге, чтобы часа через два напоить лошадь, дать ей корму и поставить в конюшню. Но так как он был выпивши, то проспал до утра. А проснувшись, увидел, что лошади нет. Следы вели к речке и там терялись.

Хемет избрал ямщика и приказал искать коня. Ямщик ушел и вернулся после полудня злой, жалкий, и Хемет опять побранил его, но не так грозно, как утром. Он уж думал про себя, что коня, если цыгане увели, вряд ли найдешь, а шум вокруг происшествия может оказаться убыточней, чем если купить нового коня. Но Алсуфьев, усталый, издерганный похмельем и бесплодными поисками, вдруг крикливо стал говорить, что у него есть волчий капкан и он установит его в конюшне возле стены, выходящей в глухой переулок. Его речь возбудила и остальных ямщиков. В их заярыстых голосах все внятней, все пронзительней звучали нотки воинственного озлобления. Для них, извечных лошадиников, маячила встреча с извечным врагом — конокрадом, и это веселило и ожесточало их...

Когда Хемет вышел со двора и двинулся вниз по улице, ему еще слышались необузданные голоса ямщиков. Затем он свернул в переулок, и здесь под ногами пружинила войлочная мягкость пыли, и воздух насыщен был и пылью, и запахами молока, дымка, варева, и звуками людей и вещей, и среди движения теней и полусвета сумерек, запахов и звуков точно подымались и опадали призраки тех необузданных, заяристых голосов.

Когда наутро он вышел на улицу, ему показалось, что голоса ямщиков так и не затихли со вчерашнего вечера. Но они, оказывалось, и не были так громки, как померещилось сперва. Трое ямщиков стояли возле повозки, глядели себе под ноги и, судя по голосам, вроде спорили. Он еще не дошел до них, когда один обернулся и поспешно выпалил:

— Как есть в капкан угодил!

И тут Алсуфьев, иссиня-бледный, с сумасшедше вертящимися глазами, оттолкнул легким порывистым туловищем ямщика и прокричал в самое лицо Хемету:

— Известный пьяница!.. Жулик! Пасынок Грибанова-пимоката!

Хемет шагнул к повозке и увидел лежащего на боку, с поджатой к животу ногой парня. Веки его были сомкнуты, но тело дышало, явно подымаясь и опадая. Он, пожалуй, слышал, что говорили над ним мужики.

— Запрягайте, — сказал Хемет. — Отвезете в амбулаторию.

Горестным взглядом, будто прощаясь, обвел он обширный двор ямщины и направился в исполком...

Городок давно уже с любопытством наблюдал, как под крылышком исполкома благоденствует прежде безродный бродяжка. И те-

перь каждый, кого допрашивала встревоженная милиция, торопясь и захлебываясь, припоминал все, что знал или слышал о Хемете. В газете писали, что не будь ямщины, исполком никогда не стал бы объектом для наглого нападения грабителей, что дело не кончилось бы так печально, если бы не собственнические страсти всякого сброда, зачем-то собранного в ямщину.

Каромцев понимал, что городок поговорит о случившемся и забудет. Газета тоже не сегодня-завтра поостынет. Суд не окажется суровым к ямщикам, поскольку жертва действительно вор и жулик, намозоливший глаза окружной милиции. Но ямщину закроют, думал он с сожалением. Из облцентра пришло письмо, полное удивления и негодования: о какой ямщине идет речь, разве есть еще ямщины? И неужели правда, что ямщина существует при окрисполкоме? На чей счет? Кем утвержденная?

Ямщину закрыли. А через некоторое время городок уже жил новым событием: открыли спортсекции и во главе поставили Якуба, сына шапочника Ясави.

5

Усадьба хлеботорговца Спирина была огромна: на высоком фундаменте дом с пятью или шестью просторными комнатами, каждая из которых могла быть использована в случае нужды и как склад зерна, вдоль длинной стены веранда, громоздкая, аляповатая, но открытая солнцу, сухая и теплая, так что и веранду и комнаты, говорят, Спирина в удачные годы засыпал дешевым, почти даровым зерном; наконец, амбары, конюшни и гладкий широкий двор, на котором ни травинки не росло, ни одна грядка не была вскопана и засажена.

Об усадьбе вспомнили, когда понадобилось помещение для спортсекций.

И двор-площадь наполнился молодыми голосами, трелями велосипедных звонков, чиханием и стуком автомобиля, на который окружное начальство не только не посягнуло, а, наоборот, постаралось от него отделаться. На первомайской демонстрации Якуб и его питомцы подивили городок великолепной картиной: перед трибуной проехала колонна велосипедистов, за ними конники в буденовках, с развернутым красным флагом и даже группа лыжников прошагала, держа на плечах лыжи.

Работа в спортсекциях шла своим чередом, но Якубу по-прежнему не давала покоя мечта о колеснице, летящей под парусами. Когда смеркалось и усталые ребята расходились по домам, он, заперев амбар, уходил к себе в комнатку и просиживал до глубокой ночи, чертя облик будущей колесницы, чтобы на завтра опять что-то менять и делать заново, а вечером снова чертить и менять.

Наконец вычерчен был окончательно корпус колесницы плавных форм, как у лодки, с заостренным носом, который разрывал бы ветер. Якуб хорошо чертил, разбирался в двигателях, но с деревом работать не умел и заставил записаться в секцию сыновей мастера по яликам Батурина. Сложно оказалось с колесами. Хорошо бы дутые, но где их взять? Он подумал было приспособить велосипедные колеса, но они были слишком высоки и хрупки, так что пришлось упросить мастера-каретника старика Гайнуллина, чтобы тот сделал колеса. Старик запросил дорого, и секция подрядилась грузить шкуры на бойне. В воскресные дни будущие спортсмены являлись на бойню гамузом и уходили в сумерках, изнуренные, хмельные от ядовитых запахов закисающих шкур, с руками, изъеденными мокротой

и солью. Наконец они получили нужную сумму и вручили каретнику.

Так они провозились всю весну и начало лета. И вот колесница была готова. Якуб, кажется, все рассчитал правильно: корпус, сильно смахивающий на ялик, но широкий сзади и с сиденьем и спинкой, как в автомобиле, с упором для ног; сзади два колеса на длинной устойчивой оси, впереди одно, послушное румпелю. Еще с неделю они шили парус, стругали мачту, для шкотов Якуб взял веревки из мочала — тонкие, туго свитые, они были легче пеньковых и не уступали им в прочности, такие веревки вили в ямской слободе.

Наконец колесницу отвезли на подводе за город и поставили невдалеке от окраинных домиков, в самом устье дороги, которая уходила желто-серым четким руслом в зеленых берегах прямо в синь, прямо в жар и блеск неба. И Якуб, бледный и молчаливый, сел в кабину, подобрал шкоты, чувствуя все разрастающееся дрожание колесницы, по мере того как парус набирал ветру.

И вот колесница не в лад с ее угрожающим дрожанием тихо покатилась, тележно потрескивая колесами. Парус натягивался ту же, звучал барабанно, и ветер уже бубнил, чтобы вот-вот засвистать...

Колесница катилась прямо, все прямо по желтой ровной дороге, которая вблизи точно выгибалась, а уходя в дрожавшее марево, как будто подымалась в небо. С полчаса, наверно, он ехал ловчась, то потравливая шкоты, то натягивая, когда ветер ослабевал. Затем колесница побежала быстрее, он и не думал поворачивать обратно, хотя где-то позади остались ребята и им тоже интересно было бы наблюдать колесницу. Навстречу ему лились потоки солнца; серебристый ковыль, белые полынь и ромашка, розовый иван-чай, красная гвоздика — это вспылчивое соцветие вот-вот, казалось, мелькнет в последний раз, но — дальше и дальше, а оно пылало ярко, неистребимо, будто влекомое полетом ветра. Он видел беркутов в вышине.

По правую руку обозначились гладкие такыры, и он свернул туда. Ветер рывками толкал и толкал парус, у лица он осязал вихревое прохладное кипение, а по сторонам и впереди плавало горячее марево. Вскоре он увидел серые каменные могильники и стал заворачивать к ним. Тут колесницу трянуло, парус медленно стал клониться набок. Он машинально выпустил румпель и схватился было за кромку паруса, но парус рванулся и сильно ударил мачту оземь. Послышался треск...

Он свернул парус, положил его на дно кабины и, подталкивая сзади колесницу, двинулся к брошенному кладбищу. В кустах вишенника он отыскал родник и напился, затем по обломкам руин поднялся к усыпальнице. Башенки ее остро подымались над буйными зарослями терновника. Он смотрел на башенки, на круглое, с куполообразной кровлей надгробие, на каменные стены с башенками по углам и вовсе скромные земляные насыпи — смотрел, и невольная печаль охватывала его от скорбного покоя.

Он прислушался к ветру. Ветер был беззвучен. А ведь только что чудился в нем шум моторов.

На второй день он поехал к могильникам с сыновьями Батурина и привез колесницу во двор усадьбы. Ребята готовы были тут же тесать новую мачту, но он сказал, что можно не спешить, ушел через веранду в комнату, пыльную, прохладную и гулкую, и просидел там до вечера.

Что дальше? Вот уж год он жил той жизнью, о которой мечтал,

то есть всецело отдавался своему увлечению, имел власть над усадьбой, над автомобилем и десятком велосипедов, над собой и парнишками и девочками, которые смотрели на него как на предводителя и кумира. Казалось, не будет предела его мечтам и делам, но вот он сделал колесницу, сел и поехал... Что дальше?

Он вышел на крыльцо. Долгий светоносный день клонился к западу, и тихо, тихо было на дворе. Он медленно сошел по ступеням и вышел за ворота. До темноты он ходил по улицам, отвечая кому-то на приветствия, но не задерживаясь ни с кем, потом вернулся в комнату и уснул невозмутимым сном. Открыв глаза, он не удивился, что спал в этой комнате, предназначенной, казалось, только для плодоносных бдений, медленно поднялся и вышел во двор.

Наблюдая пролетающую в темном небе звездную стаю, не слыша ни звука в глубокой ночи, он простоял так, пока не почувствовал озноб. Он вернулся в комнату и сел за стол. Придвинув бумагу, он обмакнул перо в чернильницу и написал: «Полночь. По темному небу идут темные облака. Но быстрее их летят звездные стаи. Ни звука. Я сижу и пишу тебе, Айя...» Он остановился, резко подавшись назад, поглядел на ее имя, чернила сверкали, как яркий смех, и радость охватила его. Он улыбнулся тихой, открытой улыбкой уединенного человека и продолжал писать: «Айя, я так давно о тебе думаю...» Он закончил письмо и, не перечитав его, поспешно вложил в конверт и заклеил.

Он выбежал на улицу. Прохлада росы вторгалась в густой, теплый со дня воздух. Где-то в глубине улицы слышался цокот копыт (наряд милиции объезжает город). Он остановился у палисадника и медлил только минуту, затем, едва коснувшись рукой оградки, легким, летящим движением перебросился в гущу акаций. Исколотый, обсыпанный росой, он пробрался к крайнему окошку и сунул конверт в щель между рамами. Опять он помедлил, не чувствуя никакой опасности, а ему так хотелось, чтобы опасность коснулась его волнующим крылом!

Ему не хотелось домой, он вернулся туда, где писалось это удивительное письмо. Он сдернул с гвоздя плащ, который висел здесь с весны, завернулся в него, лег на диван и уснул блаженно.

Утром он услышал во дворе удары по мячу, голоса ребят и подумал: она там! Он выглянул в окно — там играли парни. Он не вышел к ним, а они вскоре разбежались, чтобы поспеть на работу. Ему предстоял долгий бездельный день. Да, так он и признал — бездельный. С той минуты, как обозначилось ее лицо среди других, среди множества картин его забот, и тревог, и минувших дней, — все замерло в безжизненных очертаниях и не способно было разрешиться даже малейшей искоркой энергии. Только одно ему остается: ждать и, когда она придет вечером, отвести ее от подруг и сказать, что теперь она вольна поступить с ним, как ей захочется.

И вот пришел вечер.

Все это время, пока они играли, он просидел на веранде. Уже начало темнеть, и девушки то и дело теряли мяч, с досадой вопили, но еще яростнее продолжали играть. Будь это вчера еще, он бы крикнул: «Эй, шантрапа, дуйте-ка домой!» Он терпеливо просидел до той минуты, пока они не стали расходиться. Тогда он спустился с веранды и тоже пошел к воротам, сжав губы, насупившись, — вид у него, наверное, был слишком суровый, так что ее подружки поспешно выскользнули за ворота. Он заступил ей дорогу и сказал, прямо глядя в ее разгоряченное лицо:

— Вы прочитали мое письмо?

— Да, — ответила она. — Откуда вы знаете мое имя?

Он растерялся, потому что, во-первых, не знал по имени ни одну из них, а во-вторых, ему казалось, что он всегда знал, как ее зовут.

— Я всегда знал,— так он и ответил.

— Знали, а всегда кричали: чернушка...

Она смотрела в промежуток между ним и стояком ворот, как бы нацеливаясь пробежать. Девчонки на улице еще ждали ее.

— Чернушка? — переспросил он, почти ужасаясь.

«Неужели я так называл ее, так грубо?» — подумал он, забывая, как орава мимоходом: «Эй, коротконожка, прыгай выше!» — или ей: «Чернушка, тебе лучше велосипедом заняться!»

— Да, чернушка,— с грустью повторила она. И вдруг хмуро сказала: — Ну, говорите скорей!

Что бы ему сказать запросто: «Пойдем погуляем»; он сказал голосом грубым, непререкаемым, означающим бурю и натиск:

— Выходи за меня замуж!

Он увидел веселый и злорадный блеск в ее глазах.

— А это как отец посмотрит.

«Хорошо, я спрошу отца. Я готов. Но уж тогда, если он согласится, не вздумай юлить» — он уж готов был, кажется, произнести это. Но она повела рукой, он ступил в сторону, и она вышла за ворота. Смех девушек затихал в глухоте пыльной сумеречной улицы, когда он сообразил, что она подразнила его: «А это как отец посмотрит».

Назавтра он опять сидел на веранде, и они бросали мяч через сетку, смеясь, споря, вопя от негодования или восторга, не обращая внимания, даже, наверно, не замечая его в тени глубокой веранды. Он не наблюдал игру, а просто сидел, неосмысленно обратив взгляд на смеркающееся небо, глаза его, если бы кто посмотрел, казались бархатисты, спокойны, но зрачки были остры и пронзительны от внутреннего огня ожидания, неусыпной слезки, которую он вел не зрением, а слухом. Вот мяч запрыгал коротко: удар оземь — удар о ладонь, оземь — о ладонь. В голосах стихла напряженность, слышно было, как девушки снимают сетку, моются из кадки.

Когда их шаги и голоса приблизились, он поднялся. И тут он услышал ее голос, слишком звонкий, чтобы предназначаться только для подружек: «Великий Тутмос достиг Евфрата!» — и подружки рассмеялись громко.

Он резкими шагами прошел веранду, перепрыгнул через все ступени низкого крыльца и настиг ее в тот момент, когда она была у ворот.

— Почему вы смеялись?

— Девчонкам стало смешно, когда я вспомнила вдруг Тутмоса Третьего,— ответила она. И крикнула на улицу: — Ведь правда, девчонки?

Но девчонок и след простыл.

— А кто этот... Тутмос? — спросил он резко.— Кто?

— Фараон,— ответила она.— Когда он с войском выпел к Евфрату, то послал гонца с вестью. И гонец отправился на колеснице с парусом...

Он крепко взял ее за руки и дернул к себе — он хотел видеть, что у нее в глазах, не каверза ли, не яд ли насмешки. Он только увидел, что они влажны от обиды, и отпустил руки.

— А ты не врешь? — сказал он.— Это правда, что...— И тут он почувствовал, что ему все равно. И стало легко. Что дальше? Да ничего! Он сделал колесницу, проехался на ней, как тот гонец в древности. И все! — Если хочешь знать,— сказал он мягче,— то колесница меня ничуть не интересуется.

— Как жалко,— сказала она искренне.— Я, конечно, не надеялась прокатиться...

На следующий день он взялся рубить и строгать мачту. И ребята, удивленные тем, что он не зовет их, сами один за другим подходили к верстаку, а он весело гнал: «Ступайте, ступайте. Я сам». Работал он без прежнего ослепления и, может быть, впервые признал, как это, в общем-то, приятно — обонять запах свежего дерева, трогать его ладонью и видеть бело-желтый всер стружек. На третий день мачта была готова, и он повез колесницу за город.

Когда она села в кабину и стала подтягивать шкоты, он увидел ее глаза, полные детского восторга, и сам рассмеялся мальчишески... Парус уплывал в далекое качание марева и казался уже одиноким облаком в жарком сухом небе. Он лег на бугре, заложив руки за голову, и улыбка не сходила с его лица.

Она была дочерью лошаадника Хемета и помнила об этом всегда, а если бы вдруг забыла, ей тут же и напомнили бы. О других девочках или ребятах могли и не знать, чьи они, пока сам сынок или дочка, стесняясь или, наоборот, гордясь, не называл своего родителя — или горшечника Алчина, или скорняка Идията, или шапочника Нуруалу. А про нее знали.

Она рано почувствовала, что ее родители вызывают у горожан больший интерес, чем кто бы то ни было другой. Иногда ей хотелось стать незаметной, спрятаться от пристальных взглядов, не слышать того, что говорят о них. Но нельзя было не слышать, нельзя было скрыться, и девочка научилась смотреть на людей с чувством веселого и откровенного вызова, в котором не было зла, только снискходительность, даже великодушие к любопытным и болтливым обывателям.

Лет до двенадцати мать держала ее возле себя, учила шить, вязать и пряхть и смиряла полудетскую-полуженскую живость дочери назидательным одергиванием: нельзя, стыдно. Стыдно смеяться и резвиться, если вблизи находятся мужчины, нельзя смотреть на них прямо и первой заговаривать с ними.

— Трава или цветок безмолвны, но смотри, как они красивы,— говорила мать непонятно, ласково, но с едва заметным оттенком недоверия к собственным словам.

Времена наступали иные, прежнее подвергалось сомнению. Но вековечный опыт подсказывал ей, что она, уже немолодая женщина, не должна отрицать давних правил, которыми жил ее народ. Верно, на миру женщина не пользуется почетом, но в доме, возле своего очага, она хозяйка. Вот пусть ее дочь будет хозяйкой. Она сообразительна, ловка в работе и красива.

О, когда Айя шла рядом с матерью сдержанная, стыдливая, в ситцевом голубом платье с оборками на груди и на рукавах, в непорочно белых чулках и мягких остроносых чувяках, ребята — и вовсе сопливые, и те, у кого пушок синел над верхней губой,— восторженно уступали ей дорогу.

— Хм, бездельники,— бормотала мать,— знай пинают ветер, нет чтобы делом заняться.

И, взмахивая широким рукавом, клушиным грозным бормотанием «кет, кет!» гнала с пути ребятню. Бывало, отцу захочется приласкать дочь, но и отца — «кет, кет!» — гнала она вроде бы шутя. От него требовалось только одно — строгость, пусть даже суровость, так повелось издавна, а все остальное дочери может дать только она, мать. Но девочка все чаще вертелась возле отца, к большому его удовольствию. Она ездила с ним в поездки, отец давал ей вожжи в

тонкие крепкие смуглые руки и мягко сожалел о том, что нет у него сына...

Сперва девочку учили у жены приходского муллы, потом мать отвела ее в школу, с некоторой опаскою, по-матерински прозорливо чувствуя: эта школа, эта новая, не похожая на прежнюю жизнь изменят что-то в их существовании. Дай бог, если по-доброму. Мать просиживала часами на задней свободной парте, точно желая убедиться, что педагоги ничему плохому не научат ее дочь. И так она ходила из года в год, правда уже реже, но с постоянством, деловитостью, как будто это было первейшей ее обязанностью. Но потом Ая сказала:

— Мама, я прошу тебя не ходить больше на уроки.

Это было сказано мягко, ласково, но прямо и непреклонно. Мать не нашлась сразу, что ответить. А дочь, тихонько напевая, гляделась в настенное зеркало. «А все потому, что отец у нас не строгий,— думала мать, передвигая на столе пустые кастрюли.— Другой бы отец...» Но что бы сделал другой отец, да и что можно было бы сделать, мать и сама не знала.

С некоторых пор ее стал преследовать маклер Харун. Он прогуливался мимо ее дома, но вряд ли она замечала, что кто-то там прогуливается в щегольском каляпуше на яйцеобразной голове, в жилетке и хромовых сапогах гармошкой. Он, как бы удивившись такой слепоте, расстарался еще более и вскоре проехался мимо ее дома на дрожках. Упряжку он одолжил у соседа, слободского извозчика, но, в конце концов, он ведь мог сказать, что это его собственный конь и собственные дрожки.

Однажды Хемет и дочь сидели на скамейке, а маклер как раз ехал на дрожках выфранченный, с длинной папиросой в зубах и завернул к воротам, привязал лошадь и подошел к ним. После распросов о здоровье и делах он сказал:

— Как ты смотришь, дядя Хемет, если бы в городе открыть ломбард? Чем сбывать вещь спекулянту, куда лучше отдать ее на время в ломбард.

— Пожалуй,— ответил Хемет.

И тут Харун, будто не мечтал только, а уж открывал ломбард, сказал:

— Я заведу в этом ломбарде такие порядки, что весь округ понесет туда вещи.— И произнес длинную хвастливую речь о будущей своей деятельности.

Хемет то ли слушал, то ли нет — он покурил себе сигарку и молчал. А тот ни с того ни с сего:

— На днях я купил машинку для стрижки волос. Пятнадцать рублей отдал. Конечно, если еще столько добавить, то можно бы корову купить. Но машинка есть машинка.

И он рассказал о том, что у него еще есть варшавская кровать и трюмо.

— А духи почему? — спросил Хемет.

— Духи? Какие духи?

— Кажется мне, что твои духи пахнут точь-в-точь как у директорши. Дорогие, видать.

— Да я совсем не брызгался духами, валлахи! А если запах от меня благородный, так разве же вы не знаете, что я рожден от французского доктора?

Ая рассмеялась и ушла во двор.

Маклер, однако, продолжал свои катания, но один случай положил этому конец. Ая купала коня, а он, съехав с улицы прямо под

гору, не сумел остановить лошадь у воды. Айя оглянулась, услышав истошный вскрик: тележка заваливалась набок, вода заливала ее, а испуганный, встопорченный седок круто воротил лошадь. Тогда Айя взяла ее под уздцы и вывела на берег. Заднее колесо повозки, еле проковыляв, разбитое легло на песок.

— Вы ведь знакомы с моим отцом,— сказала она бесстрастно.

— Да-да, я знаком с дядей Хеметом!

— Ну, стало быть, он будет знать, кому я отдала колесо.— И она повела своею лошадку к дому.

Через несколько минут она вернулась, катя впереди себя колесо. Когда вдвоем они поставили колесо, она сказала:

— Ну а теперь залезайте в дрожки. Вы должны будете отцу колесо. А хозяину повозки можно и не говорить, что вы не сумели удерживать лошадь.

— Шлюха,— прошептал он посиневшими губами,— конечно, от шлюхи может родиться только шлюха...

Она взяла лежавший возле его ног кнут и, размахнувшись, хлестнула по лошади. Лошадь рванула, седока отбросило назад. Дрожки, тархтя, покатались вдоль берега, пока наконец Харун не догадался поворотить на дорогу.

И вдруг ей пришло письмо. Она читала его утром, стоя на крыльце, щурясь будто бы от звездной пыли, слепящей ей глаза. Прежде она Якуба не знала, а узнала только с тех пор, как записалась в спортсекцию и стала ходить на широкий двор бывшего хлеботорговца.

Обычно перед играми он выстраивал их и знакомил с последними новостями.

— Дирижабль «Граф Цепелин»,— говорил он вдохновенно,— совершающий кругосветный перелет....

— Это значит — во-круг све-та?..

— Да, вокруг света,— добросовестно уточнял он.— Так вот «Граф Цепелин», совершающий кругосветный перелет, после остановки в Лос-Анжелосе....

— Лос-Ан-же-лос? Это, должно быть, очень далеко?

— Лос-Анжелос на западном побережье Америки,— отвечал он.— Так вот дирижабль вылетел вчера в Нью-Йорк! Расходись! — кричал он и сам устремлялся в амбар, где они всегда что-то мастерили с ребятами.

В неделю раз, а то и два он вел их на субботник или воскресник. Молодцеватой колонной они шли к зданию окружка партии, где уже кишмя кишел молодой народ — рабочие кожзавода и пимокатной фабрики, ученики школ, красноармейцы, ребята из техникума. Духовой оркестр играл марш.

— В ряды стройся!

И они отправлялись на станцию, или на элеватор, или на лесопилку, но чаще всего на станцию грузить кирпич, доски, мешки с мукой.

— Живей, живей! — бодрил он ребят.— Вот закончим побыстрей, как я порадую вас! — И, не утерпев, тут же и проговаривался: — Есть билеты лотереи Осавиахима. На выигрыш гарантируется перелет Москва — Сухуми — Москва, Москва — Константинополь — Москва! Эй, чернушка, размечталась!

Он работал с ними до вечера, но пока они умывались и спускались с горы в городок, он уже оказывался во дворе над расчлененным автомобилем.

Объятый жарким запахом автомобиля, с перепачканными в масле руками, потный, жаждущий, он разбирал по винтику и гайке хитрый, но ясный ему механизм, опускал в тазик с керосином, затем протирал каждый винтик и гайку и раскладывал на широком брезенте. Он не чувствовал потребности в отдыхе. И без того он слишком долго прохлаждался.

Потом он слышал умиротворенные голоса, чирканье спичек, запах махорочного дыма долетал до его ноздрей, перханье, затем плеск воды, уханье, фырганье, затем короткое: «Привет. До завтра!» — и топот ног, устремленный к воротам, визг калитки. Он оставался в тишине. Прохлада обвевала его потное, разгоряченное тело. Ему мерещилась прохладная вода реки. Иногда, заперев калитку, он бежал на речку, вбегал и торопливо шел, толкая коленями мутную, тепловатую воду, и падал в нее, не дойдя до глубины, и тут же спешил на берег.

Еще два или три часа, упиваясь уединенностью, в тиши и прохладе двора возился он с винтиками и гайками. Подняв голову, он вдруг видел ее. Она сидела на корточках, тихая, внимательная, и смотрела серьезно и терпеливо, даже не улыбаясь в ответ на его недоуменный сердитый взгляд.

— Ну как дела? — спрашивал он, склоняясь опять над брезентом, и слышал ее кроткий ответ:

— Хорошо.

Он тут же забывал о ее присутствии, потом, вспомнив, спрашивал:

— Кто вчера велосипед брал?

— Я, — отвечала она. — А что?

— Так просто.

Сумерки волновали его. С улицы слышалась гармошка, голоса девчат и парней. Он брал за углы брезент и, подняв, как за горлышко мешок, клал в кабину и захлопывал дверцу. Потом он, взяв камеру, направлялся в дом, чтобы клеить ее при свете лампы. Ее тихие, кроткие шаги следовали за ним. «Я не хочу, чтобы она шла», — думал он. Но ничего ей не говорил, и она входила за ним в серый, пыльный, гулкий полумрак дома.

Она исчезала незаметно. Глянув туда, где только что она сидела, он просто не видел ее. Ему становилось скучно и одиноко. И тоскливо от мысли, что ей надоест когда-нибудь сидеть возле него...

Скоро ему понадобилось чинить рессору, и он отвез ее в мастерскую депо. Человек, который исполнял его заказы, болел. У Якуба оказалось два пустых дня. К усталости многодневной изнурительной работы присоединилась усталость пустых дней ожидания, и он почувствовал себя так скверно, беспомощно и одиноко. «Вот и она не приходит, — думал он, сидя на крыльце. — Вчера ее не было и сегодня...» Он вздрогнул на щелк калитки, но от волнения не мог сразу подняться, только смотрел, как она вошла, закрыла калитку и двинулась туда, где стоял автомобиль и где сживала она обычно. Тут он окликнул ее. И когда она остановилась и медленно повернулась, он уже бежал к ней.

Он обнял ее и не отрываясь смотрел, как будто боялся, что стоит отвести глаза — и она исчезнет. Не сразу он принял ее глаза, полные восторга, ошеломления, стыда. И он поднял ее и пронес, качаясь, за дверцу, оплетенную таловым хворостом, на задворье, где густая дикая трава покрывалась мраком падающей ночи...

Почему, ну почему это пришло к нему именно сейчас? Ведь жизнь его теперь должна измениться, но что будет ее основой, что сделает ее счастливой для них обоих? Он и помыслить не мог о том.

что семья просто сама по себе с ее любовью, с ожиданием ребенка может составить смысл его существования. Ах, каким же он был сумасбродом! Колесница с парусом — смешно, смешно. И этот автомобиль... развалина, над которой он убивает столько сил и времени. А что дальше? Вот смеется он над сумасбродством, а там будет смеяться и над мечтами своими. Все, все проспал, не ухватил судьбу в свое время, а теперь, может статься, и поздно.

Нет, нет, не может быть, чтобы поздно. Но что же ему делать дальше?

Хемет не чувствовал еще старости — ему шел пятьдесят первый год, — и все же, глядя на дочь, он признавал, что хотя он крепок еще и бодр, но годы уже не прибавляют ему сил и бодрости. В его чувстве было смирение, но и гордость, потому что он видел, как его жизнь наполняется силой и разумом в родном существе.

И сейчас он в каждом своем действии, лишенном азарта, тщеславия, хитрости, видел смысл и интерес. Обычно с апреля он пас табун, и городские лошади в складчину рассчитывались с ним сеном, овсом, кой-какими деньжонками. А нынче в мае еще прибавилось работы. Исполком нарезал для горожан участки вдоль берега и в степи, а опытное поле обеспечило семенами, и горожане готовились сажать картошку, огурцы, морковь, тыкву, мак. Прошел дождь — лейсан, первый теплый майский дождь, — и горожане явились к Хемету. Он запряг лошадь, взвалил на телегу плуг и отправился на берег. День-другой он пахал участки, хозяйшски носили ему еду, и он садился, расстелив скатерку на краю борозды, и ел, хотя добежать до дому было делом двух-трех минут.

А потом наступал день сева. Горожане, эти лошадики, шапочники, гончары, кожевники, чьи отцы, а то и сами они в недавнем хлебопашцы, приходили семьями, и самый старший брал лукошко, как брали лукошко с зерном, и шел вдоль борозды, кидая в ямки картофелины и вперемежку с ними круто сваренные яйца: мол, плоды будут ядреные! Потом ребятня набегала и собирала яйца, а одно закапывалось в борозду — пусть питается дух земли! Сеятель, окруженный ребятами и домочадцами, садился за трапезу. Светило и грело солнце, и они сидели оживленные, отколупывали кожуру, крупно солили яйца, огромно нарезали хлеб. И Хемет вспоминал себя мальчонкой, как подбирал с пахоты яйца и складывал их в кучку, а потом садился вместе со взрослыми есть.

А осенью он свозил по дворам картошку, тыкву, морковь и подсолнухи. И опять были трапезы на полосе и костры до ночи, разговоры обо всем, что относилось к плодам и злакам...

В один из таких дней он чинил колесо, спешил, потому что хозяева уже накопили картошки, увязали мешки и ждали только его. Он натягивал на колесо обод, мурлыкал себе под нос что-то веселое и думал о дочери. С весны он стал замечать в ней таинственность, которой не дано было скрыть свою суть и причины. Он наверняка знал, что у дочери появился молодой человек. Он только не знал, кто именно, но он ни за что не стал бы выслеживать этого молодца. Видя парней, гоняющих мяч, он думал: «Который из них?»

Так вот он мурлыкал себе под нос и работал. И тут жена подошла и сказала:

— Ты бы оставил пока колесо.

— А что? — спросил он, продолжая работать.

— Я говорю, ты бы оставил. — И так как он поднял голову, но не бросил колесо, она с горечью сказала: — Даже когда твоя дочь будет рожать, ты и тогда, верно, чинить будешь телегу.

— А что?..

Тут он выпрямился и ошеломленно глянул на нее, и она опять с горечью сказала:

— Или будешь улыбаться, как вот теперь...

— Почему улыбаться? — проговорил он. — То есть я хочу сказать: почему не улыбаться?

— Можешь улыбаться сколько хочешь, когда найдешь этого мерзавца и отхлещешь его вожжами.

— Да-а,— сказал он, тупо глядя на колесо, которое откатилось и легло у забора.

Жена шагнула к нему и резко трянула за плечо.

— Вот что,— сказала она.— Ступай к шапочнику Ясави.

— Вон что! — сказал он.— Значит, Якуб. А я и не знал.— Он помолчал.— Только к шапочнику Ясави я не пойду. И уж, конечно, не возьму за руку и не приведу к нему в дом собственную дочь.



И вот Якуб ехал к невесте.

Спускалась ночь. Хозяйки пекли хлеба. Печное тепло выливалось из окон в тепло улицы, и запах хлеба и ноздреватость густозвездного неба наводили на мысль о желтом каравае. Ему вдруг захотелось есть. Он был так неприметен в предсвадебной суете, что его забывали позвать к столу. Он приоткрыл сундучок со снедью, нащупал там каравай и отломил от него увесистый кусок. Но кусок не шел в горло.

— Боже ты мой! — почти со стоном проговорил Якуб и почувствовал себя точно в капкане.

Этот городок охватил его всеми своими щупальцами, он не отпустит его, сделает маклером, или лошадиником, или водовозом, или тряпичником. И детей его свяжет... Он обреченно смотрел вперед — там видна была скользкая точно вплавь сквозь темные струи ночи хребтина коняги.

Вдруг он увидел, как из переулка вышли двое и остановились.

— Эй,— сказал тот, что стоял ближе к повозке,— кто едет? Не Якуб ли?.. (Он узнал голос старшего из братьев Батуриных.) В Челябинске открыли летно-планерную станцию, слышишь, Якуб?

— Привет, Якуб! — крикнул младший брат.— Мы едем в Челябинск!

Он не успел ничего им сказать — повозка рванулась, его сильно откачнуло назад и вбок, и последней оглядкой он успел ухватить заплечные мешки на спинах братьев Батуриных. Мальчишка-возница знал свое дело: он должен был миновать препятствия, если бы их вздумали чинить соперники жениха.

— Дурень! — смачно сказал Якуб, и тут в ноздри ему ударил терпкий запах банного угара и березовых веников: они подъезжали к дому лошадиника Хемета.

Они подкатили к самому крыльцу, он сошел с повозки и, не оглядываясь на сундуки в коробе, пошел вперед, машинально занося ноги на ступеньки. То ли кто-то подвел его к комнатке, то ли сам он нашел ее. У двери стоял подросток, вытянув худую шею, прямо глядя на него черными глазенками, полными восторга и торжества неуступчивости, какой-то лихой поверхностной враждебности, которая сменилась торжеством доброжелательства, когда он сунул парнишке в руку серебряную монету и еще какую-то вещицу, которой снабдил его отец,— кажется, это была цепочка от часов.

Он увидел ее сразу, как только ступил на порог, и все в это

мгновение стало простым и приятным. А потом он увидел постель и сидящих на ней двух мальчуганов лет пяти или шести. И тут же появились бойкие девки, нет, не подруги ее, а родственницы или соседки, они защебетали:

— Живите вместе, как эти малютки вместе сидят!

И что-то щебетали еще, а потом унесли мальчуганов, и последняя задернула за собой шторы и закрыла дверь...

Здесь, перед законным их ложем, ему было стыднее, чем в тот вечер, когда они тайно и скрытно совершили то, что в конце концов привело их сюда.

— Я погашу лампу,— сказал он хрипло.

Она не шевельнулась. Он дунул в стекло лампы с остервенением, пламя фукнуло, пропало, и смрадный дымок коснулся его ноздрей. Он сел перед ней на стул и склонился низко в какой-то прощальной, покаянной позе.

Господи ты боже, минует ночь, и это будет означать, что он навсегда сам по собственной воле заточил себя в этом мухортом городишке, что ему суждена скучная, унылая жизнь обывателя. Нет, его не надули, сам он обманул себя, позволил попасться в капкан, из которого не так-то просто вырваться!

Луна вышла, призрачным желтым сиянием наполнила комнату. Он поднял голову и увидел: Айя спит. У него застучало сердце, охотничьими шагами он встал и подошел к окну. Он скользнул рукою по раме слепым движением, отыскал шпингалет, но отдернул руку. Нет, он не станет удирать из этого окна! Он пересек комнату, чутко глядя под ноги, и остановился, уже не глядя туда, откуда доносился звук ее дыхания.

Он прошел украдкой по коридору и в передней увидел окно, отворенное во двор, в садик. Взявшись за раму, он выпрыгнул в садик. Последнее, что ощутил, выбираясь со двора,— ядреный запах бани и березовых веников...

Он бежал по сонным улицам, нашаривая в кармане ключи от комнатки. Бывшая усадьба хлеботорговца безмолвствовала. Чтобы не встретиться со сторожем, он проник задом во двор. Светя зажженной спичкой, отыскал в столе свои документы, сдернул с гвоздя плащ, висевший здесь третий год, и опять задом покинул двор.

Что-то сдвинув, кого-то оттолкнув, он пробился в угол полутемного купе, сел, откинулся к стенке и замер. Уже поезд набрал ходу, а его все не покидало ощущение погони, пока наконец он не понял, что это совесть тормозит и причиняет его усталому мозгу болезненное беспокойство. «Ты прости, прости,— говорил он про себя,— я ведь не от тебя убежал, ты прости!..»

Поладив с совестью, он уснул крепким сном. А когда открыл глаза, увидел в окошко палисадники с жидкими, растеребленными деревцами, на которых лежала темная пыльца гари; женщины шли к колодцу, катили подводы, проехал грузовик. Проспал момент! Но поезд долго еще двигался мимо окраинных домиков, и не скоро он увидел здание вокзала с барельефными узорами на дверях, высокими полуovalными окнами, не крашенное, а как бы испачканное зеленой краской.

Он опоздал к трамваю и, не дожидаясь другого, пошел к извозчичьим пролеткам.

— На летно-планерную станцию,— сказал он, садясь.

— Что-то я не слышал такой,— сказал извозчик. У него было сытое лицо и гаерские усыки.

«Цену набивает, скотина!» — подумал Якуб, нащупывая в кармане деньги.

Извозчик с другой пролетки подсказал:

— Это за Бабушкино надо ехать.

Они поехали по булыжной мостовой. Шли красноармейцы и пели «По долинам и по взгорьям...». У трамвайных остановок толпился народ. Мороженщицы выходили на угол. У магазина промтоваров выстраивалась очередь. Пролетка остановилась у кирпичного здания с надписью «Школа фабрично-заводского обучения «Вулкан».

— Что, приехали? — спросил он.

— Так верней будет, — сказал извозчик и крикнул: — Ньюра, а где ваши ребята летают?

— А езжай к красным казармам, — ответила, высовываясь из окна, Ньюра. — Там все полем, полем — и увидишь.

Опять они долго ехали по городу, затем выехали в поле и полем тоже долго ехали. Наконец он увидел парашютные вышки, огромную овальную крышу какого-то сооружения, мелькнуло крыло планера.

— Стой, — сказал он, — стой, говорю, хватит!

Он расплатился с извозчиком и не оглядываясь побежал туда. С пригорка он увидел все почти поле, на котором травка была как бы подстрижена, и отдельные залысые места на травянистом покрове, и серые дорожки с травкою по бокам. И — деревянную арку, посредине которой была прикреплена большая яркая звезда из фанеры, крашенной в красное, под ней аршинными буквами было написано: «Челябинская лётно-планерная станция».

Не замедляясь он прошел под аркой и, уже оказавшись на поле, остановился и стал оглядываться. Справа стоял ангар — это его огромную овальную крышу увидел он с пролетки, — и двери его были распахнуты настежь, в некотором отдалении стояло два сооружения, похожих на огромные ящики. По левую руку приземистые зданьица с покатою крышей из горбылей. А на восток уходило чистое беспредельное поле.

Он не сразу заметил, что из ангара вышел парень в холщовых, закатанных до колен шароварах и гимнастерке, рукава которой были подвернуты выше локтей. Он поспешил навстречу парню.

— Я приехал, — сказал он с таким восторгом и дружелюбием, что вызвал улыбку на хмуроватом лице этого пилота (наверно, пилота!).

— Вижу, что приехал, — сказал парень. — Откуда?

— Из Маленького Города. Понимаешь, вчера... только вчера Батурины говорят...

— Кто такие Батурины?

— Да сыновья Батурина, мастера по ялкам!..

Парень расхохотался, но смех его был приятен Якубу. Он означал, что здесь никто знать не знает про мастера по ялкам Батурина и слыхом не слыхал про лошадника Хемета или печника Сабура; этот смех еще раз как бы подчеркнул, как он далек теперь от всего, что вчера еще тяготело над ним. И сам он от души рассмеялся.

Потом они пили чай в одном из сооружений, которые так похожи были на ящики (это и правда были ящики, в которых везли мат-часть планера), и он с таким восторгом озирал стены и смеялся довольным смехом, что парень предложил:

— Тебе, наверно, негде жить? Я живу тут. Пока будешь ночевать со мной, а там обстоятельства подскажут. А зовут меня Дмитрием.

Сам Дмитрий, оказывается, после ФЗО одним из первых был принят на лётно-планерную станцию. А так как ни семьи, ни родных у него нет, то и живет он здесь — открывает и поздно вечером

закрывает ангар, следит за порядком, выкатывает с ребятами из стартовой команды планер («АК-Г», последней модели!), в общем, работы хватает.

Между тем планедром постепенно оживал, там и тут раздавались голоса парней. И в тот же день ему довелось увидеть, как бежит по зеленой дорожке, кренясь то одним, то другим крылом, великолепный планер. Ребята, человек десять, ухватив концы амортизатора, бежали от планера, все сильнее, сильнее натягивая концы («Как рогатку, натягивают»,— подумал Якуб), и тут команда «старт!»— планер двинулся, покати.

— Эй-эй! Ты куда?..— услышал он и стал как вкопанный.

Он, оказывается, бежал за уносящимся планером, а ребята смеялись и кричали ему...

Вечером у арки появились братья Батурины. Они очень удивились, когда увидели здесь Якуба. Старший сообщил, что брат его не прошел медицинскую комиссию, а оба они отвергнуты мандатной. У младшего был жалкий вид, старший бодрился.

— Я еще приеду,— сказал он,— на следующий год. А пока дай, думаю, погляжу, что это за планедром.

Братья стали собираться— им надо было поспеть на поезд. Якуб долго стоял и смотрел им вслед— как пыль слегка клубится за ними и их розовые рубашки колышутся, будто несомые поднебесным ветром; они поднялись на пригорок и пропали на той его стороне. Скоро уехали и ребята на скригучем фургоне о двух лошадях. Якуб крикнул им, чтобы они подвезли братьев Батуриных.

А потом у него был разговор с начальником станции Горненко. Они с Дмитрием только-только закрыли ангар, тут и подошел к ним Горненко. Он был среднего роста, рус, лицо сухое и загорелое. Он был поджарист, а его костюм— брюки из тонкого, обтертого на коленях материала, пиджак, застегнутый на все пуговицы,— как бы еще подчerkивал, как суха его фигура, что в ней нет ничего лишнего, а только связки мускулов для резких и верных движений. По годам он вряд ли был старше Якуба, но не было в глазах его того молодящего восторга, которым полыхали глаза Якуба.

— Я всю жизнь мечтал...— произнес Якуб, а он тут же кивнул, так что Якуб даже приумолк: стоит ли говорить дальше, если тому все известно. Он все же повторил:— Мечтал... я в Маленьком Городе занимался спортсекциями, а еще раньше в земотделе работал. О планерах мы понятия не имели, то есть такое, чтобы взять да и построить. Но вы знаете,— тут он усмехнулся как о давнем, детском,— но мы соорудили колесницу...

— Колесницу?

— Да. И с парусом.

— И что же, ездили под парусом?

— О-о!

— Интересно,— сказал Горненко.— Значит, вы должны знать столярное дело. Или, например, обтягивать перкалем...

— Перкаль?

— Это льняное полотно...

— Да, да!— сказал он истово.

— В четверг медицинская комиссия. В пятницу пойдешь на мандатную. Это в здании «Вулкана» на Кооперативной.

— Знаю,— сказал он,— да, я знаю!

Прощаясь, Горненко протянул ему руку, и он так ее стиснул, что Горненко опять глянул на него лукаво, понимающе.

Он жил новой, удивительной жизнью, которая ни одною своей минутой не была праздной. Ночами, когда он лежал на нарах в ма-

стерской, возбужденный дневными страстями, перед ним мелькали дни и годы его прежней жизни, похожей на тихую, не пасмурную, но монотонную затяжную осень. И он смеялся, что все это в прошлом, в прошлом!

Они вставали рано, и освещенное первыми лучами солнца поле расстилалось перед ними. Они умывались колодезной водой, пили чай с сухарями и сахаром, затем подметали ангарную площадку, раскатывали по сторонам створчатые двери ангара, затем в мастерской готовили материалы и инструменты для парней, которые корпели над новым планером.

Втихомолку он пробирался на занятия, которые вел Горненко, слушал и повторял шепотом восхитительной силы и обаяния слова: нервюры, лонжерон, шпангоуты...

— Шпанго-у-у-ут,— шептал он и ощущал, как губы непривычно вытягиваются и складываются в трубочку так, что он чувствует движение кожи на лице. Там, где кожа натягивалась, сухая, обожженная зноем и горячим ветром, чувствовалась боль. И это тоже было отметиной, знаком его принадлежности к новой жизни...

Вечерами, когда пустел планедром, Дмитрий уходил в мастерскую и ложился на нары, а он сидел на порожке в тишине подступающей ночи, улыбаясь счастливой улыбкой, смотрел на звезды. Однажды он сочинил ей письмо. Он тут же и написал бы его, но здесь не было лампы, так что он сидел и повторял его про себя, а рано утром перенес на бумагу все, что сочинил вчера. Это было задорное, отважное письмо. Он писал, что вот на днях они будут испытывать новый планер, а потом отправятся на состязание планеристов — и он полетит! Ведь, в сущности, он хочет только одного — летать! Пусть она потерпит и ждет...

Он выходил за арку и шел в поле. И, окончательно устав, добредал до мастерской и падал на нары. Запахи свежеструганого дерева, клея дурманно охватывали его, и он засыпал крепким, счастливым сном.

В ночь перед тем как идти на комиссию, он вдруг проснулся и ясно, совсем не сонным голосом сказал в темноту:

— Ведь завтра мне на медицинскую комиссию! Теперь уж не завтра, а сегодня.— И он ощущал свои руки, грудь, помял лицо, как бы удостовераясь, что он здоров и все члены целы.

Он уже как бы заранее знал, что все тут у него обойдется хорошо, еще до того, как стал перед длинным столом и доктора глянули на него оживленно, видя стройного, жилистого и загорелого парня с веселыми глазами.

Таким же ясным, верующим стал он перед мандатной комиссией. Но тут ему сказали «нет». То есть не сразу, ему-то как раз ничего и не сказали, он уже после узнал. Да, если бы он закончил ФЗО «Вулкан», а отец его был кузнецом в паровозном депо — никто не посмел бы ему отказать!..

Отрешенный от всего, что не относилось к его поражению, сидел он на крыльце широкого кирпичного особняка. Странное оцепенение охватило его, и он, наверное, мог бы просидеть здесь и весь остаток дня, и вечер, и ночь. Но что-то словно подтолкнуло его, и он поглядел на часы: не опаздывает ли на планедром, ведь сегодня рулежка и надо выкатывать «АК-Г», а потом с ребятами из стартовой команды тянуть концы амортизатора.

Он побежал по жарким улицам города и полем бежал — до самого планедрома. Возле ангара он столкнулся с Горненко.

— Ну? — сказал тот.

— Меня, кажется, не приняли,— сказал он как бы между прочим, не глядя на Горненко, а выискивая глазами ребят из стартовой команды.— А что, будет сегодня рулежка?— спросил он.

— Да,— сказал Горненко, удивленно глядя на него.— Слушай,— сказал он минуту спустя,— нынче поступает много ребят с железной дороги, заводских много, их берут в первую очередь. Но если ты останешься здесь у нас... Как ты сам думаешь?

Наконец до него дошло.

— Так, значит, я остаюсь? Значит, я не поеду в Маленький Город?

— Дмитрия мы со временем переведем инструктором,— продолжал Горненко.— Может быть, тебя сделать хозяином ангара? Ты будешь делать то, что и делал, получать ставку сторожа. Тебя это не обижает?

— Что вы! И я, значит, остаюсь в стартовой команде?

— Ну конечно,— сказал Горненко.

— Так... будет сегодня рулежка?— почти крикнул он.

Горненко рассмеялся.

А он побежал в ангар, крича ребятам: «А ну давайте, братцы, пошли! Поживей!»— и они вытолкнули планер, подкатывать стали на стартовую площадку. Пока ребята закрепляли хвост, он уже накинул на пусковой крючок кольцо и побежал, волоча конец амортизатора.

И этот и последующие дни они занимались рулежкой— стартовая команда тянула концы, инструктор командовал «старт!»— и планер устремлялся вперед, они едва успевали отбежать в сторону и видели планер в хвост, как бежит он, кренясь то одним, то другим крылом.

Интересно. И все же ребятам, кажется, наскучило это занятие. Им хотелось летать, но Горненко говорил непререкаемо:

— Надо научиться держать крыло. Балансировать, балансировать!

Однажды Дмитрий сказал:

— Сегодня, кажется, я пробежался почти без крена. Так что балансировать я умею, а?

— Да,— согласился Якуб. И вдруг, подавшись к Дмитрию, заговорил горячим, умоляющим шепотом:— Тебе осточертело рулить и рулить, а я... ты меня пойми, Дмитрий, я ведь тоже смог бы не хуже. Ведь это ж вроде как шкоты травить... Позволь мне, а? Вон Горненко оставляет меня здесь, значит, надеется...

Назавтра они вдвоем уговорили инструктора, и место за рулем занял Якуб. Ребята схватили концы и побежали увесистой рысью, затем щелкнула команда «старт!»— и надо было моментально отсоединить замок, а он медлил, так что планер все еще стоял закрепленный на стойке, а ребята все бежали, и амортизатор растягивался все сильнее. Наконец он двинул рычажок, планер оторвался и побежал. Ребята кинулись врассыпную, планер бежал дальше, дальше, и, прежде чем оторвался от земли, Якуб с ужасом и ликованием подумал: «Я лечу!..» Поле качнулось перед его глазами, качнулось небо, и вдруг машина сильно накренилась, затем резко качнулась на другой бок— земля, кажется, загрохотала, приближаясь к его глазам. Он услышал треск ломаемых планок и реек, скрежет проволоки, что-то оборвалось, шаркнуло напоследок по земле и остановилось. И в наступившей тишине он услышал точно звуки пронзительной боли в правом бедре.

Но когда ребята подбежали к нему, то не увидели в его глазах боли— ни боли, ни испуга, ни раскаяния и стыда,— а только воз-

буждение, упрямство, которое тушевалося выражением удовлетворения, почти счастья. Когда ребята, кое-как скрепив остов планера и сложив в кабину осколок, приготовились тащить машину к ангару, а он стоял в стороне, поддерживаемый инструктором и Дмитрием, кто-то сказал:

— К тебе приехали. Слышь, тебя спрашивают.

И он увидел: стоит приземистый человек в тройке, фетровой шляпе, подняв на уровне груди руку, между пальцами дымится папироса, за спиной приземистого человека парнишка с громоздкой треногой.

— Моя фамилия Фараонов,— сказал человек,— я из «Городского листка». Я должен снять тебя.

И тут же парнишка выставил вперед треногу.

— С чего это вы вздумали? — прошептал он спекшимися губами. Боль захватывала все его члены, и теперь он уже не помнил, где она возникла впервые.

— Мы должны пропагандировать летное дело,— сказал Фараонов.— Ты учти, приятель, ты первый из горожан, поднявшийся в небо. Эй-эй,— закричал он ребятам,— вы не трожьте ее, пока машина совсем не развалилась!

Он рассмеялся и, подбежав к ребятам, стал отталкивать их от останков планера. Потом стал оглядывать Якуба с такой профессиональной пронизательностью, будто совсем не замечал его страданий. Он только видел, что Якуб в простой рубахе с закатанными рукавами, в мятых брюках, простоволос.

— Может, у тебя гимнастерка есть? Или сапоги? Или очки, а?

Ребята уже похихикивали, но потом притащили очки, буденовку с голубой звездой — это была буденовка инструктора. Дмитрий с инструктором, поддерживая его, помогли ему натянуть буденовку и нацепить очки. Потом они изобразили дружеское объятие троим, и в этот момент Фараонов щелкнул аппаратом, затем стремительно собрал треногу и подхватил ее под мышку.

— Пару слов для читателей городка!

— Можете писать все что угодно. Не пишите только, что это я свалился вместе с планером. Опустите меня... — прошептал он из последних сил.

Товарищи мягко опустили его на траву, он лег, закрыл глаза, и в ту же минуту ему показалось, что он умер.

А потом он вдруг объявился в городке. Пока он медленно, хромоногий шел по перрону, брал у лотка пирожки с требухой и стоя ел, зюка спускался в котловину, где лежал городок, от дома к дому, опережая его, летела вдохновенная молва: «Ему оставалось учиться еще года полтора, а ему, значит, невтерпеж стало — и он сел в эту дымную машину и полетел. А машина, как на грех, застряла в густом облаке и ни туда, ни сюда. Весь бензин отработала, а потом грохнулась. Надо быть нашей породы, чтобы с такой высоты свалиться и не отдать богу душу! Он только покалечил ногу, и теперь нога у него сантиметров этак на десять короче. Но и с такой ногой, хе-хе, можно будет шить шапки! И наплодить с пяток будущих шапочников или лошадиников вместе с Хеметовой дочкой»...

Он сразу заявился в дом к Хемету как ни в чем не бывало. С собственным отцом было порвано давно и безнадежно. Он вошел в переднюю, коротко поздоровался и, не задерживаясь ни на миг, двинулся в комнаты и в угловой, точно ведомый запахом младенца, нашел своего сына.

— Похож,— сказал он, глянув на личико спящего ребенка как

будто до этого еще сомневался в том, что это его сын, а тут наконец признал: да, мой.

Спортсекции теперь назывались Осоавиахимом, и опять он здесь стал за главного, и опять вокруг него собиралась ребятня, и опять он забывал о существовании Айи и ребенка, дневал и ночевал на бывшей усадьбе хлеботорговца, не замечая, как терзается противоречиями неумный городок.

Когда он удрал в первую же ночь после свадьбы, городок возмутился таким кощунством, как если бы Айя была его, городка, дочерью. Когда бы сотни глаз его глянули одновременно на Якуба, он был бы испепелен ненавистью. Но он был далеко, а Айя продолжала жить среди них, Айя, знаменующая их позор и слабость,— к ней относились и как к отступнице, позволившей себе грех с проклятым инсургентом, и как к жертве, потерпевшей от негодяя. Ее пока что мало беспокоило мнение городка, а Якуб недосягаем был для горожан, о чем с непререкаемой точностью убеждала фотография в «Городском листке». Он стоял в буденовке со звездой, в рубахе с подвернутыми рукавами, в пилотских очках, а рядом явно обозначено было крыло планера, острым концом обращенное к небу. И облачко было ухвачено. Легкое, перистое, оно висело над его головой, застывшее с манящей легкостью, как бы готовое в любую минуту откачнуться и поплыть, когда струи воздуха двинут его... Она терпеливо сносила насмешки и сама смеялась над дремучим невежеством, пустопорожней молвой и, может быть, завистью.

И вдруг он возвращается с почерневшим от горя и телесных страданий лицом, хромой, навсегда распростившийся с мечтой о небе. И городок, как будто забыв, что вчера только проклинал его за побег и приобщение к чуждой, неведомой ему жизни, сегодня самолюбиво вопрошал: почему он вернулся? Значит, у него не хватило ума и достоинства представлять нас там? И зачем только он поспешил прежде времени сесть в эту трескучую машину? Городок видел теперь в Якубе незадачливого своего сына, познавшего чужую, не принявшую его жизнь и приобретшего печальную загадочную судьбу. Почему он, усталый, истерзанный болями, не живет в семье? Ведь он прямо с вокзала пошел в Хеметов дом, чтобы только глянуть на ребенка... Поглядеть-то он поглядел, но тут же и сказал: «Кого это мне подсунули? Ведь это не мой сын».

Про нее пели скабрёзные песенки, улюлюкали ей вслед, говорили, что ежели она останется жить в городке и учить их детей, то дети скоро наловчатся в подолах приносить неведомо чьих отпрысков. Что касается песенок и молвы, тут ничего не изменилось, так было и прежде, когда Якуб запропал в большом городе. Но его равнодушие к ней и ребенку, какая-то злобная беспредметная надежда на реванш пугали ее.

И однажды, оставив ребенка у родителей, она уходит из городка. Она не таясь уходит, зная, что недреманное ухо городка, его зоркий каверзный глаз все слышит и все видит. Она идет по пыльной улочке, поднимающейся к вокзалу, слышит тарыхтение повозок за спиной, смешки, щелканье кнута, ее обдает запахами конского помета, сыромютной уряжи, самогонного перегара...

А утром городок был взбудоражен пикантным, дразнящим событием, о котором Айя ничего не знала, занятая сборами в дорогу. На перрон из поезда Челябинск — Кустанай вышел инженер бывшего столевского и К°, а теперь имени Абалакова, плужного завода. Фамилия инженера была Булатов. Его встречали работники райисполкома, приехавшие на «эмке». Толпа горожан, скружившая было

«эмку», неохотно расступилась, пропуская челябинского гостя и встречающих. В толпе говорили:

— Вот он, вредитель, сам приехал.

— Непонятно только, почему его тут же не арестовали?

— Его повезут в ГПУ.

— Всамделе, не будут же при честном народе наручники на него надевать.

— Он может такой крик поднять...

— ...или стрельбу.

«Эмка» фырчала, содрогалась длинным гладким черным туловищем, стоявшие перед самым радиатором опять неохотно подались, пропуская машину, и с минуту все стояли подавленные, разочарованные, пока кому-то не пришло в голову побежать к коновязи — и тут остальные побежали, лихорадочно отвязывали лошадей и, попадая в повозки, мчались за «эмкой». Потешный эскорт сопровождал «эмку» до города, а когда проехали через весь город, некоторые отстали возле окраинных домишек, но самые упорные продолжали погонять лошадей, оголтело летя прямо в желтые густые клубы пыли, оставляемые автомобилем.

Булатов ехал в совхоз имени Коминтерна. Оттуда на завод пришло паническое письмо: невозможно собрать плуги! Плуги отправлялись в разобранном виде, отдельно рама, связка рычагов, подъемный механизм. Может, на железной дороге перепутали и вместо копнителя подсунули семафор, а олухи в городке ума не приложат: что с этойкой штуковиной делать? Именно такую ироническую догадку высказал Булатов, когда ему предложили поехать в городок.

— Ты, Булатов, не остри,— сурово сказал ему главный инженер,— поезжай и погляди.

Но оказалось, что детали плугов прибыли в совхоз имени Коминтерна в целости и сохранности, одному богу было известно, почему горе-механики не могли их собрать. Вечером, натрудившись достаточно, Булатов попросил отвезти его в город. Но, высадившись возле гостиницы и увидев недалеко все те же повозки, а в повозках все тех же глупых, вззирающих на него с откровенным любопытством ездоков, он вдруг прикинул, что поспеет еще на вечерний поезд. Сожалея, что отпустил машину, он, не заходя в гостиницу, двинулся пешком на станцию.

Городок лежал в междуречье. За речками плотно сбитые один к одному домишки слобод, за слободами полого подымались холмы, покрытые жесткой неприхотливой растительностью, ярко и быстро-течно цветущей весной и желтеющей, буреющей с первыми знойными бурями. Булатов перешел широкий деревянный мост через речку и шел теперь по твердой пыльной тропе-улочке, стиснутой глинобитными домишками, вгрызшимися в каменистую почву холма и источающими жар и смрад старобытных очагов. А впереди, где-то на вершине холма, зыбиво трубили свободу, суля простор и полет над седыми ковылями, молодые паровозные голоса. Пыль забивала Булатову ноздри и глотку, ноги в слабеньких штиблетах скользили, испытывая его упорство и вызывая веселую, отчаянную отвагу. Он топтал эту жесткую землю и как бы вдавливал в нее бесспорную для него самую истину: его плуги разобьют эту прокаленную солнцем, высушенную ветрами почву, вывернут из нее плодородную ее суть и заставят рожать хлеб и овощ. Но если теперешний его плуг окажется слабым, он сделает другой и третий, который в конце концов разделается с этой дикой почвой.

Ветер размахивал у него перед глазами желтой непроницаемой пылью и вдруг открыл хрупкую фигуру юной женщины, несущей в

одной руке фанерный углостый чемодан, в другой авоську, набитую книгами. Впереди женщины, сзади и по бокам двигались порожние подводы.

Догнав женщину и сказав положенную в таком случае любезность, Булатов перенял у нее из рук чемодан и оглянулся на подводу, едущую сбоку. Седок, длиннолицый, с колючими усиками парень, резко дернул вожжи, почти вздыбив конягу, повернул назад и поскакал прочь, испуганно и злорадно оглядываясь. Вслед ему стали разворачиваться остальные, в следующее мгновение все — четыре или пять — подводы громыхали за желтой завесой пыли. «А ведь эти башибузуки хотели, наверное, похитить ее!» — подумал он, и возбуждение отчетливо отразилось на его лице. Он услышал:

— Вы их не бойтесь. Ничего они вам не сделают.

— Я не боюсь, — резко ответил он. — А тебе... не следовало бы так храбриться.

Весь оставшийся путь до станции они прошли не останавливаясь.

Наконец они сели, поезд тронулся, потек, как бы всасываясь в густеющие сумерки степной пахучей тишины, а рядом с вагоном несли заливчатский топот — галопом, галопом, и седоки отважно стояли на площадках телег и в неподдельном экстазе махали вожжами. Булатов вышел в тамбур, открыл дверь и свирепо погрозил кулаком лошадиникам (потом он рассказывал, что одна лошадь даже шарахнулась, когда он крутанул кулаком). У преследователей были веселые, восхищенные лица.

Вернувшись в вагон, он спросил ее:

— Так ты не боялась их?

— Кого? Их? — Она небрежно показала в окно. — Ну нет! Не погонится ли за мной муж — вот что их интересовало. И, конечно, любой из них дал бы свою подводу, если бы муж вздумал связать меня и вернуть в городок.

— Вон что-о! — сказал он, и в его голосе соединились восторг и разочарование. — У тебя, значит, есть муж?

— Но ему нет никакого дела до меня, — сказала она так, будто очень гордилась своим мужем. — Окажись он здесь, он бы палкой разогнал этих базарников, а меня бы скорей всего не заметил.

Осторожно налаживая разговор, он убеждался, что речь ее развита, что женщина учена, все меньше походила она на робкую провинциалку — он перешел на «вы». Тут и с него самого слетело ухарство паренька с заводской окраины, теперь бы он, пожалуй, не выскочил в тамбур грозить нахальным, но безвредным лошадиникам. В нем явственнее проявлялось все то, что он получил за годы ученья в институте и работы в конструкторском бюро. И это приобретенное в жизни, которую он вел между русскими, евреями, да мало ли с кем еще, порою как-то странно вставало преградой между ним и другим единоплеменником. Изысканно и холодно проговорили они остаток пути. Когда выходили из вагона, он предложил:

— Позвольте, я отвезу вас в заводское общежитие. А впрочем, вот куда — в детдом! Уж Катерина Исаевна найдет для вас светелку.

Оставив ее на попечении Катерины Исаевны, директора детдома, он поехал восвояси, смутно сожалея, что не мог пригласить ее домой — там заходящийся в кашле отец и полоумная отцова тетка, которая присматривает, однако, за больным.

Наутро, когда он пришел в детдом, Катерина Исаевна встретила его с веселым оживлением:

— А-а, вы ищете свою подопечную! Она поехала с ребятами в плодопитомник за саженцами. Ну, посидите, подождите ее.

Он смущенно ответил:

— Мне надо срочно ехать. Посыльный прибежал утром.
— Опять в какую-нибудь Ключевку плуги испытывать?
— Что-то в этом роде, — пробормотал он. — Не знаю, сколько там пробуду, Катерина Исаевна, но я прошу вас — не отпускайте ее от себя.

Вернувшись в Челябинск, он прямо с вокзала направился в детдом.
— А-а, вы ищете свою подопечную? — весело встретила его Катерина Исаевна. — Вы просили не отпускать ее, так я приняла ее воспитателем.

— Ох, Катерина Исаевна, — сказал он с сомнением, — не стоило брать ее воспитателем. С нашими архаровцами нелегко даже человеку суровому.

— Архаровцы терпеть не могут суровых воспитателей.

Вошла Айя, смущенно, как бы винась, улыбнулась ему:

— А я, представьте себе...

— Я знаю, — ответил он, решительно вставая. — А теперь... поедем ко мне. В гости. Я познакомлю вас с моим отцом.

Отец был еще не старый человек, но безнадежно больной — у него была отнята часть легкого, остальное догрызал силикоз. Ступая, он низко припадал к земле, но зато откидывался горячо, вызывающе, и острая, клинышком, бородака вздымалась тщеславно. В февральские бурные дни он ходил с большевиком Абалаковым на митинги, слушал его речи, разгонял полицейские участки. Однажды в Никольском поселке обезоружили вдвоем с товарищем пятерых полицейских, а чтобы те не погнались за ними, раздели догола и заперли участок. От Абалакова он получил нагоняй, но был горд своим подвигом. В восемнадцатом году с отрядом столлевских рабочих он ходил походом на Маленький Город и под конвоем привел оттуда дутовского приспешника полковника Плотникова. А там опять работал в литейке. В двадцать втором году Абалаков позвал его с собой в Сибирь — возвращать заводское оборудование, увезенное колчаковцами. На станции Ижморская они нашли оборудование, а в скромном счетоводе признали бывшего директора завода. С перепугу тот проговорился, что в Новосибирске обретается жандармский полковник Жеребцов, некогда лютовавший в Челябинске. Две недели прожили они в Новосибирске, не зная отдыха и покоя, пока не напали на след бывшего полковника. Вместе с работниками ЧК осадил дом, в котором засел Жеребцов. В короткой перестрелке пуля угодила Абалакову в голову...

Старик нравился ей. Своей судьбой? Но ничего необычного не было в его судьбе, такой же дорогой прошли тысячи. Может быть, он вызывал жалость, будил сострадание? Но, несмотря на смертельную болезнь, он не был жалок. Жажду общества она могла бы удовлетворить в компании поинтересней, нежели с этим чудаковатым и нудноватым стариком. Не сразу поняла она, что старик интересен ей как отец Булатова. Через отца хотела она постичь этого замкнутого, хитро уходящего в свои дела человека. И нужна была только ответная хитрость, чтобы получше узнать его. Узнать? Зачем? Потом она напишет своей подруге Хаве в городок, что попала на удочку пресловутого женского любопытства.

Придя будто бы навестить старика, она заглядывала в комнатку Булатова; он закрывался от нее широким томом «Горячая и холодная обработка металлов», второй, угрожающе тяжелый, лежал у него под рукой. Когда однажды она подошла к столу и тронула пальцами учебники, Булатов резко двинул книгу к себе, так что ее пальцы стукнули по стеклу стола, и поднял голову. Лицо у него было блед-

ное, но не гневное, а скорее испуганное и отчужденное: чего она хочет, зачем трогает его книги?

Это обижало ее, мешало задуматься о нем: о его большой занятости, вообще о том, что человеческая душа может хотеть уединенности. Ей только казалось: он не ставит ее наравне с собой. Однажды она даже заплакала отчаянными, злыми слезами, проклиная непрощенное его попечительство. Потом стала его сторониться, боясь невольного своего кокетства, этого неотразимого, как думают многие женщины, оружия.

Она отпросилась у Катерины Исаевны и поехала в Маленький Город. И только тут, пожалуй, впервые за все это время спросила себя: «А почему я уехала из городка?» Ведь не сплетни ее устрашили, и не хотела она бросать отцовский дом и не хотела рвать с Якубом. Но его стычки с Хеметом становились все непримиримей, все жесточе, и все упорней старался он отквитаться за свое поражение...

Живучая молва донесла до нынешнего дня и это: «Однажды он потребовал у Хемета бумагу, которую когда-то тот получил от Каромцева после похода на мятежных кулаков. Сперва-то Хемет и не сообразил, о какой бумаге речь. «Ты,— говорит,— объясни толком, какую бумагу тебе надо». А он: «Ту, которую дал продкомиссар и которую ты наверняка держишь защитой в подушку, чтобы показать, если кто спросит». Хемет говорит: «Так ты, значит, и есть тот человек, которому надо ее показать?» «Да,— отвечает Якуб не моргнув глазом,— я как раз и есть тот человек, которому бумага нужней, чем тебе». Хемет говорит: «Я не спрашиваю, зачем она тебе нужна, потому как знаю: кому надо и кому не надо ты будешь совать под нос эту бумагу — дескать, вот эта штука удостоверяет комиссаровой печатью, что тесть мой не лошаچی хвосты вертел, а кой-чем интересным и полезным занимался. Нет, сынок, будь даже в целости та бумага, я и тогда не дал бы ее тебе». «Ну, береги, береги, только уж не знаю, зачем ты ее бережешь». «Я-то знаю, зачем берегу, точнее, что берегу. А бумаги у меня нет». Чемоданщик Фасхи будто бы говорит Якубу: «Не терзай ты человека». А Якуб: «Он меня терзает, а не я его! Он мне как бельмо на глазу. Как что, сразу — а, Якуб, у которого тесть...» «Что тесть?» «Не тесть, так теща. Если каждому известно, что в свое время была в-одном-таком заведении на бывшей Купеческой...»

А тут и дочь приехала...

Она увидала: он преисполнен энергии и надежд на бог знает какие перемены в своей жизни и свои сумасбродные стычки с Хеметом называл борьбой. Если бы она застала его успокоенным, или усталым, или жаждущим поддержки, она не задумываясь вернулась бы к нему, собрав одно к одному — и первое свое чувство, и долг перед ребенком, и надежды на будущее. Она и пыталась звать его с собой. «Теперь я не уезду,— отвечал он уверенно,— не-ет, о н и не дождутся, чтобы я взял да и исчез. Я с ним не на жизнь, а на смерть. А если и уеду, то не раньше чем запалю с четырех сторон этот проклятый городишко! О, если бы мне дали власть, я знал бы, что мне делать!» Она смеялась и урезонивала его, старалась убедить, что он попусту растрчивает силы, вместо того чтобы найти им достойное применение. Он внимательно слушал и прикачивал в такт ее словам головой, точно соглашаясь. Наконец, как бы осененный идеей, воскликнул: «Ты умная, ты добрая!.. Увези нашего мальчика! Ты слышишь? Увези нашего мальчика!..» Глаза у него решительно, жертвенно сверкали, так что нельзя было усомниться в искренности его просьбы.

Она вернулась в Челябинск, оставив пока ребенка у родителей. И вскоре вышла замуж за Булатова.

Но ведь вся эта история только плод молвы, которая, то угасая, то возгораясь, дошла в конце концов до меня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Мать привезла меня в двухэтажный бревенчатый дом, построенный еще бельгийцем Столлем для своих инженеров,— мать и отчим только-только переселились сюда из домика в Никольском поселке.

Комнат было две, обе высокие, просторные, стены и пол голые, на потолке голые лампочки. Письменный стол в углу, кровать у стены, в другой комнате только моя кроватка — вот и весь скарб. За стенами ни малейшего признака жизни, и это вызывало во мне страх одиночества и неприкаянности, который ничуть не рассеивался с появлением дедушки.

Дедушка — то есть отец Булатова, а так какой он мне дедушка? — являлся, наверное, только чтобы пройтись по гулкому пространству, обстукивая его клюкой. Да, идет себе и стучит об пол и слушает, и хорошо ему.

Я тосковал, мать это видела и, наверное, поэтому частенько отправляла меня в городок к дедушке Хемету или к другому дедушке, шапочнику Ясави. А может, она думала, к отцу. Она — и тогда и позже — не только не старалась отторгнуть меня от отца, но как будто бы даже пыталась сблизить нас.

Для отчима я был извечным напоминанием о городке, о мирке, из которого пришла к нему его жена и, как ему казалось, все смотрела туда, откуда пришла, с тоской и неукротенным желанием когда-нибудь вернуться. Когда я приезжал домой, отчим брал меня на руки, мягко притискивал к груди, но уже в следующую минуту я близко видел его холодноватые пронизательные глаза: что привез с собой этот мальчишка? Через несколько минут отчим спешил к своему делу и, наверно, забывал свои тревоги.

Матери приходилось куда тяжелей. Мой приезд, думаю, затрагивал в ней, нет, не любовь, хранившуюся годами, не сожаление о своих поступках, а, может быть, не изжитую еще привязанность к своему прошлому. Когда она ласкала меня истово, даже зло, так что мне становилось больно от ее рук и губ, я робко, терпеливо к ней прикивал, вместо того чтобы отринуть злобные ласки, будто понимал, что все это имеет ко мне лишь косвенное отношение. В рассказах о городке я никогда не упоминал имени отца. «Ну, ну же! Что ты молчишь?» — спрашивала она, тебя меня.

И еще кое-что замечал я по возвращении, только в первые минуты, пока они еще не привыкли к моему присутствию: мать и отчим обращались друг с другом с какой-то явной, подчеркнутой нежностью, бережностью ли — да, наверно, но зачем было скрывать от меня? Я начинал грубить матери сверх всякой меры, но зато любезен был с отчимом. Я просто невольно брал его в союзники, чтобы только не остаться одному. Но результат оказывался прямо противоположным ожидаемому: мать не принимала вызова и мое добросердечие к отчиму замирало на полпути.

Я обнаружил врага, возмутителя спокойствия в нашей семье — это был, как ни странно, отец Булатова. Он являлся почти каждый день и усаживался на кушетку, так что эту кушетку уже называли дедушкиной, усаживался и внимательно слушал, о чем говорят мои родители.

— Вы говорите, Маленький Город? — переспрашивал он, и смехок дробил его лицо, на котором подскакивали отдельно борода, отдельно усы, отдельно губы и нос. — Паршивый городок, торгаши-купчики, чуждый элемент, там даже нищие были отвратительные, разращенные сытым рабством. А вокруг в селах казачье, тоже сытое и кровожадное. В пассаже Яушева загубили отряд красных мадьяр. А потом и мы в том пассаже устроили мышеловку для мятежного атамана Плотникова. Из окна в исподнем прыгал, бесстыдник и кровосос! А скрыл его у себя в доме хозяин мыловаренных заводов Гузеев...

Я целился в него трубочкой, горошина пролетала возле его пергаментного уха, он не замечал моей атаки и продолжал:

— Торгаши, местечковые мещане, рабская кровь, воинствующая провинция... — Клюка дрожала в его руках и ударила об пол, точно постреливая, пергаментное ухо напрягалось, как чуткое ухо боевого коня.

Мать угрюмо молчала, даже когда он обращался прямо к ней, и взгляд ее устремлялся куда-то далеко, может быть в теплую и сонную даль городка. Словно оглушенный ее молчанием, старикашка вздрагивал, ударял клюкой об пол и выкрикивал:

— Я запрещаю вам отпускать туда мальчика! Зинат, ты слышишь, не отпускай туда мальчика...

Булатов подымал глаза от книги и спокойно отвечал:

— Перестань шуметь, отец, дай мне почитать.

— Почитай, сынок, почитай. А я, пожалуй, пойду. Надеюсь, я тут у вас не кричал, никого не ругал? Нет, конечно, нет...

Он не любил мою маму, я это чувствовал, и удивлялся, и даже жалел его за слепоту. Мне, понятно, и в голову не приходило, что он мог невзлюбить ее еще до встречи с ней, ему достаточно было угрозы родства с торгашами-купчиками.

Старик уносил свою грозную клюку. Мама гневно обращалась к отчиму:

— Разве можно вести себя так при ребенке?

Он удивлялся:

— Тебя трогают его заботы? Он хочет революционизировать быт. Чепуха! Сегодня задача в том, чтобы облегчить человеческий труд. Это сделают машины. Тепло моторов согреет и людские отношения. Знаешь, в чем причина прогресса во все века? В том, что находятся люди, которым нынешние заботы вдруг кажутся устаревшими...

Все его существо дышало превосходством, он прозревал за-втрашные заботы и весело, отважно хоронил нынешние, еще живые. Его небрежение к собственному отцу не только не успокаивало маму, но, кажется, и обижало ее. Она еще могла противостоять зло-вредному старикашке, но сопротивление Булатову требовало не толь-ко безстрашия.

Старик умер в самом начале войны. В последние дни он был оза-бочен собственными похоронами: в гробу или в саване — не столь важно, но чтобы без муллы и желательно с оркестром, и хорошо бы, ежели нашлось местечко рядом с Абалаковым на братском кладби-ще, да ведь, пожалуй, не разрешат, вот если бы он в бою погиб!

С войной не до оркестра было и уж тем более не до муллы, но

вот место на братском кладбище нашлось — его боевые заслуги еще не были забыты, — и Булатов заказал на заводе изящную металлическую оградку и поставил на холмике памятник с красной звездочкой.

Война в прах разбила мечты Булатова о новых плугах, с войною он как бы померк, оттеснен был на задний план. На завод прибывали рабочие и инженеры с московского и херсонского заводов, сгружались и перетаскивались станки и оборудование, кипели страсти, кому руководить заводом — местным инженерам или приезжим, имеющим большой опыт по военным заказам, а Булатов в это время с двумя-тремя помощниками переносил свои архивы из комнат, которые тут же занимались приезжими. (Булатовские архивы кое-как пристроены были в легоньком, дощатом помещении, туда потом лезли фезеушники и растаскивали его бумаги — листы были исписаны только с одной стороны и годились для писания писем.) Из цехов под открытое небо выставляли штампы плугов. Булатов заикнулся было о навесе, но на него прикрикнули: каждая щепка на учете! И правда, строился засыпной, барачного типа цех для московских и херсонских станков.

Булатов ежеутренне шел к своим плугам, вместе с механиками протирал их, смазывал и тоскливо думал: от ржавчины плуги все равно не убережешь. Но и тут ему сказали: хватит, дескать, над плугами дышать, надо оборудование налаживать. Потом он организовывал столовые в цехах, когда завод перешел на казарменное положение, потом его назначили сменным директором, но и в этом своем качестве он пробыл недолго — и уж неизвестно в какой должности занимался мобилизацией рабочей силы.

Память моя и в сию пору возвращает меня к одному зимнему дню.

Заходит к нам человек: ноги обуты в ботинки и обмотки, одет в стеганный ватник, а на голове армейская серо-зеленая шапка с опущенными наушниками. Он вежлив, даже робок, но вместе с тем на изжелта-смуглом, залубеневшем на морозе лице дерзкое отчаяние. Он обращается к матери на какой-то смеси русских и как будто бы татарских слов: товарищи его на работе, а он болен, не дадут ли ему чаю? Садиться с нами он решительно не хочет, ему хотя бы щепотку чаю, он сам вскипятит и попьет.

Мама тут же протягивает начатую пачку, затем, гремя, роняя посуду, ищет в шкафу и дает уже целую пачку. Человек благодарит, прижимая к груди руки, а в руках пачка с чаем. Когда он уходит, я вопросительно гляжу на подобрившее, печально-счастливое лицо матери. И она объясняет, что человек этот трудармеец, живет в бараках горстроя в Никольском поселке. Утром и вечером они ходят колонной на завод, они бойцы, только что не воюют, у них есть командиры, а на заводе ими командует отец.

Подобрившим и печально-счастливым я видел ее лицо и в тот день, когда поселялась у нас семья херсонского рабочего Мижолы Ефремовича Бурбака...

В ту жестокую зиму, когда немцы стояли под Москвой, Булатов и подумать не мог о возвращении к своим плугам. Но именно так и случилось.

Помню, весь тот вечер жители наших трех домов собирались группами то во дворе, то шли на общую кухню, то в чью-нибудь комнату и наконец заглянули к нам. Говорили только об одном: о разгроме фашистов под Москвой. Мать угощала гостей чем бог по-

слал и все как будто старалась их удержать до прихода отчима. Но он задерживался, гости разошлись. Бурбаки легли спать. А мы с матерью сидели на кухне и ждали...

Вот идет он прямо в кухню, перекинув через руку пальто, на шапке снег и на валенках снег, глаза превеселые:

— Новость слышали?

— Боже мой,— улыбается мама,— конечно, слышали!

— Слышали? — недоверчиво и разочарованно говорит он.— Но не может быть.— Он смеется закатисто.— Мы будем делать плуги.

— Плуги?

— Плуги, милая. Немцы драпают, значит, скоро будем пахать и сеять там, откуда они покамест драпают. Словом, наше конструкторское бюро освобождается от спецпроизводства. Херсонцы передают нам прежний наш цех, а им новый строят...

— Повесь же пальто,— говорит мама,— дай я повешу. И валенкиними.

Они оба уходят в переднюю, вешают одежду, мамин счастливый смех сливается с добродушным его бурчанием. Чудно, на меня как будто не обращают внимания, но я вижу — им хорошо, и самоотреченно радуюсь.

Они возвращаются.

— А я на радостях гостей потчевала,— говорит мама.— У нас ведь есть спирт, который ты в орсе получил.

— Я ничего не получал.

— Ну, я получила.

— Угу,— сердито кивает отчим.— Сейчас, однако, не принято угощать. Уж если гости, так со своим провиантом. Это все твои купеческие замашки.

Мать смущена уколом, но отвечает спокойно:

— Оставим купеческие замашки в покое. У нас были бы продукты, если бы обменять спирт и материю...

— Не умею ни менять, ни торговать.

— Но ведь для того и дается...

Он вскидывает голову и вдруг смеется:

— Какая все ерунда! Неинтересно, правда? Что-нибудь от гостей осталось? Вот и носи.

Они наливают в стаканы спирт, разбавляют водой, усмехнувшись, стукаются стаканами и выпивают. Мама кладет в тарелки горячую картошку.

— Да! — как бы сейчас только вспомнила она.— Старшие наши ребята идут на завод, вся моя группа.

— Угу. А тебе малышей?

— Я на завод. Естественно, правда?

— Да! — воскликнул он и притронулся к ее плечу, обнял и меня не глядя, не ища, как будто я постоянно находился у него под рукой.— Да, милые вы мои! Когда человек исполняет свой долг, все должно быть естественно... единственно, уж не знаю, как надо сказать...

С тех пор как поселились у нас эвакуированные, мама и отчим как будто стали больше ценить общение друг с другом. Но все-таки семейным застольям отводилось не так уж много вечеров. Орава маминих питомцев вваливалась с шумом и смехом и занимала кухню, благо она была огромна. Собирались еще у тети Клавы. Этой тете Клаве, как я теперь понимаю, было лет восемнадцать, но она уже имела дочку и комнату в бараке. Была у тети Клавы сестренка лет шести. Позже моя мать пристроила ее в детдом, я видел девочку

только раз. Но помню до сего дня. Тонкая синяя шейка, косички с широкими бантами, которые словно клонили ее головку то влево, то вправо; светлые бровки, которые она хмурила озабоченно, может быть, невольно подражая старшей сестре. Вот стоит у нас на кухне и рассказывает, как ходили они с Клавой в госпиталь.

— Знаете, там раненые,— говорит девочка,— там раненые, и один без головы.

Клава смеется, зачем-то ругает девочку и объясняет нам, что видели раненого, который весь был толсто запеленат бинтами.

Так вот, собирались у нас, собирались у тети Клавы. Там затевались постирушки, чинили одежду, ужинали в складчину. А к нам собирались шить. Шила мама простыни и покрывала из толстой бязевой ткани, платья из материала, который получали девчонки по карточкам. Старинная швейная машинка была у мамы, подарок бабушки, в линиях ее проглядывалось что-то от горделивой, своенравной птицы, на боку латинскими буквами написано: «Веритас»...

Со взрослыми девушками приходили их подруги помоложе, пока еще живущие в детдоме, но не сегодня-завтра готовые тоже уйти на завод. А с девчонками точно привязанный таскался Алеша Салтыков, мой одноклассник, который тогда еще удивлял меня какой-то непостижимой обособленностью и одинокостью.

Отец Алеши возглавлял гортоп и, конечно, мог обеспечить углем хоть весь город. Алеша был дока по части углей. Бывало, проезжает подвода, груженная углем, а он хватит из подводы и, задумчиво сыпая уголь на снег, говорит:

— Коркинский, одна пыль.— Или: — Кузнецкий. Видите, даже руку не запачкал.

Он рос без матери, не помнил ее, и ему хотелось, чтобы отец женился. Но тот оставался холостым.

— Ну чем не жена ему Людмила Сергеевна? — задумчиво и печально размышлял Алеша, шагая с нами из школы.— Добрая, толстая... Ведь вы не знаете, как нехороши худые, старые женщины вроде моей тети! Сами ни в жизнь не заплачут, а других изводят до слез...

У каждого хватало своих горестей, но эти горести в сравнении с бедами Алеши казались малыми, обыкновенными. Жизненный, в зрелой опыт ребят тоже как будто тускнел рядом с его познаниями, когда, например, он спокойно судил о качестве угля. Однако его беды не вызывали побуждения помочь или разделить их с Алешей ну хотя бы в разговорах. А что касается его познаний, то ведь их нельзя было приложить к тем жизненным обстоятельствам, с которыми каждый день сталкивались ребята в бедных своих семьях. Ну что им за дело, какой там уголь, лишь бы он был! Ребята его любили, но вчуже, как бы со стороны.

Коттедж, в котором он жил с отцом и тетей, стоял неподалеку от детского дома, и Алеша с малых лет околачивался в детдомовском дворе. Но дружил не со сверстниками, не с мальчишками, а со старшими девочками. Он был так мил — пухлые губы, пухлые щеки,— девочки тетешкались с ним от всей души. Он и позже, учась во втором и даже в третьем классе, все льнул к старшим девочкам, многие из которых теперь работали на заводе.

Придя из школы, он бросал портфель и выходил на дорогу, ведущую от завода, и ждал своих опекунов. Потом вместе с ними оказывался то у нас, то в бараке у тети Клавы. Намечая стирку, девочки говорили ему: «Лешенька, милый, ты иди с тетей Клавой, а мы позже придем» — и шли промышлять топливо, то есть обдирать заборы, стянуть ведро угля в какой-нибудь котельной. Но однаж-

ды он увязался за девчонками и, сообразив, что им нужно, привел к собственному забору. Стена деревянного сарая выходила на пустырь, и, раздвинув в ней доски, можно было набрать полешек сколько душе угодно. Раза два или три он водил их туда, но потом девчонки воспротивились — не хотели обворовывать Алешиных родных..

Как-то проходя через пустырь, куда выходил тыльной стороной деревянной сарай Салтыковых, я увидел Алешу и его тетку. Вдохновенная, с развевающейся на плече шалью, она приколачивала к забору какую-то бумажку. Алеша протягивал ей гвоздики. Приколотив бумажку, она обернулась и, заметив меня, воскликнула:

— Ага, вот он первый прочитает!

— Да, да,— сказал Алеша,— он прочитает. А мы приколотим остальные бумажки. Только, пожалуйста, поскорей.

Они двинулись дальше вдоль забора, а я, приподнявшись на цыпочки, прочитал: «Потеряна 27 февраля в трамвае маршрута № 3 у остановки «Табачная фабрика» флейта в черном футляре. Нашедших просим сообщить по адресу... телефону...» Алеша подошел ко мне. Тетка прошла мимо, обдав нас сумасшедшей яркостью возбужденных глаз.

— Что это вы придумали? — спросил я.

— Придумала тетя и попросила меня помочь. Видишь ли, тетя рассчитывает на шок, который может произвести на... воров это объявление. Ворам, не знаю почему, должно быть стыдно, когда они прочитают это.

— Она сама сочинила про флейту, и адрес, и телефон?

— Нет, списала все это с доски объявлений в центре, а потом размножила. С утра сидела строчила.

— Я бы ни за что не полез воровать дрова, прочитав такое объявление,— сказал я искренне.

Мне почему-то очень понравилась их смутная затея.

1 мая с утра появляется Алеша и оповещает нас:

— Сейчас придет машина, может быть даже две или три.

Какие еще машины? Куда мы поедем?

— Неужели вы не знаете? — удивляется Алеша.— Папа дает гортоповский грузовик, и абалаковцы поедут на Смолино.

Как же я мог забыть: ведь заводчане едут сегодня к танкистам-добровольцам с подарками, а там — провода на фронт.

Вскоре к крыльцу подъезжает трехтонка, мы садимся и догоняем еще одну трехтонку, убегаящую от нас по дороге к озеру. (На берегу, в дачном поселке, добровольцы полтора месяца проходили военную подготовку.) Улицы запружены народом, мы едва пробиваемся там, где дозволено милицией, и наконец выезжаем за город. Вот озеро блеснуло холодком, завиднелись перистые деревца, слегка зазеленевшие светлой редкой зеленью, крыши дачных домиков, жердяная ограда. У въезда стоит часовой. Когда мы выпрыгиваем из грузовика, он широко улыбается, как будто давно нас ждет, однако в ограду не пускает.

— Откуда, с абалаковского? Эй! — кричит он во двор.— Есть абалаковские? Встречай своих.

Мама спешно сует сверточжи мне, Алеше и еще двум девочкам. Что у меня? Пачка махорки.

— Мама, а кому я отдам махорку?

Мама смеется:

— Кому захочешь. Нашим, с абалаковского. Боже мой, я и сама ничего еще не знаю. Что, будет митинг? — спрашивает она председателя завкома.

Тот досадливо что-то бормочет и в который раз спрашивает часового, почему представителей трудящихся не пускают на территорию дач. Но тут выходят красноармейцы, смущенные, веселые, на полянке под березами начинает играть патефон, женщины танцуют с бойцами. А меня окликает Алеша Салтыков.

— Не надо было сюда ехать,— говорит он,— а надо было к почтамту, там будет митинг, стрельба из орудий. Мы бы с крыши все видели.

— У меня целая пачка махорки,— успеваю я шепнуть.

И тут патефон замолкает, слышатся команды, наши, вижу, садятся в машины.

Я еду в качающемся грузовике и в такт колебаниям моего туловища подношу к лицу то одну, то другую ладонь, пропахшую махоркой, и нюхаю с какою-то жадностью, может быть с жадностью кошки, пожирающей одной ей известные травы...

А в полдень у здания почтамта был митинг, и мы с Алешей пробирались между «студебеккерами» с прицепленными противотанковыми пушками, будто бы стараясь пробиться к высокому крыльцу почтамта, а на самом деле — лишь бы потереться возле машин. Потом был салют. Мы еще пробирались меж огромных рифленых колес, когда раздалась команда:

— Батарея, к бою!.. Угломер тридцать-ноль, уровень ноль-ноль... Огоны!

Грохнуло, кажется, где-то глубоко под землей, под асфальтовым покрытием, на мгновение ноги точно впаяло в зыбкий асфальт... Тяжело, мохнато, с перекатным рыком ушел грохот где по земле, где по воздуху в заречную синюю сторону.

Тот же голос скомандовал: «Расчет, по машинам!» — и мы, почти обезумев, с минуту носились между ревущими «студебеккерами», пока вдруг не вышли на пространство, по другую сторону которого стояли женщины и бросали в машины букеты цветов. Потом на наших грузовиках мы поехали на станцию, а там уже грузили на платформы автомашины, орудия, кухню.

Когда состав тронулся, на открытые площадки вагонов полетели теперь уже редкие букеты цветов, они тут же рассыпались, их уже теребило ветром движения, и стебли поодиночке срывались, срезались и падали на платформы. А там стало теребить чехлы на орудиях; стук колес и взвывающиеся чехлы уносились вдаль, слитые в нечто и видимое и слышимое...

Возвращаемся домой в душной, наглухо закрытой «эмке» Андрея Афанасьевича. Мы с Алешей обнялись, он дремлет. Андрей Афанасьевич оборачивается и подбрасывает нам свою кожаную куртку:

— Накройтесь.

— Как хорошо, что ты никуда не уезжаешь, папа! — И Алеша сильнее зажмуривает глаза и крепче меня обнимает.

Дома, поужинав и прибрав за собой, я с минуту стою посредине кухни в задумчивости. Потом извлекаю из кармана помятую пачку с махоркой и кладу ее на стол.

2

На лето меня отправляют к бабушке.

Нравился ли мне городок? Конечно, конечно! Но прежде, но больше всего нравилась свобода, которую я получал, перемещаясь из одного обиталища в другое.

В то лето, военное лето, едва оказавшись в городке, я услышал знакомые разговоры о топливе. Здесь издавна проблема топлива бы-

ла если не первой, то, без сомнения, второй, после хлеба насущного. По тому, чем отапливал человек жилище, судили о его достатке. Пользующий березовые дрова был, разумеется, человек зажиточный; имеющий запасы кизяка не считался бедным — у него, стало быть, достаточно скота, чтобы иметь на всю долгую зиму кизяк; тот, кто топил печи соломой (это в окрестных селах), тоже не был бедняком — он сеял хлеб; а голь перекатная обходилась польнюю. Когда-то здесь были дельцы, промышляющие топливом, воры, специализировавшиеся на топливе, и даже убийцы, которых черт попутал на березовых дровах.

Во всем этом была романтическая горечь, и как-то причудливо, странно она соединялась с моими впечатлениями об Алеше Салтыкове. Как много он знает, думали мы о нем. А здесь, у своих родителей, я думал: как многого он не знает и никогда, наверное, не узнает.

...Первые мои впечатления об отце тоже неотделимы от понятия топливо, тепло, а точнее, от рассказа, который он многожды повторял с разными оттенками — то озорно, то зло, то слезно. Вот сидит он, протянув руки к жерлу гудящей печи, и рассказывает, как, будучи мальчонкой, отправился в степь, в заросли замороженной польни, ломал, рубил тесаком кусты в рост человека, а тут налетели слободские мальчишки, отобрали вязанки. А когда он полез с кулаками, избили, насовали за воротник снегу.

А тетя Биби усмехается, слушая краем уха не раз уже слышанный рассказ, и потуже затягивается дедовским поясом — бильбау — поверх стеганого ватника. Она собралась ехать с бригадой женщин на лесоповал в соседнюю область, чтобы заготовить топливо для кожзавода и получить за это возок дров. И вот когда она затянулась поясом и шагнула к двери, тут вдруг Апуш кинулся к матери со слезами:

— И я с тобой! Возьми меня, я не останусь с ним!..

Тетя Биби сурово цыкнула на него, силой привлекла к себе и поцеловала, то ли успев что-то шепнуть, то ли особенно поглядеть ему в глаза. Он успокоился и, отойдя в угол, уставился звероватым взглядом на своего отчима, сидящего у печи в обнимку со своим сыном Билялом. Якуб скопился на пасынка и произнес со вздохом:

— Ну кантонист, ну кантонист!

У него, я заметил, было два словца, заменяющих ему ругательства, — «кантонист» и «зимогор». Они так и сыпались на Апуша, но никогда такими словами Якуб не обижал тетю Биби и Биляла.

Тетя Биби молчала покорно, жертвенно, как бы смиряясь: что ж, судьбе было угодно дать мне сына от жуликоватого торговца, я наказана за неразумное увлечение молодости и вот несу тяжкий крест искупления. Да, были в ее молчании и покорность и жертвенность, но не было страха, более того, Якуб сам ее побаивался. Она работала на кожевенном заводе и неплохо зарабатывала, несла на себе заботы по дому, которые по мере старения родителей все больше переходили к ней одной. Лошадь, корова, телята и овцы, странненькие огороды на пойменном берегу и во дворе — все это содержалось в холе и порядке ее трудами. Вдвоем с дедушкой они косили сено, вывозили его с лугов, с Апушем она возила шишки из отдаленного бора, а тачки для этой цели опять же делала она.

Долго еще с топливом было трудно, и число людей, промышляющих дровами, углем, а чуть позже древесным углем (он заменил со временем сосновые шишки, которыми топили самовары, и это уже был знак почти что благоденствия), не уменьшилось с окончанием войны. Именно в это время Апуш отбил от рук, удрал от

Якуба и матери, связался с одним там угольщиком, и все перипетии его краткой грустной вольной жизни опять же связаны с топливом.

Как раз тогда тете Биби дали отдельную комнату в бараке кожзавода. Этого упорно добивался от нее Якуб, чтобы наконец-то совсем отмежеваться от Хемета. Впрочем, они уже не в первый раз покидали дедовский дом, покидали и, помыкавшись по квартирам, возвращались опять.

Странно, конечно, но когда Якуб не жил в дедовском доме, он казался ближе к нему, роднее нам всем. И дедушке, я думаю, тоже. Якуб тяготился жизнью в этом доме, но стоило им переехать на другую квартиру, он вскоре же и появлялся как ни в чем не бывало, приветливо здоровался с бабушкой и дедушкой, и те встречали его просто, ничуть не показывая обиды или гордыни. Можно было подумать: вот он пришел для важного разговора, после которого в их взаимоотношениях что-то изменится. Но, оказывается, он приходил просто и разговаривали они с дедушкой, как разговаривают, встретившись после дневных трудов, члены одного обиталища, одной семьи. Все это было мне непонятно и открылось не вдруг.

Он не мечтал о главенствующей роли в семье, не носил тайных мыслей о скорой смерти дедушки, чтобы остаться наследником дома, — он просто не мог лишиться себя этого окружения, этой оболочки, в которой он чувствовал себя пусть не безмятежно, но естественно, зная, что здесь он в привычном с детства окружении, среди простолюдинов, каким он был и сам. Он, пожалуй, и женился-то на тете Биби, чтобы не быть отторгнутым от этой среды, от жизни, которой он жил всегда, с той самой поры, как начал понимать себя и знать людей.

...Житье в бараке только усилило уныние Якуба. Ему не нравились заливчатские вдовушки и женщины-одиночки, захаживающие к тете Биби, он стыдился пасынка, его отчаянных приятелей, играющих в орлянку и чику, гоняющих голубей, курящих. Возвращаясь с работы в свое новое жилище, он почти на цыпочках проходил мимо компании оборвышей, самозабвенно долбающих битой покореженные монеты, — он пугался: а вдруг эта братва станет с ним раскланиваться, а пасынок, чего доброго, кинется ему навстречу.

Апуш был груб, как бывает грубым поднявшееся на каменной почве коряжистое деревце; его можно было помыть, постичь и одеть в приличную одежду, но все равно лицо у него оставалось точно прокопченным, волосы торчали щетинисто, руки в землистых ссадинах, а глаза были не то чтобы злы, а с подвохом, если он и не замышлял ничего дурного.

А я приезжал в глаженном костюмчике, с белым воротничком навыпуск, на лбу аккуратная челочка, и был я тонок и хил, держался настороже — как бы не оказаться подмятым крепенькими городскими мальчишками, — и выглядел я не только чистым и опрятным, но и чопорным. Отец повсюду водил меня с собой, на занятия стрелков, гребцов, я гладил густошерстных изящных овчарок, катался в люльке мотоцикла, парни возили меня на финских санках, сажали с собой верхом на лошадь. Отец буквально сиял от удовольствия. Крепкий, коренастый, с широким лицом, он словно удивлялся, что произвел на свет такое хрупкое чистенькое создание.

А был еще Билял, сын тети Биби и Якуба, наш с Апушем брат. Его любили в обоих дедовских домах, любили мать и отец, но принадлежал он дедушке Ясави и бабушке Сании. Хемет говорил: «Аларга тарткан» — что означало примерно следующее: и х сторона перетянула, и х черты преобладают в его облике и характере.

И сам он тянулся к отцовым родителям, а в конце концов и жить стал в доме шапочника Ясави. А мы с Апушем были Хеметовы внуки.

Старики наши держали Биляла возле себя, ограждая от улицы, от сомнительных приятелей, не пускали на омут — утонет, не пускали на улицу — под машину попадет. Но, держа его возле себя, они оберегали его и от любых домашних забот. Он ничего не умел, в то время как Апуш и дрова распиливал с отчимом и дедушкой, и самовар ставил, и печь растапливал, и носил воду в больших ведрах.

Да, мы умели носить воду, но как бы не знали цену ей. И всегда чувствовали себя виновато, когда Билял крепко попрекал:

— Вот вы умылись, а вода зря льется.

Апуш или я молча послушно подымали шланг, торчащий из огромной, высоко стоящей кадки. Потом ополаскивали руки в корыте рядом, сильно отряхивали. Лицо у него вздрагивало, когда попадали брызги, опять он кротко, но убежденно говорил:

— Зачем вы стряхиваете? Будто водой брезгуете. Нехорошо.

И опять мы чувствовали себя виновато, даже не понимая своей вины.

Играя, мы старались убежать от него подальше и забывали о его существовании. Но если вдруг старшие обидят или просто взгрустнется, искали: где Билял? А Билял вот он — только что вернулся с дедушкой из мечети и сидит на телеге в сумеречной тишине двора. Подсядешь к нему и не смеешь почему-то заговорить первым.

— Дедушка говорит, что бог один, — скажет наконец со вздохом и улыбкой. И шепнет доверчиво: — А у меня их много... когда меня обидят, я не плачу, а жду вечера. Звездный бог, он сам плачет, и ты вместе с ним плачешь. Легко, не больно...

Тут невольно глянешь вверх, там вывездило, тонко-печально дрожит, будто и впрямь звездный бог плачет.

— Только дедушке не говорите, — просил он, — обидится.

Дедушку, возможно, он считал тоже одним из богов. И говорил:

— Не обижайте дедушку, слушайтесь. Вот папа и дядя Гариф не слушались его в молодости и не любили, а теперь несчастны, они, может быть, хотели бы, да не могут полюбить.

Кого? Дедушку? Людей? Или звездного бога? Все это казалось таинственной, жуть как интересной чертовщиной. Но даже через многие годы, думая о дедушке Ясави, я вспоминал странные речи маленького Биляла. Верно, сыновья дедушки не любили его; бурное, молодое время отторгло их от дома, но и сейчас не нашли они дороги обратно, будто проклял их какой-то из богов. Якуб обходил стороной отцовский дом, а младший, Гариф, живя километрах в пятнадцати от городка, на каменном карьере, наведывался от случая к случаю.

Ясави так и не довелось стать духовным отцом для собственных детей, и каким же утешением стал для стариков Билял, послушный, неглупый мальчик, даже внешне похожий на Ясави.

Билялу было девять лет, когда дедушка сделал ему обрезание. Девять лет — это слишком много, чтобы легко обмануть мальчика.

— Я все сразу же понял, — рассказывал потом Билял. — Когда мне сказали — пришел портной, он делает примерку и сошьет тебе брюки, я поверил, но когда мне сказали, чтобы я лег, я тут же подумал: наверно, будут резать.

— И ты не заорал, не вскочил? — удивился Апуш.

— Я, конечно, не лежал совсем уж спокойно, я очень крепко закрыл глаза, так, что больно стало. А потом эта боль... Я, пожа-

луй, и не закричал бы, но потом думаю: а вдруг этот старик посчитает, что не сделал того, что должен, и опять резанет...

Мы хохотали до упаду, но с уважением взирали на него. То, что он перенес, несомненно возвышало его в наших глазах. А бабушка совсем воспрял духом, точно пометил его неким фамильным тавром, после чего уже никто в целом городе не посмел бы оспорить его права на внука.

Застигнутая внезапным вдохновением, бабушка Дония бросала чисто женские заботы и принималась ремонтировать дом.

Построенный лет пятнадцать назад грубо и непритязательно, этот дом из года в год оттачивал формы, украшался и даже слегка менял содержание. Сразу было видно — его строили небогатые люди: невеликий пятистенник с высоким подызбьем, представляющим собой низкое, темное помещение для кур, гусей и овец; но с годами подызбье мало-помалу углублялось и в конце концов превратилось в полуподвальный этаж с крохотными веселыми окошками. Окошки, правда, выходили только во двор, а с фасада глянуть — так вроде никакого больше этажа и нет, а просто дом на очень высоком фундаменте. Крыша была шатровая, то есть четырехскатная, покрытая железом.

Особенно долго и старательно украшала бабушка фронтоны. Прежде, говорят, было маленькое слуховое оконце в виде двух полумесяцев, соприкоснувшихся остриями, позже бабушка сработала неглубокую нишу, так что слуховое окно оказалось внутри ниши. Все было нехитро: четырехугольная ниша, по краям колонны, которые поддерживали плечики верхнего полукруга, а внизу решетка, похожая на оградку миниатюрного балкона, вмонтированного внутрь.

В то лето бабушка занялась наличниками окон. То, что выходило из-под ее рук, само по себе было не так интересно — просто дощечки прямоугольной формы, правда гладко оструганные, глаженные наждаком, с желтовато-матовым мерцанием по всей поверхности; фигурки кронштейна тоже не отличались замысловатостью, ромбики и квадраты казались результатом заурядного пиления и строгания. Но когда эти просто дощечки, поддерживаемые фигурными кронштейнами, нависли козырьком над окошками, а над ними тоже фигурные оголовья, а ниже нашиты ромбики, квадраты и разные розетки — вот тогда можно было в полной мере оценить то, что называется колдовством ремесла!

Пока она делала квадраты и ромбики, нам были интересны не сами изделия, а быстрота их возникновения — все происходило буквально на глазах, — и когда их собиралось достаточно, мы манипулировали ими, стараясь предугадать будущие фигуры.

А однажды бабушка положила на верстак тонкую гладкую доску и провозилась с ней до полудня, но ничего интересного не произошло, даже намек на будущую фигуру, только доска потеряла геометрическую правильность. Движения бабушки казались монотонными и унылыми, мы вскоре убежали на речку. А вечером, едва войдя в калитку, мы увидели прислоненный к стене сарая развернутый контур птицы. Но, подбежав ближе, были ошеломлены исчезновением птицы. И мы стали пятиться назад, опять оказались возле калитки и опять увидели широкий разлет крыльев и даже изгиб шеи и четко означенный клюв. Но стоило приблизиться — птица исчезала.

— Птица! Самрух! — в один голос закричали мы.

Да, это была Самрух, легендарная птица, которую никто в

жизни не видел, только один счастливчик из сказки, а больше никто.

До темноты околдованно блуждали мы по двору, и на сумеречном холсте вечера то являлась, то исчезала птица Самрух, пока наконец луна не залила и не поглотила ее белесые зыбкие контуры.

3

Кончилось лето, я вернулся в Челябинск, в новую квартиру в пятиэтажном шлакоблочном доме недалеко от прежнего нашего жилища. Бурбаки жили теперь в Никольском поселке, в домике, из которого выехали с окончанием войны две семьи херсонцев.

Мы с Алешей Салтыковым идем в восьмой класс в новую, среднюю школу.

Алеша угощает меня папиросами «Герцеговина флор».

— Мачеха где-то купила, говорит: подари папе в день рождения. Я, конечно, не стал дарить.

Мы закуриваем толстые папиросы со сладковатым дымом, застревающим в горле.

— Я и тетю угощаю,— продолжает Алеша.— Она стала курить, с тех пор как у нее шпиг помер. Дохлый был песик, а тетя говорит: от нервного потрясения помер, то есть оттого, что мачеха у нас появилась.

— А как ты ее называешь?

— Я ее называю в.ы. Но я ничего против нее не имею. Я даже мог бы ее полюбить, если бы она родила... Знаешь, как хочется брата или сестренку! Честное слово, я бы возился с ней все дни! Наверно, после Нового года она родит, у нее вот уже какой живот, как у твоей матери.

— У моей ма-тери? Ты сказал?..

Алеша покачал головой:

— С девчонками и то легче, чем с тобой. Впрочем, извини. Я говорю только о своей мачехе.

У моей матери... Да, я ведь и сам что-то такое замечал — что отчим обращается с нею как-то особенно, словно боясь даже голосом потревожить в ней ее покой, округлость ее покоя, тихую и миротворческую влажность ее бархатных глаз. Я сразу же заметил, как только приехал из городка, но только постарался тут же забыть.

— Я бы тоже не прочь занять брата или там сестренку,— говорю я небрежно.

А он (до чего деликатный, думаю я сперва) словно не слышит меня. Он дымит «Герцеговиной флор» и соображает вслух:

— Я только не знаю, что будет с тетей. Она ни в жизнь не помирится с мачехой. И, знаешь, с ней-то и произойдет нервное потрясение! Отец с ней очень ладил, всегда ее защищал, если мы скандалили. А теперь мы не скандалим, но отец... он совсем не замечает ее страданий.

И тут я вдруг говорю: «Прости, мне надо домой» — и убегаю, оставив удивленного Алешу. Мне кажется, пока я тут гуляю с Алешей, дома у нас тоже страдает... кто? — отчим? мама? Или все у них хорошо, а страдаю я? Они, наверное, только и говорят что о нем, а на меня им наплевать.

Я вбегаю в квартиру, сердце у меня сильно бьется, лицо горит, я попеременно гляжу то на отчима, то на маму, точно пытаюсь найти разгадку их новых отношений. Но все обычно, просто, и мама с тревогой обо мне говорит:

— Боже, как запарился! Тебе вредно так носиться.

— Мама, ма-ма,— говорю я с наслаждением,— мама, я давно хочу тебя спросить...

— Ну? — несколько поспешно говорит она.— О чем же ты хочешь спросить, ну?

— Это правда, что мы будем учиться с девчонками?

— Сто восьмая остается мужской, так что не волнуйся.

— Ура-а! — кричу я, и так легко, так хорошо становится у меня на душе. Неужели всего только минуту назад я был взвинчен и встревожен? А ведь все идет как нельзя лучше.

Я съедаю свой ужин, выпиваю молоко и, спокойно, безмятежно глянув на маму и отчима, ухожу к себе в комнату. Развалясь на диване, я читаю «Тамань». Убогая хатка на каменистом берегу вызывает в памяти домики у воды в городке. Загадочным вспоминается и весь городок.

То ли ночью, то ли уже под утро звонил телефон и что-то сонно отвечала мама.

Я поднимаюсь поздно, мама и отчим громко переговариваются на кухне, пахнет свежим чаем.

— Мама, а кто звонил так рано?

— наших мальчишек поймали в Кустанае и высадили из поезда. Я же говорила вчера, забыл?

Забыл, она действительно говорила, что из детдома сбежали двое. Я иду на кухню и сажусь за стол. Отчим глуховатым голосом говорит:

— Тебе, я думаю, надо остерегаться сложных ситуаций.

— Теперь уже просто,— отвечает мама,— поехать и привезти ребят.

— Я поеду с тобой, иначе и не заикайся.

— Я тоже поеду, мама!

— Помолчи,— мягко просит мама и так же мягко говорит отчиму: — Это лишнее, Зинат, но если ты настаиваешь...

— Я постараюсь часам... часам... словом, после обеда. Сегодня все должно решиться. Быть или не быть! — значительно, почти торжественно произносит он. Это он уже о своих делах.— Да, сегодня... или мы будем делать машины, или...— Он вдруг закатисто смеется.— Или — столовую посуду, ха-ха!

Завтрак протекает спокойно, и спокойно они расстаются; отчим уходит на завод, мама начинает прибираться на кухне. Я сижу в своей комнатке и каждую минуту помню о том, что должен прийти отчим, а там они с мамой поедут в Кустанай. Потом я незаметно задремаю и просыпаюсь от телефонного звонка.

— Позови маму,— просит отчим.

— Маму? Сейчас.— Я зову маму, но ее нет дома.— Ее нет дома. Я спал, я не знаю.

— Вот что,— голос отчима звучит сильно, внушительно,— передай маме, что я не смогу вернуться как обещал. Передай маме: пусть не едет, пусть ждет меня.

Только я положил трубку, как вошла мама с веником и ковровой дорожкой.

— Что, звонил отец? — Она бросила коврик и веник и принялась звонить.— Успел уехать, молчит телефон.— Она зачем-то протянула трубку к моему уху и тут же положила на рычаг.

Мы сели обедать, но мама, не доев суп, ушла к себе. Я убрал посуду, потрогал ее тарелку — она еще не успела остыть — и заглянул к маме. Она лежала, укрывшись пледом, и я вышел, тихонько прикрыв дверь.

Не прошло и часа, как я услышал: мама прошла по коридору в домашних туфлях, потом донесся стук каблучков, шуршание плаща. Она стала на пороге уже одетая, руки по-мужски сунуты в карманы плаща.

— Я еду. Скажи отцу, что я не одна еду.

— Но ведь ты едешь одна? Возьми меня с собой, мама!..

— Что-о? — почти с угрозой протянула она. Затем подошла ко мне и, не вынимая рук из карманов, чмокнула в щеку. — Пока!

Оставшись один, я сел к столу. Я сжимал в руке карандаш и глядел на чистый тетрадный лист. Голова моя туманилась, рука подрагивала, спеша коснуться листа, но я боялся. Мне хотелось написать о чем-то таком, чего со мной не было в городке, не было только по чистой случайности. — о своих приключениях с загадочной девушкой, встреченной на скалах Пугачевской горы. И вдруг я заплакал: я потерял, может быть, лучшее из приключений, оставшись дома! Я несчастлив, а счастливы те, которые вольно, отважно укатили куда глаза глядят, и вся суматоха в детдоме и у нас на квартире — все из-за них!.. Правда, я могу придумать что-нибудь еще удивительнее, мне бы только начать, только одно слово..

Тут зазвонил телефон, я опрометью кинулся в коридор.

— Позови маму, — сказал отчим.

— Ее нет. — И вдруг сказал: — Она ушла в домоуправление.

— А, ну хорошо! — воскликнул он живо и тут же положил трубку.

Я пошел в библиотеку и просидел там до темноты, читая «Детей капитана Гранта». Я с сожалением закрыл книгу, отметив в памяти страницу, и неохотно протянул ее библиотекарше. Она с улыбкой спросила:

— Не читал прежде?

— Читал. А вы не дадите мне домой почитать?

— Нельзя, — сказала она. — Приходи завтра.

Выйдя из библиотеки, я вдруг почувствовал зверский голод и засмеялся, заспешил домой. Голод гнал меня домой, и это было невыразимо хорошо! Отчим сидел на кухне и ел жареную картошку. Он сощурился на меня и произнес:

— Ты мне сказал неправду?

— Да, — ответил я. — Но, честное слово, я не знаю, почему я так сказал.

— Немотивированная ложь, — определил он. Но он, кажется, был в возвышенном настроении. — Знаешь, что мы теперь будем делать? Бульдозеры, грейдеры и скреперы. А? Чего ты молчишь?

— Это поинтересней, чем плуги, — сказал я. — Ты сам жарил картошку?

— Сам. Садись ешь. А интересней плугов ничего нет. Но скреперы тоже неплохо. Ты о чем-то думаешь?

— Ни о чем, — ответил я, словно очнувшись. Я думал о городке, о лопушиных чашах на задворье, скалах Пугачевской горы, песчаных бурях, налетающих на городок. — Ты читал «Тамань»?

— Читал.

— А «Дети капитана Гранта»?

Он засмеялся, и меня тут же пронзила обида.

— Почему ты смеешься?

— А ты счастливей меня! Когда я прочитал «Дети капитана Гранта», мне было двадцать девять лет. И книга показалась ужасной белибердой. Как жаль... вот, честное слово, до слез жаль, что в пятнадцать лет не прочитал. У-у, как ты на меня смотришь! Ты мне не

совсем веришь, правда? Да, брат, хоть и говорят — учиться никогда не поздно... а вот с этой книгой, да и со многими тоже, поздно, непоравимо поздно получилось. Ну хотя бы взять Диккенса. Ну могу ли я, завалившись на диван, одолевать во-от такие тома? А вот если бы в двадцать лет...

А я опять замкнут, закрыт для его речей и взглядов и даже прикосновения его руки ощущаю как сквозь толщу сна.

...Я открыл глаза и увидел отчима. Он стоял над моей кроватью и тер ладонью свою щеку; наверно, этот звук и разбудил меня.

— Вот что,— сказал он, скрешивая на груди руки,—мама нашла этих архаровцев. Но они вздумали прыгать из поезда на ходу. Мама, кажется, тоже... Словом, она в больнице. Я иду к ней.— Он протянул ко мне руки и каким-то дирижерским движением махнул ими вверх.— Подымайся, завтракай, а я все тебе расскажу по возвращении.

Через час он вернулся.

— Вот что,— сказал он, переводя дыхание,—ее здоровью ничто не угрожает. Ты слушаешь меня? Ее здоровью ничто не угрожает.— Он замолчал, но дыхание его почти не успокаивалось.

— А тех мальчишек... их опять поймали?

— Поймали,— выдохнул он горестно,— их опять поймали.

И я заплакал — от его горестных слов, от жалости к неудачливым мальчишкам, от своего стыда: ведь я стыдился спросить о матери, как будто их с отчимом отношения наложили на это запрет и отняли ее у меня.

— Мне тоже жаль этих мальчуганов,— сказал отчим как о чем-то сокровенном и горьком.

Прошло два или три дня, и отчим говорил: не сегодня-завтра маму выпишут. В это время случилось одно происшествие, в котором я принял самое живое участие. Прибежал запыхавшийся Алеша:

— Понимаешь, моя тетя собрала вещи и исчезла.

— Когда?

— Да вот, может быть, час назад. Вера Георгиевна говорит: поезжай, милый, на вокзал и верни ее обязательно.

В том, что тетя направилась на вокзал, Алеша не сомневался: то ли в Казани, то ли в Куйбышеве жила еще одна тетя, так вот к ней и собиралась Татьяна Афанасьевна...

Мы бросились к билетным кассам, но не нашли тетю. Увидели ее в зале ожидания. Несколько секунд Алеша и она смотрели друг на друга молча, а потом оба вдруг прыснули, а потом расхохотались. Они стояли друг против друга, взявшись за руки, и хохотали так, что у обоих покраснели лица и заслезились глаза.

— Что ж, друзья, идем. Эй-эй, а кто же понесет мой чемодан? — крикнула она слишком суматошным и явно притворяющимся голосом.

Мы, конечно, оба ухватились за чемодан. Но он оказался очень легким, и Алеша понес один.

За всю дорогу, пока ехали в трамвае, потом шли в темных переулках, мы не произнесли ни слова. Когда дошли до ворот, я стал было прощаться, но Алеша сказал:

— Идем и ты. Так нужно.

Я не стал возражать. Эта ситуация, пожалуй, требовала присутствия кого-нибудь постороннего. И действительно, я вдруг оказался в центре внимания: как дорогого гостя меня усадили пить чай, и тут

вроде кстати оказалась бутылка вишневой наливки, которую выпили взрослые и дали нам пригубить. Андрей Афанасьевич с повышенным интересом расспрашивал меня о моих делах и все повторял: «Молодцом, молодцом!» — а сияющий Алеша говорил:

— Мы с ним дружим пять лет, целую жизнь.

— Молодцом, молодцом,— отвечал отец.

Потом Алеша вызвался меня проводить.

В темноте накрапывал дождь, поднимался ветер.

— Она очень любила мою мать,— заговорил Алеша.— Когда они, то есть отец и мать, давно, я еще был совсем маленький... когда они решили разойтись, потому что у отца была какая-то случайная, как говорила тетя, глупая история, тетя уговорила маму простить его, и они потом жили очень, очень дружно. Ее и отец за это, да за все, здорово уважает.

Он долго говорил о своем отце, о матери, которой он лишился, но которую будто бы помнил почти с грудного возраста, о доброй и чудаковатой тете, а я только молчал, и еще большей тайной покрывалось для меня все связанное с моими родителями, и я чувствовал себя так потерянно, так одиноко перед этой непроницаемой тайной. «Почему Алеша знает все,— думал я с горечью,— а я ничего о своих родителях не знаю?..»

Дождь уже лил вовсю, ветер усиливал его удары, мы промокли насквозь, но Алеша все продолжал рассказывать...

Я пришел домой часов в одиннадцать, едва сбросил с себя тяжелую мокрую одежду и побежал было к себе в комнату. Но на полпути замер, услышав мамин голос. И вот как сейчас вижу эту картину: я стою перед растворенной дверью ее комнаты, мама сидит в качалке, дверь в кабинет отчима закрыта (их комнаты смежны), и мне кажется, она только сейчас закрылась, захлопнулась с последними словами мамы, которые и остановили меня,— я стою со вздернутыми плечами, потому что с моих волос течет вода и затекает под рубашку, по лицу тоже стекает вода, и ноги у меня мокрые, и все это видит мама, но продолжает сидеть. Правда, лицо ее обеспокоено, но это какое-то новое лицо. Она говорит очень ясным, тоже как бы обновленным голосом, что мне надо сделать, прежде чем сесть за ужин...

Вот я умыт, переодет, я поужинал, но тут меня и начинает тряссти озноб. Мама зовет, я захожу к ней и опускаюсь на коврик к ее ногам. Она спрашивает, где я был, отвечаю: с Алешей. Но больше я не могу говорить, меня колотит озноб так, что зубы стучат.

— Попей чаю с малиной. Ах, да ведь ты не найдешь.

Тут она поднимается с качалки, уходит, возвращается с чаем и вареньем, и только сейчас я вижу перемену в ней. Значит, ни чего не будет, все, что обещало ее состояние, всего этого не будет. В соседней комнате покашливает отчим, я вспугнуто опускаю глаза и дрожащими руками принимаю чашку из рук мамы.

Потом она стелет постель, выгаскивает толстое стеганое одеяло из верблюжьей шерсти и укрывает меня. Я прошу дать мне томик Лермонтова и открываю «Тамань», читанную много раз. Но прочитав страницу, я засыпаю. Жестокий кашель прерывает мой сон...

Пронесло — так мы думали с матерью, потому что, пролежав с неделю, я пошел в школу и не болел до самых октябрьских праздников. Но кашель не оставлял меня окончательно. А на демонстрации я простудился опять и залег с двусторонним воспалением легких. И пролежал всю зиму.

Весной мои родители стали заговаривать о поездке в Крым, но я и слышать не хотел, и наконец они решили ехать вдвоем, а меня отправить в Маленький Город.

В середине мая за мной приехала бабушка. Родители должны были ехать в дом отдыха неделей позже. Они провожали нас с бабушкой. Отчим помог бабушке взобраться по ступенькам в тамбур, провел в вагон и нашел нам место. Мама окликала меня, пока я шел за бабушкой и отчимом, окликала робко, а я еще задерживал шаги, чтобы продлить мстительное наслаждение слышать ее кроткий, покайный голос. Они так легко согласились оставить меня!

Когда поезд тронулся, бабушка подошла к окну. Я выглянул из-за ее плеча и увидел их, идущих по перрону вслед движущемуся поезду. Они шли, будто их тянули вперед, вниз, к серой тверди бетонки, их собственные тени. Потом они отстали, разом остановились и как-то стыдливо взялись за руки. И тут мне стало так жалко их, что я чуть не заревел. Я чувствовал себя куда богаче и тверже, чем они, у меня была моя бабушка, которую я любил без памяти, и она меня любила.

Мы приехали в городок в полдень.

Вот мы входим в наш двор, и отец сбегает с крыльца, широко раскинув руки, и забирает в объятия бабушку. Потом он схватывает меня под мышки, вскидывает над широким восторженным лицом, и я успеваю заметить скоротечное изумление на нем: видно, отца удивило, какой я легкий. Билял и Апуш стоят поодаль и со сдержанным любопытством наблюдают за нами. Отец, слегка помешкав, подталкивает меня к братьям. Я подхожу к ним и здороваюсь. Апуш хихикает, дружелюбно пхает меня в живот кулаком и говорит:

— Ну и долго же не было тебя, стерва!

— Мы тебя ох и ждали,— смущенно признается Билял.— А я уже в омуте купался.

Оглянувшись на покашливание отца, я вижу его хмурый взгляд.

— Ну, вы! — говорит он мальчишечкам.— Смотрите у меня! А этому Апушу не мешало бы язык укоротить.

— А что я такого сказал? — с наглой наивностью говорит Апуш.— Ты и сам иногда такое завернешь...

— Ну, вы!.. — говорит он опять.

И вот потекли день за днем, теплые, как вода на июньских плесах, пахучие, цветные, с некоторой пока еще приятной оскоминой от постоянной нежности отца.

— Купаться, купаться! — зовет он меня.

На берегу дедушка поит коня. Гнедой напился, но еще медлит над водой, сбрасывая с губ звенящие яркостью капли, и копыта его от долгого стояния погружены в мокрый песок. Гнедой тихо ржет, отец треплет его за холку и предлагает дедушке искупать коня. Дедушка протягивает повод, и отец начинает поспешно раздеваться, не выпуская уздечку из руки. По мере того как одежды слетают с него, я все круче отворачиваюсь от него. Оглянувшись через минуту, я вижу его голого верхом, он медленно направляет гнедого в воду. Почти до середины реки коняга идет, бухая копытами, затем оба враз погружаются так, что только голова гнедого вскинута над матовым надводным туманцем.

Поплавав, отец возвращается на берег и спрыгивает с коня. Мокрый торс коняги блестит на солнце, судорогой мышц он стряхивает воем брызг. И вдруг коняга кажется мне голым. Он знает свою прекрасную наготу, каждая мышца в нем напряжена и играет гордели-

вой радостью, он подбирает поджарое брюхо, и между массивными светящимися бедрами вздрагивает загадочной и стыдной чернотой бугорок.

Я захожу по колена в воду и умываюсь из ладоней. Галька шелкнется под моими ступнями, щекочет, вода обтекает ноги, но я пугаюсь студеного прикосновения и выскакиваю на берег. Я вижу, как дедушка уводит коня вверх по горе, и на влажном крупе коняги играют солнечные блики. А мы с отцом идем ниже по течению до брода, переходим на противоположный берег и шагаем дорогой, на которой пыль еще прохладна и тяжела, из канавок торчат плотные кустики типчака, стебли которого на взгляд зеркально гладки и только пальцам доступна их шероховатость.

От запаха трав покруживалась голова. Я хмелел, уставал, и отец подымал меня на руки и нес, я близко видел его запрокинутое загорелое лицо с брожением густого румянца под крепкой кожей, его рассредоточенный от нежности взгляд, обращенный в никуда или, может быть, только в небо. Я не считал зазорным покоиться на его руках, а он, исполненный ласки, и подавно не замечал, что я уже не ребенок.

Через каждые два дня бабушка запрягала гнедого, и мы ехали в колхоз за кумысом. Я ложился навзничь на телегу, белые, с синевой облака покрывали меня, со всех сторон обтекал теплый воздух, и время отдавалось мне щедро, неизменно, не тормоша суетой и спешкой. Я был ленив и добр, только плакал иногда от такого обилия времени, от полного покоя и безмятежности — и уставал, усталость возвращала меня в реальные границы бытия, я слетка приподымал голову и просил:

— Бабушка, расскажи.

Бабушка оборачивалась и кивала мне с улыбкой. Она рассказывала о девочке Нафисэ, которая шла чистым полем и несла в узелке еду, кажется родителям, работающим в поле. И какая-то беда ждала девочку. Вот идет она, а птаха спрашивает: «А куда ты идешь, Нафисэ, а куда ты спешишь?» А девочка отвечала: «А иду я к воде, где играет камыш». А птаха всезнающая: «Не туда ты идешь, где играет камыш. А на гибель, на гибель свою ты спешишь». Нафисэ между тем продолжает путь, и то одна, то другая птаха спрашивает ее, и девочка отвечает им. Вопросы и ответы бабушка пропевала много раз.

Помню, и прежде, когда я был совсем маленький, бабушка просто, обыкновенно рассказывала и пела суровые сказания и с той же обыкновенностью преподносила лихие житейские истории, в которых смерть была одним из действующих лиц, не более.

...Какая же беда грозила девочке? Идет она, идет... и время не тормозит суетой и спешкой, не больно от смены часов, от неуклонного продвижения солнца, от смены ветров, облака исчезают и нарождаются новые, запахи трав облекают ее всю в теплое и горьковатое, как молоко, которое пьет она, роняя капли с губ в зеленое колебание белой полыни с пирамидальными метелками, а птаха слышит капли молока, и на клюве у нее остаются паутинистые волоски... А куда ты спешишь?.. — потрескивают колеса на твердой дороге. Вскрапывает лошадь, и влага летит с ветром прямо в лицо...

— Тпру-у,— говорит бабушка.

Я открывал глаза и видел чистенький белый домик, поодаль за городку, за которой ходили кобылицы с шелковистыми спинами, и живые хрупкие жеребята хороводились глупо и безмятежно. В белом домике нам наполняли бидон, потом мы пили по большой чаше ку-

мыса и, посидев в прохладе на порожке, отправлялись обратно. Я сидел, свесив с телеги ноги, порыгивая кислым и пряным, слушаая, как наполняется хмелью голова, и опять ложился на сенную, прогретую солнцем подстилку и дремал до самого городка...

Так вот окреп я немного, и хотя внешне я был длинен и тощ, с узким бледно-матовым лицом, но силы прибавлялись во мне и не так пасмурно было на душе.

Еще одно лето в городке. У меня тогда еще было предчувствие, что это мое последнее лето здесь, но в том предчувствии не было ничего удручающего. Я окончил школу, жаждал перемен, я был заносчив и пренебрежителен к тому, что окружало меня прежде. Отец в то лето был особенно ласков и проводил со мной целые дни. Он прожил жизнь, а моя только начиналась, и он, казалось, решил употребить остаток своих дней на то, чтобы ввести меня в ярмарочный сумбур бытия. Он знакомил меня со своими бесчисленными приятелями, а приятели у него были люди заметные: инженеры кожевенного завода, учителя, агрономы, ветеринары, один психиатр — безумный, с горделивой бородкой, умеющий делать сумасшедшие глаза.

Но особенно дружен был отец с одним из них, главным агрономом районного сельхозуправления. Агронома звали Табрис, как одного нашего дальнего родственника. У него была ужасно толстая жена и грациозная зеленоглазая дочка Ляйла, выпускница школы.

— О! — говорил отец. — Табрис знаменитый человек. Он когда-то выращивал в наших местах арбузы. В Логах жили болгары, которые поделились с ним секретом.

Однажды отец позвал меня в свое жилище.

Мы поднялись на второй этаж, он отворил обитую дерматином общую дверь, и по длинному коридору мы прошли в самый конец: его, открыли опять же обитую дерматином дверь и оказались в крохотной комнатке, являвшей собой и переднюю и кухню — тут и обувь возле порога, и вешалки, и ведро для помоев, и кухонная утварь на полках, прибитых к стене. И уж совсем некстати — двуспальная кровать с никелированными спинками и дурными сияющими шарами. Тетя Биби сдержанно, но вовсе не враждебно кивнула на мое «здрате», не оставляя своих занятий, а мы с отцом прошли в его комнату. Высокая, с лепным потолком, высокими и узкими полуовальными окнами, гулякая, как школьный коридор или кабинет, — тут и пахло как в школьном кабинете, скорее всего историческом кабинете, — вот какая это была комната. На стене висели карты страны и области, на той и на другой внятно обозначались красные линии, рисующие пути, по которым в течение многих лет следовал Якуб со своими питомцами, — Свердловск и Челябинск, Пермь, Москва... — причем стрелки были направлены не от городка, а к городку. Над линиями надписи — «диплом первой степени», «первая премия», «грамота» и так далее; стало быть, дипломы и награды стекались в городок, тут все было правдиво и точно. Красные линии вились не только по сухопутьям, но и рядом с Камой, и Белой, и Волгой, а над линиями крохотные каравеллы, отважно выпятившие кили. И даже на голубом, означавшем Черное море, пронзительно, победно краснели все те же линии. Это были пути яхтсменов.

Противоположную стену занимали фотографии, крупные, как на Доске почета, глянцевые и вырезанные из журналов и газет, — галерея молодцов в шлемах и очках, рядом с мотоциклами; молодцы мечущие гранаты, стреляющие из винтовок, летящие на байдарках и глссерах, держащие в поводу стройных овчарок. А с молодцами почти на каждом снимке в скромном, будничном (хочется сказать —

партикулярном) платье отец, так резко не похожий на своих питомцев, но вовсе им не чуждый,— так мы видим, к примеру, среди футболистов их тренера.

Наше длительное молчаливое пребывание среди этих экспонатов начинало утомлять, но отец вдруг хмыкнул с будничной простотой:

— Здесь был Табрис, и эта обстановка вдохновила его на то, чтобы купить мотоцикл и научиться ездить. Но поскольку мотоцикл в его представлении страшилище, пришлось ограничиться веломотоциклом.

— Ну его к черту,— сказал я.— Я больше не буду толкать его в широкий глупый зад. Пусть сам учится.

Отец так и залился смехом:

— Глупый зад — неплохо сказано! С божьей помощью Табрис все-таки двигается. Но хорошо ездить не будет никогда. Послушай, ты сказал — ну его к черту? — вдруг удивился он.— Ты, случаем, не поцеловал его дочку?

Его слова меня ошеломили, но сейчас я думаю, что особой прощательности тут не надо было: вид у меня наверняка кричал о победе. Я пробормотал:

— Конечно... я поцеловал.

Его хохот прозвучал как победный туш: по картам прошелся шорох.

Заглянула тетя Биби и спросила:

— Есть будете?

— Нет,— сказал я.

— И то — дома поужинаешь. У нас хлеб да чай.

Когда тетя Биби вышла, отец стыдливо объяснил:

— Да, мой друг, живешь от получки до получки. Да я еще здорово потратился на велосипедные камеры.

Мы стали видеться с Ляйлой каждый день. С утра я бежал на речку — она ждала меня.

Нас преследовала ее сестренка, девчужка лет двенадцати, и ее преследования не только не сердили меня, но создавали прелесть наших встреч. С утра мы лежали на песке недалеко от собора, господствующего над пляжем, потом прибежала сестренка, и Ляйла гнала ее, та в слезах кричала: «А я скажу Эдику! Вот учти — придет Эдик, я все ему скажу!» Мы смеялись и убегали. Мягкий желтый песок лежал среди тальниковых зарослей, ни одна живая душа не забрела сюда.

Но без сестренки было хуже. Пока она преследовала нас, а мы, смеясь, удирали, было просто и хорошо. Но вот мы одни, и Ляйла сбрасывает платье и становится похожей на ту, которую я видел в своих снах... и желтый теплый песок как ложе двоих, окаймленный зеленью кустарников, и тело ее — зрелое, взрослое, запретное.

— Ляйла,— просил я тихо и кротко,— уйдем отсюда?

— Куда?

— Куда-нибудь... ну, может быть, в городской сад.

— Но почему, почему? — спрашивала она недоуменным нежным голосом, и нежность ее просила ответа.

На исходе был июнь, городок готовился праздновать сабантуй. Извечный праздник хлебороба собирал всех горожан, в чьей крови вдруг вскипала живучая память пахаря и сеятеля, а также крестьян из окрестных деревень. Я ждал этого дня, и ожидание объяснялось просто: уж в праздник-то мы не станем хорониться в тальниковых

зарослях, а пойдем в городской сад, и там среди людей я буду чувствовать себя уверенней.

Вот он и пришел, этот день.

В городском саду было шумно и пестро. Я стал пробираться к футбольному полю и вскоре же на краю бровки, заросшей гусиной травкой, увидел агронома и моего отца. В толпе мелькнула веселая рожица Динки, значит, где-то поблизости была и Ляйла. Между тем организаторы праздника раздвигали толпу, освобождая место для каких-то соревнований.

— Будет бой с мешками,— сказал Табрис.

— Э, нет,— возразил отец,— бег с яйцом.

Никогда прежде я не видал сабантуя, и показалось ужасно смешным, когда с десятков мужчин и парней побежали, держа в зубах ложку с куриным яйцом. Некоторые уже на первых шагах выронили яйцо и сошли с дистанции, зрители хохотали до упаду, уже объявился и победитель, получив в награду живого петуха, и хохотал вместе со всеми. И тут я услышал звонкий смех Ляйлы и оглянулся. Она весело кивнула мне: смотри, дескать, как забавно! Между тем приблизился ко мне отец и поощрительно подтолкнул меня вперед:

— А ну, может, попробуешь? Я, бывало, здорово бегал. И даже выходил бороться.

С самого начала состязаний во мне дрожала каждая жилочка, душой я рвался на поле, но ведь то было всего лишь волнение болельщика и оно излилось бы вместе со смехом над потешными состязаниями. Но вот я рванулся из толпы, побежал к организатору бегов и почти вырвал у него из рук ложку. Дрожа, улыбаясь всем лицом, я закусил ложку, положил в нее яйцо и приготовился. Меня ласково обдало шумом дружелюбной толпы — я ликовал, заранее предвкушая успех.

— Арш! — крикнул организатор и взмахнул платком.

Сосед мой как шагнул, так и выронил яйцо, и другие — словно понарошку все у них выходило — тоже роняли и, отбегая прочь, спешили присоединить к улюлюканью толпы веселое свое отчаянье. А мы, оставшиеся, бежали, точнее передвигались, плывущим, медленным не то бегом, не то шагом, и оставалось нас все меньше — по правую руку от меня уже никого не было, только слева бежали двое, и один из них звучно хрипел. Случилось чудо! — я достиг финиша первым, а те двое, рванувшись в последний миг, разбили яйца. Я взял с ложки яйцо и протянул его организатору, а он прихватил меня за руку и потащил за собой под восторженный гул толпы. И вручил мне самовар, настоящий медный самовар — где только нашли такую диковинку!

Пот ручьями тек по моему лицу, меня шатало, и минуту казалось — теплый воздух толпы вздымает и несет торжественно над зеленым и пестрым полем. Я не сразу ощутил, как меня подталкивают в бок. И тут услышал:

— Подойди, не стесняйся, отдай,— говорит мой отец,— слышишь, отдай Ляйле... это твой трофей... вот же, вот Ляйла.

И я, совершенно безвольный — может быть, счастливый, не ручаясь,— протянул в обеих руках самовар и отдал кому-то. Почему кому-то? Я его отдал Ляйле, вот она держит самовар и смеется, вертя его и так и этак.

— Спасибо. Ты так здорово, так забавно бежал.

Но я отступаю от нее, замыкаюсь в текучей добродушной толпе, проникаю в ее равнодушное тепло — и нет меня!

Я устал; тяжело двигая ногами и руками в толчее, выгребаю наконец к тихому и пустынному уголку. Здесь домики конторы, дерево

у крылечка, его рваная тень расстелена на земле — я сажусь, ветерок обдувает, я остываю, оживаю и кажусь себе пусть не героем, но человеком, сделавшим что-то необходимое для стольких людей. Я слышу журчание воды и жадно облизываю спекшиеся губы.

У фонтана я вижу двух девочек в ярких платяцах. Они верещат, покрывая своими голосами звон воды. В одной из них я узнаю Динку. А в руках у нее самовар, мой самовар. Игрушечным ведерком девочки наливают в него воду.

— Где ты взяла самовар? — спрашиваю Динку.

— Нигде. Это мой самовар. Мне его подарила Ляйла. Ужасно тяжелый, вот попробуй поднять.

Я ничего ей не ответил. Мне надо было утолить жажду во что бы то ни стало. Я занес ногу через край бассейна, и она погрузилась в теплую, радужную воду; девочки радостно завизжали, созерцая никем не возбраняемую шалость взрослого человека. А я уже ловил губами прохладные струи. Напившись, я вылез из бассейна. Брюки тяжело облегли мои ноги, грудь была забрызгана водой, но мне было легко и весело, точно влага унесла весь жар моих сомнений, моих потерь. Я пустился туда, где бурлила толпа, но тут мне повстречался Билял.

— Сейчас начинается борьба, — сказал он, — а борьбу лучше всего смотреть знаешь откуда? — И он показал на дощатую покатую крышу конторы. — У меня и бинокль есть. Идем?

По шаткой горячей лестнице мы взобрались на крышу. Пока мы ползли по ее нагретой покатоности, было очень жарко, но вот, добравшись до верха, я сел, выставив мокрые коленки, и ветерок стал обдувать меня, охлаживая и бодря. Отсюда, с верхотуры, каждый уголок футбольного поля был доступен обозрению; я увидел, как с высокого столба скользнул парнишка с лукошком в руке, послышалось верещание петуха, которое тотчас же заглушил смех толпы. Но уже начиналось главное: центростремительное людское течение стало заливать все поле и оставило только площадку в самом центре, где вот-вот должны были сойтись борцы.

— В прошлом году барана выиграл Хаджиев, — сказал Билял.

Мне было все равно, кто выиграл барана, но я спросил:

— А кто такой Хаджиев?

— Из нашего техникума. Его каждый в городе знает. Смотри, смотри... Эдик!

— Какой Эдик?

— Я же говорю — Хаджиев!

В круг, тесно сомкнутый толпой, вышли борцы с полотенцами в руках, запохаживали друг перед другом, затем каждый позволил сопернику обвить себя полотенцем за пояс — и в мгновение один из двоих оказался брошен и подмят. Слишком быстро все произошло. Когда вышла вторая пара, я почувствовал дремоту, глаза мои сомкнулись. Время от времени возгласы зрителей напоминали о происходящем, но следом же я погружался в теплое качание сна. Вопли, однако, усиливались, рядом орал и стучал пятками о крышу Билял, и я открыл глаза. Билял дрожал от возбуждения так, что бинокль подсакивал у него перед глазами.

— Дай погляжу, — сказал я, не имея, однако, ни малейшего желания созерцать борьбу.

— погоди... Эх, слишком тяжел этот боров, в нем пудов шесть наберется! — бормотал Билял.

Наконец он не без сожаления протянул мне бинокль. Я отчетливо увидел борющихся. Один был громаден ростом, толст и на вид очень неуклюж, а другой ниже ростом и пожиже туловищем, но на-

порист и юрок, его смуглые руки и смуглые ноги отливали на солнце с ярким неистовством. Он был совсем еще молод, и я подумал: «Наверно, это и есть Хаджиев». Между тем Хаджиев все прытче беспокоил своего соперника, все заметнее раскачивал его титанический торс. Билял отнял у меня бинокль, и уже простым глазом я увидел, как оба крутанулись и пали — наверху воссияло упругое смуглое тело Хаджиева. А толстый лишь коснулся спиной земли, видать, и сам тому не поверил и в следующее мгновение подмял Хаджиева. Но победа уже была решена: судья подбежал к Хаджиеву и, как мне показалось, пошенишно и даже сердито вздернул победителя с земли и поднял его руку. И тут же зрители кинулись в круг, стерли, затопили его потоком голосов...

Мы слезли с крыши. Билял вскоре же убежал от меня, наверно спешил поздравить Хаджиева.

Я проходил мимо раздевалки и вдруг вышел прямо на Хаджиева. Он шел впереди, за ним, поотстав, шли его поклонники. Хаджиев двинулся в раздевалку, и я машинально последовал за ним. Он свернул к душевой — и я за ним. Когда я зашел за дощатую перегородку, он стоял голый, из рожка бежали щеголеватые струи воды, крепкое, литое тело Хаджиева пружинно корчилось, ловя струи, — он и вода точно забавлялись, воркуя о чем-то тайном. Заметив меня, Хаджиев не удивился, только улыбнулся белозубо и подмигнул мне. Я ни словом, ни жестом не отозвался, но вид у меня, наверно, был красноречив: нельзя было скрыть восторга перед этим крепким веселым телом. Потом я молча повернулся и вышел из душевой, столкнувшись в проходе с его робкими поклонниками.

Перед моими глазами вдруг замаячил самовар, и я решительно ускорил шаг. «Я уничтожу этот проклятый самовар!» — наверно, что-то в этом роде мелькнуло в моей разгоряченной голове. Ноги сами понесли меня к бассейну, где я надеялся застать Динку с ее подружкой, отобрать у них самовар и разбить вдребезги. Но я увидел только «борова», с которым боролся Хаджиев. Он сидел по горло в коричневой воде и шумно, блаженно дышал. На всякий случай (может быть, девчонки оставили самовар где-то тут?) я обошел вокруг бассейна, затем пустился по аллейке — бездумно, уже бесцельно, вчуже удивляясь себе: что еще держит меня здесь, почему я не ухожу домой? Аллейка вывела меня к веранде летнего театра. С досадой я остановился и хотел было повернуть обратно, как вдруг увидел сходящую с веранды Ляйлу. И она меня увидела, на миг в ее лице промелькнуло удивление, затем досада, но она помахала мне рукой. Я пошел ей навстречу.

— Я ищущу Динку, — сказал я угрюмо.

— Мама увела ее домой. Боже, где ты так извоился?

Она бесцеремонно оглядела меня, всем своим видом выражая сочувствие. Я уставился на нее, ища в ее лице насмешку или презрение. Но ни насмешки, ни презрения, ни уже сочувствия, ее глаза рассеянно скользят мимо и хмуровато досадают, будто я мешаю ей что-то разглядеть. И тут я заметил в ее руке авоську. Она нетерпеливо подпрыгивала коленкой толкая ею авоську, а в той авоське лежали сандалии, свернутые брюки и кепка. С каждой минутой ее охватывало все большее нетерпение, и когда я сказал: «Ну, я пойду», еще надеясь, что она удержит меня, она благодарно кивнула и тут же побежала, не оглядываясь, за угол веранды, к раздевалке.

Что ж, надо было уходить отсюда. Я направился не к главным воротам, а в сторону конторы, там, я знал, была служебная калитка. Я хотел уйти не замеченным никем. Но выйдя к калитке, я увидел моего отца. Одной рукой он вел барана, захлестнув ему шею брючным

ремнем, в другой нес самовар. Не будь так угнетен своим горем, я бы, наверно, не без удовольствия отметил в нем ненаигранную простоту, непосредственность, с какою он вел и нес свои приобретения. В нем и следа не было той чопорности, деланного достоинства, всего того, во что он обряжался как в доспехи, общаясь с уважаемыми инженерами, врачами или со знаменитым агрономом Табрисом. Заметив меня, он обрадованно кивнул и, когда я подошел поближе, доверительно заговорил:

— А куда бы девал барана студент, ведь не стал бы он резать его и жарить шашлыки на дворе техникума! Он взял недорого. Сынок, ты очень устал?

— Ничуть, — ответил я, глядя ему прямо в глаза и, наверно, смущая своим презрением. — Я не устал, — продолжал я. — А ты хочешь, чтобы я поддерживал за курдюк эту животину?

— Нет, нет, — всерьез возразил мой отец, — но вот если бы ты взял самовар...

Богу было угодно, чтобы мы не поссорились на людях: к нам направлялся Апуш. Подойдя, он молча взял за ремешок и притянул к себе барана.

— Ну, чего стали? — сказал он. — Пошли.

5

...И хотелось мне только одного: приехать побыстрее домой, кинуться к матери, уткнуться лицом в ее колени и поплакать. Или к отчиму. Он, конечно, сух, даже суров, но, может быть, и сам я не так уж отзывчив, не так уж добр. Может быть, пока еще молод, надо слушаться и любить его, чтобы потом не утратить этой способности — любить.

Странно, наверно, но я почти не думал о Ляйле. Тогда я, конечно, не мог оценить всего, что произошло, ведь это был опыт, пусть хотя бы крохи его, а опыт подытоживается не так рано, не в восемнадцать.

Маму я застал в растерянности: детдом перевели в Кусу, небольшой лесной городок, ехать туда она, конечно, не могла, посоветовать и утешить ее некому — отчим вот уже месяц на Кавказе на испытаниях новых бульдозеров.

— А он пишет? — спросил я.

Она кивнула на стол:

— Вон его адрес. — Помолчав, нерешительно добавила: — Напиши ему, что я ищу себе работу... Предлагают в заводскую библиотеку, но я еще не решила.

— Хорошо, хорошо.

И тут же забыл, стал писать о своем. Может быть, к лучшему, что его не оказалось дома и пришлось мне в письме излить душу.

Боюсь, я слишком открыто писал о своих огорчениях, в чем-то казался, в чем-то обещал верность и послушание. Его ответное письмо было лишено подспудного поучительного смысла: сказалась деликатность ума. Он писал о себе, о своих делах, письмо его было свежо, юно и, казалось, источало запахи юга. «Мы испытываем наши бульдозеры на строительстве дороги. Из Николаева сюда привезли те же катерпиллеры, что и у нас, но у николаевцев деформировался отвал. А наш бульдозер — тоже ведь катерпиллер, да мы его усовершенствовали! — поскрипывал, но выдержал все превратности здешнего грунта. Это победа. Здесь работает строительная часть Мичурина. Начальник говорит: один ваш бульдозер заменяет батальон солдат. В горах еще холодно, живем в вагончиках, ночью я просыпаюсь от холода и ну давай подбрасывать в печку дрова. Есть происшествие:

один бульдозер утонул в Рице, скатившись с плашкоута. Сейчас ждем водолазов из ЭПРОНа. На моем столе найди, пожалуйста, американскую книжицу и попробуй перевести статью, я ее отчеркнул карандашом. Там что-то новое о землеройной технике. Нам нужен свой бульдозер, на собственном, челябинском тракторе. Но чем больше мы будем знать о заморских машинах, тем лучше и оригинальнее сделаем свою. Будь здоров, весел и трудолюбив!»

Я долго был несмышленишем в настоящей взрослой жизни, а теперь наконец-то входил в контакт с одним из самых деятельных ее участников. Я гордился собой и был преисполнен любви и уважения к Булатову. Над статьей я просидел недели полторы и поставил точку как раз к возвращению отчима. Он тут же взял мою работу и стал читать. Но он был слишком переполнен кавказскими впечатлениями, слишком рад встрече с нами—он выдал себя: еще не дочитав статью, стал увлеченно говорить о Ля Турно, об американском бульдозере, о том, что он со своими ребятами придумал конструкцию ничуть не хуже. Я обидчиво молчал на его восторженные тирады, но скорее бы умер, чем показал матери, как я огорчен. «Так вот оно что,—думал я,— он просто хотел занять меня делом. Мог бы и не беспокоиться, я бы не зачах от тоски и безделья». Но отчиму я не показал своего разочарования, чтобы не лишиться еще одного его поручения.

Назавтра, когда мы остались вдвоем, он спросил: чем же я думаю заниматься теперь, когда школа окончена?

— Пока еще не знаю,— ответил я сдержанно, как бы разведывая смысл его заинтересованности.

— Человек становится рабом профессии только потому, что частенько приподымается на цыпочки,— заговорил он.— Да, чтобы глянуть лет на двадцать вперед и увидеть себя в каком-либо качестве. И он, конечно, старается увидеть то, что ему приятно. И торопит будущее и уничтожает нынешние дни. Разве ты не уничтожаешь день за днем, бездельничая и только мечтая?

— Откуда ты знаешь, что я...

— Что мечтаешь? — перебил он высоким, звонким голосом.— Конечно, мечтаешь! Лучше всего мечтается в безделье. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

— Я тебе писал, — проговорил я, едва удерживая дрожание лица,— я писал... так откровенно. Глупо, что так откровенно.

— Ну, все? — произнес он терпеливо.— Слушай, если тебе не хочется чего-то говорить, оставляй при себе. Это совсем ни к чему — до конца изливать душу.— Тут он поглядел плутовато.— Надо, чтобы на доньшке души кое-что осталось и проросло... ну, опять же для новых откровений. Да, да! — пылко воскликнул он.— Душа на то и дана человеку, чтобы в ней что-то оставалось храниться. А за письмо твое спасибо,— тихо кончил отчим.

— Ты спрашивал, чем я хочу заняться,— сказал я.— Пожалуй, я хотел бы поступить в университет. На факультет журналистики.

— А ты представляешь себе журналистику?

— Я кое-что написал и уже напечатал. Только под псевдонимом.

— Да? И какой же у тебя псевдоним?.. Хм,— сказал он, когда я назвал свой псевдоним.— Значит, ты вовсе не хочешь блистать своей фамилией, а интересуешься сутью дела. Похвально.

Отчим уходил на работу рано, возвращался поздно. Он и в выходные дни исчезал надолго: приехали работники из московского НИИ, жили в гостинице и не признавали выходных.

Воскресное утро. Мама в прихожей подает отчиму только что починенный плащ. Он одевается и бормочет:

— Хорошо, все хорошо. Скоро они уедут.

— Пстой! — Маму как будто осенило вот сию минуту. — А разве не могут твои друзья прийти к нам? Ведь все равно просиживаете у кого-нибудь на квартире или в гостинице?

Отчим удивленно вскидывает седоватые брови.

— У нас братва такая... накадит — не продохнешь. А Пименова тебя просто шокирует. Эх и смолит! Но, знаешь, когда бабы курят, я, по крайней мере, не стесняюсь при них ругаться.

— Ты — ругаешься? Это все равно как если бы пророк ругался.

И вот через два дня они вваливаются к нам — трое молодых людей в стильных пиджачках, цветастых рубашках, двое из них в очках, рыжая патлатая девица, еще двое — эти в годах, работяги, строгальщики или сварщики. Кто поклонами, кто за руку знакомятся с мамой и со мной и шумно, теснясь, проходят в комнату к отчиму. Там они расхватывают складные металлические стулья и располагаются непринужденно.

Патлатая Пименова, я и мама несем чай, компания все более оживляется, уже возгорается разговор. Пименова, наклонившись к маме, полупшепотом бубнит:

— Это же Яхин, знаменитый строгальщик. Не обращайтесь внимания, он глуховат и улыбается всегда...

Мама радостно кивает, тянется к ней что-то сказать, но Пименова подсакивает к одному из очкариков:

— Стой, Тарасенко... стыдись! Если твоя рационализация сводится только к тому, чтобы резать деталь... Ты инженер, не забывай об этом!

Булатов взглядывает на маму и разводит руками: дескать, вот они какие. Она порывается что-то сказать ему, а он уже склонился над ватманом, зовет Тарасенко:

— Есть и другой вариант наполнить песком место сгиба, греть током высокой частоты и гнуть, гнуть. А как же ты думаешь? Я Николая Кузьмича пригласил, чтобы вас поближе свести. Он кузнец по обработке...

Сидящий с Яхиным седой краснолицый дядька подвигается к ним, таща за собой гремящий стул. Тарасенко одобрительно посмеивается, но видно, что он еще и смущен.

— Стало быть, рама будет принципиально новая?

— Да, — отвечает Булатов.

Мама тихо выскальзывает из комнаты, Пименова, оглянувшись ей вслед, закуривает новую папироску и подходит к мужчинам.

— А Балкарей что скажет?

— А черт его задери! Но... — Булатов тут же усмиряет себя и Пименову, — но знайте, Балкарей мировой спец. Работников своих замордовал, но сам он...

Балкарей прибыл на завод во главе конструкторской группы НИИ дорожного машиностроения. Вместе с заводскими конструкторами они корпят над проектом нового бульдозера. Балкарей нашим не нравится, это сразу видно, но, возможно, они лишь только льстят Булатову. Особенно непримирима Пименова:

— Будь его воля, он бы никому ходу не дал. Что, разве Тарасенко в конце концов не справился бы с картером?

— Справился бы, — отвечает Булатов. — Но взялся Балкарей и за день устранил течь. Поставил отражатель — и пожалуйста, сальник не нужен. То есть нужен, но лишь как отражатель пыли.

— Балкарей сделал за день, Тарасенко сделал бы за два — какая разница? Просто Балкарей дрожит за свой престиж.

Булатов мягко укоряет:

— Наталья, милая, бойся стереотипов. По-твоему, он всего лишь пожилой руководитель, который боится конкуренции и держит молодых коллег в черном теле. А Балкарей талантлив и энергичен.

— То-то он вашу коробку управления похерил.

— А мой вариант ему понравился. Жаль, говорит, я раньше не взялся. Понимаете, ему интересно сотворенное другим.

— А потом он закрылся на неделю у себя в номере и вышел оттуда совсем зеленый.

— Но зато он дал блестящий проект! Он всего лишь уменьшил шлицы втулок, до чего я все же не додумался.

Булатов ликует и берет в широкое лоно своего ликования и Пименову, и юношей, и Яхина с Николаем Кузьмичом, и весь их порывистый и вроде бы сумбурный разговор приобретает цельность, даже отточенность. Тарасенко придвигает свой стул поближе ко мне, дует на чай и шепчет:

— Слушайте и мотайте на ус. Может быть, запечатаете.

Я чувствую, как вспыхивает мое лицо. Значит, Булатов разговаривает с ними обо мне! Они знают меня. Вспышка смущения малопомалу сменяется счастливым покоем, и мы вполголоса разговариваем с Тарасенко. Он приглашает меня на испытания нового автогрейдера, я обещаю — обязательно, обязательно! Потом он рассказывает, что до недавнего времени работал в инструментальном цехе, а еще раньше шофером, учился в вечернем техникуме, а нынче намерен сдавать в политехнический. Но побаивается английского.

— Я не мечтаю читать в оригинале американских инженеров, мне бы на тройку сдать вступительный.

Значит, они знают и про то, что я перевел статью из американского журнала. Голова моя кружится, мне грезится моя дружба с Тарасенко и его товарищами. У нас будут долгие разговоры, споры о технике, искусстве, веселые мытарства на испытаниях машин, встречи в уютном кафе.

— А хотите, мы будем вместе заниматься? — предлагаю я Тарасенко. — Мне это нетрудно, ведь я тоже нынче поступаю.

— Спасибо, — задумчиво отвечает Тарасенко. Вдруг вскакивает. — Канаты надо сокращать! Балкарей, по-моему, забывает золотую истину: катить лучше, чем толкать. Балкареевский отвал не годится. Наш способен именно катить вынутый грунт.

— Значит, Балкарей запретя у себя в номере и через неделю ошарашит новым отвалом.

— Наталья, Наталья, — вздыхает Булатов, — не такой уж он щепетильный в своей гордыне.

Тарасенко не отрываясь смотрит на Булатова. Наверное, о нашем разговоре он забыл. Я молча поднимаюсь, иду из комнаты и тут в дверях вижу маму. Наши взгляды встречаются. Как постарели ее глаза, как сиротливо смотрят они на меня!..

В ту пору на меня как накатило: такой жажды общения, такого интереса к людям не знал я, наверное, никогда прежде. В эти дни я вдруг отчетливо почувствовал, как не хватает мне Алеши Салтыкова. По слухам, он окончил первый курс политехнического и на лето уехал со студенческим отрядом куда-то в североуральские дебри строить коровники.

Представьте же мою радость, когда он вдруг объявился! Он пришел утром, держа за руку сестренку. Я просто обалдел от счастья и

в первую минуту не заметил хрупкой и кроткой девочки. Изогнув шейку, безмолвно, удивленно глядела девочка на наше неосторожное буйство. Наконец мама увела ее к себе, наверняка чтобы пичкать сладостями.

— Ну, садись, рассказывай!

— Да что я — ты!

— Нет, нет, ты расскажи!

Но ни я, ни он ничего толком не рассказывали, мы только смеялись и тузили друг друга в бока. Он был коричневым, коренастым, плотным, как орех, и округлым, ликующе сердечным и простым. Поуспокоившись, мы сели.

— Ты, наверно, знаешь, — говорил он, глядя на меня влажными желто-кариными глазами, — тетя умерла два года назад. Отец постарел, но хорохорится и продолжает руководить, теперь уже жилищной конторой. Мачеха в больнице. Как только ее положили, отец дал мне телеграмму. Я не мог не вызвать тебя, говорил он, ведь сестренка оставалась бы беспризорной. Конечно, при руководящем отце... — Алеша тихо засмеялся.

Вошла мама и села, взяв на колени Алешину сестренку. Но я решил не обращать на нее внимания.

— И ты, стало быть, воспитываешь сестренку и зубришь?

— У меня, как ты знаешь, не было никаких особенных способностей, вот я и пошел на стройфак...

— Мрачно, но жутко интересно.

— Почему мрачно? — пожал плечами Алеша. — Я не жалею о выборе, не считаю себя неудачником и даже заражен немного романтикой. Через два года я получу СМУ где-нибудь на целине, построю там город Лейпциг.

— Лейпциг? Почему Лейпциг?

— Ты что, не знаешь наших сел? Куда ни поедешь — то Лейпциг, то Варна, то Берлин. А есть еще деревня Фершампеннуаз...

— Вот видишь, — вдруг подала голос мама.

Я взбеленился:

— Что — видишь? Что — видишь? Ты представляешь, Алеша, моя мама не хочет отпустить меня в Свердловск!..

— Почему, тетя Айя? — мягко спросил Алеша и подошел, сел рядом с нею. — Рустем талантлив... Вы плачете?..

— Да хватит тебе, мама! — закричал я. — Ты не даешь нам поговорить. Я сто лет не видал Алешу. Вот мы закатимся куда-нибудь, а ты посидишь с Викой, а?

— Ну нет, — возразил Алеша, — Вика от меня никуда. Я здорово по ней скучал. И мы поедем с ней в детский парк. И только вдвоем! — Тут он взял меня за плечи, подтолкнул к дивану и посадил рядом с мамой. — Зайду вечером, — сказал Алеша и взял сестренку за руку.

Я не знал другого человека, кто отдавался бы заботам о своих близких с такой страстью. В судьбе Алешы Салтыкова было куда больше гармонии, чем в моей. Он жил так, как жили его родные, и знал только один образ жизни. У меня по-иному: в Маленьком Городе я стафовился его патриотом и смотрел на всех, кого я оставил в Челябинске, с подозрением и холодком. А когда возвращался к родителям, то уже городок казался чужим. Любовь и нелюбовь перемежались во мне постоянно, и любовь была такою же горькой, как нелюбовь.

В те дни, кажется мне, я ощущал постоянно сосущую, как голод, потребность в опоре, потребность в человеке, который был бы рядом. Таким человеком казался в те дни Алеша Салтыков.

А приехал Билял и стал просить моей помощи. Он убежал из городка и клялся, что никогда больше не вернется туда.

— Только ты можешь помочь мне,— говорил он.— ты должен мне помочь... Только тебе я все-все расскажу!.

Кажется, именно тогда во мне шевельнулись родственные чувства к Билялу. Нас как бы породнило, связало одной ниточкой наше почти одновременное бегство и то, что именно от меня ждал он участия.

В школе Билял учился ни шатко ни валко, и когда после семилетки отец предложил ему поступить в зооветеринарный техникум, он тут же согласился. Он смекнул, что через четыре года получит свободу, уедет куда подальше и заботливый отец не достанет его. Хорошо!

А пока что он ходил на вечера, на танцы в городской сад и в Дом культуры, куда его бывшим соученикам вход пока что был заказан. Стал курить, пил иногда вино — так, для смелости. И все же оставался хрупким, тихоголосым мальчиком. Более мужественные сверстники не презирают таких, а, наоборот, опекают, иной раз даже преклоняются. А Билял играл на гитаре! Вот тогда-то он и обрел некоторую уверенность, когда впервые прошелся в окружении плечистых сверстников, наигрывая на гитаре, горделивый, необходимый в компании человек. Он не только расчистил себе среди них местечко, но приобрел кое-какую власть, которая, впрочем, не распространялась дальше приказаний аккуратно посещать художественную самодеятельность (Билял руководил струнным оркестром техникума).

На втором году учебы дедушка Ясави стал было побуждать внука употребить полученные знания в дело, и тут впервые внук посмел его послушаться. Подумаешь, кому-то приспичило кастрировать быка или жеребчика. Правда, кастрировал он кролов у Апуша, чем приводил брата в неопишуемый восторг. Но все это — и оскопление кролов, и восторги брата, и игра на гитаре, и руководство самодеятельностью,— все это было не главное. Главное было — свобода.

Когда Билял сдавал последние экзамены, отец засуетился, желая оставить сына в городке: на мясокомбинате, на зероферме, в ветбаклаборатории. Но Билял спешно вызвался поехать в деревню. Деревню то он не знал, краткие месяцы студенческой практики не могли пробудить в нем интереса к деревне, не могли открыть сложностей тамощнего бытия. Работа вскоре стала его тяготить. Но с ним была спасительная гитара. Он являлся в клуб, и через минуту его окружали парнишки и девчонки, жаждущие попеть, поплясать. С ними он забывал о своих тягостных заботах...

Однажды, когда Билял пропадал на районном смотре, а там укатил на областной, председатель дал выход своему негодованию: кошары заливают водой, полным ходом идет окот, а веттехник и сам уехал и людей увез! — и тут же на правлении было решено изгнать нерадивого веттехника. Районные власти дали этому делу другой ход: будто бы не правление изгоняет веттехника, а район забирает себе руководителя художественной самодеятельности. И Билял стал культмассовиком в городском саду.

Это были золотые дни! Он ходил в зеленых куцах городского сада овеваемый мыслями о свободе, о полной независимости от родителей, о будущем, когда он станет или студентом института, или музыкантом джаза. Бывшие его одноклассники, студенты вузов, приехавшие в городок на каникулы, вели мудреные разговоры, свойски поверяли Билялу все, чем напичкал их пятьдесят шестой год — год, в

который они окончили школу и вышли из оков анахронического городка. Директор городского сада Реформатский, многие годы подавлявший новомодные танцы и хранящий верность отечественным, целомудренным, нынче добрее глядел на молодежь. Когда наступал вечер и танцплощадку ооясывал круг огней, студенты обучали местных девчонок стремительным и разухабистым танцам, отчего дощатый настил танцплощадки угрожающе трещал. Глядя на летящую щепу, Реформатский грустно улыбался: а ему-то казалось, что эти доски, настаннне еще при купцах, выдержат столько, сколько ему суждено будет директорствовать. Но, видно, придется делать ремонт, нынешнее поколение заслуживает лучшей площадки для развлечений.

После танцев Билял и студенты подолгу бродили по городку, оглашая спящие улочки жизнерадостными воплями. Ах, как это все нравилось Билялу, но он уже рвался домой, домой! — он забирался в свой уголок, зажигал настольную лампу и спешил дочитать книги, которые давали ему студенты: Бунин, Заболоцкий, Хлебников, Ремарк — много разных писателей, чьих имен он прежде даже не слышал. Он читал, и не все понимал, и готов был плакать от обиды. Он выписывал отдельные места — не успеет дочитать, ребята уедут, так он хотя бы выпишет кое-что... и лето проходит. Скорей бы следующее!

Назревал сентябрь, теплый, сытный и грустный... А там осень насыпала желтых листьев. Впереди долгая, унылая зима. Работы почти никакой, разве что после снегопадов расчистить каток да постоять у билетной кассы. Нет, больше он не мог оставаться здесь. Тут, кстати, освободилось место инструктора в райотделе культуры. Зарплата у инструктора скромная, и Билялу посоветовали связаться с Обществом знаний и для приварка читать лекции. Он становился на лыжи и пускался в путь по снежной степи. В долгом пути, созерцая широкое сияние снегов, он предавался неспешным мечтаньям.

Как-то он приехал в один колхоз и, прочитав там лекцию, подумал: хорошо бы заскочить еще в одно село. Председатель колхоза посоветовал: если ему охота, он может завернуть в заказник, там ученые живут, почвы исследуют, бирюками стали в уединении, так что им приятно будет послушать человека из райцентра. Билял тут же и покатыл в заказник.

В самой просторной комнате конторы он увидел нарядную, свежую елку, чему немало удивился — Новый-то год прошел. Но оказалось, что ученый люд, праздновавший Новый год кто в кругу семьи, кто у друзей в Перми (заказник принадлежал Пермскому университету), теперь, собравшись вместе, решил отметить зимний праздник по старому стилю. Билял свалился как снег на голову. Но он бы скорей умер, чем отказался прочитать здесь лекцию! То ли вид у него был очень решительный, то ли директор заказника оказался великодушным человеком — словом, именно он сказал:

— А в самом деле, товарищи, почему бы нам не послушать лекцию о... О чем ваша лекция, молодой человек?

— О происхождении жизни на Земле,— ответил Билял.

— Замечательно,— сказал профессор.— Грядет Новый год, и нам будет любопытно совершить экскурсию в не столь отдаленные времена.

И Билял прочитал лекцию. Все было нормально, рассказывал он потом. Его, правда, немного удивила серьезность публики, полнейшая серьезность, так что он даже не стал укорачивать свою лекцию, как делывал иногда в колхозных клубах.

— А теперь мы хотим вас отблагодарить, молодой человек,— сказал профессор,— и приглашаем вместе с нами встретить Новый год,

Он, конечно, тут же согласился. Да и не ехать же на ночь глядя. Он потом рассказывал, что это был незабываемый вечер, никогда ни в каких залах, ни в каких компаниях он не чувствовал себя так хорошо, как в том доме, окруженном ночными снегами. Профессор с упоением пел старые романсы, а Катя Свицерская, аспирантка биофака, отменно плясала. Захмелев от вина и дружелюбия хозяев, Билял схватился за гитару и уже до конца веселья не выпускал ее из рук. В конце концов он совсем разошелся и спел, как говорится, под занавес неотразимое:

Эх, загулял, загулял, загулял
Парнишка молодой, холостой,
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой!

Катя Свицерская хлопала в ладоши и хохотала, щеки ее цвели алыми маками. Как он был счастлив, но как все быстро кончилось! Ах, если бы еще немного продлить, чтобы все это не ушло в сон, — и он вдруг объявил, что едет немедленно. Его, конечно, отговаривали, он был неумолим, и в конце концов от него отступились, в особенности когда Катя Свицерская заявила, что станет на лыжи и проводит его.

Метель, шевельнувшись было с вечера, к ночи улеглась, сияла мягкая, сердобольная луна, рассказывал он потом. Сперва они катили молча, только дыша морозным воздухом и как бы отряхая с себя хмель и усталость веселья. А потом, остановясь, он заговорил:

— А там еще первородный хаос, поглядите же, Катя! Каждая звезда — огромное облако. Белая звезда, голубая... А видели вы желтую звезду?.. Катя, я мечтаю поехать учиться в Москву. На археолога. Или журналиста. Или... не знаю, может быть, я учился бы там, где и вы.

— А потом приехали бы в избушку посреди степи и корпели над солонцами. И мучались бы: как же сделать так, чтобы здесь росла пшеница и давала двадцать центнеров с гектара? Ваша степь, Билял, еще туманность. Туманность Коелы. Звучит? Под зноем кипят, сторают солонцы, после дождя липкая масса становится герметически гибельным покровом почвы. Сквозь него не пробиться колосу. Почва трескается, трещины разрывают ее...

— Катя... вот я думаю: чем бы я мог вам помочь? Ну, может быть, надо вскапывать землю, чтобы поглубже в нее заглянуть. Я бы ходил с вами и копал бы эту землю, снимая с нее солонцовый панцирь...

Они порядком отдалились — домик с заснеженными купами деревьев скрылся из виду. Луна остывала, теряла яркость, утренне краснела. Они простились, и он вернулся в городок утром, еле доплелся до дому и проспал до вечера. Когда он поднялся и вышел на улицу, сияла все та же полная мягкая луна. Ему подумалось, что в его жизни уже была такая луна, такой же вечер, но было это так давно, и он показался себе умудренным, счастливым, будто прожил целую жизнь и есть что вспомнить. Вот, пожалуй, и все, что оставила бы в нем та новогодняя, по старому стилю, ночь. И, может быть, он никогда не появился бы в ~~законнике~~, не посмел бы. Он просто запомнил бы это на всю жизнь.

Но — то ли прогулка оказалась для Кати роковой, то ли позже она простудилась, но спустя всего лишь несколько дней после их встречи Катя заболела воспалением легких. Ее привезли в городскую больницу, возле неотлучно находился кто-нибудь из коллег. Когда прошло самое страшное и она могла сидеть, разговаривать, прогуливаться по коридору, она заскучала. И сказала одному из коллег, что хочет непременно видеть поэта, который читал у них лекцию о происхожде-

нии жизни... И вот Билял стал приходить к ней каждый день в положенные часы, а потом к нему так привыкли нянечки и сестры, что пускали, когда бы он ни пришел. Однако работа, ставшая ему в тягость, требовала вылазок в деревни, и он не задумываясь оставил ее. «Буду работать на звероферме»,— ей первой объявил он, а там рассказывал о черно-бурых лисицах, голубых песцах, о будущих своих опытах на звероферме, но покамест не спешил связывать себя службой. «Ей полезно парное молоко»,— сказали ему, и он по утрам покупал у соседей молоко, сливал в термос и гнал дедушкину лошадку, чтобы привезти молоко еще теплым. Он успевал явиться к ней в палату еще до завтрака и умиленно глядел, как она пьет молоко. Потом он уезжал обратно, распрягал лошадь, чистил в конюшне, разгребал снег во дворе — только чтобы занять себя до вечера. А вечером опять ехал к ней.

— Послушай,— сказала она ему однажды,— почему ты сидишь в этом городке?

— Почему сижу?

— Да, да! — повторила она нетерпеливо.— Почему ты не уехал раньше, когда только окончил школу? Или — почему не уезжаешь теперь?

— Не знаю,— прошептал он.

— Что тебя удерживает? Ты что, наследник дома, отцовых табунов? Или на руках у тебя беспомощные родители?

— Нет, нет... но т а м ... что я там, я ни для кого ничего не буду значить... — Он едва не плакал.

Он, я думаю, боялся самостоятельности, желал свободы и боялся ее.

А ведь ему не было еще и девятнадцати! Он мог бы вернуть упущенное. Он обещал ей изменить свою жизнь...

В мае она приехала в кумысолечебный санаторий. Санаторий находился в шести-семи километрах от городка, островок среди ровной степи, окруженный тремя десятками сосен и берез, всего-то несколько старинных дачных домиков. И опять он переживал золотое время. Шагать по степи, увидеть в горячем мареве купы осокорей, речку, крышу с коньками и на опушке соснового борка Катю, поджидающую его, — чего лучше можно было желать?

Однажды он позвал ее в город, привез на звероферму, где работал с зимы.

Созерцая черно-бурых лисиц и голубых песцов на зеленой лужайке, обнесенной сетчатой оградой, она позабыла обо всем на свете и опомнилась, когда стало садиться солнце.

— Слушай, а ведь мне надо где-то переночевать,— сказала она.

— Да, да! — сказал он горячо и суетно. Ему и в голову не приходила мысль о ночлеге, он бы согласился бродить с нею до глубокой ночи или до той минуты, когда низвергнувшийся град или снег не принудили бы подумать о крыше над головой.

— В гостиницу меня не пустят, я паспорт оставила в санатории. Да и не пошла бы я в гостиницу. Слушай, а с кем ты живешь?

— С родителями. Но к нам нельзя, что ты! К нам ни за что нельзя!..

— Нельзя так нельзя,— сказала она.— Но есть у тебя знакомые или, в конце концов, незнакомые... словом, можно ли найти хозяйку, которая за плату пустила бы на ночлег?

— Не знаю,— сказал он. («Ты же знаешь наших. Если бы я с ней... нет, если бы даже я только привел ее к какой-нибудь старухе!..»)

— Впрочем,— сказала она,— мы однажды и зимой не пропали. Уйдем в степь?

— Нет, ночи холодные. Вот, может быть, к дедушке Хемету... Да! — вскричал он.— Мы пойдем к дедушке Хемету!

Билял хорошо знал своего деда, заранее рассчитывал на его милость и все же волновался. Хемет чинил дверцу клетки. Он выслушал внука, не проронил ни слова и ни разу не взглянул туда, где смиренно стояла девушка. Наконец он прервал сумбурную речь внука:

— Ты слишком длинно говоришь и заставляешь девушку ждать.— И принялся сметать стружку и щепу.— Я теперь почти не бываю наверху, так что проветри хорошенько.

«Все у нас началось в ту ночь,— рассказывал Билял.— Все началось и кончилось в ту ночь. Я это позже понял. Но я до сих пор не понимаю, как он выследил нас. Я услышал, почувствовал, подумал... нет, это как ударило: а ведь за дверью кто-то стоит — отец или кто-то из соглядатаев, посланных им».

Билял прошел в потемках сеней, отворил дверь на крыльцо и в тот же миг увидел Апуша. Билял вышел, спиной припер дверь и сказал:

— Если ты пришел к дедушке, то он внизу.

— Знаю,— ответил Апуш.— Мне велели привести тебя домой.

— Кто? — спросил он с ненавистью.

— Велели поломать гитару, взвалить тебя на загорбок и притащить домой, как если бы я тебя под забором нашел. А если будешь сопротивляться, то и наподдать. Конечно, не очень сильно, так мне велели.— Он тихо засмеялся и спросил участливо: — Может, сам придешь? Я уйду, а ты следом, а?

— Нет! — сказал он.

И Апуш повернулся, сошел с крыльца, затем послышалось, как он перелезает через забор.

Они ушли, едва обозначился рассвет. Спустились к реке. Он отвязал лодку, извлек из тальниковых зарослей весла. Они плыли по течению, окутанные надводным знобящим туманцем. Жаркий полдень застал их на воде. Они причалили к берегу, где не было ни души, и, улегшись в тени тальника, уснули как убитые...

Эти три или четыре месяца, пока она работала в заказнике после санатория, они виделись почти каждый день. Нежные, спокойные отношения, наверное, внушали ему надежду. Прощаясь с ней и потом, позже, частенько он говорил: «Вот соберусь в Пермь. Да, да, я поеду в Пермь!»

Но прособирался три или четыре месяца, наконец получил отпуск, выбрал для нее самую красивую шкурку голубого песца и тронулся в путь. Помятый, иззябший, с хозяйственной сумкой в руке, он очутился в утреннем морозном городе. Он помнил наизусть адрес ее квартиры и университета, но ни за что бы не отважился явиться по одному из них. Полдня он ходил как маятник от ее дома до университета, пока наконец упорство его не вознаградилось — он увидел, как она сходит по широким каменным ступеням университетского подъезда. Он ринулся наискосок по улице, со слепой ловкостью лавируя между автомобилями и пешеходами, видя впереди только ее лицо, обрамленное белой заячьей шапочкой, завязанной у подбородка. Он заметил ее провожатого, только оказавшись лицом к лицу с ними. Он растерялся, но уже в следующий миг каким-то заученным, машинным жестом извлек из сумки шкурку голубого песца и протянул ей.

— Что, что? — удивился ее провожатый, перехватывая шкурку.—

Слушай, это наверняка темный товарец. Такие вещи на улице не покупаются...

Он закричал: «Отдай! Не лезь!» — и, выдернув у того из рук шкурку, поднес ее Кате. И как только она приняла подарок, он повернулся и побежал от них. Он, пожалуй, слишком поздно опомнился — перебежав на противоположную сторону улицы и оглянувшись, он не увидел их.

Остаток дня он провел, шагая возле дома, в котором она жила. Он еще надеялся: она выйдет в магазин, соберется в библиотеку или, в конце концов, заметит его из окна и поспешит к нему. Ночью он поехал на вокзал.

Но вот — это было в конце мая — отец вручил ему письмо. Растерзав конверт, он извлек сложенный вдвое тетрадный лист и тут же стал читать. Катя удивлялась его ребячливости, тем более непонятной, что ее возраст, да и его тоже, не позволяет себя так вести. Будет лучше для него же — но, наверное, и для других, с кем его свяжет потом судьба, — если он поскорее избавится от своего мальчишества. Она пишет ему, надеясь хоть в чем-то ему помочь, она не хочет его обижать и даже принимает дорогой подарок; она не забудет дней, проведенных в городке, но романтика, может, тем и хороша, что ее только помнят или только ожидают, но никогда ею не живут в настоящем, вот пусть он и это учтет... (Хорошо еще, у нее хватило ума не написать ему: «Останемся друзьями!»)

Он поднял с пола клочок конверта и поглядел на штемпель: письмо было послано в феврале, почти четыре месяца назад.

— Вор! — закричал он диким голосом, но отца в комнате уже не было. — Вор, вор, вор, вор!!

Было ясно, он потерпел крах, но сам-то он не считал происшедшее крахом ни тогда, ни позже, он, пожалуй, даже почитал свои приключения чем-то таким, чем можно гордиться. Он был... какой-то бесстрашный, что ли, решительный, но без отчаяния, несмотря на всю экзальтацию. Он только не хотел возвращаться в городок. Вот тут, по-моему, его бесстрашие кончалось. Он чувствовал в себе перемену и боялся обратного превращения. Может быть, я и торопился тогда с выводами, но мне казалось, что в этой перемене и заключается его победа, несмотря на крах его отношений с Катей.

Что ж, Билялу надо было помогать. Я сказал:

— Едем к дяде Харуну. Маклеру Харуну.

7

Впрочем, маклером дядя Харун был лет тридцать назад, обретаясь в слободке, где кишмя кишели шапочники, извозчики, старьевщики и прочие в этом роде. Сейчас дядя Харун работал в облпотребсоюзе и пользовался репутацией искусного заготовщика ондатровых, бобровых, заячьих шкурок. Но главным коньком были ондатры. Десятки озер, сотни и тысячи камышовых хаток, целые гнездовья, табуны ондатровых семейств и в конце концов сотни тысяч шкурок с янтарным отливом — все это было плодом ума и усердия Харуна.

Но еще большее богатство и великолепие таилось в его огромном изящном альбоме с таблицами, цифрами, рисунками ондатровых хаток, картой озер, о плодоносных возможностях которых не знала пока что ни одна живая душа, кроме самого Харуна. Ему бы, наверное, следовало хранить свой альбом в нескораемом шкафу с тайными запорами. Харун мог бы озолотиться, когда б ловил ондатр и шил шапки — шапки из ондатры дорожали с каждым годом, входя в моду и одуряя мужчин, — но бескорыстный подход к общественному богат-

ству щедро дарил его размахом. Он ценил нынешнее свое могущество превыше всякой корысти.

Тридцать лет назад Харун влюбился в мою маму, хранил верность своему чувству, но стать объектом его нежности выпало мне. Вроде странно, но меня с ним свела бабушка Дония. В один свой приезд она взяла меня за руку и повела в дом своей знакомой, где нас уже поджидал Харун. Возможно, он упросил, умолил бабушку свести нас, но, возможно, бабушку и не пришлось особенно упрашивать — она, пожалуй, и сама была не прочь приставить к внуку, отторгнутому от большого дома и многочисленной родни, надежного человека. В ее глазах слободской человек Харун был верней чужака Булатова. С того раза бабушка всегда брала меня к своей знакомой, и там нас дожидался Харун. Позже — то ли по каким-то их разговорам, то ли сам я догадался, — позже я понял, что люди, будто бы из городка являвшиеся к нам с продуктами, были посланцами Харуна.

Я не особенно помнил о Харуне и уж совсем не докучал ему посещениями, но я знал: есть человек, готовый в любую минуту выручить меня из беды. Но пока что мои беды, редкие к тому же, заключались в отсутствии пяти или десяти рублей, которые я не хотел почему-либо брать у родителей, в сумасбродном желании вдруг потерять для всех и закатиться с Харуном на озера или зайти к нему с приятелем и распить бутылку вина.

А одно время мы с ним зачастили на озера — вот тут-то он стал привораживать меня!

Творящему собственную славу нужен зритель, лучше всего, если это она. Не было ее, но был ее отпрыск, любознательный и добросердечный, искренне признающий его дело интересным и полезным. Часами просиживали мы возле рыбацкой избушки. Рядом на вешалах сушились сети, запах махорки, которую мы курили, мешался с гнилоственным запахом от сетей. В зарослях безмятежно плескались утки, в вышине пролетали болотные луни и чайки. От пристани, распарывая надвое тростниковую чащу, протягивалась в озеро прокосная дорожка, по которой обычно рыбаки выезжали на чистое плесо ставить и осматривать сети, — а сейчас по ней сновали ондатры, волоча стебли водной растительности к тростниковым завалам и ломи. Иной зверек, бывало, непугано сидит на лабзе, распушив густую рыжую шерстку и как бы отложив в сторонку чешуйчатый ребристый хвост.

Созерцание для Харуна было тот же труд, он обладал этим редким по нынешним временам качеством; он насыщал свой мозг благиими мыслями, а мышцы тоской по движению.

На иных озерах не было лабз — плавучих камышовых остатков, на которых ондатры строят свои хатки. Вот уж где трудились мы в поте лица! Вместе с рыбаками, вовлеченными в дело неукротимым Харуном, мы выкорчевывали пни и носили к берегу, привязывали к корягам камни, грузили в лодки и везли в тростниковые чащи.

— Ну вот, милые, — бормотал умиленно Харун, — теперь, милые, стройте себе жилища. — Вздыхал: — Кормов только маловато.

И мы отправлялись на машинах, подводах на соседние озера и возили оттуда корневища кувшинок и кубышек с ростками свежих листочков. Привязав к ним грузила, мягко опускали на дно.

— Разве напасешься, — говорил я, — всякий-то раз возить им кубышки.

Харун смеялся моей неосведомленности:

— А вот к осени кубышка даст семена. Их разнесет ветром и волной по всему озеру, а там они опустятся на дно и весной прорастут.

Харун преображался на озерах. Покрытый за день-два коричневым загаром, с тощими, перевитыми юркой мускулатурой ногами, как

лягушачьи пружинистые конечности, он неутомимо носился по берегу. Здесь его слово считалось внушительным. Рыбаки ненавидели ондатр, называли их не иначе как крысами со змеиным хвостом, жаловались, что зверек рвет сети и поедает рыбу. Харун сурово отвечал:

— Рыбой ондатра не питается, запомните! Ей подавай осоку и тростник. А ежели вы с сетями не полезете к тростникам, то и сети ваши будут целы.

Когда я гостил у Харуна, рослая, дородная жена и дочери, которые обычно проносились по двору стремительно, словно газели, стрельнув в меня желтыми вспышками озорных непорочных глаз, не смели теперь показываться на глаза, их шаги и голоса пошумливали где-то за сценой: они, пожалуй, догадывались о причинах отцовского пристрастия к гостю. В первое мое посещение он, помню, удовлетворил их чисто бабье любопытство, показав нас друг другу. Затем удалил холодноватым взмахом руки, и на его лице отразилось искреннее отчуждение. Старшая дочка была отменно хороша, рослая в мать, стройная, с карими влажными глазами, с золотыми волосами, жарко кипящими над подвижными лопатками.

— Эт-та такая ведьма! — прокомментировал он как-то мой взгляд, тоскливо простершийся вслед ее летучим шагам. — Эт-та пустая и злая девка! — искренне убеждал он меня.

Было досадно, что он держит свою красавицу подальше от меня. Но сам он представлял для меня такой интерес, источал такое добросердечие, а его любовь к моей матери была исполнена такой бережности и святости, что я не сомневался в правоте любых его действий. Раз он держит ее подальше, значит, так нужно...

Однажды я написал в газету про его озера и ондатровые пастбища — и поразил его. Как, об этом можно и написать? Конечно, он делает великое дело, но он не думал, что об этом можно и сочинить! Вскоре он отблагодарил меня, подарив чучело чирка-трескунка. Подарок мне понравился, но я сдуру спросил, что же мне с ним делать. И смутил его.

— А ты, в свою очередь, можешь подарить кому-нибудь, — сказал Харун. — Да, да, возьми и подари. Или, не знаю... покажи маме. — Он покраснел и опустил глаза.

...Вот к нему-то я и привел Биляла. Мне очень хотелось помочь ему, а я не знал как, вот и привел к могущественному Харуну. Едва я представил Биляла и объяснил суть положения, Харун тут же согласился устроить его дела.

— Но только... — Он поднял указательный палец и так им потряс, что редкие волосики на его голове всколебались. — Но только не вздумай ухаживать за моими дочками! — Тут он засмеялся, заметив за собой излишнюю серьезность, но и в смеже его прозвучало предостережение.

Не прошло и трех дней, а Билял уже работал в городской ветлечебнице. Лечебница занимала просторный старый одноэтажный дом на окраине города. За домом начиналась лесостепь.

Во дворе, во флигеле, нашлось и жилище.

В просторной комнате флигеля парили легкие тени деревьев, сухой солнечный воздух искристо дрожал. В вольере, сделанном во всю стену, скакала, вертелась в колесе, цокала по полу ретивая белка.

— О, это бывалая белка! — говорил Билял, угощая зверька орешками лещины и еловыми шишками. — У нее в правом ухе дырка от дрови. А оставили белку инженеры, муж и жена, уезжая в Якутию.

Вот белку ему оставили. Ему, я думаю, не только любимого зверька или, например, драгоценного кровного рысака, а и собственное

дитя доверил бы любой его пациент, в особенности женщины. Наверное, что-то такое было в нем заложено с рождения. Он ведь не мог, например, подсобить кому-то убрать картошку, или погрузить мебель, или дать в долг. Но каждого с его бедой и счастьем готов был выслушать и тихим, слабым голоском сказать ничуть не особенные слова, на которые редкий из нас способен. Ну а кто лучше понимает доброту? Конечно, женщины.

8

То лето было суматошным, беспокойным, я рвался в Свердловск на факультет журналистики — мать не отпускала меня. Детдом, я уже говорил, переехал в Кусу, и словно осиротевшая мать держалась за меня как за единственную свою утеху и спасение. Она как бы боялась остаться с отчимом один на один. Его соображений о моем устройстве упрямо не брала в расчет. А соображения были просты: дать мне свободу выбора. «Конечно, конечно,— отвечала мать запальчиво,— дай волю, так он пойдет на какой-нибудь тракторный факультет». Обидев отчима, расстроившись сама, она прокричала мне слова, прозвучавшие как заклинание: «Помни, все беды в нашем доме начались с того, что молодые не слушались старших!»

Но первые дни в институте мне, еще не остывшему от жара успеха — все-таки выдержал немалый конкурс, любой загордится! — первые дни, чего греха таить, были интересны. Эта сутолока знакомств, выявление интересных людей, о которых уже сейчас известно, что они будут самыми успевающими, самыми, самыми!..

Вот Женя Габриэлян, которому именитый географ, заведующий кафедрой института, пророчит блестящее будущее. Два года назад Женя с позором свихнул себе шею на подступах к геофаку, самому доступному, меньше всех осаждаемому абитуриентами. А теперь об этом говорят как о мудрой стратегии Габриэляна, потому что за эти два года он походил в спелеологических экспедициях и открыл две или три карстовые пещеры, прежде никому не известные. И вот Габриэлян колоритно возвышается — при его-то невеликом росте — над моноцветной толпой вчерашних школяров. Одет в холщовую рубашку с завернутыми выше локтей рукавами, в парусиновые шаровары; когда-то, говорили, голова его цвела пышными вихрами смолистых буйных волос, а теперь волосы коротко топорщатся, под ними четко обрисован округлый тяжеловесный череп будущего ученого.

Еще ничем не прославился некто Вербкин, но и вокруг него клубятся восторги: он сын известного в городе хормейстера, приверженец джаза. Он не скрывает презрения к будущим сельским учителям и учительницам. И меньше всего думает об учебе, его мечта — сколотить оркестр из единомышленников и обратить в свою веру язычников от музыки.

Меня же никто не знает. Вот только кто-то в группе ребят сказал: «Он, кажется, друг Салтыкова». Алеша учился в политехническом, а его знали и здесь.

И тут ко мне подходит девчонка и говорит:

— Простите, кажется, я вас немного знаю.

— Возможно,— обронил я, манкируя и надуваясь гордостью.

— Я из Маленького Города...

Упоминание о городке неприятно, почти больно кольнуло меня.

Стройная, опрятная, в скромном, школьного покроя, темном платьице, из-за розовых ушек выглядывают косички с бантиками, на щеках ретивые наивные ямочки. Конечно, такая пичужка могла приехать только из Маленького Города.

— Но, может быть, вы ошибаетесь,— проговорил я сухо.

— Нет же! Я даже вашего дедушку знаю... Вы, конечно, на фил-
факе? — продолжала она щебетать, сияя своими ямочками на ще-
ках.— А вот я на гео.

Я рассмеялся. Отчего-то мне стало очень легко, она не понимала
моего состояния, и все же мой смех не обижал ее — наверно, она чув-
ствовала, как все-таки легко, хорошо мне стало.

— А ведь я совсем не хотела в пед,— доверительно рассказывала
она.— И тем более на географический.

— А зачем же поступали?

— Мама...— Она вздохнула с неподдельным огорчением.— Впро-
чем, я сама.— Она тихо засмеялась и, понизив голос, сказала: — Сей-
час к нам подойдет мама и скажет: «Моя Деля представит третье по-
коление учителей в нашем роду». С вокзала мы шли пешком, и мама
вела меня за руку.

В первые полгода я еще старался находить знакомства, войти, что
называется, в колею институтской жизни. Хаживал к географам, но
там мне не понравилось, потом зачастил к историкам и написал даже
несколько рефератов. Но все это быстро прискучило. Я злился на
мать — из-за нее пошел я в этот институт,— злился и едва удержи-
вался от резких попреков.

Она работала теперь в заводской библиотеке. Привыкшая к де-
тям, к веселой колготне, сейчас она как-то поблекла, свяла. Отчим,
как всегда, был занят по горло, но теперь он и не заикался о сборах
на дому, а предпочитал задерживаться на заводе. Опять приехал
Балкарей — они пропадали в гостиничном номере, а время от времени
выезжали на испытательный полигон.

В эти-то дни судьба близко свела меня с Аверкиевым Петром
Власьевичем. Он читал советскую литературу, но все знали: главная
страсть Аверкиева — фольклор. Он был прост и общителен, приятен-
но светился необыкновенной рыжиной — рыжи были редкие, похо-
жие на пух волосики, лысина и уши, и даже тугие, подпрыгивающие
щеки имели блеск надраенной меди. Каким-то рыжим звоном отлива-
ли поговорки, прибаутки, анекдоты, которыми он так и сыпал, песен-
ки, которые напевал дребезжащим, но не лишенным приятцы го-
лоском.

У нас эти прибаутки вызывали веселье. Когда же Аверкиев пы-
тался заговорить о фольклоре серьезно, мы начинали зевать, иные
прямо говорили:

— Но какое отношение все это имеет к науке? Да и сомнительно,
чтобы в наши дни творили устою.

— А что вы скажете об этом?..— И он, представьте, пропел ска-
брезную, хотя и остроумную частушку.— Эх, молодые люди, несве-
дущие максималисты! У меня к вам предложение...

Словом, он просил нас записать все, какие только нам известны,
частушки. Мы, разумеется, не преминули откликнуться на его прось-
бу, и на следующем занятии он собирал наши листочки, нетерпеливо
заглядывая в каждый и оживленно посмеиваясь.

— Исконный смысл слова,— комментировал он,— теряется бог
весть в каких дебрях и бывает невозвратно загублен.

Можно сказать, на наших глазах он стал обладателем дивной
обрядовой песни, чья хранилища жила в Першине. Давно уж го-
род опасно приближался к этому поселению своими заводами, и нако-
нец на месте Першина решили строить новую домну. Аверкиев поспел
к тому моменту, когда бабушка сидела на узлах, а скреперы и буль-
дозеры крушили пять или шесть домиков, оставшихся от когда-то

большого и шумного поселения. «Сберегла я свою дивью красоту я от ветру и от вихорю, от частого да мелка дождичка...» — точно с ума сходила бабушка.

— Дарение красоты или расставание с ней...— рассказывал Аверкиев, собрав нас в институтском сквере на оттаявшем пятачке.— Вот-вот зазвонят колокольчики, прибудет жених со свадебным поездом. Невеста кладет алую ленту на тарелочку и ходит по дому, по двору, чтобы выбрать сохрeженной красоте вечное покойное место. Отдать родителям — не сохранять, замочат слезами. Брат — загуляется и потеряет. Безотецкие дети, безматерные заморозят ее во зиму студеную...

...Он отнюдь не считался мудрым и глубоким, да и не был, я думаю, ни мудрым, ни глубоким, но когда затрагивался его прошлый опыт, сильные жизненные порывы чувствовались в этом человеке. Вот и на этот раз исчезновение целой деревни больно задело в нем его прошлое (или настоящее?):

— Господи, какой там чернозем! Какой замечательно сытный чернозем пластовали эти безобразные скреперы или как там называется эта чертова баллистика!

— Что ж тут особенного, Петр Власьевич?

— Да ведь чернозем! Взял бы, ей-богу, ложку...

Я в то время часто ездил на испытания машин и поспешно изливал свои впечатления, поддаваясь восторгу отчима перед новенькими бульдозерами и скреперами.

— Что вы о них знаете? — вопрошал меня Аверкиев.— О, я видал вашего отца... там, в Першине. Зловещий махинатор, он командовал своими машинами, пока я записывал у старухи ее песни.

Меня неприятно задело словцо «махинатор». Я гневно ему ответил, а он расхохотался:

— У латинян в средние века были в ходу военные выражения, скажем «они соорудили машины». Но что значит сооружать машины? Хитрить, строить козни, а? Вот вам и махинатор. Не сердитесь? Ваш отец не стал бы сердиться. Ему, я думаю, безразличны нетехнические значения слов.

Ну бог с ним, у него с Булатовым свои счеты. Но кто дал ему право так разговаривать со мной? Я ненавидел Аверкиева, когда он говорил: «Почему бы вам не писать о нравах и обычаях вашего народа?» Я слушал, смотрел на его рыжие, сосредоточенно сдвинутые бровки и думал: «А ведь он наталкивает меня опять же на городок, словно ни на что другое я не способен». Все это сильно задевало мое самолюбие. Учеба давалась мне легко, я чувствовал, что знаю и понимаю лучше моих однокашников многое из того, над чем они корпели со всею серьезностью. Я понимал лучше, а терзался мыслями, что не мне, да и не им тоже, судьба заниматься наукой, тут нужны особенные люди, а я — в этом я был убежден — не был особенным. Но еще зорче я видел (или выискивал?) эту н е о с о б е н н о с т ь у других. И прежде всего, конечно, у Аверкиева.

Наверно, я казался ему слишком робким или, может быть, ленивым. Однажды он сказал мне прямо, с грубоватой фамильярностью, как будто имел на это право:

— Послушайте-ка, милый, не будьте дураком и... займитесь всерьез! Я в свое время мечтал о лингвистике. В отличие от вас, простите, я, кажется, понимал, что это потребует не только гигантского труда в будущем, но и — как бы это сказать — запасов прошлого... вкуса и уважения к науке с молодых ногтей. Запасов, конечно, у меня не было, но я все-таки надеялся возместить их недостаток трудом в поте лица. Не смейтесь, прошу вас,— сказал он вдруг строго. Я и не

думал смеяться, слушал его с вниманием. Он продолжал: — Во мне, однако, как во всяком провинциале, было и много робости и много фанаберии. А вот самостоятельности не хватало. Э-э, говорили мне мои близкие, кому это нужно — отряхнуть от пыли старые слова, гляди, новь-то какая, инженеры в почете. А был у меня дядя, командир, еще с гражданской, так тот прямо говорил: не морочь, дескать, себе и нам голову, ступай в военное училище...

— И что же вы? — перебил я с любопытством.

— Что я? Пошел все-таки в педтехникум. А там учительство, будни, которые я тоже любил... но с тех пор, пожалуй, я уже не о себе думал, об учениках своих, вдалбливал им, как вот вдалбливаю сейчас вам... Ну? — сказал он, крепко держа меня за плечи и глядя мне прямо в глаза. — Ну?!

Я отвел глаза и ничего ему не ответил.

Не знаю, то ли Аверкиеву не хватило такта, то ли сказала моя нетерпимость к нравоучениям. Да и поверить ему значило бы признать свое дилетантство, а этого моя гордость не могла стерпеть. Высокомерно и трусливо я стал избегать его.

Таинственность Билялова уголка нравилась не мне одному. Забегала сюда Деля, за нею горделивый Женя Габриэлян. В досужую минуту спешил сюда Алеша Салтыков. Однажды, к великому моему удивлению, он привел Наталью Пименову и еще больше вырос в моих глазах. Наведывалась, и нередко, кареглазая дочка Харуна в обществе юного офицера, щеголеватого, как дорогая игрушка. Я дразнил и колол офицера, но он был слишком снисходителен или безнадежно глуп.

Странно, мне казалось, я жду Зейду, Харунову дочку. Я скучал, впадал в уныние и торопил миг, когда она явится, пусть не одна, пусть со своим офицериком. Но вот приходила она и никак не утоляла моего ожидания. Я забивался куда-нибудь в уголок и равнодушно слушал оттуда ее беспечный и какой-то стеклянно-холодноватый и звонкий смех.

Но появлялась Деля. «И не ее жду», — думал я, и тоска о чем-то невозможном или запретном, но связанном именно с ней, начинала клубиться во мне. Мне казалось, что есть какая-то тайна, которая никогда не позволит близости между нами, как если бы мы вдруг оказались родными братом и сестрой. Я назвал бы свою тоску и неуверенность смутным чувством родства, интуитивной пронизательностью.

Я тянулся к людям, не похожим на меня. Но Деля... она была так похожа, точнее в ней явно, открыто виделось то, что, глубоко врывшись, сидело во мне, — боязливая скромность, какая-то ребячливая интеллигентность, щепетильность, стыдливость провинциала, все то, что я старался выгнать в себе каленым железом. Впрочем, я немного забегая вперед.

Тетя Хава, мать Дели, пристроила ее на жительство к знакомой учительнице, но отнюдь не оставила дочку в покое. Почти каждую неделю тетя Хава навевывалась в Челябинск. А так как она боялась переходить улицу, садиться и выходить из троллейбуса — не дай бог тронется, прежде чем она сядет или выйдет! — а приезжала нагруженная сумками с провизией, приходилось встречать ее в субботу и в воскресенье вечером провожать на станцию. Деля звала с собой Женю Габриэляна. Но только раз или два встречал он тетю Хаву, потом она запретила дочери водить за собой такого разбитного парня. Сопровождал Делю и любитель джаза Вербкин, но и он не приглянулся тете Хаве. Мало сказать не приглянулся — она пугалась, тер-

петь не могла бойких, развязных парней большого города. А те, как назло, так и увивались вокруг Дели.

Наконец Билялу выпала роль встречать, нести сумки с провиантом, переводить через улицу тетю Хаву, и он-то угодил ей в самый раз.

— Я вернула бы оценкам их настоящее значение,— говорила Деля, мечтая о будущей своей работе.— Я не ставила бы двоек, потому что считала бы своей обязанностью дать удовлетворительные знания даже тем, кто потом в своей жизни и не касался бы моего предмета. У меня было бы, конечно, очень много троечников, немного четверочников и уж совсем мало отличников. Но зато тот, кто имел бы у меня пятерку, связал бы свою жизнь с геологией, минералогией, астрономией.

— Занятно, занятно,— отзывался я, нет, не на смысл ее речей, а на ее голос, мягкий и нежный, он сулил покой и равновесие.

— Я вела бы уроки географии на природе,— продолжала она, плавно шагая по саду во дворе ветлечебницы и машинально касаясь рукой веток карагача и черемухи.— Я бы начинала урок на восходе солнца. Или ясным днем в лесу. Или учила бы ребят в экспедициях...

— Вы нажили бы себе толпу врагов среди своих коллег.

— Может быть,— ровно соглашалась она.— А знаете, в жизни много всякого... но если каждый человек в каждом частном случае станет поступать по совести, будет хорошо...

— А экспедициями вас заразил Габриэлян?

— Да,— ответила она просто.

— Кажется, кое-кто считает его ветреным малым.

— Он, по-моему, из тех людей, кто обладает терпением,— отвечала она, пропустив мимо ушей мое замечание.— А терпение роднит ученого и учителя. Ну, это все мои выдумки. Я просто хотела сказать, что у Габриэляна талант ученого, а у меня таланта нет. Но вот терпения, наверно, хватило бы...

— Чтобы дожидаться, когда ваши пятерочники найдут свое призвание?

Она только улыбнулась. Разговаривать с ней на первый взгляд было очень легко. Но тот, кто не заметил бы за ее простыми словами знаний и пронизательного ума, быстро попал бы в просак. Нередко собеседники за разговором слышат только друг друга. Но сколько же слышалось нам в нашем молчании: общей становилась долетевшая вдруг музыка, если это была хорошая музыка, нашими становились разговоры людей, проходящих по двору, с их жалостными интонациями в голосе, с их чудными заботами о бедных своих животных. И никогда, никогда не прерывала она словами мою замороженность жизнью, которая шла вокруг нас.

Задумчивость и тишину вокруг нас двоих внезапно нарушала компания. Всегда — стоило появиться кому-то одному, тут же, образуя гремящую цепочку, тянулись один за другим и остальные. И каждый считал своим долгом выплеснуть все, что вычитал, услышал накануне, сорвал на ходу, едучи в трамвае. Иной раз я ловил себя на вспыльчивом желании, чтобы и Деля возвысила голос, вихрем ворвалась в эту круговерть словес. Но отрицать криком или утверждать криком — этого она никогда не могла.

Офицерик покидал насиженное местечко возле Зейды и устремлялся к Деле — пригласить потанцевать. Деля успевала бросить мне насмешливый взгляд, но польщенно краснела, вальсируя с офицериком на скрипучем щелястом полу веранды. Мне не хотелось видеть их танец; к безвредному самодовольству офицерика я уже привык, а вот удовольствие на ее лице мне было неприятно. Она, по-моему, не-

много глупела, танцуя с ним. Я выходил в сад и заставал там Биляла в задумчивой, отрешенной позе. Он не сразу замечал меня, а заметив, не мог скрыть досады.

— Вы приходите сюда, чтобы отвлечься от суеты,— произносил он без всяких предисловий,— я же хлопочу в поте лица, как будто вы мое большое семейство. Я забываю, как я одинок.

— Все ты врешь,— пытался я с ходу пресечь его унылое глубокомыслие.

— В тебе не хватает душевной зоркости,— обиженно сопел он.— А такие вещи хорошо понимают женщины. Не знаю, что бы у меня была за жизнь, если бы... не Дея.

Он точно приближался к своей заветной цели — так он приосанился в последние дни,— он оживал после своего поражения, оживал, распрямлялся, но вот...

Однажды в сумерках я вышел из флигеля. Но только ступил на крыльцо, как руки и ноги мои оказались крепко схвачены, а рот закрыт чьей-то тяжелой мясистой ладонью. Я изгибался, возмущенно рычал, но цепкие руки не выпускали меня. И тут перед моими глазами возникло лицо Харуна — свирепое и целеустремленное. Оно не узнавало меня.

— Нет, нет,— бормотал Харун,— якубовскому ублюдку я дочку не отдам!..— И тут он узнал меня. Однако лицо его оставалось суровым.— Ну, говори же, где они?

— Клянусь вам...— Я смеялся и едва не плакал.— Я не знаю, о ком вы спрашиваете.

— Как, уж не хочешь ли ты сказать, что здесь нет этой вертихвостки Зейды? Разве не сюда, разве не к этому ублюдку бежала она... ха, замуж?!

— Ступайте в комнату и поглядите. Билял кормит белку и знать не знает...

Харун пронесся мимо, обдав меня резким ветром негодования. Через минуту Харун выскочил на крыльцо.

— А ведь она все-таки с кем-то убежала! Ведь не стала бы она ни с того ни с сего писать родителям записку. Эй, побежали!..

На крыльцо вышел Билял. Странную улыбку увидел я на его лице, растерянную и счастливую.

— А что,— спросил он,— эта Зейда и правда с кем-то убежала?

— Похоже, что да.

Он молчал.

— А ведь дядя Харун подумал, что со мной она убежала,— проговорил он мечтательно и восторженно.— Если это правда...— Он задумался, нет, просто помедлил, наслаждаясь уж не знаю каким своим открытием.— Если это правда, что она убежала... ах чертовка, ах молодец!

Я молчал и не сводил глаз с его лица, на котором сменялись мечтательность, восторг и сожаление,— но только не о Зейде он сожалел...

— Уйди,— сказал он вдруг.

Я не пошевелился, и он повторил глухо:

— Уйди, прошу тебя...

Повернувшись, он побежал в комнату. Я бы только усугубил его страдания своим участием. «Пусть поплачет,— подумал я,— пусть поплачет, бедный, глупый ребенок». Я направился к калитке и тут увидел Делю. Первым моим побуждением было сказать ей, чтобы она не ходила сейчас во флигель. Но она опередила меня:

— А тетя Айя потеряла тебя.

— Ты была у нас?

— Да.

— Зачем? — Было глупо так спрашивать, но какое-то внезапное волнение смутило меня, и вот опять я повторил: — Зачем?

— Конечно, скорей всего тебя можно найти здесь. Но я надеюсь... я не хотела здесь...

И мне стало ее жаль, так жаль! Но, может быть, это было продолжение жалости к Билялу или к обоим сразу, или это отозвалось во мне мое великодушие (я уже решил...), а собственное великодушие не всегда радуется, есть в нем и щемящая нотка еще не вполне осознанной жалости к себе — ведь сразу ты становишься беззащитным, еще не ведая, как распорядятся твоим великодушием. Я уже решил...

Я поцеловал ее, только чтобы успокоить, только чтобы облечь в какой-то жест свою жалость, и сказал:

— Иди, иди к нему. Он, по-моему, в ужасном состоянии.

Губы у нее скорбно дрогнули, она повернулась и побежала к флигелю. Я пошел со двора...

Не найдя беглецов, Харун пришел в милицию и, надменно улыбаясь, заявил об исчезновении дочери. Милиция серьезно отнеслась к происшествию и через два дня отыскала беглецов в поселке Бабушкино.

— Ну, папаша, поздравляю вас, — сказал капитан милиции. — Ваша дочь нашлась, и она замужем за боевым офицером, хорошим парнем Володей Пекуровским.

Харун кивнул точно кукла и сказал жене, стоящей рядом:

— Ты слышишь, она за хорошим парнем Володей Петуховским. С этим можно согласиться, ведь все-таки не якубовский убудок... Эй-эй, товарищ капитан, что с ней? Она падает!..

Двоем с капитаном они подхватили тяжелую тетушку Сарби и усадили на скамейку. Капитан бормотал, часто дыша:

— А что, это бывает и от радости. Ничего, главное, дочка жива и здорова, верно я говорю?

И Харун отвечал в тон капитану:

— Да, да! Главное, она не за того слюнтя вышла, а — как вы сказали? — за хорошего парня.

Вся эта история стала достоянием компании, так безмятежно и весело проводящей время в тиши окраинного двора. Билял уразумел весь стыд и унижение, которому подверг его Харун. Компания перестала собираться во флигеле.

...Его ошаршили и словно указали его настоящее место.

Но спасительница уже шла к нему.

9

Отношение мое к Аверкиеву двоилось: вот если бы он для себя что-то просил, я бы все сделал — ну, приводил бы в порядок его записи, носил бы книги из библиотеки, не знаю что еще; но себе-то я помочь не мог. Он призывал меня изучать прошлое, а я боялся прошлого, точно оно касалось меня и только меня. Я хотел свободы от прежней своей жизни.

Я не понимал ни прошлого, ни настоящего. Но непонимание прошлого ничуть меня не беспокоило, а непонимание настоящего мучило. Я бросался всюду, куда ни посылала меня моя редакция, писал много, спешно, вздохнул, пытаюсь поспеть за быстро текущей жизнью и сам мечтаю жить только этой жизнью.

В конце концов я решил, что надо оставить институт.

Родителям я долго не говорил, но, когда приблизился сентябрь, признался в своем поступке отчиму.

— Вон что!

Пожалуй, восклицание это означало не только удивление, но и какой-то почтительный интерес. Вдруг он предложил мне поехать на Уреньгинские карьеры, где добывалась формовочная глина; там они испытывали свои бульдозеры.

Мы ехали на старом, провонявшем бензином автобусе. Шофер был тоже стар, лицо унылое и сонное, но машину гнал с дьявольской быстротой. Во все щели сквозило, автобус дребезжал и содрогался, я смеялся счастливым шальным смехом.

Сентябрь только начался, но было хмуро, шли холодные дожди, и хотя перелески и травы были зелены, но уже покрывались пасмурной тенью увядания. Шофер останавливал машину, переглядывался с Булатовым, они молча выходили. Помедлив, и я выходил. Стайки стрижей неслись над полем. Они улетают первыми, говорил шофер, но даже им еще не срок — слишком рано похолодало. Сейчас они оставили птенцов и отлетают в соседние области, где потеплей. А птенцы как бы впадают в спячку. Когда потеплеет, родители вернутся, откормят оголодавших деток, а там полетят вместе. В глазах моих спутников были печаль, и жалость, и какая-то непонятная мне виноватость. Подолгу смотрели они на березовую рощицу вдаль, снежистое облачко, несомое влажными ветрами, на стайки стрижей, стрельнувших в теплую зеленую рощицу. Во время одного привала мы видели, как детеныш куницы гоняется за сусликом. Он кусал грызуна за толстый задок, тот оборачивался и с отчаянным верещанием бросался на обидчика. Затем кидался наутек, и опять звереныш настырно не отставал. Мои спутники наблюдали охоту с восторгом, а мне отчего-то становилось скучно и как будто стыдно за этих взрослых людей.

Мне нравилась езда. Катилась бетонка, распарывая степное безмолвие восторженно кричащей чернотой, и странное чувство приязни, почти нежной привязанности испытывал я к старому автобусу и черной блестящей бетонке. Вот завиднелись дома какого-то поселения и, к моей радости, оказались кирпичными четырехугольниками, чья упорядоченность и точность словно завершали мою успокоенность. И бетонное шоссе, и автобус, и городского типа домики — все это отделяло меня от промозглой сырости трав и перелесков, от ухабистых проселков, по которым идут, может быть, в этот час ребята с Аверкиевым. И пусть себе идут, пусть даже запоют что-нибудь унылое, древнее, под стать этой промозглой сырости! А мне хорошо здесь.

Автобус стал перед одним из четырехугольников, балконы которого были увиты плющом, трепетало белье, вот чья-то дородная мамаша кинула на балконную оградку коврик, пыхнувший тусклой пылью, и закричала бегающему по лужам сорванцу. Мы вошли в первый этаж, в обыкновенную квартиру — тапочки у входной двери, кухня с холодильником и газовой плитой, пять или шесть кроватей, застеленных байковыми застиранными одеялами.

Подкрепившись чаем и бутербродами, стали собираться.

— Мы пробудем в карьерах до вечера, — сказал отчим. — Ты не очень устал?

Я не устал, но почему-то очень захотелось остаться в этих комнатах одному. Однако стоило Петровичу, нашему шоферу, усмехнуться — может быть, чему-то своему, — я тут же сказал, что поеду.

Елозя по глинистой улочке, автобус выехал на тракт, и вскоре же впереди завиднелись рыжие ворчащие клубы тумана. По мере нашего приближения туман не рассеивался, но редел с какою-то геометрической угловатостью и резкостью, а его ворчание превращалось в густое

упорное гудение. Внезапно, разом открылись холмы коричневой земли и бульдозеры.

В наш автобус один за другим потянулись водители. В резиновых сапогах, стеганых куртках, они, казалось, имели общее выражение лица. И общую, казалось мне, судьбу. Потому что о каждом из своих сподвижников отчим когда-то рассказывал примерно одно и то же: этот бывал с нашими машинами на Чукотке, на Таймыре, этот в горах, в тундре. Когда я просил рассказать о каком-нибудь случае там, в горах или тундре, отчим оживленно переспрашивал: «О случае? Как-нибудь на досуге надо припомнить, обязательно!» — но так все, наверно, и не припоминалось.

Одного из водителей я все же узнал. Звали его дядя Риза. Как-то он пришел к нам на «домашнее совещание», а потом вышел на кухню, и они разговорились с мамой. Всю войну, рассказывал он, провел на передовой, починяя танки. Однако за все четыре года ни разу не надел военной формы: механиков берегли и в боях они не участвовали. Между тем его ранило дважды, и оба раза в голову. Он жаловался: часто болит голова, особенно к непогоде. Крепкий чай помогает, и он даже на Чукотке, среди снегов, кипятит себе чай.

Последним вошел в автобус человек в туфлях, короткополом элегантном пальто, в шляпе. Тарасенко! Он кивнул мне как старому знакомому и подсел к Булатову. Начинался разговор о моточасах, узлах и обкатке, о взаимоотношениях с рудоуправлением.

Я вышел из автобуса и увидел молодого здорового парня. Он обколупывал яйцо и поглядывал на свой бульдозер, как если бы всадник на привале следил за каверзной лошадкой. Подмигнув мне, парень отправил яйцо целиком в рот. Я перепрыгнул через ручей, бежавший с дорожного откоса, и двинулся по чавкающей траве к березовой рожице. Не прошло и двух минут, как исполинский грохот заставил меня обернуться. Теперь я увидел смеющееся лицо парня через стекло кабины.

Я прошел еще несколько шагов, ощущая спиной это, конечно же, чудовищное прикосновение звука. Не доходя до рожицы, опять обернулся: парень истоиво махал мне рукой. Усмехнувшись, я повернул назад. Машина гудела в стороне, а сам парень стоял и смеялся, показывая на горку только что взрытой земли. Горка преграждала путь ручью, веселое мутное верчение в запруде живо напомнило мне детские проказы.

— Гляди! — смеялся он. — Можно пускать кораблики!..

Я глупо и растерянно улыбался. Зачем это? Чтобы перегородить маленький ручей, он взрыл столько земли, и не глины, которую они тут добывают, а черной лоснящейся земли с травой и цветами. «Чернозем! Взят бы, ей-богу, ложку...» Я засмеялся, представив испуг и возмущение Аверкиева. И смех мой был мстью ему.

На следующий день, встретивший нас шорохом дождя, белесым, каким-то надрывным полусветом на востоке, я увидел бульдозериста в дежурном автобусе. Он сидел, выставив в проход сапоги с налипшей тяжелой глиной.

— Гидравлика, я думаю, барахлит, — заговорил он, как только поехали. — Не поднимается отвал да и только. Все излазил, в костыли мать!..

— Давно стоите?

— Часа полтора.

— Надо бы сразу ехать.

Белесый унылый мрак тек за окнами, а машина как будто стояла на месте и только кренилась то вправо, то влево, недоуменно и обиженно рыча. Наконец выехали на шоссе, болтанка кончилась, и те-

перь уже плыли мы, временами прорывая тьму,— в разрывах мелькали телеграфные столбы, редкая в этот час встречная машина, одинокое дерево обочь дороги. Холодное урчание мотора, монотонный низкий полет вперед и вперед, куда-то в холод, едкий дурман бензиновых паров баюкали, тяжело и больно баюкали,— и глаза слипались, а сердце колотилось и вдруг замирало, отменяя сон.

Коричневые холмы всплыли из холодной белесой мглы. Свернув с бетонки, автобус стал. Бульдозерист гремяще кашляя и никак не мог прикурить от спички, прыгающей в его руке. Наконец-то я разглядел его: осунувшееся, с редкой желтоватой щетинкой молодое лицо. Парень хмуро отвернулся и задымил сигаретой. Несколько секунд, что сидели мы неподвижно, показались долгими минутами. И шофер наш, и парень-бульдозерист, и отчим — обо мне и говорить нечего — были, кажется, поражены: такую дикой, нетронутой и холодной предстала в этот ранний час вся обозримая природа!.. Лишь в таких далеких, таинственных уголках могло торжествовать уверенное, не знающее осторожности звериное рычание. Но это рычали бульдозеры, скрытые холмами и все еще густым туманом.

Отчим велел нам оставаться и вышел. И только тут я заметил, что бульдозерист спит, привалившись боком к стенке и щекою прижимаясь к запотевшему стеклу. С полчаса, наверно, он спал не шелохнувшись, не кашляя, с подобревшим глуповатым лицом. Проснувшись, тут же закашлялся, опять хмуро поглядел на меня, бросился к двери.

Отчим стоял возле бульдозера, неспешно, с явным удовольствием вытирая руки ветошью.

— Так ты говоришь, гидравлика барахлит? — Глаза отчима щурились, смеялись.— У тебя, брат, пульт управления посыпался. Ну!

Парень уже встал на гусеницу.

— Машина непривычная, поди докопайся..

— Нам еще долго вместе работать. Докопаемся как-нибудь.— Тут отчим глянул на меня.— Эх, позеленел-то как! Ничего, скоро поедем. Тарасенко, наверно, волнуется.

Но прошел по крайней мере еще час, прежде чем мы поехали. Утро уже наступило. В пасмурной светлоте сизыми, обмороженными казались травы обочь дороги, только сама дорога, плотно крытая бетоном и не подверженная никаким стихийным напастям, блистала вызывающей гладкой чернотой.

Тарасенко встретил нас во дворе.

— Ну что,— спросил отчим,— ребята не пришли?

— Были,— неопределенно ответил Тарасенко.— И знаете, чем они занялись с утра? Забрались на крышу, да, на крышу,— он показал вверх,— и стали пускать шары.

— Шары? Какие шары?

— Воздушные.— Он покачал головой и залился тонким, презрительным смехом.— Мне и в голову никогда не приходило, что в шар можно влить полведра воды, а затем спустить с крыши. Пушечный взрыв! Соседи в панике, этаким напастю, говорят, отродясь не видали.

— Игорь Антоныч,— сказал отчим тихим от огорчения голосом,— отправьте их, пожалуйста, по домам.

— А вы не хотите с ними?..

— Нет, нет. Мое нравоучение они поймут так, что нельзя пускать воздушные шары — и только. Да, и только!

В город мы возвращались все на том же дребезжащем автобусе. Мы сели, тесно прижавшись друг к другу, и всю дорогу проговорили.

Он рассказывал, как учил этих ребят премудростям техники, ибо испытатель должен знать машину как свои пять пальцев.

— И они знают ее. Но... пока что они переживают какой-то младенческий восторг перед могуществом своих машин, в них много выскомерия... ну, хотя бы к земле, которую они роют. Вот не знаю, поймешь ли. Прежде мы испытывали машины где-нибудь за городом, перелопачивали горы грунта. Машины отличные, ребята молодые, полные энергии — восторг необычайный! В них отвага и ярость охотников, опьяненных удачей, и в этом есть что-то ужасно обидное, неприятное, не знаю что еще... Потом я стал договариваться с совхозами, вот теперь с рудоуправлением — все-таки не бессмысленная работа... Всего не расскажешь. Станешь инженером — поймешь.

Что он думал обо мне? Какую судьбу пророчил? Какими путями хотел вести юношу сына?

— Хорошая профессия — инженер,— продолжал он, как бы примеривая на меня свою профессию.— Хорошая,— повторил с упором.— Но она слишком замыкает человека в его деятельности, слишком ревнива к его устремлениям познать и любить еще и другие сферы. И с этим ничего нельзя поделать.

Он внезапно смолк, как будто приказал себе. Я прикрыл глаза и притворился спящим. К моему удивлению, он запел тихонько, не разжимая губ, что-то очень старинное, мною никогда и не слышанное, и сам он помнил, наверное, только две нотки: м-м-мо-о-о-а-а-м-м.

— Моей профессии не нужно прошлое,— сказал он как будто себе одному.— Ей необходимо только будущее. А жаль — в прошлом мы оставляем много хорошего.

Через минуту, открыв глаза, я увидел: он ест хлеб, посыпая солью из спичечного коробка. Это был ржаной душистый хлеб, который недавно стали выпекать наши пекарни,— вчера, собираясь в дорогу, мы положили в саквояж две буханки. Он ел, откровенно смакуя, что-то щеголеватое было в этом обряде еды; крошки сыпались на его колени, обтянутые плащом, и соскальзывали на пол так быстро, что он не успел бы собрать их в ладошку, если бы даже и хотел.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

В последние годы об Алеше Салтыкове приходилось только слышать, и каждая новость отзывалась во мне чувством уже невозвратимой потери. Так было, когда я узнал о женитьбе друга на Пименовой Наталье. Она была лет на пять старше нас, а мне и вовсе казалась старухой, вздорной, пропахшей сигаретной вонью, всецело поглощенной работой, что никак, по-моему, не шло женщине. Это почему-то было обидно, казалось едва ли не изменой дружбе, загадка между тем была проста: о собственной женитьбе я не только не помышлял, но даже мысль о ней казалась гадкой, ибо я только еще мечтал о любви. Рано женятся те, кого детство обделило вниманием и лаской. Иные же до первых седин сохраняют оскомину от приторной нежности попечителей. Что ни говорите, а я, несмотря на странные, холодноватые отношения между родителями, получал от каждого из них в отдельности куда больше, чем иной мальчик в благополучной семье; а ведь был еще городок, помнящий меня с колыбели...

Но и радостные вести об Алеше имели привкус потери. Рассказывали о работе Салтыкова в ПОРе — проектной организации какого-то крупного строительного треста. Поровцы разрабатывали сложные современные системы связи, а сами владели всего лишь одним телефоном, не имея никакой сигнализации внутри здания. И вот что при-

думал Алеша: из своего кабинета протянул во все комнаты капроновые лески, стоило шефу дернуть леску — и в комнате дребезжал самодельный гонг.

Я радостно смеялся: только Алеша мог придумать такое, от чего окружающим весело и хорошо. Но и тут щемило сердце: роднясь с чужими людьми, он и сам немного становился мне чужим. И казалось, он уже не ищет встреч со мной.

Собственные мои заботы тоже оставляли мало просвета для встреч и бесед. После бегства из института работал я в молодежной газете, а через три года меня позвали в областную. И тут опять услышал о Салтыкове. Заведующий промышленным отделом Савин, поручая мне написать о главном инженере Металлургстроя, говорил:

— Когда-то сам я пробовал написать о нем, завяз в материале, да так и оставил до лучших времен. А человек интере-ес-ный...

— Кто?

— Салтыков, я же говорю.

— Салтыков?!

— Седьмую домну строил, в Златоусте — конвертор. Сейчас здесь, опять конвертор возводит. — Он помолчал, и какие-то печальные сожжения отразились на усталом, помятом лице Савина. — Я ведь ох долго ходил вокруг него! Вижу — энергия, точный ум, взвинченный темп. Все, так сказать, типическое вижу, а вот индивидуального не уловил. И до него работали не дураки, но именно Салтыков внедрил буронабивные сваи, перевел бригады на хозрасчет, похерил процентовки. — По-своему оценив мою заинтересованность, он подробно объяснил, что такое процентовки, затем извлек из письменного стола пухлую, изрядно помятую папку. — Интереснейшие записи храню! Слушай, с каким сарказмом анализирует свой рабочий день Салтыков. Заседания и совещания — четыре часа. Ожидание начальства — двадцать минут. Решение оргвопросов... так, так... и наконец, на посещение объектов остается всего полчаса. В тот день ему начислили зарплату в сумме девять рублей тридцать шесть копеек. В том числе за выполнение непосредственных обязанностей главного инженера — рубль пятьдесят три копейки. А его знаменитый клич: не время вперед, а мы впереди времени! Вот... тут у меня записана его речь на партийном собрании, один знаменитый очеркист ее напечатал: противник у нас беспощадный, он никогда не отступает и не стоит на месте, он только движется вперед, это — время; только одна возможность выиграть — двигаться быстрее времени.

Как на полном скаку я вдруг останавливал себя среди разноликих житейских дел — и поражался: дни проходят (не дни проходят, а жизнь уходит, говаривал дедушка Хемет), а что задумано, о чем мечтал, не сделано.

Я просыпался с первыми лучами солнца, словно пытаюсь застать день в самом его зародыше, коснуться мягкого животворного начала, отдалить нещадную кутерьму суеты. Я думал: а может быть, прав тот савинский Салтыков, который нашел верный способ преодолевать время и все успевает, не давая ускользнуть даже четверти часа? Не это ли, в конце концов, мучило и Булатова: его профессии не нужно прошлое, а только будущее, ибо прошлое останавливает нас, а секунды, минуты не знают между тем даже мгновенной передышки?

Но почему я радуюсь, когда вдруг прервется лихорадочная спешка? — останавлиюсь и долго смотрю на выхваченное из памяти мгновение, которое, в свою очередь, медленно, затайливо сплетается с воспоминаниями моих знакомых стариков с абалаковского.

Завод недавно отпраздновал семидесятилетие, в сквере перед Дворцом культуры появился постамент: не сегодня-завтра должны были поставить памятник «катюше» — это орудие всю войну делали абалаковцы. А начало истории не представляло ничего особенного, кроме того, что плужное предприятие Столля явилось первым и единственным в уездном этом захолустье. Российские переселенцы, понурым потоком двигаясь в непаханные сибирские просторы, останавливались в Челябине и запасались плугами и прочим крестьянским инвентарем.

Меня больше всего интересовали двадцатые и тридцатые годы. Странное было ощущение — будто все, о чем рассказывали старые рабочие, знал и сам я лично. Был еще цел Никольский поселок, в котором издавна жили рабочие абалаковского, сохранилось несколько строений той поры недалеко от проходной, наконец, три двухэтажных дома и между ними несколько березок и сосен — в одном из этих домов провел я большую часть детства.

Рассказывая, ветераны обязательно упоминали директора Малашкевича, бывшего кузнеца и партизанского командира. Вспоминали, как строили баню в Никольском поселке и Малашкевич орудовал топором точно заправский плотник — вечерами, после дневных трудов. Как он играл на гармонии, ходил на свадьбы, просто заходил к рабочим и, случалось, пропускал рюмку-другую. Наконец, вспомнили, как ездили на лесоповал: выгрузились из автомобиля, а к лесу одна дорога — глубокая снежная целина. И тут Малашкевич разворачивает гармонию и, весело играя частушки, идет целиной, а люди за ним...

Не эта ли неспешность жизни порождала мысли о необъятности страны, ощущение собственной силы и прочности бытия? Все тот же Никита Аверьянович рассказывал, как на третий день войны стояли они, глядя через заводской забор на проходящие эшелоны.

— И-и, куда это попер Гитлер! Не знает наших просторов.

— Хоть бы одним глазком поглядеть на эту войну.

— Пока доедешь, и война, паренек, кончится.

Сколько с тех пор переменялось... Какую долгой была война — почти дети, выросши, пошли воевать и многие исчерпали тогда время своей жизни. Сколько эвакуированных понаехало, и как широки, раскидисты были барачные поселки, и какая там шла жизнь — полуголодная, холодная, с драками, с праздниками на улицах, уютном совместного жития и взаимным состраданием. Казалось, боже ты мой, когда еще не станет этих барачков, а вот уж и нет — высокие дома с четким порядком, мерным гудением глубоких дворов. И все эти годы: время, вперед, время, вперед!

И вот наконец: двигаться быстрее времени!

А быстрое движение завораживает, иному хочется пусть хотя бы песчинкой устремиться в общем стремительном потоке, дерзнувшем преодолеть время...

Если определить в нескольких словах причины, побудившие моего брата Апуша сняться с насиженного места и уехать на стройку, так это «на людей поглядеть, себя показать». В городке он был кум королю: работал на почтовом грузовике, жена в продовольственном киоске, деньги кой-какие скопили, породили двоих детей и в случае смерти уже старого Хемета наследовали бы особняк с широким двором, постройками, скотом — словом, он имел все по мере его фантазии. Но это — на людей поглядеть, себя показать... Апушу необязательно было ехать за тридевять земель, чтобы ощутить воздух перемен, ему достаточно было очутиться в Челябинске, где в это время только-только начинали строить огромный кислородно-конверторный

цех на металлургическом заводе; стройка была объявлена всесоюзной ударной.

Словом, в один прекрасный день он появился у нас. Я и мама были на работе, отчим болел и отсиживался дома. Он рассказывал потом, что Апуш ошеломил его своей решимостью и обилием груза, с которым ввалился в переднюю, а поскольку Булатов не спешил отодвинуться от двери, Апуш еще и толкнул его огромным узлом.

— Не бойтесь, не бойтесь,— сказал он.— Я довожусь племянником тете Аие, а Рустему, стало быть, двоюродным братом.

— Очень приятно,— проговорил Булатов.

— Приятного, пожалуй, мало, но что правда, то правда — я ваш родственник. Видеть вы меня не видели, а если бы и видели, то не запомнили. наших так много, что и сам я теряюсь, который наш, а который пришей-пристебай.

Между тем он разделся, подхватил чемодан и огромный узел (еще один узел оставил в коридоре) и устремился в комнату, а через минуту-другую Булатов услышал из комнаты гремящий хrap. Он на цыпочках подошел к двери, приотворил и глянул. Апуш лежал на полу, положив под себя какую-то штуку, похожую на надувной матрас, середину которого он вмял тяжелым своим туловом.

— Я,— рассказывал отчим,— не сразу уразумел, что эта штука не что иное как вальжная, вполкомнаты перина.

Может быть, Булатов несколько преувеличивал его беспардонность, а может, Апуш, смущаясь, подбадривал себя этакой лихостью. Во всяком случае, когда вернулись мы с мамой, он вел себя тише воды, ниже травы, чемодан был приткнут в углу ванной, а перина связана в узел и запихнута под мою кровать. А из того, оставленного в коридоре узла Апуш извлек двух замороженных гусей, бараний бок и тяжелые пласты земляничной пастилы — все это он привез нам в подарок. За ужином он рассказал, что хочет попробовать себя на стройке, и про то, что давно хотел и на людей поглядеть и себя показать...

Утром, когда мы еще спали, он тихонько ушел, а вечером позвонил: устроился на работу и остаюсь ночевать в новом жилище. Он не пришел и на второй и на третий день, и мама забеспокоилась: уж не обиделся ли, говорила она, ты бы поискал брата. Но разве на такой стройке просто найти человека? На четвертый день он опять позвонил.

— А я искать тебя собрался,— сказал я.

— Искать не надо,— ответил он, смеясь.— Я на энергоучастке, прямо в котловане вагончик и подстанция. Слушай, мне сбежать пописать и то некогда, так ты бы привез мне перину, а?

— Перину? — растерялся я.

— Да, да! — закричал он в трубку.— Ты ее хорошенько закрути в узел, она совсем не тяжелая.

Ей-богу, я ни за что не повез бы ему перину, но нам, в особенности маме, казалось, что мы не успели осыпать его милостями гостеприимства. В дороге я ругал Апуша, ругал себя, но стоило там у них появиться, вся злость пропадала. Апуш покорила меня своей готовностью переносить неудобства и даже создавать некий комфорт в виде хотя бы этой перины.

Он попал на самую горячую точку строительства. Эскаваторы еще только вынимали первые кубометры мерзлой земли. Отсюда до центра города было часа полтора трамваем, но стройка начиналась отнюдь не на пустом месте: тут завод с доменами и мартенами, недалеко рабочий поселок Першино и опять же недалеко соцгород — все это в черте города. Апуш мог бы квартировать в Першине или по

особой договоренности устроиться в общежитии (его как семейного в общежитии не прописали бы), но он стал жить в вагончике, принадлежащем энергоучастку, который, собственно говоря, тоже только начинался. Их было-то пока что двое — начальник участка Мельников, малый лет тридцати, в очках, с широким носом и бледноватым миротворческим лицом, и Апуш. Работа заключалась в том, чтобы устранить аварии на линиях электропередач. Рытье котлована давалось с великим трудом, промерзший грунт взрыхляли взрывами, а после каждого взрыва, рассказывал Апуш, изоляторы на столбах кололись как орешки. Так что им без конца приходилось устранять повреждения...

В ноябре начали заливать фундамент, и самосвалы шли днем и ночью — дороги подморозило, пошел большой бетон. Шоферы рвали как оглашенные, чтобы сделать побольше ездов. Они, рассказывал Апуш, только свалят бетон и, на ходу опуская кузова, мчатся вон из котлована на бетонный завод. И в спешке, сволочи, частенько зацепляют кузовами провода, опять аварии, опять электрикам работа.

— А вчера,— рассказывал Апуш,— вишу я на опоре, а самосвал зацепил провода и в момент снес три столба. А на четвертом, на свечке, я вишу! Я вишу на свечке, мать его в душу, сволочь,— да ведь он бы припечатал, в лепешку превратил меня, ежели бы и мою свечку снес!..

Он ничуть не бравировал трудностями и, рассказывая об этом случае, не скрывал своих страхов. Я, говорит, как паралитик, шел к себе в вагончик и со страху-то стал материть Мельникова, а потом опомнился — бог ты мой, кого это я матерю, начальника участка! А в общем, кажется, он был доволен судьбой...

Между тем их участок помаленьку обживался, приходили новые люди, теперь их стало пятеро или шестеро.

— Самое трудное позади,— говорил Апуш.— Теперь, ежели мне надо, я могу и в городе бывать, в поликлинике.

— Ты что, болеешь?

— Нет. Но мне выдерживают зубы. Гляди.— Он раздвинул губы: двух зубов не было.

— Стоило ездить в город,— сказал я,— как будто в соцгороде или в Першине не выдернут большой зуб.

— Большой-то они выдернут. А вот если восемь здоровых...— Он усмехнулся, заметив мое удивление.— Я ведь решил золотые зубы вставить. Каждый день по зубу, а то и по два буду выдерживать. Больно, конечно, а привыкаешь.

— Всей зарплаты не хватит,— только и сказал я.

— Не жалко.

Так вот он каждый день уезжал в город и терял на этом больше половины дня, оставшиеся до ночной смены часы лежал, врывшись в свою перину, и все равно его трясло от озноба. Затем он поднимался, Мельников недоверчиво смотрел на его бледное лицо, лихорадочно блестящие глаза, но он даже не позволял Мельникову вслух усомниться, настойчиво говорил:

— Я здоров, никто за меня работать не станет.

Он стойчески вынес все страдания и вскоре сверкал ослепительно желтым ртом. Да жаль: золотые зубы еще более усугубили простоватость его широкого, залубенелого лица, сделали его вульгарным, залихватским, чего, по-моему, не было в характере Апуша. А тут стало заметно, что окружающие относятся к нему насмешливо, хотя и незлобно. О нем говорили: «А, Апуш! Это такой парень, он первый здесь начинал с Мельниковым, считай, жизнью рисковал. Он в этом деле и заработал на золотые зубы».

Однажды, я заметил, он ощупывает свою перину, будто иголку в ней ищет.

— Вроде и не должно... но почему же она стала легче?

— Ты о чем? — сказал я.

— В ней, в перине, гусяного пера не меньше как на сто рублей.

А теперь, гляжу, вроде кто-то опрастывает потихоньку.

— А может, кажется?

Он не ответил, но продолжал бормотать:

— Прежде, случалось, Мельников ночевал... Да ему-то вроде ни к чему. Знаешь, — сказал он почти шепотом, точно кто-то мог нас подслушать, — я, пожалуй, отвезу ее к вам. Правда, я здорово привык к ней, но зато будет целей.

С этими словами он принялся заворачивать перину в какую-то просторную крепкую мешковину, так что в конце концов перина уменьшилась почти вдвое, когда он скрутил узел еще и веревкой. Я морщился, предвидя, что он тотчас же вздумает ехать со мной или, того хуже, попросит меня забрать перину. Но он сказал:

— Пусть полежит до завтра. А кое-кто пусть подумает крепко, почему я решил ее эвакуировать. — И оглушительно рассмеялся.

Назавтра он привез перину к нам и затолкал ее под мою кровать.

— Пусть там лежит, — сказал он небрежным тоном, — места не много займет.

— Конечно, пусть лежит, — сказал я.

Теперь он чаще навещался к нам: во-первых, думаю, поднадоело жить в вагончике, а во-вторых, здесь хранилась его перина. Как-то он после ужина пошел мыть руки и долго не возвращался. Мама стала убирать посуду, а я решил увести Апуша в свою комнату, чтобы он, не дай бог, не пристал к отчиму с разговорами. Булатов терпеть не мог его разглагольствований.

Войдя в комнату, я увидел Апуша над развернутой периной. Он щупал и мял ее в точности как тогда в вагончике, будто выискивал заскочившую туда иголку.

— А знаешь, — сказал он, продолжая свое, — вроде опять припала.

— Клянусь, я не притрагивался к твоей перине. — Я хотел сказать это весело, но вышло очень серьезно.

— Ну ты даешь! — Он даже привскочил возмущенно. — Ну ты даешь, брат! Да неужели я могу про тебя такое подумать, а? Или про тетю Айю? Да пусть меня поразит сам бог!..

— Значит, мыши растаскивают пух для своих деток, — сказал я.

Он озадаченно стоял над раскинувшейся периной и, конечно, мучился оттого, что невольно обидел брата и родную тетю. Но ничего с собой поделаться не мог. Наконец снова завернул перину и крепко — мне показалось, куда крепче, чем прежде, — перетянул ее веревкой. Затем задвинул узел под кровать и вдруг пнул ногой будто в наказание за все свои страхи и мучения.

После того дня он реже стал заходить, посчитав, что так спокойней. Но забегаю вперед скажу: забирая перину к себе на новую квартиру, Апуш сказал: «А он мог и опростать перину, даром что интеллигент». Он имел в виду Булатова, чьей неприязнью долго мучился; знал, что Булатову наплевать на его перину, но не преминул задеть его глупым и злым словом.

Нежданно-негаданно приехала его жена, декабрьским студеным полднем стала против вагончика, держа за руки своих иззябших деток — мальчика лет девяти, в серой кроличьей шапке, самокатанных валенках, в просторном, навыворот, пальто, схваченном в поясе широ-

ким солдатским ремнем, и четырехлетнюю девочку, закутанную в большую байковую шаль и похожую на толстенный сноп проса гужовкой вверх. Каких трудов стоило ей среди эстакад, коловращения механизмов, неисчислимых бытовок, вагончиков отыскать именно тот, нужный ей вагончик!

Мельников рассказывал, что в оттаявшем кружочке оконца он углядел эту троицу и сердце у него екнуло от недоброго предчувствия.

— Слушай,— сказал он Апушу,— не твоя ли семейка приехала? Тот молча, надолго принял к оконцу.

— Твоя,— обреченно сказал Мельников.— Где я возьму вам жилье? И чего ты не бежишь встречать, а?

Апуш, ни слова не говоря, накинул на плечи ватник и пошел из вагончика.

— Ой, горе мое, так оно и есть! — запричитала его жена.— Полный рот зубов у этого бессовестного, бесстыжего изверга... Я-то надеялась, что он бахвалится...

— Ты! — сказал он, не только не закрывая вместилище злополучных золотых зубов, а еще шире открывая.— Ты, да они ночью светятся. По крайней мере, будешь видеть, кого обнимаешь.

Так он говорил, с каждым шагом приближаясь к ним, наконец вихрем — будто бы решив: а, была не была! — налетел на ребятишек и схватил их в охапку.

— Не смей, не смей! — покрикивала жена.— Не смей... помой прежде руки, которые ты пачкаешь о грязных баб!..

Но он уже вскинул на руках запеленатую в шаль дочку.

— Да не пугай ты ребенка. Закрой рот, пусть девочка попривыкнет к твоим бессовестным зубам.

Вечером, оставив семейку в жарко натопленном вагончике, он приехал к нам и весело сказал, что явился за периной, ибо малышам не на чем спать. Моя мама (как, видимо, он и рассчитывал) решительно отказалась выдать перину.

— Привези сначала жену и детишек, а там, если хочешь, забирай свою перину.

— Ладно, тетя Аяя,— ответил он, будто бы уступая,— перину я, так и быть, оставляю. Но семья моя пусть поживет в вагончике... Не беспокойтесь, три или четыре дня или сколько там понадобится, пока я не получу двухкомнатную квартиру.

— Но зачем же ты их вызвал сейчас?

— А я не вызывал. Я просто написал, что вставил золотые зубы.

Мама не отважилась нарушить его планы в ту же минуту, но через три дня подъехала к вагончику на такси и увезла Майсару и детишек домой. Апуш подоспел к тому моменту, когда его отпрыски уже сидели в машине.

— Зачем же увозите,— смеялся он,— ведь завтра я получаю ордер, слышите, тетя Аяя? К Салтыкову иду работать бригадиром!..

Вечером мама рассказывала:

— Ему какой-то Салтыков обещал квартиру. Не Алеша ли?

Что-то во мне дрогнуло, затосковало при одном только упоминании об Алеше. Последнее время я уставал, хандрил, работа не ладилась, и все это муторное состояние привычно укладывалось в треклятую прокрустову лежанку: «Все осточертело, надо бежать на природу!» Но и на природу не хотелось: спокойные Харуновы беседы расслабляли, побуждая к беспечности и покою,— покой в ту пору меня пугал, а созерцательность казалась вредной, даже опасной.

...Одевшись, я вышел на улицу. И горько рассмеялся: я не знал

адреса Алеши. Но был, слава богу, домашний телефон. Я крутил диск, гудки, гудки — молчание.

Я выходил из будки и шагал по улице, потом сел машинально в какой-то трамвай. Езда немного успокоила, но чувство нетерпения все еще пульсировало во мне. И опять я звонил: гудки, гудки — молчание. Было уже одиннадцать, я решил возвратиться домой, но проблуждал по незнакомым улицам и вышел к своему дому без четверти двенадцать. Все еще надеясь, позвонил опять. Никто мне не ответил.

Утром я поехал в соцгород, район металлургов, там на задах, в поле, строился конверторный цех. Когда позади остались дома соцгорода и трамвай медленно стал разворачиваться, я увидел огромное, фантастически привольное, не сжатое вершинами домов небо; оно взмывало и падало на гребни синеющих вдалеке лесов. До стройплощадки я добирался пешком, уступая дорогу рычащим самосвалам. До котлована еще далековато, но было ощущение, что иду я где-то понизу: выше меня стояли холмы взрытой земли, выше — краны, выше — трубы эстакад; горизонт с каждой минутой сужался, а гребни синеющих лесов давно уже исчезли из поля зрения.

В котловане мне показали вагончик главного инженера. Контора стройуправления находилась в соцгороде, но в эти суматошные дни, я знал, Салтыков обретается здесь. Уже приблизясь к вагончику, я увидел Алексея. Перед самым вагончиком он крепко потопал, стряхивая с сапог ошметки снега и грязи, и, почти в точности повторяя его движения, потопали его спутники. Передо мной были вершители, затеявшие всю эту завораживающую кутерьму и прозревающие за хаосом четкий, точный порядок будущего строения.

Он поднял глаза, еще хмурые, холодноватые, — короткая ослепительная улыбка, резко выброшенная вперед рука и сильное пожатие. И только потом запоздалое мгновенное изумление, живые просительные искорки в глазах: потери еще минутку.

— На бетонный поезжайте сейчас же, — сказал он одному из спутников, — в одиннадцать я жду вас. А в одиннадцать тридцать буду уже у начальника комплекса. Сварщики у Мигулина не забирайте, — сказал он второму. — Лучше переведите всю бригаду на подливку колонн.

Прежде, еще не видя меня, он говорил с теми двумя с деловитой, необидной краткостью, но мое появление что-то тут нарушило, естественная сдержанность вдруг обернулась сухостью, и те двое ушли, бросив на меня косые взгляды. Салтыков между тем отворил дверь в вагончик и подтолкнул меня легонько к порогу.

— Давненько у нас не были, — сказал он, подразумевая вообще газетчиков. — Но весной — обязательно, обязательно! Пойдет большой бетон, на это стоит поглядеть.

Горделивые нотки в звонком голосе отдавали явным профессиональным высокомерием, это было неприятно, но потом я понял: всякий иной тон сбил бы его с толку, умалил бы его энергию, зоркость, без чего все это огромное хозяйство могло и залихорадить. Я решил, что ничего не скажу о вчерашних звонках, прикинусь, будто пришел по делу.

— Сведи меня с хорошим мастером, — сказал я. — А то пишем о ком угодно, мастера забываем.

— Мастера... — Он поморщился, отмахивая дым сигареты. — Мастер нынче эфемерная фигура — начальник не начальник, рабочий не рабочий. Так, погоняльщик какой-то. А бригадир — это, брат, хозяин. Вот и надо поднимать его авторитет. Соображай: люди у нас трудяги... герои. Непогода ли, организационные беспорядки, головотяпство ли начальников — все спасает трудовой героизм. А кто сплачивает,

кто руководит людьми? Бригадир. Народ с бору по сосенке — и романтики, и гелетеушники, и всякие. И всем бригадир отец-мать. Короче, я хочу четкой организации. Вот и начинаю с бригадиров. А там и до мастеров доберусь.

Краткие, чеканные фразы Салтыкова держали в напряжении, да я и не рассчитывал на умиротворяющую беседу в такой деловой обстановке. Я поглядел на часы: было без пятнадцати одиннадцать, ровно в одиннадцать у него встреча с человеком, посланным на бетонный завод.

— Ну, а ПОР вспоминаешь? — спросил я вызывающе.

Он засмеялся:

— Как туманную юность. Да, как туманную юность,— повторил он задумчиво, но без тени сожаления.— А тут, брат, не до озорного творчества. Много суеты, спешки, каждая новинка слишком быстро становится повседневностью... люди проникаются мыслью, что все в жизни стремительно, все делается в напряженном действии, нашу лихорадочность принимают за фанатизм, захваченность делом. Я, веришь ли, так взвинтил темп, что кажется: энергии у меня через край, такая, черт возьми, уверенность в себе... А ведь я всего лишь инженер, нравится дело, нравится, что я среди людей. Вот и все. Этого, слава богу, хватит на мою жизнь. Но хочется немного творчества, оравы детишек... хотя бы четверых. Да! — Точно спохватился и, перегнувшись через стол, поглядел требовательно: — Не ты вчера звонил?

— Но ведь тебя не было дома.

Он резко откинулся, резко ответил:

— Да. Наталья была дома. Да боже мой, ну что это мы так... давай встретимся... по-человечески, как прежде, а? — Тут громко зазвонил телефон, он радостно схватил трубку.— Сварщик не трогать. Мигулин пойдет на подливку колонн. Все!

Он вышел проводить меня.

— Понимаешь, когда я задерживаюсь, то звоню Наталье через каждые пятнадцать минут. А тут вдруг телефон молчит. В чем дело, говорю, Наташа? Отвечает: у меня тоже дела. Какие могут быть дела? Ах, какие! Позирую Оглоблину. Это такой замухрышка, ни ума, ни таланта. Ведь врет, а?

— Врет, конечно. К тому же Оглоблин график.

— График? — Он рассмеялся тонким, ликующим смехом.— И, наверно, хороший график, а?

Пока Апуш и его жена устраивались с жильем, детишки оказались на попечении моей мамы. А там Майсара искала работу, а там выяснилось, что очередь в детский сад подойдет не раньше чем через полгода, а там обнаружилось, что у мальчика плохи глаза и надо срочно менять очки. Мама ежедневно водила мальчика в поликлинику, а дома надо было завязывать один глаз и тренировать другой, слепнувший, писанием и черчением на миллиметровой бумаге; решала с ним уравнения, возведения в степень и удивлялась, какие задачи дают нынче малышам.

В ней, наверно, таились немалые силы, переданные ей гордыми, отважными, двуязычными родителями. Она же прозябала в библиотеке и пылко обихаживала Апушевых отпрысков. Ей бы, наверно, пришлось к лицу многодетное семейство; ее украсила бы роль продолжательницы клана, хранительницы сказаний о достойных предках, миротворицы в сложном, бурно живущем семейном товариществе...

Отношение Булатова — невмешательство. Тихое, не выпяченное напоказ, даже деликатное, оно тем не менее было равнодушным —

равнодушием человека, как бы переросшего такую тщательность в отправлении добродетелей. Да если бы они понимали цену ее усилий!

Апуш откровенно гордился женой: «О, Майсара — слободская девка, с ней не пропадешь». И правда, удивительна была ее способность приноравливаться к бурному ли, тихому ли течению бытия, ее прямо-таки одержимость взять от жизни то, что ей полагалось, а если удастся, то и немного больше. Поискав работу сама, Майсара нашла дорожку к бывшему маклеру дяде Харуну, тоже слободскому жителю, и он быстренько пристроил ее в магазин. Уже через месяц Майсару отправили на курсы повышения квалификации, после чего она должна была принять заведование отделом. Хорошо еще, курсы находились в Челябинске и она хотя бы по вечерам сменяла маму.

Глядя на бойкую Майсару, я невольно искал в ней строптивость, желание настоять на своем и слегка дивился, не находя их. Но и не сказать, чтобы Апуш подавлял ее авторитетом главы семейства. В помыслах своих они были заодно, и этот надежный фундамент скреплял их жизнедеятельный союз. В сравнении с их бурными действиями старания моей мамы выглядели тщетными, даже смешными. Ее вдруг ужаснуло, что Майсара не читает книг, и она стала подсовывать их Майсару.

— Ой, тетя Айя, большущее вам спасибо,— говорила слободская молодка, почти кончиками пальцев беря книгу.— Если бы не вы, я б совсем запустила это дело.

Она садилась на диван и утыкалась лицом в книгу. Но уже через минуту от ее оживленности не оставалось и следа, она, эта оживленность, не переходила в живую, спокойную заинтересованность читающего, нет,— лицо ее тупело, недоумевало, затем покрывалось явной кисеей сна, с которым она непродолжительно боролась, а там засыпала, уронив книгу...

Наблюдая Апуша, я не мог бы сказать, что он только тем и занят, что ворочает бетон. Он довольно свободно располагал своим временем, но, чего прежде за ним не замечалось, вдруг заделался театралом, в картинную галерею стал заглядывать, наконец купил лыжи и в воскресные дни уходил в парк. Вот прелесть жизни в большом городе! После дневных трудов не надо убирать за скотом, не надо расчищать снег во дворе, носить воду в кадучку, топить печь. Но я еще не знал, что все его походы в театр и лыжные вылазки как раз и есть напряженнейшая работа на бригадирской стезе.

Вот как-то гулял я в парке; невдалеке сверкала, утекала в сосновую зелень яркая и какая-то молодая лыжня. По ней передвигалась некая группа — парнишки, парни постарше, а там и вовсе отцы семейств и две или три женщины, хохочущие и стеснительные. При первом же взгляде было ясно — этот разношерстный народец являет собой нечто единое, может быть их объединяла общая неумелость или общее смущение, общий стыдливый восторг. За соснами открылась горка, на вершине которой я увидел чью-то знакомую фигуру: Горка сияла, слепила, так что я не сразу узнал Апуша. По-медвежьи топчась, перебирая палками, он малодушно медлил. Кавалькада вся враз остановилась, вызвав, я думаю, его неудовольствие. И он решился — вонзил палки, сильно оттолкнулся, но в следующий миг шмякнулся и почти всю горку проехал на зад. Его братва — две или три женщины тоже — воодушевленно принялась штурмовать горку.

Он подкатился к моим ногам и, поднявшись, сказал:

— Ничего-о! Не больно хитрое дело. Я ведь первый раз.

Предполагая в нем смущение, если не стыд, я пытался успокоить:

— Твои ребята тоже не больно прытки.

— Не прытки, не-ет! — охотно подтвердил он. — Да ведь нам не рекорды побивать, а так...

— И в театр вместе, а?

— Да, да, — ответил он истово, — и в театр тоже ходим. Всесвятский по триста билетов враз закупает, на все СМУ. Дурак и тот не усидит дома, а? — Сильно оттолкнувшись палками, он пошел в гору. Падал, подымался и хохотал, как будто внушал себе, что все, все можно одоеть.

2

Мои братья покидали не городок, а дом. И они ведь были не первыми, первым оставил дом Якуб, потом Айя... наконец я сам — с того памятного побега я не показывался в городке. Даже Апуш, рожденный, казалось бы, хозяином, и тот не стал держаться дома, считая почти собственным. А последним ушел из городка Нурчик, мой двоюродный брат, сын дяди Гарифа.

Куда же мы уходили? Да понятно как будто: в большую жизнь. Но ведь и в большой жизни у каждого должен быть свой дом. А дом строится не так быстро, как строятся нынче города. Я хорошо знал это хотя бы на примере нашей семьи. И все-таки уходили! И тем удивительней было для меня, что Деля, прожив четыре институтских года в большом городе, вернулась учительствовать в городок, и не просто в городок, а в бревенчатую двухэтажную старую школу, которую построил еще ее дедушка, учитель Мухаррам, и в которой директоромствовал потом ее отец, учитель Лафит.

А за нею в городок отправился Билял.

Зачем она поехала туда, зачем?

Задним числом я вспомнил один наш разговор. Уж не помню, о чем говорили, но потом перешли к предрассудкам, крепко держащим обитателей городка. Путь к свободе личности лежит только через свежесть взглядов — что-то в этом роде говорил я Деле. Она посмотрела на меня, будто не понимая. Разве я сказал что-нибудь туманное?

— А как бы ты почувствовал себя, если бы вдруг все твои привычки — это то же, что и предрассудки, — оставили тебя? Тебе не было бы страшно такой свободы?

А разве у Апуша не было закоренелых привычек? И разве у такого существа они не сильнее, чем, например, у Дели?

А Билял? Или за четыре года он уверовал, что Деля достойна его раболепного отношения к ж е н щ и н е? Или, может быть, он не прочь был теперь сыграть в чьей-то жизни роль, подобную той, которую сыграла в его жизни Катя? Чистая, кроткая Деля — и он, по его разумению, познавший жизненные бури. А не заморозила ли его принадлежность Дели к семье потомственных учителей, то есть не напомнила ли в этом отношении Деля все ту же Катю Свидаерскую?

Они уехали в городок летом, а в декабре была свадьба. Нас не пригласили. Мама не поехала бы в городок ни при каких обстоятельствах, но меня-то могли, наверно, позвать? И тут я подумал: меня не позвали именно потому, что я любил ее. Но кто из них не хотел моего присутствия на свадьбе — Билял или Деля? Если Деля... что ж, можно думать, она пощадила меня.

«Шапочник Ясави женил внука» — вот что передавалось теперь из уст в уста, словно и Деля и Билял были бессловесные, несамостоятельные существа.

«Шапочник Ясави женил внука». Кем-то это сказалось, может

быть, походя, вскользь, но слова эти задели, видно, в каждом участнике события что-то такое, от чего и стала разрастаться долго не затихавшая молва.

Да что же он, рехнулся, что ли, шапочник Ясави — захотел породниться с семьей потомственного учителя. Встретятся два рода, неблизких, чуждых друг другу... невозможно представить, чтобы жили они в согласии! Старый учитель Мухаррам, который открыл первую светскую школу в городе, злостными своими противниками считал базарников, торгашей.

Не с горя ли слегла Хава перед самой свадьбой или, может быть, сказалась больной, чтобы только не видеть всей этой комедии, которую устроил тщеславный старикашка, с лицедейской велеречивостью сватов, горой подарков, которые любого навели бы на мысль о калыме, и шумными санными поездами, и обедами — отдельно для женщин, отдельно для мужчин, — и, наконец, сам он выскочил на мороз в распахнутой жилетке, в тюбетейке на голом черепе и стал палить из старинного револьвера, переполошив всю округу?

Я встретил их у магазина музыкальных товаров в сырой апрельский день. У входа, сбоку дверей, стояла Деля, съезжившись, сунув руки в меховую муфточку. Первым моим желанием было пройти незамеченным. Но Деля увидела меня, вынула руку из муфточки и помахала мне.

— А-а, — сказал я очень веселым тоном, — вы, конечно, покупаете рояль для своего отпрыска.

Она потеряла замерзший носик, и лицо у нее приняло насмешливое выражение.

— Мы покупаем ящики для цветов на балконе.

И тут между нами стал Билял.

— Привет, старина! — Будто мы только вчера расстались. — Гляди, буквально за копейки приобрел. — И он потряс ящиками в обеих руках, как если бы силач потрясал двухпудовыми гирями. — Как ты думаешь, какие цветы лучше всего выращивать на балконе?

— Магнолии.

— Магнолии? Ты шутишь, это же дерево.

Деля сдержанно хмыкнула. Стыдливым и вместе ироническим выражением лица она отчуждала, отстраняла от себя всю эту суетность, весь этот мелкий восторг благоустройства.

Я взял у Биляла один ящик, и мы отправились. Он всю дорогу болтал о цветах, об аквариуме, которым он тоже хотел обзавестись, еще о чем-то пустячном и забавном. Рассеянно слушая Биляла, я потихоньку ловил ноздрями живучий древесный аромат, исходящий от ящика, и испытывал покой смирения и великодушия. Он был счастлив и смешон — Деля снисходительна и насмешлива. Эгоистическое чувство незлобно торжествовало во мне.

Наконец мы пришли. Квартира (деньги на кооператив дал дедушка) показалась мне тесной и мрачноватой от темной полированной мебели.

— Я по уши в долгах! — хвастливо оповестил Билял и поставил ящики в углу комнаты.

— Очень мило, — пробормотал я, садясь в кресло.

Билял тут же уселся в другое напротив.

— Пока еще нет полного комфорта, — небрежно сказал он.

Деля прервала:

— Мне скоро идти. Ты в кафе поешь, или я сварю тебе кашу?

— Кашу, кашу, — ответил он. — Конечно, я поем кашу.

Деля ушла варить кашу. Она быстро справилась с этим делом и минут через десять стала в дверях уже одетая.

— Ну, я побежала. Мы так и не поговорили. Уж до следующего раза, ладно?

— До следующего раза,— сказал я тихо.

Она ушла. Биал потащил меня на кухню. Он достал тарелку и ложку, затем, хохотнув, поставил вторую тарелку.

— И не говори, что ты не любишь каши! Я терпеть не мог, а сейчас улетаю за милую душу. От геркулеса, знаешь, как толстеют.

Я молча стал есть невкусную, пресную кашу. Я боялся обидеть его вспыльчивым словом: слишком откровенен был он в своем довольстве, как-то очень явно, неприлично счастлив.

Во все последующие встречи он все так же раздражал меня, но и вызывал любопытство: а что же дальше? Мое любопытство было терпеливым и незлобным, я думал: не может быть, чтобы прежде не дало внезапного отрадного всплеска. Но покамест он собирал по магазинам тазы и кастрюли, вделявал хитроумные замки и глазок в наружную дверь, готовил обеды по рецептам, шпаклевал полы — он неукротимо творил быт, о котором прежде не имел ни малейшего понятия. Деля как-то самопроизвольно оказалась устраненной от всяких таких забот.

Иногда вдруг он бросал дела, долго молчал, уставившись на какой-нибудь предмет, а потом, странно улыбаясь, повертывался ко мне.

— Ты помнишь бабушкину притчу о девочке Нафисэ? Идет девочка чистым полем, а пичуга спрашивает: «А куда ты идешь, Нафисэ, а куда ты спешишь?» «А иду я к воде, где играет камыш». Помнишь?

— Помню.

— Иногда мне покажется вдруг... я ничей на этой огромной-огромной земле... не знаю, забыл. И вдруг я слышу голос бабушки, эту притчу и все вспоминаю. И притча как будто обо мне. Кто-то сулит мне страхи, но мне уже не страшно...

Временами он вдруг спохватывался и бросался по зрелищам. Собственно, он с этого и начал жизнь в Челябинске, то есть затаскал Делю по зрелищам, пока наконец она не отказалась со всею решительностью. Он продолжал сам колесить по городу, интересуясь буквально всем: балетом на льду, оперой, безголосой эстрадной певицей, хоккеем, игрой заводских футбольных команд. Он восторгался и стилизованной мазней в новомодном кафе, и старинным бревенчатым домиком с коньком на крыше.

Он старался походить — на кого, зачем? — и эти старания были для него просто мучительны. Тем более мучительны, что рядом жила Деля, каждое движение которой диктовалось единственным — ее сущностью. К любому гостю или к любой книге он относился так, будто это ему до смерти интересно, — не дай бог упрекнуть в недостатке любознательности. А Деля никогда не нагружалась ненужными книгами, она знала, что именно взять с полки. Она могла сдержанно отнестись к неинтересному для нее человеку, но не забывала о деликатности. Это не обижало людей, но и не давало им шансов на ее признание.

Напряжение между ними росло. Однако ни тогда, ни позже не происходило не только скандалов, но и мелких ссор. Во многом это объяснялось терпимостью Дели. Но он принимал ее терпимость за великодушие, поблажку, снисходительность, а вот уж чего не хотел он принимать ни от кого.

Но он стремился к общности: так, летом собрался с Делей в экс-

педицию по пещерам, но простудился и вернулся через три дня. Она, не закончив дела, поспешила за ним и была удивлена (и, может быть, возмущена), застав его не только здоровым, но и довольнехоньким. Он смеялся, дурил, кричал, что любит ее, любит родичей всех скопом и каждого в отдельности. Все объяснялось просто: его опять взяли в ветлечебницу и флигелек, сказали, он тоже может занять, как прежде.

Он тут же забросил все дела по благоустройству квартиры. И меня осенило: боже мой, да ведь он так рьяно обустроивал их жилище не потому, что он крот-накопитель, не из любви к имуществу и уютному существованию среди ящичков с цветами и аквариумом, нет! — на короткий благословенный срок он получал свободу распоряжаться в своем обиталище. Но сородичи из городка и тут не оставили его в покое.

Чашу терпения переполнила Алма, дочь дяди Гарифа, наша двоюродная сестра. Прежде она жила в поселке каменного карьера с родителями, а с переездом Биляля и Дели в Челябинск переехала к бабушке Ясави. Очень подвижная, велеречивая, она так и ввинчивалась в чужую жизнь, сокрушая Делю и Биляля энергией соучастия. В первый же день, как только они вселились, Алма завезла в их жилище комплект мебели; отчаянно спорила, какие занавески лучше повесить на окна, как оборудовать кухню, будто не Деля, а она собиралась тут жить. Она обрушивалась на них, подобно стихийному бедствию, внезапно и так же внезапно уезжала.

И он, бедный, отчаявшийся, видно, решил: нет, нет от них спасения, они везде его отыщут и будут совать нос в его жизнь, распоряжаться его отношениями в семье. И — вот он, спасительный флигелек. Но и там, видно, он вздрагивает от каждого звука за окном: не явится ли за ним отец, не ввалится ли Алма, не свяжут ли его и не поведут ли опять в квартиру, тесную от темной полированной мебели?

3

Отчиму было пятьдесят восемь лет, когда его свалил жестокий инфаркт. Он поехал на испытания бульдозера в пригородный совхоз, там машина капризничала, он нервничал, сам садился за управление, выскакивал исправлять неполадки. Тут его и схватило...

В один день можно всю свою прошлую, пусть всего лишь вчерашнюю, жизнь превратить в память о минувшем. Нечто подобное произошло и со мной. Я увидел: отчим стар и, может быть, дни его сочтены. Я увидел: и мама стара.

Я стал равнодушной и нежней к матери.

Совсем, кажется, недавно я мечтал, чтобы мы с нею оставались хоть на день, хоть на два одни. Это были хорошие дни: Булатов уезжал в командировку, а мы оставались вдвоем; нет, мы не отчуждали отчима, наоборот, случалось, целые вечера только и делали, что говорили о нем. Мы искренне скучали без него и, однако же, не торопили его приезд. А сейчас я просто терялся, оказываясь с нею один на один. Но, слава богу, квартира не пустовала в эти дни: заходили сослуживцы отчима, навещали знакомые мамы, с которыми она работала еще в детдоме, почти каждый день приходили мои братья. Надолго исчезнувший было Алуш являлся теперь с неукоснительной четкостью. Чесаный, бритый, в голубой нейлоновой рубашке, при галстукке, он оставлял у порога черные лакированные штиблеты и на цыпочках проходил в комнату. Он сидел на диване, пошлепывал тапками по полу и спрашивал подозрительно:

— А что, к дяде Зинату еще нельзя?

— Нельзя, милый,— отвечала мама.

— Ну так расскажите,— требовал он обиженно.

Он смешил маму, и все, что она рассказывала о Булатове, звучало забавно и весело. Апуш слушал, уткнувшись взглядом в свои обтянутые шевиотом колени, сопел и в конце концов, кажется, задремывал. Но стоило маме замолчать, он тут же подымал глаза и требовал:

— Ну? Что дальше?

Выслушав до конца, он молча поднимался и шел в переднюю, долго надевал свои лакированные штиблеты, потом говорил нам: «Ну, желаю скорого выздоровления», как будто мы с мамой болели и нас он проведывал.

Его визиты делались, что называется, от души. Но во всем этом было что-то тяжеловесное, почти что гнетущее — или собственные заботы не умел он оставлять за порогом, или хождения к нам принимал как нелегкую, скучную обузу.

Приходил Билял и сидел молчком. Как-то он сказал:

— Когда видишь, что семейные связи рушатся, лучше не пытаться строить их заново. Потому что уже ничего нового не придумаешь, а придется идти путем повторения. Да и повторение, как правило, не удается.

— Что ты хочешь этим сказать? И почему ты засеа опять в своем флигеле? Ты что-то задумал?

— Задумал? — Он помолчал, как мне показалось, загадочно.— Задумал, за-ду-мал... Я завидую Булатову,— вдруг сказал он.— Я завидую его жизни, а если бы он сейчас умер, завидовал бы его смерти. Таким я никогда не стану. Ты хоть раз говорил себе: все, начинаю новую жизнь, все бывшее побоку, все начинаю заново? Ты хоть раз говорил?

— Пожалуй, нет.

— И тебе завидую. А вот я говорил не раз. И дело не в том, что у меня ни черта не получилось. А дело в том, что это вообще не может получиться.

Не скрою, его речь казалась мне выстрадавшей, умной речью, может быть, потому, что она была печальной. Но она вызывала во мне какое-то нехорошее ликование вперемежку со страхом, как будто печальные нотки в его голосе предвещали и мне что-то печальное.

— Поедем ко мне,— внезапно сказал он.

Я сделал вид, что обдумываю его предложение, хотя в душе воспрогивился сразу же.

— Нет,— сказал я наконец.

— Ну да, ну да,— точно что-то понял он.— Я только хотел показать тебе собаку. (Он забыл: в марте, еще до болезни отчима, я был у него во флигеле и видел огромного рыжего дога, которого ему оставила чета, уезжая на Север. У дога были тоскливые волчьи глаза.) Я не умею сходиться с людьми,— сказал Билял.— Вот и с тобой мы не сошлись.

Меня это поразило, я никогда не задумывался над этим, а ведь правда: наши отношения были не более как шапочное знакомство, если можно такое применить к отношениям между братьями.

Вот помню, мне было лет пять, подвыпивший отчим, страдая и ерничая, бормотал: «А мы соберемся и уйдем, да, уйдем. Ведь ты со мной пойдешь, а, малыш?» «Я с тобой пойду»,— отвечал я. «Конечно, ты пойдешь. И не вернемся, а? Вот помогу тебе одеться потеплей, а?» Он одевал меня, а мама стояла в дверях, нет, сбоку дверей, точно открывая нам с ним дорогу. Я едва удерживал восторг, пока отчим довольно ловко надевал на меня пальто, шапку, завязывал шарф. Нако-

нец оделся сам, и мы вышли в коридор и в тусклом студеном свете запыленной коридорной лампочки стали спускаться с лестницы.

Только вышли, набежал трескучий мороз, забелела откровенно луна, вызывая в душе веселое бесстрашие. Скрипя по снегу, мы пересекли двор, и на скамейке у чужого подъезда отчим сел и привлек меня к себе, вобрал в тепло распахнутого пальто. «Почему мы не уходим?» — спросил я. «А вот и пойдём. Вот и пошли по морозу, по кощевым кочкам, под луной, и волки заиграли в тростниковые флейты. А тут выходит из кустов Кощей Бессмертный, у-умный такой дядька, все понимает. Куда, говорит, идёте? Направо пойдёте — коня потеряете, налево — совесть потеряете, а прямо — так больно уж далеко. Ну ладно, говорим мы, вернёмся». И мы встали, пересекли двор в обратном направлении и стали подниматься на наше крыльцо. Отчим остановился. «Экая луница! Не приведи бог в этакой луне утонуть!..» Кажется, он был опять пьян.

Сейчас, вспоминая тот вроде бы непримечательный случай, я связывал его с Билялом — и жалко мне было брата. К нему с самого начала относились только всерьёз, в детстве от него будто хотели скрыть, что он ребенок, а со взрослым обращались как с малым. Он, по-моему, не знал анархии детства, не знал игр, а в играх — намеков на тревожную серьёзность жизни.

По дороге в больницу я неожиданно встретил Апуша и в первое мгновение обрадовался. Но уже через минуту тяготился им и гадал, когда же он отвяжется. Я решил надоумить его насчет сынишки, а там распрощаться с ним.

— Наби может учиться получше, — сказал я, — но ждать от него круглых пятерок не следует. Он недослышит, у него слабое зрение. Попроси, чтобы его пересадили на первую парту. А если ремнем хлестать и приговаривать, что, дескать, отец у него передовик, он только застыдится и замкнется...

Он вроде слушал с вниманием.

— Ишь, ишь, скребется, — вдруг услышал я. — Она меня сквозь свитер по голому скребет.

Я удивленно глянул на Апуша и только тут заметил, что за пазухой у него что-то шевелится.

— Кошка?

— А ты думал! — Он засмеялся.

— Подобрал на улице?

— Подобрал! Когда-то я за нее отдал десятку. Считаю, задаром получил. — Он сунул руку под плащ, дразняще пошевелил, и на свет божий высунулась красивая хищная кошачья головка. — Ну-ну, уж завтра пойдём к Веселовскому.

— Кто такой Веселовский?

— Кандидат. Мы договорились, что я принесу Франку к его коту. Ждали битый час у двери — дома никого. Ишь, ишь, как скребет, ката ей не дали!

Я сказал:

— Лучше бы ты ее выпускал на улицу и пусть бы она гуляла с каким ей нравится котом.

Он вздохнул:

— Нельзя ее выпускать к разным ублюдкам. Порода!

К моему удовольствию, Апуша в палату не пустили. Он огорчился.

— Передавай привет, — сказал он. — Да скажи, дескать, с кошкой не положено.

Я взял у гардеробщицы халат, переобулся в тапки и с замираю-

щим сердцем стал подниматься по лестнице. Я взошел на третий этаж, свернул в коридор налево, шаги мои точно зарывались в толстую ковровую дорожку. Сестра показала мне палату. Дверь туда была открыта настежь. Я увидел две огромные железные кровати с приспособлениями — подымать, опускать больного, — одна пустовала, на другой, распростершись во всю ее длину, лежал отчим. На его осунувшемся, помолодевшем лице меня поразила печать смирения и безнадежного покоя.

Я молча подошел к кровати. Глаза отчима сощурились, он выпростал из-под одеяла руку и протянул мне. Я взял его руку, сжал и даже встряхнул, чему он удовлетворенно усмехнулся.

— Какая погода? — спросил он деловито, как будто сейчас же собирался на улицу. Лицо его оживилось, покой и смирение оставили его.

— Ветрено, — сказал я.

Он кивнул. Я сказал:

— А мы ведь с Апушем пришли. Но только у него за пазухой кошка, так что его не пустили.

— И правильно сделали, — сказал он. — Ну его к черту, верно? Он за жисть потолковать любит, а я не люблю. Он, по-моему, ждет от таких разговоров какой-нибудь премудрости для личного пользования. А я не знаю никаких премудростей.

Мы замолчали. В палате было так светло, что было как бы чего-то стыдно, стерильная, недомашняя светлота царила здесь.

— А что, кошка у него сиамская? — спросил он. — Ох и злощие кошки!

— Не знаю какая. Но очень красивая. Ты слушаешь меня?

— Да, да. Но мне ничего не хочется... нет, ничего.

То, что я принял в первую минуту за смирение на его лице, было апатией. Его кажущийся интерес к Апушевой кошке был всего лишь не вполне осознаваемой хитростью не говорить ни о чем сложном. Опять мы продолжительно молчали. Потом он проговорил:

— Пожалуй, не стоит заставлять его так долго ждать.

Я кивнул и, помедлив еще с минуту, встал.

— Я приду завтра.

— Завтра, — повторил он ровным голосом, пошевелил рукой под одеялом, но не выпростал ее. Он только поднял глаза, едва прищурил, потом спокойно отвел от меня.

На лестнице меня обогнала гардеробщица. Она несла кошку, крепко прижав ее к рыхлому боку. Мы одновременно вышли в вестибюль, и она сунула кошку прямо в руки опешившему Апушу. Кошка взвизгнула.

— Держи крепче и не думай, что я еще раз побегу за ней. И отчаливай, отчаливай, а то у нас польта воруют!

— Так, так, — бормотал Апуш. Пот тек по его лицу, он прерывисто дышал и все ближе придвигался к гардеробщице. — Вы... где ее поймали? Мне только знать, не было ли там какого-нибудь кота...

Гардеробщица возмутилась:

— Откуда в терапии коты возьмутся?

Мы вошли на высокое крыльцо. Было ветрено, клочья серых туч неслись в небе. В больничном саду растеребило ветром листья деревьев. Запах зелени носился вперемежку с запахом лекарств.

Мы сели на скамейку, закурили. Ветер задувал за отвороты плаща, неприятно холодил, но я даже не пошевелился. На меня нашло чувство сиротства, чувство потери. И — равнодушие ко всему, что не относилось к отчиму, к его смерти, в которой я почему-то не сомневался теперь.

— Он что-то задумал,— услышал я голос Апуша.— Он что-то задумал, и за ним неплохо бы последить.

— О ком ты говоришь?

— О Биляле,— сказал он тихо, и я уловил какую-то робость в его голосе.— Он говорит: жизнь не удалась. Такие, как он, не умеют врать.

— А он и не врет,— сказал я.

— Вот и я о том же. Он ведь встречался с Алмой, и она ему обещала... ну, что приглядит за его сынишкой, пока у него все решится...

— Что — решится?

— Не знаю. Только я думаю, он наострился куда-то бежать. Может быть, опять в Пермь.

— Ерунда,— сказал я неуверенно.

Зачем он встречался с Алмой? И что все это значит? Пока только одно: терпя крушение, он не нашел ничего лучшего, как обратить свои взоры на городок — так, по крайней мере, надежней. Он отчаялся управлять своей жизнью и отдавался во власть привычного.

В конце мая отчима выписали из больницы. Врачи удивлялись его стойкости, но не надеялись, что он выживет, и не скрывали этого от меня и мамы. Они, пожалуй, считали, что дают ему возможность умереть дома.

Он лежал на широкой приземистой тахте с видом какой-то монотонности, унылой терпимости; отсутствие капризов, сентиментальности, резких скачков в настроении только подчеркивало его состояние. Ежедневно к нему приходила беленькая хрупкая девушка-врач, измеряла давление, прослушивала сердце. Вечером являлась сестра и делала уколы. Сестру Булатов встречал спокойно, но появление врача его раздражало. Однажды он сказал сидевшему возле него Билялу:

— Вот она ходит и каждый раз не надеется застать меня в живых.

Неприятное отношение к врачу проявилось у Булатова явно и, надо сказать, бестактно. Однажды он встретил ее словами:

— Что толку в том, что вы ходите каждый день?

Девушка так смутилась, что не нашлась, что ответить. Но, оправившись от растерянности, сказала:

— А вы... а вы за все это время даже не спросили, как меня зовут.

Отчим усмехнулся:

— Так как же вас зовут?

— Аня.

Он вдруг стал выпрастывать руки из-под одеяла, затем взялся за спинку кровати и стал подтягивать тело. Аня бросилась к нему, но он уже сидел, держась вскинутыми руками за спинку кровати. Лицо его покрылось потом.

— Зачем вы встаете? — Она смотрела на него с жалостью и отчаянием.

— А вот... возьму ваши причиндалы... и выброшу, выброшу...

— Хорошо, я ухожу,— сказала она.

Отчим между тем медленно вытаскивал ноги из-под одеяла и наконец спустил их на пол. Я протянул ему руки, он кивнул, одобряя мою догадливость, схватился за мои руки и встал. Тело его мелко дрожало. Я повернул голову — не хотелось, чтобы эту сцену видел Билял, но его уже не было в комнате.

— Кажется, я очень разозлил ее.— Сказав это, отчим опустился на кровать и лег, смежил веки.

Я тихонько вышел из комнаты. Минут через пять явился Билял.

— Я вышел подышать воздухом,— сказал он.— И немного поговорил с Аней. Она считает, что это обычный каприз больного.

— Ему просто надоело лежать,— сказал я.— Что еще она говорила?

— Нет, нет, больше она ничего не говорила.

Назавтра докторша не пришла. Было уже двенадцать часов, обычно она являлась в одиннадцатом. Когда я зашел к отчиму, он разглядывал циферблат часов. Мы перемолвились несколькими ничего не значащими словами, и он опять взглянул на часы.

— Я теперь понял, в чем дело,— сказал он,— мне ужасно не хочется двигаться. Я должен это преодолеть. Ничего у меня не болит, мне только не хочется двигаться.— Он помолчал, как бы давая мне возможность оценить его слова. Затем продолжал: — Я буду каждый день вставать и делать гимнастику. Болезнь прошла, но оставила многопудовую лень.— Он с негодованием повторил: — Лень! И ничего больше. Открой, пожалуйста, форточку.

Докторша не приходила три дня, и все три дня он поднимался и перед открытой форточкой делал зарядку. Все это занимало не больше трех-четырех минут, потом он шел к кровати и засыпал, едва коснувшись подушки. Но теперь победное выражение не сходило с его лица. Он отказался от пижамы, облачился в тренировочное трико и, не особенно скромничая, заявил, что выглядит в нем гораздо стройней.

Билял загадочно шептал мне на ухо:

— Она обязательно придет, вот увидишь! Мы с ней затеяли одно дело...

Действительно, на четвертый день как ни в чем не бывало явилась Аня.

— Вы все поживаете?

— Полеживаю,— насмешливо ответил отчим.— Но я могу и подняться.— Последние слова он произнес с откровенной гордостью, однако не пошевелился.

— Вот и подымайтесь. И, пожалуйста, не думайте, что у меня стальные нервы. Ну? Внизу стоит такси. Я свезу вас в физкультурно-лечебный диспансер.

— Дай мне пальто,— сказал он матери.

Мы прошествовали с ним до двери, мама затворила за нами дверь, а докторша, опережая нас, побежала вниз. У подъезда действительно стояло такси, но каково же было мое удивление, когда я увидел сидевшего в нем Биляла.

— Погода хорошая, дядя Зинат,— заговорил он, открывая дверцу.— А в парке чудесно! — Он явно смущался, но отчим не обратил особого внимания на его присутствие.

«Пожалуй, они обойдутся без меня»,— подумал я.

Он становился бодрей с каждым днем. Его лицо уже принимало выражение озабоченности, раздумий, каких-то одному ему известных сожалений. Он всерьез схватился со своей, как он называл, ленью и побеждал ее. Он оглядывал себя как механизм, до скрытых тайн которого он вознамерился дойти. Он гордился, что познает свой организм до тонкостей и при желании может им управлять. Иногда он начинал чихать и покашливать и говорил:

— Могу ручаться, что сейчас во мне меньше моих семидесяти килограммов. Это как закон: стоит похудеть, как я тут же простужаюсь.

Раз в неделю отчим навещался к врачу, я сопровождал его. Первые дни он молчал, словно тяготясь опекой, но однажды в трамвае жжал мою руку и заговорил, радуясь:

— Милый мой, сто лет мы с тобой не разговаривали! Я победил катерпиллер... немного даже грустно, я знаю эту машину лет тридцать и, не скрою, люблю ее. Но больше мы в ней не нуждаемся... Давай выйдем.

Мы вышли в Никольском поселке и пошли тихой улочкой мимо густых палисадников.

— Знаешь, какую машину мы испытывали?

— Бульдозер.

— Бульдозер и рыхлитель вместе. И название-то пока скучное — агрегат ДЗ. Испытание, скажу тебе, было жесткое, не землю, а гранитную гору рыли. Мы все окрестные леса обшарили, пока эту горушку отыскали. Агрегату любой грунт нипочем, будь то скала или вечная мерзлота. Там, где появится ДЗ, поубавится буровзрывных работ.

— Ты победил катерпиллер!..— Мне радостно от его удачи и от мысли, что, может быть, со мною первым он делится так открыто, так непосредственно.

У подъезда стоял Билял, явно поджидая нас. Отчим пожал ему руку, и тут же на его лицо наплыло сосредоточенно-скучающее выражение. Он положительно не знал, о чем говорить с моим братом.

— Пожалуй, я вас оставляю,— сказал он с непреклонными интонациями в голосе.

Мы закурили и присели на скамейку.

— Видишь ли,— заговорил Билял тотчас же,— мужчины по своей сути полигамны, в этом их несчастье, верность для них штука приобретенная. Конечно, развитый интеллект удерживает мужчину от разнузданности. Но мозг устает, засыпает, и в ход идут инстинкты...

— Надеюсь, этакую чушь не докторша наплела?

— Как ты мог так подумать! — почти с обидой сказал он.— Аня существо чистое, искреннее, божьей милостью женщина. Она глубоко несчастна. Вот знаешь, разочарование иной раз оставляет в человеческой душе...

— Незалечиваемые раны.

— Да, да! — подхватил он истово.— И чем чище человек, тем он беззащитней. Ты не спорь!

— А это бесспорно,— сказал я.

Он сник, надулся, наконец со вздохом произнес:

— Когда-то мы с тобой говорили подолгу и всерьез.

Это была правда. Я мог бы ему сказать: «Тебя не научили заботиться о себе самом. Но и о других ты не умеешь заботиться. В тебе хватает чувствительности понять, что ты необходим кому-то, но помочь делом — этого от тебя не жди».

Для него сейчас едва ли не самоцелью становилось самому распоряжаться собой, а всякая цель, становясь самоцелью, развивает в человеке эгоцентризм. Иначе чем же объяснить его полнейшее забвение Дели, нет, не образа, когда-то даже и любимого, а просто ее теперешних забот, огорчений, может быть состояния беды.

4

Перед нами электрический самовар, большие фарфоровые чашки и блюдца, колотый сахар, синеющий в широкой любезной сахарнице. Семейное чаепитие просто и прекрасно, точно впервые открывается мне.

Напившись чаю, отчим отваливается от стола:

— Я что-то приустал. И очень хочу спать.— В простых его словах слышится веселое лукавство, присущее только здоровым людям, удовлетворяющим здоровые естественные желания.

Мама убирает со стола, а потом мы уходим в мою комнату и садимся рядышком на диван. Комната освещена лишь уличными фонарями. И мама плачет. Осознание угрозы, тем более внезапной, приходит потом, когда она минует. Это плач как бы вослед страху, как скорбное торжество над ним. Слезы текут обильно, без напряжения и, наверное, без боли в глазах, текут, не искажая ее лица, а только просветляя.

Впервые мама не таилась от меня. И тот вечер, когда она облегченно плакала, и последующие вечера были наполнены разговорами о минувшем, о каждом из нас в отдельности и вместе.

В глупом счастливом неведении я считал, что без меня им теперь не обойтись на новой ступени их жизни. Но мама вскоре же прекратила наши вечерние беседы. Излившись мне, она тут же стала тяготиться моим присутствием. Но удаляя от себя, она несомненно хотела бы поручить меня кому-то надежному.

— Ты так мало походишь на людей нашего рода. И ты, по-моему, совсем забыл городок — свою родину. Когда-нибудь...— она глубоко передохнула,— когда-нибудь и ты будешь сожалеть, что не сможешь вернуться в городок. А к старости ты согласишься, что нет людей вернее, чем твои родичи, и нет места лучшего, чем городок. Ты будешь плакать о потерянной земле городка.

— Может быть, мама, может быть.

— Земля городов слишком большая, а тебе захочется родного клочка, к старости тебе ни к чему будут просторы городов.

И тут я вдруг сказал:

— Мама, а ты помнишь, я учился на первом курсе и Деля тоже, и тетя Хава ходила к нам в гости — помнишь? Мама, а ведь я тогда любил Делю...

— Ты любил Делю? — искренне удивилась она.— Ничего похожего я не замечала. Впрочем, если бы то была любовь...— Она задумалась.— Ты, кажется, был довольно взбалмошным мальчишкой, не так ли?

— Может быть, и так.

Теперь я уже сожалел, что признался матери в том, что давным-давно прошло. Прошло?

Однажды Салтыков позвал меня в детский плавательный бассейн.

— Не удивляйся,— сказал он.— Габриэлян водит туда сына. Сын плавает, а он наблюдает за ним с антресолей, вокруг него братва... вообще там, где появляется Габриэлян, возникает уют, воздух электризуется — словом, то Габриэлян.

И вот мы идем между рядами теплых пахучих сосен, зрение мое как бы оживает, обостряется среди зелени, в груди мягко и легко. Мы входим в бассейн и поднимаемся на антресоли. Я уже издали вижу Делю. Внизу яркость и звучность воды, дробящийся детский смех. Наши шаги по кафелю звучат слишком громко.

Деля оглянулась, ее глаза мягко и утешительно глянули на меня. В эту минуту я почувствовал себя так, будто все по-прежнему, все только начинается, почувствуется в нежной незащищенности, еще и в помине нет той нашей встречи, когда я сам же и послал ее утешать бедного Биляла.

Мы не заметили, как Алеша оставил нас.

...Она рассказывала о прошлом своем житье, о чем не только я, но и те, кто жил вблизи, не имели ни малейшего понятия.

Святое волнение юной учительницы, переступившей порог де-

довской деревянной школы, первое осознание всего, что делали другие до тебя, и чувство причастности к их делам, и сомнения, и страх перед суетой сует.

Я не произнес ни слова, пока она говорила, и тут она сказала:

— А ты не спрашиваешь, почему я вышла замуж за Биляла?

— Нет,— сказал я,— потому что ты не сумеешь ответить.

— Самое обидное в том, что мне не в чем его упрекнуть. Точнее, может быть, я не знаю, в чем его можно упрекнуть.

«Это печально,— подумал я,— для него печально. А впрочем, ему теперь все равно».

Мы прошли узким коридором, в котором плавала сумеречная банная сырость, спустились на первый этаж и вышли на широкое каменное крыльцо.

— Я знаю очень тихую улицу,— сказал я,— называется она Лунная.

Гремящий город затихал в тебе, стоило очутиться в Никольском поселке, затихал, терялся в глухих уголках памяти. Но автономия поселка была обманчива, иллюзорна; близко стоял завод, никольские ходили туда пешком, близко проходили городские магистрали и рукой подать было до вокзала.

Здесь любил хаживать Булатов. Здесь когда-то он жил с отцом и матерью. Улица, рассказывал он, называлась Кладбищенская, потом ее переименовали в улицу Профинтерна. Ни в одном другом уголке города я не встречал таких интересных названий, причем само по себе отдельное название не представляло ничего особенного, но вместе — улица Спартака, Испанская (в тридцатые годы здесь жили испанцы), Грейдерная, рабочего директора Малашкевича, Плужная и Лунная, Бульдозерная и Минометная — вот вешки многотрудной истории, нелегкого житья-бытья, великого обновления...

Немощными улочками, густыми палисадниками, утиным выводком, плывущим в пыли переулочка, поселок напоминал мне городок.

Мы шли довольно хаотическим маршрутом, то пускаясь вслед пылящему автогрейдеру, только что выпущенному из заводских ворот, то заворачивая к домику с особенно пышным палисадником посидеть в тени на широкой скамейке, то вскакивали и шли дальше — ведь должны же были мы найти улицу Лунную. И когда мы ее действительно нашли, то удивились точности ее наименования; нетрудно было вообразить, какой восхитительный лунный поток течет по ночам в этом широком, просторном русле.

Поселок напоминал нам о том, что жизнь штука давняя и долговечная и, пожалуй, знала заботы похлестче наших.

— ...Однажды я поймала себя на странном, почти фантастическом чувстве,— говорила Деля,— будто не только мои мечтания и помыслы, но и сам предмет география не имеют никаких связей с тем клочком земли, на котором я живу. Но дело не только в моей фантазии: для моих тамошних учеников география была все то, что не их город, не их земля, в конце концов не они сами. Они с интересом могли сами слушать о пустынях и вечных льдах, горах и прериях, но городок с его растительностью, тварями, жителями не поддавался, точнее, как бы не нуждался в познании, он был слишком веществен, чтобы считаться с его реальностью. Но это было еще не самое удивительное в моем открытии. Билял вдруг напомнил мне моих учеников! Ведь все, чем он был так счастлив, не имело никакой вещественной связи с настоящим, сущим, так что и обижаться-то не стоило... Я любила дедовскую школу. А мама до сих пор ходит туда посидеть в классах, походить по двору и вернуться домой с огромным, прямо-таки кипящим букетом сирени. Школа многое говорит ее сердцу. Но

меня в последнее время все больше пугал какой-то вчерашний уют, ветхость, воспоминания. витающие над этим старым бревенчатым зданием. Я чувствовала, что и сама, как мама, ухожу куда-то назад, в прошлое, почти не оставляя места настоящему. Впрочем, может быть, школа тут была и ни при чем. Знаешь, мечтательность, чувствительность таких, как Билял, заразительна. Она чиста, возвышенна, она — тебе, может быть, смешно, но она как религия. А правда, что Билял в детстве был богобоязненным и примерным мальчиком?

Попрощавшись с Делей, я вышел из подъезда. Мимо тихонько прошуршало такси. Но я пропустил машину, закурил и медленно двинулся со двора. Потом я перешел улочку и вошел в другой двор — здесь, пожалуй, на километр простирались дворы, прежде чем я вышел бы на проспект. За столиками, где по вечерам и воскресеньям стучат домино, на краешках песочных ящиков, где режутся дети, сейчас располагалась ребятня от пятнадцати до восемнадцати, их рой жужжал басовитыми голосками, девчоночьими сопрано, огоньки сигарет сыпали искрами, заявляя о пустом щегольстве юнцов. От них веяло необъяснимой враждебностью, но, может быть, враждебность исходила от меня и ко мне же откатывалась, как эхо от глухой стены. «А у меня мог бы быть братишка, подобный этим паренькам», — подумал я, и болезненное сожаление затронуло мою душу и враждебность исчезла.

Дворы кончились, я вышел прямо к трамвайной остановке. Мне не надо было ехать, но я подошел к толпе, ожидающей трамвая. Это были рабочие, иные возвращались с работы и делали теперь пересадку, иные ехали в ночную смену. Они молчали, а если разговаривали, то так тихо, как могут разговаривать в эту позднюю пору трезвые, не праздные люди, оставившие возбуждение там, на заводе, или утихомирившие сном перед долгим ночным бдением. Подошел трамвай, битком набитый, но ожидающие втиснулись в него все до единого без суеты, но поспешно. Я остался один, огляделся с тревожным чувством, а затем перебежал улицу и свернул в проулок...

Был одиннадцатый час, когда я пришел домой. Мама уже спала. Отчим, кажется, бодрствовал: в щели из-под его двери прорезывался свет. Я потоптался возле порога с какою-то ребячливой настырностью, пока не услышал:

— Входи, входи.

Я вошел и произнес шепотом «добрый вечер» — так тихо, точно боялся его разбудить. Это уже было слишком: он и без того понял, как я учтив.

Он откинулся от стола, отвернул от себя абажур настольной лампы. В руке он вертел авторучку и как будто старался обратить на нее мое внимание.

— Что ты пишешь? — спросил я, садясь в кресло.

— Статью, — гордо сказал он. — В нашу многотиражку.

— Почему не нам?

— Многотиражку читают в министерстве, а вашу вряд ли. «Транспортировка в наш век должна стать неотъемлемой частью технологического процесса, в наш век транспорт перестает быть вспомогательным элементом производства, он существенно влияет на всю структуру производства. Это качественно новый фактор». — Прочитав, он вдруг смутился. — Слог у меня никудышный. Впрочем, поймут. — Он отложил рукопись, отпил из стакана остывший чай. — Вот сколько помню себя на заводе, страдал от замусоренности цехов и заводского двора, от беспорядков на складах. Будто сажусь работать, а на моем столе пыль и колбасная кожа. И всегда хотелось взяться

самому, но то война, то работы по горло, да и не мое вроде бы дело. Ну а теперь грех не взяться. Улучшаем технологию, бьемся над себестоимостью, а транспортировка как во времена царя Гороха. Склады вроде старых лабазов, в которых купчики укладывали рядом ящики, мешки, тюки с мануфактурой. Вот я составил карты рабочих мест, вот список рабочих, занятых погрузкой и разгрузкой, вот справка об автотранспортных расходах за прошлый год. Затраты — не дай бог! Заводу нужен автоматически управляемый склад, но такой склад требует качественно новой тары... Скучно? — поинтересовался он мягко. — Склады, тара... Ладно, не буду. А с этой тарой ох и намучился я в войну! Военпреды досаждали. Глянет на ящик, увидит сучок, р-раз молотком — и вышибет. Я говорю: это же не сухостойный, а здоровый сучок, какого черта вышибаете? Плуги мои ржавели, чертежи растаскивались фезеушниками, а я строил тарный цех, ездил в леспромхозы выколачивать доски. Однажды вымотался жутко, от голода еле на ногах держусь. Зашел в ресторан в Свердловске. Взял порцию манной каши, чаю. Съел в один момент и только тут почувствовал, как есть хочу. А мысли самые мрачные. Вот, думаю, занимаюсь то ящиками для снарядов, то рабочей столовой, конструкция плугов побоку, на фронт путь заказан. С отчаяния, наверно, осмелился спросить еще порцию каши. Официантка принесла. Съел — она еще несет. А я настолько смутился, что не сумел с достоинством отказать. А когда съел и третью порцию, повеселел, думаю: а не будь моих досок, не из чего было бы ящики делать и снаряды отправлять.

Воспоминания оживили его.

Мое замкнутое детство, моя ребячливая юность сменились зрелостью, и наконец-то мне выпала радость общения с отчимом, радость взаимопонимания. Сейчас я был гораздо чувствительнее, зорче, да и отзывчивей, чем в детстве.

Мои ровесники давно уже оставили своих седовласых родителей и лишь изредка награждали их наездами в гости, телефонными звонками, подарками, раз и навсегда лишив их права попенять, пожурить, посоветовать. Их тяготило родительское внимание — я же был рад ему.

Мы долго сидели молча, и наше молчание уходило в необъятное молчание ночи. Настольная лампа, казалось, устало взмигивала, перед тем как погаснуть. Да нет же, устает керосиновая лампа, когда ты сидишь где-нибудь в дедовском домике и читаешь до полночи, и язычок пламени краснеет и вздрагивает.

— Постарайся не волновать маму, — тихо, даже с робостью проговорил отчим. — Тебя слишком долго не было, и она очень беспокоилась.

Возраст и состояние здоровья склоняли моих родителей к бережению каждого дня, каждого часа. В иные минуты мне было даже неприятно замечать, сколько внимания отдается каждому мигу, как он смакуется, как он вздорюжал, каждый миг их теперешней жизни...

Ни одна компания не распадется так легко, да и безболезненно тоже, как компания свободных людей. В то лето мы сбились в компанию, чтобы, наверное, пропеть отходную нашей молодости. Начало компании положили мы с Саалтыковым, затем к нам присоединился кое-кто из наших коллег, Нурчик со своей девушкой и приятелями, а с появлением Габризяна мы уже составляли некий центр притяжения. Примкнул было и Биаял, но только для того, чтобы увести от нас докторшу Аню. В один прекрасный день она вывернулась

из-за угла, нимало не смутившись, сказала: «А, вот вы где!» — хотя знала только меня, и, представьте, пошла гулять-бродить с нами.

О, я знал, как недолговечны компании наподобие нашей! Люди, сплоченные в таких компаниях, самые бескорыстные, самые отзывчивые и чуткие друг к другу, не озлоблены суетой, не заражены интриганством — все этакое происходит где-то там, за пределами товарищества.

Несмотря на открытую взаимную приязнь, громогласное дружелюбие и доверие друг к другу, мы, однако, вели себя скрытно. Могли говорить о чем угодно, но никому бы и в голову не пришло поделиться домашними заботами, например болезнью родителей, смертью ближнего, несчастьями по службе. Как будто ни у кого не существовало ни душевных связей, ни потерь, ничего. Зная о многом, мы почти что ничего существенного не знали друг о друге...

И докторша Аня как будто первая ощутила холодноватость и чопорность нашего недолговечного союза. И каким же, надо думать, человечным казался ей чувствительный, готовый в любую минуту на исповедь и открытый для чьих бы то ни было излиятий Билял.

Вдруг исчез Салтыков. Мы знали только, что Наталья от него ушла. На мои звонки отвечал он уклончиво, ссылаясь на занятость, но голос его звучал весело и свежо. «Скоро, — вскричал он однажды в телефонную трубку, — скоро все узнаешь! Я счастлив, старик!» А через день или два мы увидели его с женщиной. Даже я не сразу признал в ней Зейду, кареглазую Харунову дочку, сбежавшую когда-то из родительского дома с молоденьким офицером. С ним она развелась вскоре же, но в Челябинск вернулась только теперь, спустя десять лет.

В те далекие безмятежные дни на зеленом дворе ветлечебницы никому не приходило в голову, умна Зейда или глупа, трудолюбива или ленивица, как перед картиной живописца не задаешь себе подобных вопросов. Слишком прелестна была она телесной красотой и слишком еще юна.

Сейчас она была в зрелой поре, и, если бы ее глаза сохранили прежний озорной блеск, она выглядела бы, наверно, вульгарной. Но, к счастью, она была кроткой, как ее прабабки, кротость смиряла яркие краски зрелости до мягких, нежных, почти стыдливых тонов. Она большей частью помалкивала, и эта молчаливость, можно было думать, свидетельствовала только о достоинстве.

Но самое-то прекрасное в том, что ее любил Салтыков!

А встретились они на благословенных озерах. Невдалеке от того места, где неутомимый Харун расселял своих ондатр, строители возводили базу отдыха, и Салтыков поехал поглядеть.

— На закате, — рассказывал он позже, — поехал прокатиться на лодке. И увидел ее... лодка выплывает из-за островка, и в лодке женщина, волосы по плечам, руки нагие, держат весла. Нет, весла лежали на воде, а она удила рыбу...

Рассказ Алеши вдруг напомнил мне Биляла с его любовью к Кате Свидерской, с его неудержимым, чистым, простодушным ликованием. Когда-то я смеялся, не понимая Биляла. А теперь смеялся, радуясь и понимая Салтыкова.

...Так вот вместе поудили они рыбу, затем поплыли к становищу ее отца, варили над костерком уху. Узнав Харуна, Салтыков вспомнил и его красавицу дочку, нашу веселую дружную компанию, и воспоминания довершили дело: он влюбился...

Вечерами по одному, по двое выходили мы на центральный про-

спект, уже остывавший от шума и жара; людские толпы редели, троллейбусы шли полупустые, и во дворах звенели детские голоса. Выйдя из переулка, еще издали видел я Салтыкова и Зейду. Алеша улыбался, вскидывая над головой руку, Зейда тоже замечала меня, но ее лицо оставалось спокойным. Она протягивала мне расслабленную, как бы сонную руку и начинала водить глазами по сторонам: искала свою собачку. Милая ушастая собачка была у Зейды, какой-то охотничьей породы — я плохо в этом разбираюсь. В первое время Зейда брала ее на веревочку, но собачка скулила и дергалась, и Зейда огорченно отпускала ее. Почти задевая ушами асфальт, собачка бежала вдоль пышных газонов, но особенно любила лужи: мальчишки бросали в лужу палку, она с трогательным рвением бросалась за ней и радостно, гордо несла свою добычу хозяйке.

— Пошла... н-ну, брысь!.. — Лицо Зейды едва морщилось, но уже в следующее мгновение эта всего лишь тень неудовольствия отлетала прочь, лицо принимало обычное свое непоколебимое выражение спокойствия и превосходства.

Ее молчаливость как будто нравилась Салтыкову: молчит — значит, слушает его, податливо впитывает, понимает. О чем он говорил? И кому? Себе, Зейде, юным нашим спутникам, обожающим Салтыкова? Он говорил о городе с миллионом жителей, с десятками тысяч машин, спящих по старым извилистым улочкам, проложенным когда-то неспешными пешеходами, телегами, омнибусами и забредавшими сюда караванами верблюдов. Какими же неспешными представлялись два или три грядущих столетия тогдашнему архитектору! Пожалуй, ему и не снились прямые линии, которые только и могут дать городу простор и скорость.

А будущий творец мегаполиса поспежит уничтожить старинные дома с кирпичной кладкой и штукатуркой, отдав предпочтение многоэтажным громадам, отделанным глазурованной керамической плиткой, гофрированными стальными листами.

— Прямыми линиями, чего доброго, он пронзит лесной массив на окраине, а я бы, — мечтал Салтыков, — поставил там деревянные мельницы, смолокурни, домики из лиственницы, и все это хоть немного смягчило бы резкие различия между городом и природой, приблизило бы существование человека к желаемой гармонии...

Но, может быть, речь свою он обращал к ней, своей избраннице, и мечты о городе будущего — это мечты о своем доме?

Прервав себя на полуслове, отстав от Зейды, он берет меня под руку, весь тяжелый, изнеможенный.

— К дождю, что ли? — бормочет он смущенно. — Какая-то тяжесть в воздухе... На озере чувствую себя прекрасно, но вот психология горожанина: мечтаешь, летишь на природу — и, за какой-то час все облизав, накупавшись, уже думаешь, как бы вернуться опять в город.

По-моему, он уже уставал и, наверное, хотел завершения в их отношениях. Он уставал, она же ничуть, и что бы он ни рассказывал, ни делал, как бы ни растрчивался, она будет слушать, точнее то ли слушать, то ли нет, а так вот шагать, или сидеть, или лежать — спокойная, невозмутимая, полная сознания своей неотразимости и власти. И так будет продолжаться долго, до бесконечности, если только он не разбудит в ней ее былую живость — ведь удрала же она когда-то из родительского дома.

Но в один прекрасный день Алеша отозвал меня в сторонку и шепнул:

— Я сошел с ума, но пусть, это от счастья... Старик, она беременна!

Нурчик, наш младший родич, вот уже два года жил в Челябинске, учился в техникуме и был очень доволен своим положением. К нам он бегал все реже, но от Биляла не отставал, впрочем до одного неприятного происшествия.

— Позавчера утром, еще и восьми не было,— рассказывал Нурчик,— приезжают они в общежитие, Билял и Аня. И Билял говорит: ты должен сейчас же поехать ко мне в гости и можешь звать с собой кого хочешь, только не отъявленных хамов...

Ребята, конечно, не надеялись увидеть щедрое застолье, но там, рассказывал Нурчик, вообще ничего не было и никаких гостей, и они вчетвером шагали по веранде и глазели на белку, на птиц в клетках. А в десять Нурчик с приятелем побежали в магазин и вернулись с шампанским («Ребята, шампанского,— приказал Билял.— Уж мы отметим... Аня в Ростов едет!»).

Вечером вздумалось им ехать к Салтыкову. «Только, мальчики, ведите себя тише воды, ниже травы,— наставляла Аня.— Если у него будут пижоны, мы выбросим их вон. А Салтыкова возьмем с собой».

Словом, пошли на остановку такси. А вечер субботний, народу веселого много, на такси очередь, и наши друзья заспорили с другой компанией. И тут наскочила милиция с дружинниками. Аня, уверял Нурчик, ни в одном глазу, так что не споря полезла в эту ихнюю машину, но Билял заспорил с дружинниками, а те его за руки, за руки стали прихватывать.

— И вдруг слышу,— рассказывает Нурчик,— вроде знакомый голос: «Ты уж, товарищ, не ерепенься, ежели попался. Не таких уламывали». Билял кричит: «Подлец, ты сперва поздоровайся!..» И тут я вижу — да ведь это дядя Апуш за руку его прихватывает и немного так покручивает, говоря: «Эх, товарищ, себе же хуже делаешь. А мы, уж поверь, не таких уламывали», как будто он впервые видит Биляла. Наверно, не узнал, думаю, и подсказываю к нему. А он плечом меня отодвинул и говорит своим: «Мальчонку держите, а то неровен час ускользнет. Ишь какой прыткий!»

— И что же было потом? — спросил я.— Потом-то он вас узнал?

— А там он не показывался,— отвечает Нурчик.— Наверно, или дежурство кончилось, или поехал дальше патрулировать.— Помолчав, вдруг ни с того ни с сего: — Аня, наверно, уже в Ростове...

— Ну а что с Билялом?

— Может быть, тоже уехал.

— В Пермь?

— В Ростов, ты хотел сказать?

Я позвал Делю к Харуну, ничуть не надеясь, что она поедет. Но она неожиданно согласилась.

В субботу мы погрузились в редакционный «газик» и поехали.

Подъезжая к рыбацкому стану, я еще издали заметил на пригорке знакомую фигуру. Когда машина стала, Апуш побежал было с пригорка, но, узнав нас, перешел на медленную, увесистую поступь. Он подал мне руку и цепко, с тревогой и отчуждением заглянул в мое лицо. Прошло, наверно, с полминуты, прежде чем он решил заметить Делю.

— Очень приятно, да,— пробормотал он,— воздух тут хороший...

На порожке домика с камышитовой крышей показался Харун и помаhal рукой. Пока шофер с Харуном вытаскивали вещи из машины, я стоял с Апушем и разглядывал его с удивлением и любопытством. Внешний облик его переменился разительно: с него слетела приглаженность-причесанность городского жителя, некоторая подтянутость уступила место вальяжной неспешности мужика, привыкше-

го к трудам на природе; было видно, что сегодня он не брился, майка не первой свежести, руки черны, с грязью под толстыми ногтями, точно он всю жизнь только и делал, что выворачивал тяжелые пни и таскал их на себе.

— Я тут помогаю дяде Харуну,— сказал он, вроде оправдываясь, и кивнул на полянку, где лежали вывороченные пни.— Пожалуй, поработаю еще.

И он пошагал к полянке. Точно по сигналу из палатки рядом с домиком вышли трое парней (парни, видать, были из ближайшей деревни и подрадились к Харуну на корчевание пней) и, лениво помакивая топорами, двинулись за Апушем.

— Эй, ребята! — крикнул Харун.— Вы, надеюсь, еще не завозили коряги в заросли?.. Без меня не подберут подходящего места. Надо где поглубже, иначе вода промерзнет до самого дна — и ондатре конец.— Он оживленно хохотнул и хлопнул меня по спине.— Апуш собирался на юг поехать, денежки складывал. А теперь говорит: лучшего места, чем ваши озера, не найти.

— У него на водохранилище свой сад,— сказал я.

— Что сад, что сад! — замахал руками Харун.— Сад, тьфу, оранжерея! — Ему вроде хотелось оправдать присутствие здесь Апуша.— Приезжает ко мне, поздно уже было, мы с женой спать собирались. Говорит: дядя Харун, не сердись, а где хочешь найди и дай выпить. Выпили мы с ним. Он опять: не сердись, с одной не взяло, а я хочу тебе кое-что рассказать. Да только ничего уже рассказать не мог. Наутро я собрался на Узункуль, вижу — плохо ему. Давай, говорю, я тебя на озеро свожу, все твое похмелье пройдет... А теперь вот отпуск оформил и уже неделю доживает.

— Он вроде не собирался в отпуск.

— Откуда мне знать. Однако пусть живет.

После завтрака мы взялись за работу. Деся пошла погулять в березняке. Мы стаскивали коряги к берегу, привязывали к ним грузила из камней и волокли в лодки. Затем плыли вдоль берега и оставляли коряги где глубже. Осенью ондатры оборудуют себе хатки.

Ужинали уже в темноте. Мы пили водку, ели уху, полевой лук и хлеб домашней выпечки, пахло лесом, кострищем, озерной сыростью.

— Славно, славно,— говорил Харун, осоловев от еды и питья.— Вот замерзнет озеро — можно начинать промысел. Я вот Апуша зову: давай ко мне, будешь первым бригадиром.

— Я и там первый,— хмуро ответил Апуш и настороженно отодвинулся в темноту.

Грешным делом, я считал Апуша не то чтобы ленивым, а вот, может быть, развращенным вольной жизнью в городке. Судите сами: отработает сутки на почтовой машине, двое свободных, и он возится с кроликами, мастерит то шифоньер, то трюмо или табуретки на продажу. А если ему неохота, кроликами займется жена, а табуретки подождут. Вот зима подкатывает, и он забивает сотню-другую кроликов, мясо в обцепит, шкурки шапочникам. И деньги есть, и зима впереди спокойная, мяса вдоволь — бычка или телку забили, картошка со своего участка, чай-сахар в магазине. И все это добывается в спокойных, будто бы даже ленивых заботах. А тут — каждый день напряженной работы на укладке бетона... Но здесь он познал то, чего никогда, может быть, не познал бы в городке,— славу первостатейного трудяги, да не просто рядового, а бригадира, отца-матери для своих подопечных. И люди, воздающие ему за его труды, ничего знать не хотят о том, кто он был вчера, им нет дела до его дедов...

Напившись чаю, парни ушли в палатку спать. Немного посидев, за ними отправился и Харун. У догоревшего костра мы остались втроем, и молчание сразу показалось напряженным и тягостным. Деся встала.

— Пожалуй, я пойду. Спокойной ночи.

Апуш, словно не слыша, ворошил костер:

— Комары, язвы их!..

Я гадал: скажет или не скажет? И чем будет оправдывать свое рвение, когда запикивал в милицейскую машину брата? Но он только вздохнул, стал подниматься.

— Пойду у воды посижу. Ладно, молчи... молчи, говорю!

Я расстелил полушубок у кострища, завернулся в одеяло и закрыл глаза. Но сон мой прервали звуки автомобиля, голоса, приглушенный смех. Харун кого-то встречал, может быть начальство — голос его звучал с подобострастным задором и радушием. И тут я отчетливо услышал:

— Пошла... н-ну, брысь!

Обидчивое взвизгиванье собачки, смех Алеши Салтыкова и недвольный голос Зейды.

Мне снилась луна, знобящий холод ее; просыпаясь, я порывался уйти в избушку, но вспоминал про Харуновых гостей и засыпал опять. Поднялся рано — все еще спали — и побежал к озеру и дальше, вдоль берега побежал, с каждым мгновением согреваясь, ощущая легкость в теле, ясность в голове. Возвращался я березняком и не спешил — не хотелось самому готовить завтрак, а хозяйева, наверное, спали.

Приближаясь к становищу, я увидел бегущую ко мне Дею.

— А я ишу...— Голос ее прерывался, будто она долго бежала.— Где ты был — провожал Апуша? Сумасшедшее утро!..

— Прекрасное утро. А что, Апуш уехал?

— Удрал, как только узнал, что Салтыков приехал.

— Черти, приехали ночью, сон перебили. Зейда со своей собачкой: «Пошла, брысь!»

— Рустем,— сказала она, глядя на меня пристально,— Рустем, а ведь Алеша ослеп... или потерял рассудок, он готов ей прощать все.

— Не надо,— сказал я тихо,— я знаю Алешу.

— Помнишь, дядя Харун копал за домиком колодец, да так и бросил? Там теперь лягушки живут. Эта людоедка... выловила лягушонка, изрубила на кусочки и дала собаке. Скажи, неужели она... беременна?

Я схватил ее за руку и грубо дернул.

— Послушай! Не лезь, пожалуйста, в чужие дела.

— Дерни, пожалуйста, еще.

Я с удивлением заметил, что все еще крепко сжимаю ее руку. Засмеявшись, я дернул и тотчас же выпустил ее руку.

— Вот и прошло,— сказала Деся.— И у меня прошло. Не будем больше об этом. И, пожалуйста, поедem домой.

Под камышитовым навесом, где стояли приземистый стол и скамейки из свежеструганых досок, расположились мы завтракать. Харун выглядел смущенным и, болтая, старался загладить какую-то свою вину, но между тем вполне сохранял прежнюю живость и деловитость.

Едва мы допили чай, пришли с прогулки Зейда и Алеша.

— Вот и Алексей Андреевич уезжает,— печально сказал Харун.

— Да, приходится ехать,— смущенно подтвердил Алеша.— Но вечером я вернусь. Зейда, пойди, пожалуйста, приляг. Вы напугали ее... прошу вас...— Он умоляюще глянул на Харуна.

— Чем это я напугал? Я на всех кричу, и никто на меня не обижается! Эй! — крикнул он дочери. — Если тебе сказано — приляг, так иди и ляг.

Еще минуту назад я был уверен, что поеду тоже, но сейчас, на виду у Салтыкова, мой поспешный отъезд выглядел бы демонстративным. Я твердо сказал Деле, что вернусь вечером, и повел ее к машине.

— Ну, встретимся вечером, — сказал Алеша. В голосе его явно сквозили нотки признательности.

Как только они уехали, Харун потащил меня к озеру, не переставая оживленно говорить. Видно, и он был доволен, что я остался...

...Харун греб. Вода на песчаных отмелях была прозрачна, среди водорослей шныряли пестрые жучки, клещи, бокоплавы, замыслова-то извивались олигохеты, кишели циклопы и дафнии. А там, где темною полосой пролегал ил, проглядывались борозды от ползущих беззубок. Затем мы погребли в залив, здесь пышно цвела водная растительность. Харун размышляла вслух:

— Вот тростники, целое море! Замечательный строительный материал. Из тростниковых щитов можно строить животноводческие помещения. А молодой тростник скосить, высушить — чем не сено? За лето можно три укоса снимать. А здешние головотяпы выжигают тростник!.. — Он передал мне весло, чтобы безраздельно отдаться поэзии рациональных соображений. Почерпнув ладонью рыску, он продолжал: — Вот водяная чечевица, до-о-обрый корм для птиц, особенно утки любят. Вон какие валы к берегу прибило, бери, пользуйся.

Он замолчал, и лицо его долго сохраняло выражение отрешенной задумчивости. Он, без сомнения, был занят мыслями о грандиозных деяниях. Однако на этот раз я ошибся. Повернувшись ко мне, он внешне спросил:

— Ты знал моего брата? Лудильщик Галей, в слободе жил.

— Может быть, и знал, — осторожно отозвался я.

— Откуда тебе знать. — Он с горечью вздохнул и стал закури-вать. — На прошлой неделе ездил хоронить. Говорю, лудильщик. Верно, когда-то паял примусы и кастрюли. А последнее время возле мебельного магазина толкается — поднести, погрузить. Бывало, на загорбке тащит чей-нибудь диван до самого дома. Эх-х! Видел я его за день до смерти... старик, старик! А на четыре года меня моложе. И детей после себя не оставил, и жена его несчастная, вечная женщина, он же и покалечил. — Он помолчал, взял было весло, но бросил в лодку. — А какой был парнишка. Рисовал, на мандолине играл. Своего-то инструмента не было, к соседу бегал. И кем он стал, куда все пропало?.. Был грубый, жадный, жену истязал, с соседями грязные скандалы. Вот родителей вспоминаю. Грешно, конечно, но грубые, темные были люди, за рисунки колотили брата, над музыкой его смеялись — дескать, в балаган пойдешь, когда вырастешь? Нужды мы вроде не знали, и ремеслам нас научили. Но что за ремесла — маклер и лудильщик...

Мы долго молчали, додка наша медленно кружилась на воде.

— Я знаю все, — он повел рукой вокруг себя с горделивой, но какой-то прощальной медлительностью, — все об ондатре, о рыбах, о кормах. Но ты спроси, что это... дафнии, циклопы какие-то, — я представления не имею. Знаю только, что все это так себе, дрянь, никакой пользы не взять. — Он тихо посмеялся, схватил весло и гребнул раз-другой сильно, с напором. — А вот есть наука такая... изучает этих циклопов.

Он посмотрел на меня прямо, и я увидел у него в глазах не застаре-лую, а живую, вот, может быть, только сегодня народившуюся печаль.

Лесной тропинкой я вышел на проселок. До ближайшей деревни было километра четыре, дорога сулила мне отличную разминку, покой и уединение. Пройдя с версту, я оказался на развилке, и с минуту соображал, какая же дорога ведет в Дербишево, оттуда автобус прямиком довез бы меня до города. В запасе у меня было почти два часа, и я решил подождать — первый же встречный аульчанин (вокруг лежали все татарские и башкирские деревни) показал бы мне дорогу. Вскоре действительно я увидел человека в тюрбетейке, с заплетным мешком, с короткой палкой в руке — он просто ею помахивал, легко вознося над головой.

— Доброе утро! — приветствовал он меня еще издалека.

— Доброе утро, — ответил я, и необычайно рыжее сияние ослепило меня, в особенности когда странник снял тюрбетейку и помахал ею.

— Гора с горой не сходится, — засмеялся Аверкиев, проворно скинув наземь рюкзак и бросив на него тюрбетейку. Уверенное, мускулистое пожатие, приятно сухая, твердая ладонь. Нет, он не только не постарел, а еще более окреп, словно только и делал, что ходил по лесным дорогам.

Проехали на фургоне о двух лошадаках рыбаки и приветствовали нас по-татарски. Позвали в фургон — ехали они в Дербишево за продуктами, — но мы с Аверкиевым в один голос отказались. Уступая фургону, мы сошли с дороги, и волглая трава замочила наши башмаки и брюки.

— Отдыхали?

— А у вас очередная экспедиция?

— Когда-то я ходил с легионом студентов, а сейчас мы вдвоем: я и Шакиров. Не знаете Шакирова?

— Ваш самый способный студент?

— Милый мой, я давно оставил институт! Позвольте представить — директор дома народного творчества. — Он дурашливо поклонился. — А Шакиров действительно мой ученик, знаток фольклора... О, сколько старинных песен мы записали с Уралом! Слышите, его зовут Урал. Между прочим, относится к числу новых имен. Возможно, религия не позволяла присваивать ребенку названия гор или рек. А может быть, давние языческие страхи. — Аверкиев седлал своего любимого конька. — Урал в переводе значит Каменный пояс. Это лишь одна версия происхождения слова... Ну, тронемся потихоньку? — Он забросил свою палку и теперь держал меня за локоть, теребя и сжимая в порыве красноречия. — Вы помните байт о Сайтназаре? Охотник, которого любили и люди и звери. И жена-красавица тоже любила без памяти. Но старшина схватил его жену и увез в свое становище, когда охотник ходил по лесам и горам. Он ищет это проклятое становище и не может найти, ищет целую весну, и лето, и осень, и вот уже зима застаёт его в пути. Он катится на своих широких лыжах прямо в бурную тьму. И хотя не видно ни зги, он знает, что впереди широкая прорубь. Он знает и все равно не сворачивает — и скатывается в ступенную прорубь. — Он помолчал. — Отчего так печальны эти песни? Почти все, что я слышал? Так много обреченности и покорности судьбе.

— Покорный судьбе остался бы жить, Петр Власевич. А потом, байты ведь сочиняли только по трагическому случаю...

— Или вот легенда о Саке и Соке, — продолжал Аверкиев. — Братья так жестоко ссорились друг с другом, что мать в отчаянии крикнула: «Уходите, исчезните! Обернитесь птицами и улетайте!» И они стали птицами и разлетелись. Утренняя заря сулит им надежду. И вот всю ночь летят братья навстречу друг другу. Но перед самым восхо-

дом между ними встает гора. И вот до сих пор зовут друг друга: сак, со-ок! — как печально, а ведь это не баит.

— Если бы не было так печально, то потерялся бы нравоучительный смысл. А впрочем,— я засмеялся, вспомнив известную песенку, их жарили и варили, а они упорно продолжали жить. Печаль, конечно, была. Но был и оптимизм, иначе судьба давно бы расправилась и с ними и с печальными их песнями...

Возле магазина сельпо стоял автобус, почти до отказа набитый деревенскими бабушками, едущими в городские магазины; их речь была напевна и ровна, как длинное сказание, и могла показаться Аверкиеву, не знающему языка, опять же печальной. Но бабушки говорили о рождении ребенка, о подарках, о ржаном хлебе, который они купят в городе, потому что в деревне не пекут ржаного. Три или четыре девушки и с ними паренек ехали в город — видно, студенты, их говор, уже успевший вобрать в себя многие инородные слова, наполовину был понятен даже непосвященному. Они уступили нам место.

А шофер между тем куда-то запропал. Аверкиев ерзал, то и дело поглядывал на студентов, явно желая вклиниться в их разговор. Однако молодежь сохраняла строгую уединенность, и он встал, потихоньку начал пробираться к старушкам. Те сперва смолкли и заученно прикрыли платками шамкающие рты, но вскоре опять разговорились, приняв в Аверкиева. Меж старушечьих шафранных лиц и пестрых платков сверкала его жизнерадостная рыжина как ось этого вертящегося клубка жестов и речей. Студенты невозмутимо продолжали свое. Мельком они заметили, конечно, побуждение Аверкиева присоединиться, не ускользнуло от них и то, как устремился этот странный дядька к анахроническим старушкам. Но не удостоили его даже улыбки.

6

Дома ждало меня приятное известие: отчим получил приглашение на завод. Начальство верно рассудило, что после инфаркта ему непосильна будет работа ведущего конструктора, но с проблемами транспортировки он, пожалуй, справится. Отчим говорил об этом немного иронически, но было видно, что он рад: опять попал он в милую его сердцу обстановку.

Мы втроем лепили пельмени и непринужденно болтали. Зазвонил телефон, и мы разом смолкли, а затем засмеялись. Телефон возвещал о том, что наступает счастливая суматошная пора — отчима будут терзать в любое время суток. Телефон звенел свежо, требовательно, и отчим поспешил в комнату. Но быстро вернулся.

— Тебя,— сказал он суховаго.

Нурчик просил меня выйти, он ждал на трамвайной остановке.

— Письмо от Биляла. Из Ростова!

— Что-нибудь случилось?

— Да нет,— растерянно отвечал Нурчик,— наоборот... то есть Аня заболела, но он... Вот почитай.

Это было счастливое, готовое брызнуть соками восторга письмо. Но начиналось оно сообщением о болезни Ани. Перемена климата не пошла ей на пользу, у нее сильно подскочило давление, мучают головные боли. Он просил раздобыть книжку Ахматовой и немедленно выслать ему; и еще — чтобы Нурчик привез ему джурбая, степного жаворонка, которого он по забывчивости не взял.

— А ведь он, уезжая, подарил джурбая мне,— засмеялся Нурчик,— но вот забыл об этом.

Я сказал:

— Тогда не спеши с письмом. Он скоро сам напишет. Извинится

за джурбая и скажет — не ищите Ахматову, потому что теперь уже ему будет нужна какая-нибудь другая книжка.

Однажды ко мне в комнату заглянул отчим, чего никогда прежде не было.

— Извини. Я сидел над чертежами универсального конвейера, по моей просьбе прислали из Таллина, — и вдруг почувствовал тоску. Нет, настроение тут ни при чем. Я почувствовал какую-то физическую, что ли, тоску, будто она, чертовка, с костями и дьявольскими мускулами возится во мне. Я понял, что это может повториться.

— Но, может быть...

— Я понял, что надо вовремя выпрыгаться, никакая иллюзия работы не заменит самой работы. Я был бы глупцом, если бы скрывал свою слабость, пусть всего лишь физическую. — Он помолчал. — Ну, что у тебя?

— Деля уехала в городок, — сказал я неожиданно для себя, — вот уже неделя прошла, а ее все нет. — И опять же неожиданно добавил: — Ты не думай, там она не останется. Я бы, например, ни за что не остался...

— В молодости человека тяготят привязанности, хочется новизны.

— Мама как-то сказала: к старости тебе не нужны будут просторы больших городов.

— Она права. Просторы безжалостно транжируют время, а к старости научаешься дорожить временем.

— Но уже мало сил для борьбы.

— Вот когда ты станешь старым, ты скажешь себе: я достаточно боролся, а теперь я хочу понять тех, с кем я боролся. В понимании, по-моему, есть какое-то зерно борьбы. Возьми Биляла. Ведь его бегство из городка, отрицание, самовольные поступки — все это мятеж, борьба. Но он, я думаю, никогда не понимал их глубоко. Его непримиримость — непримиримость к загадочному, непонятному, которое в конце концов опять его притягивает, и он возвращается. В нем есть страсть мятежа, но нет страсти понять, познать. Поверхностность жестоко за себя мстит.

— Однажды Деля мне сказала: «А как бы ты почувствовал себя, если бы вдруг твои привычки — предрассудки — оставили тебя? Тебе не было бы страшно такой свободы?»

— Но привычки никогда не оставляют нас совсем, слишком все это связано с нашим бытованием. Нигде так не коснеют порядки, как в семье. И она, милая, в косности своей сохраняет много такого, что только уснуло, но не умерло в тебе...

— А помнишь, каким был в детстве Алеша Салтыков? Он был охвачен идеей совершенства в семейных отношениях.

— Но ты замечал, как причудливо строят дети свои домики, замки и крепости из песка? Так же причудливо строят они в своем воображении отношения в доме. Это... такой витиеватый народ!

Деля поехала в городок, чтобы забрать сынишку. Но вернулась одна.

— Зачем, зачем ты его оставила там?

— Он у моей мамы.

— Но зачем?..

— Не знаю, не знаю. — Она заплакала. — Умер дедушка, приходит Алма, держит за руку моего сына и говорит: дедушка умер, возьмите вашего ребенка — и подталкивает его ко мне, а мой сын не идет, глаза испуганные, в слезах, и тянется к Алме. А та опять его подталки-

вает и говорит: да возьмите же скорей вашего ребенка, берите нас всем, что, вы не верите мне?

— Ей всегда недоставало деликатности,— пробормотал я.

— Бог с ней, с Алмой. Мне маму жалко.

— Она здорова?

— Она одинока, точно на каком-то острове, вокруг, как вода, клоочет и бурлит нетерпение людей, стремящихся оставить ее поскорей.— Она помолчала.— Мама хочет уехать из городка.

Я растерялся. Она выжидательно молчала и не смотрела на меня.

— Ты стала... не знаю... ты стала другая.

Она тихо засмеялась.

— Мама говорит, во мне появилось что-то новое, не похожее на меня. Какое-то нетерпение в тебе, сказала мама. Я спрашиваю, хорошо это или плохо? — Она расплакалась.

Я смотрел на Делю, пытаюсь найти в ней прежние черты, и не находил. Нет, передо мной была не девочка из городка, готовая в минуту опасности все-таки юркнуть в теплую нору городка; теперь это была женщина отнюдь не робкая, начавшая листать историю нелегкой своей жизни, у нее уже появилось то, что называется судьбой. И эта судьба не была для меня безразличной.

ЭПИЛОГ

Как-то мне приснился камень на дедовском дворе, точнее два камня, две гладкие плиты, одна лежала у порога в нижний этаж, а вторая перед крыльцом, ведущим наверх. Сбегая в жаркий день с крыльца, мы перепрыгивали через плиту, чтобы не обжечься босыми ногами. А по вечерам я и мои братья любили посидеть на плитах, еще теплых со дня, и поиграть в камешки; гальки вкрадчиво позванивали, когда мы щелчками метили одной в другую. Вообще же плиты были привычной незамечаемой принадлежностью жилища, как, например, приступки или перила, и не могли вызывать к себе особенного интереса.

Однажды Апуш сказал, показывая на камни:

— Это памятник дедушке. А вон тот бабушке.

Я слегка удивился его словам, но не придавал им значения. Само слово «памятник» для меня в ту пору еще не имело торжественного смысла, ибо, вырезая на заборах свои инициалы, мы называли их памятками.

Сейчас одна плита стояла над могилой бабушки... Дед умер позапрошлой осенью. Было ему семьдесят восемь, но он еще ступал прямо, глаза его были зорки, он копал огород во дворе, сажал картошку и овощи, пропалывал и поливал, ездил в ночное, косил сено. Уступив Апушу с его семейством верхние комнаты, сам он обрелся в нижнем этаже.

Взаимно не докучая друг другу, они жили мирно и спокойно, без уговору поделив обязанности по хозяйству. Но вот, кидая на сеновал сено, дедушка оступился на возу и, падая, ударился головой о растворенную дверь конюшни. Тетя Биби, ходившая к нему доить корову, увела его в дом и велела лечь. У него, оказывается, было сотрясение мозга, и вызови тетя Биби врача, пострадавшему предписали бы постельный режим. Но дедушка поднялся уже наутро, сделал несколько шагов и упал навзничь, повредив еще и позвоночник. Тут уж тетя Биби побежала звонить. Дедушка пролежал в больнице полтора месяца, и еще столько же надо было вылеживать дома. Но де-

душка опять поспешил — и его парализовало, отнялись руки и ноги. А через три недели он умер.

Мы получили телеграмму вечером и выехали с мамой наутро, но только-только успели к похоронам. У нас с похоронами не тянут — обычай, пришедший издалека и продиктованный, я думаю, аравийским зноем. Обычай любого народа истолковываются положительно, ибо это опыт, нажитый в сугубо определенных условиях. И отдавая должное обычаям громогласного и продолжительного плача, похоронам с вином и весельем, я между тем с пониманием, чтобы не сказать — с гордостью, воспринял суровое, суховатое прохождение дедушки в последний путь. Я не услышал рыданий, не увидел женщин на кладбище.

Когда мы выносили дедушку со двора на носилках под зеленым куполообразным балдахинном, я увидел в стороне мою маму. Глаза у нее были сухие, но такая напряженность, такая горькая скорбь сковала ее лицо, что я впервые кощунственно ругнул порядки, предписывающие сдержанность. После похорон мы обедали в доме, где теперь хозяйствовала Алма, ибо в жилище покойного в тот день не готовят еду. А когда мы вышли во двор, мама разрыдалась, к ней тотчас же подбежал мой отец, и она рыдала, припав к его груди. Три дня, которые мы провели в городке, ожидая дня поминовения, мои родители ни на шаг не отходили друг от друга. Они бродили по берегу реки, по улицам, заходили в школу, где некогда оба учились, и в педтехникум, где училась мама. Эта их краткая близость больше всего сказала мне о том, как они, в сущности, отдалились друг от друга: ведь возвратившись в давно покинутое обиталище, мы предпочитаем проводить время со старинными приятелями, вызывая ревность и неудовольствие родичей. Так вот отец был для нее не более чем добрый старый приятель. Но я-то судил со стороны.

Было светло и тепло, бабье лето с горечью нежило сиротство сожженных недавним зноем деревьев и трав возле дощатых, сухо пахнущих заборов. Я уходил в степь и видел жаворонка в синеве, слышал пение пеночек и даже весенний стук пестрого дятла, а в зарослях вишарника — осеннее токование тетеревов. Точно лето завершило — тетерева бормотали, чуфыкали, слетали на поляны и даже цапались друг с другом; после маетной линьки они окрепли и, может быть, самцам мерещилась весенняя пора. Мне же мерещилось детство, и я, как глупый тетерев, бодрился минутным ощущением беспредельности времени и незнанием пока что никаких потерь...

...Мне приснились камни, и уже до утра я не смог сомкнуть глаз. Слышал, как встал Салтыков, надел тренировочный костюм и, тихонько ступая, пошел к двери. Каждое утро он бегал к реке промяться и поплавать. Возвращался он к чаю свежий, смеющийся и громко напояминал, что не позже чем завтра переедем в палатки.

Кесоян собрался побродить по городу, благо воскресенье. Предупредил, что вернется не скоро: может быть, поедет на стоянку геологов возле Боровой Санарки, где разведывались формовочные пески. Однако через полчаса он вернулся, неся томик Бодлера. С ним пришел Женя Доброхотов.

— Я зашел в магазинчик на Советской, — удивлялся Кесоян, — взял с полки книгу, заплатил и пошел. В Москве возможно ли такое?

Он переделся в просторную пижаму, положил на стол «Казбек» и спички и сел читать.

В оны дни, как Природа в капризности дум, вдохновенно
Каждый день зачинала чудовищность мощных пород,
Полюбил бы я жить возле юной гигантши бессменно,
Как у ног королевь ласкательно-вкрадчивый кот.

Счастлирое возбуждение остановило его, заблестевшими глазами оглядел он товарищей. Пестерев заволновался, как на собрании, и произнес, заикаясь:

— К-как он это... з-замысловато...

— Настоящее искусство всегда замысловато, — как бы шутя ответил Кесоян. — Иначе его понимал бы любой нефантазер, а иным грешным нечего было бы делать, например, у памятника Медному всаднику.

Женя тут же подхватил:

— Для фантазеров есть у меня хорошая новость. В центре города отвоевано два десятка гектаров — там разместятся деревянные строения прошлого!

— Как, уже? — удивился Салтыков. — Что же вы-то молчали, Симон Александрович? Вот всегда так, — резко, обиженно сказал он, — строители узнают в последнюю очередь. Значит, жильё будем строить за Гончаркой?

— Семьдесят процентов жилья, — уточнил Кесоян. — Остальное — в центре города. Тут, Алексей Андреевич, придется тебе учесть одно обстоятельство: новая застройка вклинится в исторически сложившийся массив, и... как бы не смахнуть кое-какие старые здания.

— Ну, это уж забота проектировщиков, — буркнул Салтыков.

Кесоян вздохнул, отложил книгу и стал закуривать.

— Вся беда в том, — заговорил он, отгоняя ладонью дым, — что в этом деле нет научной методики. Ведь пока что такого рода реконструкция зависит от интуиции и вкуса местного архитектора, от покладистости и заинтересованности практиков. Да, и от тебя, Салтыков! Кстати, квартал-музей тоже твоя забота.

— Так и быть, — хмуро ответил он, — мы дадим транспорт, пусть перевозят. Ну а там — есть же в городке какая-нибудь ремстройконтора, которая без нашей помощи собрала бы домишки?

О квартале-музее много было разговоров в городке. Сперва вроде случайно, а там все уверенней — и вот уже в первую очередь стали называть имя моего чудаковатого отца. Наконец весь городок уяснил себе, что во главе начинания стоял именно Якуб. Его изощренная мыслишка собрать в одном месте весь мерзостный, на его взгляд, анахронизм вдруг очистилась, все плохое отпало само собой, а осталось только разумное. Якуб приосанился, походка стала прямой и стремительной, и не очень замечалась даже его хромота. Старики кланялись ему при встрече, школьники смотрели как на героя. Кесоян, помню, сказал: в каждом из нас сидит хотя бы крохотный чудак, иначе мы не понимали бы таких подвижников. Я ничего ему не ответил, а возразить было нечем.

Это был взлет, какого Якуб не знал прежде, хотя, может быть, знал, одну или две минуты поднявшись на планере.

Однажды утром я был разбужен говором и смехом, звучащими с нервной оживленностью. Соседи мои толпились на балконе. Салтыков шагнул в комнату, увидел, что я не сплю, и проговорил сердито:

— Выйди погляди.

Я наспех оделся и вышел на балкон. Прижавшись к бровке мостовой, прямо против окон гостиницы стояли три грузовика, доверху груженные старыми бревнами и досками. Домишки на слом в это лето продавались то и дело, так что картина, увиденная мной, ничего особенного не представляла. Но сердце мое забилося, когда у головной машины я увидел Якубу, моего отца. Он был одет как на парад: в гла-

женом подбористом кителе, в яловых сапогах, в зеленой фуражке; даже алюминиевая палочка в его руке казалась отдраенной и поблескивала празднично.

— Алексей Андрейч,— взывал он к Салтыкову,— я не мог больше тянуть, поймите меня. А если мы сегодня же не соберем дом, его растащат в момент.

Сомнений не было: он разобрал дедовский дом и намерен был посадить его первым в квартале-музее. Салтыков из-за моей спины прокричал:

— Девайте куда хотите, но меня оставьте в покое! Обратитесь к Халикову!

— Халиков опять же к вам будет звонить, да вы его быстро отошлете. Сынок!..— Он вроде сейчас заметил меня.— Сынок, поговори ты с товарищами, не дай пропасть большому делу... ведь для будущего... общая наша забота!..

Шоферы нервничали и покрикивали на него, коротко нажимали на клаксоны, и голос Якуба обрывался, терялся в закипающем шуме.

— Сынок...

Точно все еще не веря своим глазам, я пошел взглядом по одной, другой, третьей машине и тут только в конце этого поезда заметил мохнатую понурую лошадку, запряженную в громоздкую телегу. А на широкой площадке телеги лежала дедовская каменная плита.

Прошло еще несколько дней, и я получил неожиданное письмо — от кого бы вы думали? — от Аверкиева. Издалека он угадал смутные мои настроения и звал в экспедицию.

Нет, сказал я себе, ни сейчас, ни в будущем я не соглашусь. Я не позабыл сказания и песни и помню их и люблю, но во мне до сих пор слишком много интуитивного, случайных всплесков угадывания вперемешку с пылким восторгом. Глубокое прозрение не терпит пылкости, зрелый ум куда скучнее. Город только-только открывал мне всю широту непознанного и обещал хранить меня от болезненных ощущений непонимания, поверхностности — мог ли я оставаться незащищенным отроком, имеющим всего лишь дар непосредственности?



СТИХИ ПОЭТОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

★

ВИЛЕМ ЗАВАДА,

народный поэт ЧССР

Мать

Дитя мое, муж!
Соколик, сынок!

Любовью сияет женщина,
любовью благоухает женщина,
любовью чиста женщина.

О, сердце мое, почерневшее и морщинистое!..

Я — око твое,
Я — рука твоя.
Я — твой разум,
твоя душа.
Всю себя раздала без остатка!

Дитя мое, муж!
Соколик, сынок!

Нежностью вас затоплю, как волна заливает камешек—
он увлажнится, но не размякнет...

Не для меня выплывает луна,
не для меня зацветает шиповник,
не для меня на опушке тоскует флейта...

В сердце моем — только дом,
дом, что всегда пустует...

Муж мой!
Сеятель засеваает и покидает поле...

Сын мой, вынырнувший на руках,
вынесенный из огня лихорадки,
для чего ты с дружками прыгаешь через костер?!

Дали и облака раскрываются перед вами,
словно цветы перед пчелами.

Я же на стол накрываю,
постель расстилаю
и промываю раны..

Ах, почему я вытаскивала только занозы из пальцев?!

Мне бы вырвать из вашего сердца
жало химер!..

Перевел с чешского ИГОРЬ ИНОВ.

ДОНАТ ШАЙНЕР

Тебе

Эти стихи для того, кто стихов не читает.
Пальма не знает о липе, наполненной медом.
Нищие духом не смогут душой поделиться.
Лужа не море, пропахшее бурей и йодом.
Зеркало немо, и я его не понимаю.
Только стихи не склоняются перед молчаньем.
Стих добывает слова из колодца, из скважины жизни.
Их не заменишь никак повседневным мычаньем.
Эти слова говорятся вполголоса — слышишь?
Эти слова — настоящего символ и завязь.
Истина, скорбь и любовь — три слагаемых счастья.
Вянет мечта, обесцвеченной жизни касаясь.
Если слова — только бледные тени идеи,
только детали, бесплотные только миражи,
день не сумеет испить из победного кубка,
ночь не посмеет коснуться торжественной чаши.
Лишь человек покоряет далекие земли,
только поэт называет открытые страны.
Значит, я нем, если колокол крови и мысли
сердце мое не зовет на борьбу неустанно.
Эти стихи для того, кто стихов не читает.
Пусть же отыщут тебя они в жизненной гуще.
Истина, скорбь и любовь, три слагаемых счастья,
с нами пребудьте во имя и нас и грядущих.

Друзьям

Хор наш и сложен и слажен, только по-своему все ж
ты о любви и работе песню свою пропоешь.

Собственным голосом эту общую песню веди.
Здравствуй, рассвет, ибо в небе вечер затеплил звезду.

К нашей единственной цели разные тропы ведут.
Если мечта осенила, то нипочем неуют.

Слей же с торжественным хором голос единственный свой.
Солнце прописано вечно в сердце и над головой.

Перевела с чешского ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ

КАРЕЛ БОУШЕК**Поэзия**

Научимся писать на камнях, нападём на след древних,
Словом будем останавливать кровь,
Приблизимся к образу славянских богов!

Ливень

Ливень скрестил свои руки и плачет, как женщина, горько.
Юбка на нем до нитки исподней промокла.
Солнце, надень свой костюм из огня,
Высуши, высуши ливень,
Останови погребальный звон воды!

Читая Шолохова

Кора на деревьях — как лица людей опечаленных,
Кора в зарубцованных временах шрамах.
Слова твои, Шолохов, как величание
Людей, изначально простых и упрямых.

Мы все лесорубы, деревья от рук наших валятся,
И крошатся кроны, и брызгают иглы.
Но дух человеческий наш на крыло подымается,
И люди вершин небывалых достигли.

Живые колосья в наливе волнующе летнем,
Их корни успели за землю схватиться.
И мы — как живые колосья, и нет нам
Покоя и отдыха, бой на роду нам написан!

Перевел с чешского ВИКТОР БОКОВ.

МИРОСЛАВ ФЛОРИАН**Взморье**

Почему не дерево я с гроздьями рябины? —
мученья мои склевали бы птицы.

Давно у меня беспокойная тень.

Водит по вереску и по асфальту тянет
и вниз потом, к валунам —
исповедникам моря Балтийского.

А серое море шепчет,
что не говорят никогда.
И на всезнающих камнях
слегка блестит слюда.

Возлюбленная Александра Блока

Еще решается оставить трость свою
и доплестись от санатория до моря...

А чайки.

будто возчиков черед, и ждут
и спорят: куда ж сегодня
поедет девушка эта в шали печальной,
седоволосая, которую сопровождает тень,
прекраснейшая на всем пляже?

Дубулы.

* * *

Как только поправлюсь, я песнь напишу
об апельсинах и о цветах.
Сейчас им со мною так грустно.
Немного терпенья, цветы и апельсины.

Как только поправлюсь, я концерт напишу
о руках твоих, любовь моя, о каждом пальчике твоём,
об этих десяти медсестрах с ореолом белым.
Ах, только терпенье, только терпенье, сестрички.

Как только поправлюсь,
на солнце вскочу, будто на рыжую лошадь,
и поеду, поеду по небу, росой окропленному.

Как только поправлюсь,
как будет мне чуточку лучше,
принесу я тебе Петршин¹
с поцелуями юных,
вечно цветущий Петршин.
Но еще раз терпенье, только терпенье со мною,
если подобен я камню, дождю и осени.

Осенняя аллея

И снова падает туман вечерний... А тополя
стремятся вверх, отвесно вверх,
как ракеты там, на Байконуре,
разметая листья свои по полям.

Мгла, старая торговка опиумом,
ты, мгла, контрабандистка,
напрягаю я зренье свое и тщетно ищу я вершины
деревьев этих, но слышу легкий шум,
радиолокатором не уловимый,
звук и стремление, что плывут в необозримость,
в глубь небосвода, в звездный фирн.

Куда, куда ж доходят эти обелиски темные?
Я чувствую дыханье мертвых.

¹ Петршин — излюбленное место прогулок влюбленных в Праге. (Прим. перев.)

А хризантемы, к земле склоненные,
 полыхают, как пламя, вылетая из сопел.

**Памятник Гагарину перед колоннадой
 в Карловых Варах**

К вам я хожу на леченье:
 из недр отчизны своей необъятной
 вы вознеслись парящею каплей,
 что не вернулась в объятья земные.

Хотя голубая планета шинелью вас не прикрыла,
 березками виски ее засеребрились,
 будто женою вашей была.

И снова мороз предложил ей
 всех красок оттенки,
 она все живет надеждой
 и верит в то, что вы живы.

Там, где ваши земные памятники,
 бьют родники из глубины.
 Юрий,

и здесь — этот чистый источник.
 Я прихожу лечиться к вам.

Перевела с чешского Ю. ШКАРИНА.

ОЛДРИХ РАФАЙ

Памяти Луконина

Я должен Луконину
 стихотворенье —
 В ответ на щедрое
 строчек даренье.
 В предельном сраженье, в бою круговом
 Он до этой вершины
 дошел:
 «Лучше прийти с пустым рукавом,
 Чем с пустой душой».
 Стоит за ним
 его поколение.
 Сначала — бои.
 Потом — поклоненье.
 Потом он читал стихи континентам.
 Потом — раздаваться
 аплодисментам!
 Я вижу его и сегодня в бою —
 Сражается голой рукою слов,
 Как будто ударную силу свою,

Подъемлет он
 глыбы весомых слов.
 И жизнь не закрыл он
 своим уходом,
 Оставил открытой
 поэзии дверь,
 И строки его
 остались с народом,
 Остались в стране,
 где он жив и теперь.

Перевел с чешского М МИХАЙЛОВ.

ВОЙТЕХ МИГАЛИК

Два немых

Два немых по улице идут,
 не вмещает улица их жеста.
 Вот беда — но что поделать тут?
 Им для разговора мало места.

Как для них беседы нележки,
 мысли продираются так туго —
 будут в результате синяки,
 и не раз они толкнут друг друга.

Не хватает рук для слов души,
 тесен стал им наш просторный город.
 Сонный, дремлет он в ночной тиши —
 как он невелик для разговоров!

Не сможешь. Лучше помолчи.
 Не решить проблемы этой сразу.
 Для чего овчаркою в ночи
 ты им вслед послал пустую фразу?

Не услышать взмаха их руки,
 не найти спасенья от недуга.
 Ободрав о стены кулаки,
 два немых идут, обняв друг друга.

Перевела со словацкого Е. АРОНОВИЧ.



ЙОЗЕФ КАДЛЕЦ



ВИОЛА

История, почти забытая

Мгновение, замри сейчас,
Вся жизнь, замри сейчас.
Увижу все, как в первый раз
И как в последний раз.

Ф. Грубин.

1

Окраина нашего города выглядела в те времена заброшенно и неприглядно: редкие домишки вдоль шоссе, несколько сколоченных из чего попало развалюх, жавшиеся друг к другу буйно заросшие грядки крохотных огородиков, покрытые сорняками строительные площадки, наметки будущих улиц, уходящие в поля,— все это напоминало незаконченный растрепанный край грубого холста.

По одну сторону улицы, где мы тогда жили, стояло несколько одноэтажных домишек, по другую — к темной полоске леса у горизонта тянулись отлогими склонами поля и луга. От нашего дома в поле убегала глинистая проселочная дорога, во время дождей она превращалась в сплошное грязное месиво, а то и в мутный поток, несущий избыток воды с поля прямо на улицу. Когда-то лишь эта дорога связывала город со старым стекольным заводом у леса, но в начале тридцатых годов завод закрыли из-за недостатка работы, и с тех пор за дорогой никто не следил, только местные крестьяне ездили по ней в поле; дорога постепенно зарастала сорняками, покрывалась рытвинами и буграми.

Еще немного и дорога слилась бы с полем, от нее осталась бы лишь росшая по обочинам полоса колючего терна и шиповника, где гнездились стайки певчих птиц. Но вот в тысяча девятьсот сорок первом году произошло событие, доставившее много хлопот жителям нашего предместья.

В один прекрасный весенний день на дороге появились двое черноволосых мужчин с лопатами. Они рьяно принялись заравнивать ухабы, засыпать выбоины камнями, скопившимися на межах,— их туда складывали каждую весну крестьяне, обрабатывая свои поля.

Предместье с удивлением следило за действиями этой парочки: никто не понимал, зачем они этим занимаются и кому понадобилось ремонтировать никому не нужную дорогу. Поговаривали, будто городские власти выделили какую-то сумму на ремонтные работы, вот они и взяли тех двоих на временную работу, только почему они пригласили чужаков, да еще такого угрюмого вида, лучше б дали заработать своим беднякам. Пошли слухи, что стекольный завод снова откроют, передавали, что кто-то видел, как эти двое ремонтируют развалившийся забор вокруг завода и штукатурят облупившиеся стены бывшей конторы.

Как-то раз, когда чужаки стали засыпать колею неподалеку от нашей улицы щебенкой, которую возили на тачке, наш сосед, прозванный Хромым из-за того, что он немного прихрамывал на правую ногу, не в силах больше бороться с обуревающим его

любопытством, проковылял к ним и спросил напрямик, что тут происходит и кто поручил им эту работу.

Они ответили ему, что ничего особенного не происходит и что никто им этой работы не поручал, а просто они арендовали старый стеклозавод у леса, и так как дорога эта ведет к заводу, им теперь первым делом надо привести в порядок дорогу.

Объяснение вполне разумное, и вроде бы не дававшее никаких оснований для беспокойства, если б любопытный Хромой не узнал в одном из чужаков своего бывшего одноклассника, который жил когда-то в нашем предместье. Он слыл скандалистом и забиякой, был будто бы груб и жесток, числился за ним и стычки с полицией. Говорили, что он даже сидел в тюрьме за драки.

Тогда все называли его не иначе, как Зубодер; собственно, у нас в предместье его только так и звали; возможно, его настоящее имя уже забылось. И теперь, когда Хромой признал его, наши перепугались, решили, от такого соседства ничего хорошего ждать не приходится. Зубодером его прозвали потому, что он носил в кармашке жилета свинцовый кастет, который в драках надевал на пальцы левой руки и точным ударом лишал противника нескольких здоровых передних зубов разом.

С этих пор все жители нашей улицы с опаской следили за тем, что происходит на старом стекольном заводе.

Некоторое время не происходило ничего, только по отремонтированной дороге несколько раз проезжала повозка, тяжело груженная то досками, то кирпичами, то старой рухлядью, в которую была впряжена тощая кляча, а на козлах повозки сидел один из тех чужаков.

Кроме того, женщины нашего предместья стали иногда встречать в магазине незнакомую женщину, увядшую, замученную, сторбленную от тяжелой работы; она молча покупала продукты, а потом тащилась с полными сумками по проселочной дороге к заводу.

Видно, она жила там. Похоже, что они уже освоились на новом месте.

И вот в один прекрасный день случилось то, что, по-видимому, и должно было произойти.

В трактир «На уголке», что напротив небольшого сахароваренного завода, каждый вечер сходились завсегдатаи и засиживались там за пивом и картами до поздней ночи, пока хозяин Пенкава не желал им спокойной ночи.

Иногда и я заходил туда с друзьями — посидеть и поболтать; у нас тогда только начали пробиваться усы, но нам хотелось хоть чем-то походить на взрослых. Да, собственно, нам больше некуда было идти: трактир «На уголке» был единственным местом во всей округе, где кипела жизнь.

По воле случая мы в тот вечер сидели там, прихлебывая пиво, когда из сгущающихся сумерек в освещенный пивной зал вошли те двое чужаков, сумрачные, как надвигающаяся ночь.

Они остановились у порога, огляделись, потом решительно пересекли зал и сели за свободный столик в углу.

Зал затих, все замолчали и с опаской следили за вошедшими, правда, тут же опомнились и продолжали играть в карты и разговаривать так, будто ничего не случилось.

Никто из нас не знал, кто из них Зубодер. Они были похожи, как две капли воды: черноволосые, с лохматыми сросшимися бровями над темными мрачно сверкающими глазами. Один, правда, казался постарше — он был более худощав, сильнее сутулился, у него серебрились виски.

Они заказали ром и пиво; сидели молча, смотрели прямо перед собой, будто не замечали окружающих; впрочем, вид у них был тихий — воды не замутят.

Словом, все шло своим чередом. Казалось, они, идучи мимо, заглянули на минутку отдохнуть после трудового дня. Так они появились в трактире впервые.

Вскоре никто из присутствующих уже не обращал на них внимания, гомти шумели, распавшиеся картежники громко выражали свои восторги и огорчения. Напротив тех двоих сидел Хромой со своей компанией; они играли в «дурака» по мелочи, но страсти у них бушевали: они вскакивали со стульев, размахивали руками, шумели. Было смешно смотреть, в какой азарт впадали степенные папаша. Видно, это помогало им избавиться на время от повседневных забот, освободиться от гнетущих чувств.

Трактирщик Пенкава в замызганном фартуке сновал между столами. Стоило гостю опустошить кружку, как он тотчас же приносил полную, с большой шапкой пены. Он пекся о завсегдагах с такой подчеркнутой обходительностью, словно это доставляло ему особое удовольствие. Что тут удивительного, ведь завсегдагаи оставляли здесь значительную часть своего заработка; нередко в день получки они с работы первым делом шли к Пенкаве — расплатиться с накопившимися долгами, а домой несли только то, что оставалось. семье приходилось существовать на эти остатки.

.. Казалось, что те двое тихо-мирно выпьют свое пиво и уйдут восвояси, когда один из них, тот, что постарше, вдруг встал, быстро пересек зал и подошел к столу, за которым резались в карты.

Хромой, который с явным удовольствием сгребал свой выигрыш, вдруг услышал за спиной громкий, хриловатый голос, прозвучавший на весь зал:

— Разве так играют? Это же игра для мальчишек младших классов, чтобы считать не разучились...

Хромой сделал вид, что не слышит, и продолжал сдавать карты.

— Кто из вас играет в ферблан? — продолжал черноволосый. — Пошли, сыграем партию.

Молчание. Игру он предложил самую азартную.

Хромой сначала сдал карты, потом проверил, не переложил ли кому лишнюю, торжественно открыл козыря, ловко выложил на него колоду и лишь тогда мимоходом бросил через плечо:

— Конечно, играем. Но с тобой играть не хотим.

Черноволосый сгорбился еще больше, он так съежился, будто у него подкосились колени: такого ответа он не ожидал.

— Почему? — удивился он. — Что ты имеешь против меня?

— Ничего, — с ледяным спокойствием ответил Хромой. — Просто потому, что ты Зубодер.

Зубодер растерялся, но не выглядел оскорбленным: между сросшимися бровями пролегла морщина, похожая на незаживший шрам.

— Смотрите-ка, — пробормотал он как бы про себя. — Ну и дела. Вы что, не знаете, что нам надо держаться заодно...

Не знаю, что он хотел этим сказать. Может быть, то, что во время оккупации, когда фашисты угрожали каждому смертью или концлагерем, всем нам следовало держаться заодно и не подвергать себя опасности понапрасну. Если он это хотел сказать, он был прав; возможно, у него был за плечами опыт, которого у нас не было.

— Вот мы и держимся заодно, — отрезал один из игроков и ударил картой по столу. — А ты к нам не лезь.

— Что я такого сказал, — спокойно оправдывался Зубодер, но голос его от волнения дрогнул. — Сказал только, что мы могли бы сыграть партию...

— Вот и играй с братом, — ответили ему.

Похоже было, что Зубодер благоразумно уступит и уйдет восвояси. Но тут поднялся его брат и нетвердым шагом — видно, успел хватить лишку — направился к нам, остановился около Хромого, склонился над столом и, брызгая ему в лицо слюной, произнес:

— Сидишь тут и ничего не знаешь, а на людей кидаться, если б тебе рассказать, что пришлось пережить нам, наделал бы в штаны со страху...

— Если перепил, сядь и помолчи, — все так же сдержанно ответил Хромой.

Зубодер обхватил разбушевавшегося брата за плечи, явно не желая продолжать спор, и попытался его увести.

— Брось! — настаивал Зубодер. — Что с ними, с дураками, говорить?

Они медленно удалились в свой угол — шли, как два черных ворона, случайно прибившихся к человеческому жилищу, которых люди испугались и прогнали прочь.

Тут дорогу братьям преградил трактирщик Пенкава с пенистыми кружками пива в руках; легонько отстранив братьев, он тихо, но четко произнес:

— Успокойтесь, господа! Мы не хотим скандала. У нас здесь приличный трактир.

Эти неудачные слова задела более молодого и воинственного, и он рванулся к трактирщику, но старший удержал его и ему пришлось ограничиться руганью:

— А ты, старик, нас не учи! У нас свое, у тебя свое... Если мы захотим, так пустим тебя с твоим трактором по миру!

Слова его прозвучали угрожающе, и всем показалось, что угроза была не пустой.

Игроки оторвались от карт и уставились на братьев, стоявших в проходе между столами. Они вроде бы и избегали ссоры, а вид у них все-таки был воинственный—черт знает, что они еще выкинут.

— Что ты этим хочешь сказать?— закричал Пенкава.

Младший пьяно улыбнулся, отбросил непослушные волосы со лба и сказал с вызовом:

— А то, что мы откроем трактир и народ повалит к нам...— Помолчал немного и ехидно добавил:— И вы все тоже!— он обвел рукой всех сидящих в зале.— Прибегите как миленькие! Вы все ахнете, какой у нас будет трактир!

И с этими словами братья ушли. Не исключено, что они и явились в трактир лишь для того, чтобы объявить всем эту новость.

Вороны бросили свой дерзкий вызов и мирно убралась восвояси. Напряжение в зале, которое, казалось, грозит взрывом, спало, и ничто не предвещало никакой опасности.

Братья тихо вернулись к своему столу, сели и молча выпили еще по кружке. Потом подозвали трактирщика и расплатились.

— Заходите к нам! Будем рады вас видеть!— сказал на прощание старший, и они исчезли в непроглядной тьме.

Я представлял себе, как они бредут в темной ночи по неровной дороге к старому, еще недавно заброшенному стекольному заводу на опушке.

Две темные тени, еще более черные, чем ночь.

* * *

А через месяц в один из жарких летних дней на повороте проселочной дороги, как раз против нашего дома, появилась доска с видной издалика надписью: «Трактир у стекольного завода» и стрелкой, указывающей на опушку леса.

2

Это был не столько трактир, сколько пивная для любителей загородных прогулок, потому что неподалеку от стекольного завода в лесу был пруд, к которому летом стекались толпы горожан. Тропинка к этому пруду шла мимо старого стекольного завода, и любители купания охотно заглядывали в гостеприимный трактир на опушке.

Говорили, что вечерами там бывало весело; посетители сидели перед домом за простыми, сбитыми из досок столами; лихо играл гармонист; гости пели хором так громко, что в тихие вечера пение доносилось даже на нашу улицу. Иногда мы узнавали мелодию, реже слова.

Из нас, жителей предместья, никто туда и носа не казал, все словно сговорились, что будут обходить завод за версту. Как и прежде мы сходились поговорить и перекинуться в картишки у Пенкавы, словом — хранили верность трактиру «На уголке».

Больше всего взбудоражила наше предместье весть о том, что гостей в новом трактире обслуживают две девушки, видимо, дочери арендаторов — красивые и веселые, они очень обхаживают посетителей, особенно тех, которые не скупятся, а готовы раскошелиться.

Слухи эти вызвали у нас в предместье самые невероятные разговоры, они то подтверждали, а то и опровергали друг друга; все это крайне раздражало тех, кто не любил новых арендаторов и не одобрял подобных новшеств. Ходили и вовсе неправдоподобные слухи, будто по ночам девушки садятся к гостям на колени, чуть ли не раздеваются, открыто ласкают богатых гостей; словом, будто бы там что ни день оргии.

Трудно сказать, сколько тут было правды, скорее всего это были просто выдумки или даже наветы, ведь чего только не напридумывает человек лишь бы излить свою ненависть, а под конец так заврется, что сам поверит в свои измышления.

Мне и моим товарищам уже давно хотелось хотя бы через забор заглянуть, посмотреть, что же происходит по вечерам в «Трактире у стекольного завода». Но мы сдержи-

вали свое любопытство, не желая изменять зарок, данному жителями предместья: игнорировать события на стекольном заводе.

Стояло душное, сухое лето. После работы мы с моим другом Ярославом частенько отправлялись на пруд. Шли мы туда по узеньким межам среди хлебов, минуя стекольный завод. А то ездили туда на велосипеде. Сначала по пыльному шоссе, потом по бездорожью, по корням, по ухабам спускались к зеленой дамбе пруда.

Мы работали с Ярославом вместе на одной фабрике в другом конце города. Я выписывал наряды на сверхурочные работы в бухгалтерии, он затачивал сверла и фрезы в инструментальном цехе. Мы вместе ходили на работу и с работы, иногда по вечерам отправлялись в городской кинотеатр или в трактир «На уголке», словом, мы проводили вместе почти все свободное время и во всем доверяли друг другу.

Однажды под вечер — духота стояла как перед грозой — я пошел на пруд один, Ярослав работал в вечернюю смену. Я немного задержался дома — помог матери прибраться, просмотрел книжки, которые принес из библиотеки, так что мама сама велела скорее идти на пруд, пока не стемнело.

На блестящей поверхности пруда уже лежали тени высоких сосен, росших на его песчаных берегах. Я миновал дамбу и направился к своему любимому месту — на поросшую травой лесную полянку, затененную ветвями черной бузины.

Пруд уже опустел, только внизу у дамбы оставалась компания ребят, они брэнчали на гитаре и потихоньку пели, но вскоре и они ушли.

Я испытывал блаженство оттого, что я совершенно один здесь, что эта дышащая вечерней свежестью природа — темно-синие воды пруда, стройные стволы сосен, шумящих своими кронами. — все это для меня и только для меня.

Я сидел на поляне и наслаждался окружающим спокойствием и тишиной, когда мне вдруг послышался поблизости тихий шелест, словно кто-то, легко ступая, прошел по траве. Вода подернулась рябью, от берега побежали большие круги, и кто-то беззвучно вынырнул на поверхность воды и поплыл на середину пруда.

Я мигом сбросил одежду, прыгнул в воду и поплыл за незнакомым пловцом. Меня обуяло любопытство, хотелось во что бы то ни стало узнать, кто скрывался за густой стеной кустарника рядом.

Незнакомый пловец оказался женщиной. Ее белая купальная шапочка то и дело выскакивала из воды.

Незнакомка плыла к острову. Я устремился за ней. Она заметила меня и поплыла быстрее, стараясь уйти от преследования. Я почти догнал ее: казалось, протяни только руку — и я ее коснусь. Но в эту самую минуту она прибавила темп и стала быстро удаляться от меня. Неожиданно она перевернулась на спину и ожала меня глазами: я понял, что она сердится.

— Ты чего за мной увязался?

— Можно подумать, что этот пруд твой, — защищался я.

Мы вышли на берег поросшего лесом островка, из песка торчали вымытые волнами причудливо переплетенные корни деревьев.

Когда она вышла из воды, я заметил, что она высокая, со стройными длинными ногами, изящная. Мокрый купальник так плотно облегал ее, что она казалась голой.

Запыхавшись от быстрого плавания, мы сели поодаль друг от друга на обнаженные корни деревьев, погрузив ноги в теплый влажный песок.

Я смотрел на нее чуть сбоку, у нее были тонкие, правильные черты лица, прямой носик, красиво очерченные чуть полноватые губы, но прежде всего обращали на себя внимание большие темные глаза, которые казались особенно огромными потому, что волосы ее были спрятаны под купальной шапочкой, что делало лицо меньше.

— Я хожу сюда каждый вечер, но вас здесь никогда не видел, — попытался я завязать разговор.

Она молчала, водила по песку красивой ногой, пересыпала его с ноги на ногу, белые песчинки прилипали к ее смуглой коже.

Вскоре она повернулась ко мне и обратила свой взгляд на меня, я не разглядел тогда цвета ее глаз, они показались мне зелеными, даже темно-зелеными, может быть, в них отразились деревья и вечер, а может быть, цвет их менялся.

— Я тебя не знаю,— мягко сказала она без тени раздражения.— Да и не могу знать — я здесь впервые...

— Давай познакомимся,— предложил я.— Меня зовут Ян.

Я встал и направился к ней по песку.

Она тут же вскочила, стремглав бросилась в воду, и прежде чем я успел опомниться, она уже была на середине пруда.

Я кинулся в воду, поплыл, пытаюсь ее догнать, что оказалось вовсе не легко, но она великодушно подождала меня, и мы поплыли рядом.

— Меня зовут Виола,— раздался среди всплесков воды ее голос, и глаза ее приветливо засветились.

— Откуда ты?— допытывался я.— Где живешь?

Она прибавила темп, так что я опять едва не отстал, потом перевернулась на спину — над водой виднелось лишь ее лицо, стройное тело почти целиком скрывала вода, казалось, оно закрыто прозрачным покрывалом. Когда я догнал ее, она строптиво заявила:

— Этого я тебе не скажу.

Выходя из воды, она запуталась в прибрежных водорослях и чуть не упала. Я вовремя подхватил ее, помог выпутаться из водорослей; так, держась за руки, мы вскарабкались по крутому берегу к месту, где лежали ее вещи.

Какое-то мгновение мы стояли друг против друга. Она была почти одного роста со мной, но казалась худенькой и хрупкой. Она была так близко в этом купальнике, который ничего не скрывал, что стоило протянуть руку — и я прижал бы ее к себе, обнял бы; какое имеет значение, что мы оба насквозь мокрые, если вокруг нас нет никого, если мы одни в лесу в этот чудесный вечер; у меня закружилась голова.

— Сколько тебе лет?— спросила она.

— Девятнадцать. Скоро будет двадцать.

— Где работаешь?— поинтересовалась она.

— В бухгалтерии. Помощником бухгалтера,— неохотно отвечал я.

— Ты что ж, собираешься стать чинушей?

— Может быть.

Я все еще сжимал ее руку в своей, она не отнимала ее, казалось, что так и должно быть и по-другому быть не может.

— Подожди!— вдруг сказала она строгим голосом.

Высвободив руку, она отступила назад и стянула с головы белую резиновую шапочку.

Чудесные, блестящие как золото волосы упали ей на плечи, и я не смог скрыть своего восторга; она вся преобразилась. Она предстала предо мной принцессой Златовлаской, красивее которой не бывает; ее медные волосы светились в сгущающихся сумерках мягким золотистым светом; тут я разглядел, что глаза у нее ярко-зеленые, мшисто-зеленые, как бездонная глубь горного озера.

— Что ты так на меня уставился?—спросила она не слишком любезно.— Не видал, что ли, рыжих девчонок?

— Какая ты красивая! — выдохнул я.— А волосы какие!

— Да брось ты!— засмеялась она, глядя мне в глаза.— Все так говорят, когда им что-нибудь от меня надо...

— Мне от тебя ничего не надо,— обиделся я.— Я только сказал, что ты красивая.

Она погладила меня мокрой рукой по щеке, словно успокаивала ребенка.

— А теперь отойди в сторонку,— попросила она.— Мне нужно переодеться.

Я отошел.

— И не оглядывайся! — крикнула она мне вслед.

Я пробрался через кусты к полянке, где оставил свои вещи. Конечно, я оглянулся, и не один раз, но в переплетениях ветвей мелькнули лишь ее спина, узкие плечи и округлые бедра, больше я ничего не разглядел; ее тело светилось в вечерних сумерках и словно звало меня: вернись!

Я снял плавки, поспешно натянул на мокрое тело брюки и рубашку, выжал воду из плавков и стал ждать. Ждать пришлось долго. Я даже подумал: уж не обманула ли она меня — сама ушла, а меня оставила тут.

Но вдруг она вынырнула из темной гущи ветвей и остановилась передо мной одетая и причесанная, в легком цветастом платье, удивительно оттенявшем ее загорелую кожу и золотистые волосы. От нее исходил аромат, легкий, едва ощутимый сладковатый аромат, напоминающий запах меда или луга после дождя.

Когда мы шли по дамбе, пруд уже почти сливался с темной стеной леса; выделялась лишь белая песчаная полоса берега, островок терялся в сумеречной дали.

— Я рад, что встретил тебя,— сказал я.

— Ну и что?— досадливо ответила моя спутница.

Она шла рядом легкой и пружинистой походкой, ноги в белых теннисных тапочках ловко обходили камни, вынесенные на дорогу весенним паводком.

— Я подумал, может, мы тут еще когда встретимся,— подумал я вслух.

— Зачем тебе это надо?

— Мне всегда хотелось иметь такую девушку, как ты,— не сробел я.

— Из этого ничего не получится,— отозвалась она чуть погодя.— У меня нет времени для таких знакомств.

Меня задел ее ответ, мне хотелось знать, чем он вызван; я не отступался и продолжал докучать ей вопросами. Но чем дальше, тем больше она замыкалась в себе; она играла роль загадочной незнакомки, явившейся мне в один прекрасный летний вечер в облике сказочной золотоволосой красавицы Златовласки.

— Слишком много ты хочешь знать,— упрекнула она меня.

— Я тебе ответил на все твои вопросы.

— Но я просто хотела знать, кто ты.

— А теперь расскажи мне о себе.

— Ты слишком любопытный,— отрезала она.

Мы приближались к опушке леса; на светлом горизонте выделялось длинное каменное строение бывшего стеклозавода. Я полагал, что мы минуем его, спустимся по склону к городу и я провожу ее до конечной остановки трамвая. Но вдруг она сказала:

— Незачем, чтобы нас видели вместе.

В «Трактире у стеклозавода» играла гармошка, нестройное пение нарушало тишину сумрачного леса.

Она подошла ко мне, взяла за руку и шепнула:

— Поцелуй меня.

В одной руке я держал мокрые плавки и поэтому не смог обнять ее. Обхватив ее другой рукой, я крепко прижал ее к себе, она покорно положила голову мне на грудь, и я как во сне прильнул к ее мягким губам.

— Ты не умеешь целоваться,— отстранилась она от меня.— Давай я сама тебя поцелую.

Ее влажные губы припали к моим губам долгим поцелуем. Земля закачалась у меня под ногами, и деревья на опушке леса закружились над нами. И снова меня одурманил аромат меда.

— В следующее наше свидание я научу тебя, как надо целоваться,— сказала она.— А теперь пусти, мне пора...

— Когда мы увидимся?

Она вырвалась из моих объятий.

— Скоро,— пообещала она.— Раньше, чем ты думаешь.

Я стоял на темной опушке пьяный от ее страстного поцелуя.

На поля спустилась темнота, непроницаемый туман пеленой покрыл землю; тихая летняя ночь окутала город, едва различимый вдали.

Я смотрел, как она идет по песчаной тропинке к стекольному заводу, как мелькает ее светлое платье на темном фоне забора, но вот она остановилась и исчезла.

Мне послышалось, как со скрипом захлопнулась за ней невидимая калитка.

3

Хотя погода сразу же испортилась, шел бесконечный дождь, дул порывистый северный ветер, я каждый вечер ходил на пруд, ждал свою Златовласку. Но она не появлялась. Напрасно прохаживался я по дамбе, заглядывал в те места, где мы были вместе; видно, она и думать забыла о своем обещании увидеться со мной.

Поверхность пруда рябили мелкие волны, ветер шумел в ветвях сосен, шуршал в кустах; песчаные берега пустовали, в такую погоду купальщикам не приходило в голову ходить на пруд.

Я ждал Златовласку, упорствуя в своих надеждах. В мечтах я представлял, как было бы нам хорошо здесь: и пруд, и все рощи, ложбины и поляны принадлежали бы нам, и ничего, что так похолодало, нам было бы тепло.

Домой я возвращался мрачный и ко всему равнодушный: мне не хотелось читать, я ни на чем не мог сосредоточиться. Мама озабоченно спрашивала, что со мной происходит, говорила, что я осунулся, притих и побледнел. Но я чувствовал себя неплохо, просто меня пожирала тоска, одолевали лихорадочные, бесцельные желания.

Чем дальше, тем сильнее мучили меня эти чувства. Я мысленно повторял себе, что сказал бы я Златовласке, о чем бы спросил, представлял себе, как я взял бы ее за руку, как притянул бы к себе, как смотрел ей в глаза, пытаюсь разгадать, что таится в их зеленых глубинах.

Наступило воскресенье, дождливое, ветреное воскресенье, и я не знал, куда девать себя.

Воскресные дни проходили в нашем предместье нудно: особых развлечений у нас не было. Мы с товарищами шатались по улицам, стояли на углах, заигрывали с девушками, попадавшимися нам на пути, вышучивали наших сверстников, которые встречались постоянно с одними и теми же девушками. Что удивительного, что мы шатались гурьбой по всему предместью, приставали к прохожим, дурачились, громко хохотали — нам хотелось веселиться, веселиться во что бы то ни стало.

Когда Ярослав свистнул под моим окном, мне не хотелось никуда идти; лучше посидеть дома, побыть наедине со своими мыслями, чем болтаться по воскресным улицам. Но Ярослав не отступался: он ходил у меня под окнами и свистел до тех пор, пока я не выдержал и не высунулся из дома: решил сказать ему, что я занемог и чтобы он шел гулять без меня.

— Да брось ты, — не захотел он слушать моих объяснений. — Еще чего вздумал — валяться дома. Я купил билеты на футбол. Схватка будет первый класс... Наши играют с северянами.

Это означало, что на нашем футбольном поле состоится захватывающий матч между командами южного и северного предместьев. Матч между этими командами всегда носил острый характер и нередко заканчивался рукопашной, в которую включались даже зрители.

Не так уж мне хотелось идти на матч, но во взгляде Ярослава было столько обиды, что я не устоял, взял дождевик, и мы вместе поспешили на футбол.

Футбольное поле нашего клуба располагалось на пустыре между сахароваренным заводом и кварталом старых жилых домов. Со стороны улицы оно было огорожено забором, сзади оградой служили густые заросли терновника, шиповника, боярышника и бог знает еще каких кустов; за ними поднималась железнодорожная насыпь, по которой сновали маневровые паровозы, тянувшие за собой бесконечные цепи грузовых вагонов.

Когда мы пришли, около поля толпилось множество народу, больше всего людей скопилось у входа, нам едва удалось протиснуться туда, где можно было хоть что-то видеть. Приблизительно за метр от поля поставили наспех сколоченные из длинных шестов перила, чтобы зрители во время игры не мешали игрокам. Во время матча болельщики бесцеремонно окликали игроков, то бранили их, то давали им мудрые советы, а то и швыряли в них бумажными стаканчиками от пива, продававшегося у входа в деревянном киоске. Короче, зрители развлекались с куда большим увлечением, чем футболисты гоняли мяч.

Не переставая шел густой, мелкий дождь; игроки в застиранных, выцветших рубашках вмиг вымокли — заляпанные с головы до пят грязью, они походили на пугала. Игра с самого начала шла в полную силу, каждая из сторон хотела показать, на что она способна, схватка шла яростная. Добиваясь преимущества любой ценой, игроки были готовы уничтожить противника на месте, болельщики чувствовали это и громко поддерживали игроков своей команды, я переживал с ними волнующие минуты игры.

Среди запыхавшихся игроков носился плешивый судья в черном и яростно свистел в свисток, но никто не обращал на него внимания: чаще всего игроки продолжали играть, несмотря на сигналы судьи.

Ярослав вовсю болел за наш клуб, он злился и переживал, когда у наших игроков что-нибудь шло не так, он дружно свистел вместе с другими болельщиками, кричал вместе с ними «судью на мыло!» с такой силой, что у меня закладывало уши.

Забрызганные грязью игроки бешено носились по полю, сбивали друг друга с ног, дрались, их форма была такая грязная, что с трудом можно было угадать, кто из какого клуба.

И как же мы ликовали, когда за минуту до конца матча нашим удалось наконец забить мяч в ворота противника! Это был единственный гол за весь матч, который судья поначалу не хотел засчитывать, но под напором размахивающих кулаками зрителей уступил. Тут уж зрители не выдержали: сломав шаткие перила они бросились на поле; в такой неразберихе продолжать игру было невозможно; судейский свисток возвестил об окончании игры, и с трудом завоеванная победа осталась за нами.

Между тем дождь перестал, выглянуло солнце, но для лета день оставался удивительно холодным.

Зрители расходились по домам, болельщики нашего клуба были в восторге от острых воскресных переживаний. Меня в отличие от моего друга Ярослава игранисколько не волновала, рядом с ним я, занятый своими невеселыми мыслями, выглядел безучастным наблюдателем.

В толпе, сгрудившейся у узкого выхода с поля, нас заметили наши ребята, они протиснулись к нам и с вызовом предложили:

— А что если отметить победу в «Трактире у стеклозавода»?

— Почему там?— удивился Ярослав.

— А почему бы и нет? Этот трактир ведь тоже в нашем предместье,— ответили ребята.— И потом там всегда весело.

Я словно ожил, но мне все еще не верилось, что наше предместье примирилось с «Трактиром у стеклозавода», признало его, хотя это действительно было так. Все словно давно сговорились и теперь без лишних разговоров гурьбой направились к стекольному заводу праздновать победу.

— Пошли и мы,— предложил я Ярославу.— По крайней мере сами убедимся, сколько правды в этой болтовне...

И так мы беспорядочной толпой двинулись с футбольного поля сначала по нашей улице, потом по проселочной дороге к лесу; казалось, мы идем на штурм крепости.

К нам присоединилось довольно много людей, так что я даже стал опасаться, вместит ли нас всех трактир. День был прохладный, перед трактиром никого не было, деревянные столы, мокрые от дождя, поблескивали в лучах солнца. Поскольку все мы были тепло одеты по погоде, мы с ходу двинулись к столам, расселись по мокрым скамейкам и заняли все до последнего места.

Вскоре к нам вышел Зубодер, по крайней мере мне показалось, что это он; несомненно, он сильно изменился с тех пор, что я видел его в трактире «На уголке». У него был вид зажиточного, солидного человека, круглое, налитое пивом брюшко торчало из-под короткой жилетки, в углу рта — виргинская сигара. Он походил скорее на хозяина карусели или бродячего цирка, чем на владельца загородного трактира. Любезно улыбаясь и учтиво кланяясь, он говорил:

— Приветствую вас, господа! Мы рады гостям...

Он понял, что наше предместье пришло заключить с ним перемирие, и был сама любезность и услужливость; быстро переходя от стола к столу, он принимал заказы, и вот уже зазвенели кружки, и послышался веселый многоголосый гомон — совсем как в трактире «На уголке». Бедный трактирщик Пенкава! Вот бы удивился он, узнав, как вероломно изменили ему его постоянные клиенты, как легко нарушили свой зарок.

Когда Зубодер всех обслужил, появился второй, с гармоникой; он принес с собой табурет, подсел к нам и заиграл. Да, скажу я вам, играть он умел: то играл бодро и энергично, порой до того трогательно и печально, что слезы подступали к глазам, и снова наяривал так, что дух захватывало. Хриплые, надорванные на футболе голоса нарушали тишину старого стекольного завода и доносились до нашей улицы.

Выпей, братец, выпей,
Ведь это — не вода,
Может быть, не встретимся
Вольше никогда.

Вдруг в дверях промелькнула женская фигура и тут же скрылась: по-видимому, женщина высунулась поглядеть, что делается за столами, а как увидела, что в трактир пришло столько незнакомых гостей, ушла причесаться или там приодеться, чтобы показаться в наилучшем виде. Когда она вышла из дома, я увидел, что это не моя Златовласка; она была немного старше, полнее, черные, как уголь, волосы, высокая, стройная.

Когда она, собирая кружки и тарелки, шла между столами, тесно сидящие на лавках мужчины пожирали глазами ее фигуру в голубом свитере и шерстяной юбке, а кое-кто даже нахально тянул к ней руки, но она умело уклонялась, как бы вообще не замечая их приставаний.

— Эмча,— кричал ей Зубодер.— Еще три порции гуляша! И два рома в конец стола!

Эмча попевала повсюду, она обслуживала нетерпеливых гостей, подпевала им, и несомненно оживляла мужскую компанию.

— Вот это да!— с видом знатока произнес Ярослав.— Ты только посмотри, какая походка...

Она на минуту задержалась около нас и с улыбкой спросила:

— Чего желают юные господа? Что вам дать, чтобы согреться?

— Ром,— произнес я уверенно.— Два рома!

Она приняла заказ и поспешила к дому.

— С ума ты сошел? — набросился на меня Ярослав.— С каких это пор, интересно, ты пьешь ром?

— Не бойся, плачу я,— успокоил я его.

Я дождался, когда она принесет нам ром, и тотчас же огорошил ее вопросом:

— Скажите, у вас, случайно, нет сестры?

— Случайно, есть,— улыбнулась она.— Вы ее знаете?

— А нельзя ли с ней поговорить?

Она удивленно посмотрела на меня, будто не поняла моего вопроса, хотя в нем вроде бы не было ничего непонятного.

— Нет, нельзя,— строго ответила она.— Она больна.

— Передайте ей, что здесь Ян,— с трудом выдавил я из себя.— Она меня знает.

— Скажи пожалуйста! — удивился Ярослав.— С каких это пор у тебя такие знакомства?

Я промолчал.

Не успел я допить свой ром, как Эмча снова подошла к нам, доверительно склонилась ко мне и прошептала:

— Я все ей передала. Она шлет вам привет, говорят, чтобы вы снова пришли сюда...— И спросила:— Принести еще рома?

— Нет, спасибо, больше не надо,— отказался я.— Буду платить.

Остальные тоже расплачивались и собирались уходить, дело шло к вечеру, сильно похолодало. Только несколько подгулявших гостей еще пели под гармонику, но и они вскоре перешли в дом — неприветливое каменное строение, где его владельцы оборудовали небольшой зал для гостей.

Мы с Ярославом возвращались домой по проселочной дороге.

— Ты не говорил мне, что знаком с сестрой Эмчи,— начал Ярослав.— Она что, красивая, как и эта?— спросил он.

— Я встретил ее однажды вечером у пруда. Я там купался, и мы вместе плавали на островок,— признался я.— Красивая ли она? По-моему, да. Такая худенькая, светловолосая...

— Везет же тебе,— позавидовал Ярослав.— Купаться вечером с такой девушкой...

— А может быть, ничего этого и не было,— сказал я печально.— Что, если все это я выдумал...

Он недоуменно взглянул на меня.

— Тогда почему же ты просил передать ей, что ты здесь? Или это была шутка?
 — Вот именно,— ответил я.— Может быть, это была вовсе не сестра ее. Может быть, это совсем другая девушка.

Но в душе я был твердо уверен, что это она.

4

С неделю я выдерживал характер и не выходил из дома. Я убеждал себя забыть о стекольном заводе и о встрече с золотоволосой феей у пруда.

Однажды вечером к нам заглянул наш сосед — Хромой.

— А ваш сын ходит в «Трактир у стекольного завода». Тоже клюнул на тамошних девушек...

— Мы пошли туда с футбола,— защищался я.— Пошли всем скопом отпраздновать победу...

— Это мне известно,— кивнул седой головой Хромой.— Но известно и то, что Зубодер умеет потрафлять людям...

Мать молчала, глядела на меня с упреком.

Хромой бесцеремонно, как у себя дома, уселся за кухонный стол, достал из портсигара самокрутку, закурил и, хотя никто ни о чем его не спрашивал, начал рассказывать нам о Зубодере.

— Это удивительный человек,— сказал он.— Сам черт в нем не разберется...

Хромой, то и дело отвлекаясь, рассказывал, как они вместе с Зубодером ходили в школу, каким уважением тот пользовался среди одноклассников, как одни его боялись, а другие им восхищались, потому что он умел драться лучше всех, мог побить кого угодно, ни перед кем не отступал. Улица воспитала его по своим законам, и жизнь научила надеяться только на себя, на свою силу. Когда Зубодер окончил школу, он выучился на нашей фабрике ремеслу жестянщика...

Видно, в молодости им многое довелось пережить вместе — и хорошее и плохое, как часто случается в жизни.

— Если трезво рассудить, так он был парень порядочный и товарищ хороший. Только уж очень печальный...

Рассказ Хромого нас заинтересовал, мы подсели к нему поближе, стали молча слушать.

— Его зовут Рейсек, Штепан Рейсек,— повествовал нам Хромой.— Зубодером его прозвали после драки в Народном доме. Не помню точно из-за чего она началась, скорее всего из-за девушки, драки всегда начинаются из-за девушек. Ни с того ни с сего кто-то что-то брякнул — и пошло-поехало. Как сейчас вижу, он стоит под сценой, на которой сидит деревенский духовой оркестр, и колошматит своих противников почем зря. С ним никто не мог сладить, не было ему равного, все его боялись. И теперь, когда я вспоминаю его после столько лет, прежде всего мне помнятся удивительно печальные глаза, да и весь он был какой-то печальный. Как сейчас вижу — вот он стоит в углу зала, пригнулся, вид настороженный — жалость берет на него смотреть. Да, так вот, на чем я остановился, потом началась настоящая свалка, все местные задиры набросились на него, он отчаянно отбивался, лупил направо и налево, но видно было, что положение у него безнадежное. Духовой оркестр продолжал играть, но никто не танцевал: женщины с визгом разбежались, затем появились двое полицейских, они пытались его арестовать. Зубодер на них закричал — они на него с дубинками, тут он вытащил кастет и проложил себе путь. Трех или четверых так долбанул, что до смерти будут помнить о нем. Одним из них был полицейский.. Тогда ему удалось убежать, но потом его все равно арестовали и бросили в тюрьму; он там хлебнул, будь здоров. А после тюрьмы к нам в предместье уже не вернулся.

— Верно, его сильно обидели, раз он так дрался? — спросил я.

— Почему я знаю,— ответил Хромой.— Может, и так дело было, а может, и не так. После столько-то лет как рассудишь...

Он курил сигарету за сигаретой, продымил всю кухню насквозь, ему было приятно, что он сумел рассказать эту историю. Среди наших только он один был знаком с Зубодером еще с детства, поэтому он и знал о нем то, чего никто другой не знал.

— Потом он вроде бы жил где-то в Моравии, там его, кажется, опять арестовали, но не из-за драки, а на этот раз за забастовку. Он, видно, по натуре был бунтовщик, не мог жить спокойно. Знаете, есть люди, которые умеют держаться по-дальше от неприятностей, а есть и такие, как Зубодер, которым до всего дело.

В нашей кухне было так накурено, что мама встала и открыла окно.

— Ходили слухи, что Зубодер женился в Моравии, получил за женой в приданое дом и небольшое поле, что у него родились две дочери. Наверно, он мог бы и сейчас там жить в благополучии: земли у него для этого хватало. Но тогда бы это был уже не Зубодер — ему вечно на месте не сиделось. Вот он продал все и переселился с семьей под Литомержицы. На деньги, вырученные от продажи дома, открыл лавочку с закуской, или, вернее сказать, пивной. Парень он оборотистый, работящий, так что он скоро встал на ноги и зажил вполне прилично.

— А откуда вы все это знаете? — не слишком вежливо перебил я его.

— Так получилось, что знаю, — ответил он раздраженно. — Помни, парень, ничего в жизни не утаишь. Всегда один человек одну вещь принесет, другой — другую, а сложишь их — и перед тобой вся картина целиком. В конце концов все всегда выходит наружу!

Казалось, долгий рассказ утомил Хромого, голос его звучал уже не так бодро, как вначале.

— Почему же он не остался в Литомержицах, если ему там было хорошо? Почему он вернулся сюда? — спросила Хромого мама.

— Там кругом жили немцы, — ответил Хромой. — Так что когда пришли нацисты, надо было выбирать: либо объявить себя немцем, либо бросить все и спастись. Поскольку они его уже знали, то, не спрашивая ни о чем, разнесли в лух и в прах его пивную, а потом подожгли, так что остались одни обгоревшие стены.

— Вот напасть-то свалилась на человека, — вздохнула мама.

— Но и он в долгу не остался: размозжил нескольким скотам морды кастетом.

— И поделом, — заметил я.

— Ему в последнюю минуту удалось удрать, но он и его семья всего лишьлись, вот и приехали сюда, к его брату, у того было накоплено немного деньжишек. А потом... что было потом, вы сами знаете: они арендовали стекольный завод у леса. Разрешение вроде бы получил его брат, а Зубодер у него числится подручным рабочим. Само собой, они так все оформили из опасения, если вдруг всплывут его дела в Пограничье.

— Все, что вы нам рассказали, — опять прервал я его, — вовсе не говорит о том, что он плохой человек.

— А я ничего такого и не говорил, — чуть не набросился на меня Хромой. — Я только сказал, что он чудной и что людям с ним не по себе, потому что больно он смурной.

— Как не быть смурным при такой-то жизни, — сказала мама.

— Тогда почему же вы не хотели играть с ним в карты «На уголке»? — неожиданно вспомнил я.

— А так, не хотел, да и только, — ответил Хромой. — Уж больно он заносился. И вдобавок еще всех нас обыграл бы...

— Ладно, какой есть, такой есть, а ты к нему в трактир не ходи, — наказала мне мама.

Хромой продолжал сидеть за столом, будто и не собирался уходить. Мама предложила ему кофе с молоком, но он отказался, пробурчав, что пьет только пиво. Чувствовалось, что ему хочется еще что-то сказать, но похоже было, что я ему мешаю. Потом он постучал по своему портсигару, беспокойно заерзал, поднялся и, не попрощавшись, ушел.

В кухне остался неприятный едкий запах его самодельных сигарет.

И снова пришел воскресный день, только на этот раз теплый, ясный; сверкало яркое солнце; намокшие хлеба на полях наливались, зеленый лес на горизонте звал к себе. Купаться было невозможно, вода в пруду нагреется не раньше чем через два-три дня. Мы с Ярославом бродили по лесу, по дамбе, гуляли по берегу пруда, отдыхали и делились мыслями. Когда я спрашивал себя, почему мы сблизились с Ярославом, мне вспоминался один морозный воскресный день, когда мы еще мальчишками съезжали по замерзшему стоку воды в заброшенную каменоломню ниже пруда. Один за другим пытались мы скатиться по стоку на занесенный снегом луг. После нескольких дней оттепели опять пришли сильные морозы, и сток, по которому спускали воду из пруда, покрылся ледяными буграми и колдобинами. Раньше мы беспрепятственно съезжали по гладкому стоку на луг, теперь же смельчаков относил в березняк. Поэтому не счесть было поломанных санок, синяков, ссадин и царапин.

Упорнее всех оказался Ярослав; он, видно, хотел доказать, что он хладнокровнее и искуснее нас. Два или три раза его попытки оканчивались плачевно: бугристый ледяной сток неизменно уносил его в березовую рощу; он полз наверх весь в ссадинах, волоча за собой поломанные санки. Но не отступался. Прерывисто дыша, он предложил мне:

— Поехали вдвоем. Санки станут тяжелее. Давай попробуем вместе.

Я колебался. Мне его упорство казалось ненужным, сумасбродным. Но когда я увидел, как сильно ему хочется добиться своего, я поборол страх и согласился.

— Вдвоем мы поедем еще быстрее,— попытался я поколебать его решимость.

— Именно на это я и рассчитываю,— широко улыбнулся он.— Промелькнем, как молния. Только огненная полоса останется.

Мы уселись на маленькие узкие санки, тесно прижавшись друг к другу, Ярослав впереди, я за ним, оба откинулись, Ярослав лег, вытянул ноги, я уперся ногами в полозья. И тут я струсил. Хотел было уже слезть с санок, но Ярослав повернулся ко мне и крикнул:

— Не робей! Съедем нормально!

Нас легонько подтолкнули, и вот мы, уже преодолев пологую часть горки, стали набирать скорость. Санки мчались вниз, то и дело подскакивая и жестко приземляясь. Один бугор следовал за другим, вверх — вниз, за каждым скачком санок — новая опасность. Нас было отбросило в густой березняк, но Ярослав вовремя выровнял санки, мастерски направил их по крутому косоугору в сторону от берез. Пролетели мы сток и мимо низкого молодняка слетели прямо на заснеженный луг; последний бугор, подскок — и мы остановились посреди луга в снежном сугробе, который нагребли своими же санками. Наверху, на горе, радостно кричат мальчишки, они прыгают и восторженно машут нам руками; их победоносное «ура» разносится над заснеженным лесом и замирает над замерзшим прудом.

— Вот видишь,— радостно сказал Ярослав; мы все еще не могли прийти в себя, продолжали сидеть на санках.— Я же тебе говорил, что съедем нормально.

С тех пор мы так подружились, что всегда и повсюду ходили вместе. Я ценил его спокойствие и настойчивость; он был мне предан и обращался ко мне со всеми сомнениями как к старшему и более опытному. Так крепла наша дружба, в которой мы черпали уверенность, столь необходимую в мрачные дни протектората.

* * *

Мы с Ярославом бесцельно бродили по лесу и коротали время в размышлениях и мечтах.

— Мне бы не хотелось, чтобы моя девушка была из нашего предместья,— делился он со мной.— Все девчонки тут раскулемы.

— Ты не прав,— не соглашался я.— Ты их мало знаешь. Может, они стесняются нас.

— Мне бы хотелось, чтобы все мне завидовало, когда я иду по нашей улице

со своей девчонкой, чтобы говорили: «И где это Ярда такую красотку отхватил?» — и чтобы все на нее смотрели...

— Ну и что, это не исключено.

— Сейчас на это особых надежд нет, — трезво рассуждал он. — А кончится война — заработаю денег, куплю мотоцикла... Вот увидишь тогда, какую я себе красавицу оторву.

— Одним мотоциклом ничего не добьешься, — пытался я его убедить.

Он усмехнулся:

— Сразу видно, что ты не знаешь жизни. На мотоцикл каждая клянет... Едва на нее пахнет бензином — и она твоя...

— И что толку, если она будет с тобой только из-за мотоцикла?

Он и тут нашелся:

— Она постепенно привыкнет ко мне и полюбит.

Я очень хотел, чтобы у него как можно скорее появились мотоцикл и девушка. Но пока на это не было никаких надежд — все, что зарабатывал на фабрике, он отдавал семье, у него было слишком много братьев и сестер в основном мо-доже его.

Мы дошли до опушки, яркие лучи закатного солнца слепили глаза. Неподалеку темнели каменные строения стекольного завода; совсем темные на закате, они выглядели нагромождением низких, старых, никому не нужных стен.

— А как твоя красавица со стекольного завода? — спросил Ярослав.

— Не знаю, — ответил я. — Я с тех пор ее не видел.

— Давай заглянем туда, — предложил он.

— Что-то не хочется, — отказался я.

Было еще рано, мы долго слонялись по предместью, пока не натолкнулись на ребят, которые тоже не знали, чем заняться.

Пошли бродить вместе. Мы торчали на углах, следили за всем, что происходит на улице: кто куда идет, кто вышел из дома, а кто зашел в дом, зашурывали с девушками и вышучивали взрослых.

Я уже собирался бросить эту компанию и идти домой, как вдруг один из них увидел новую жертву — девушку, которая, не подозревая ничего плохого, шла нам навстречу.

— Эта нам еще не попадалась, — оживились они. — Посмотрим, что за птичка.

Я не обратил на их слова внимания, распрощался с ними и пошел восвояси, как вдруг услышал за спиной:

— Девушка, вы что-то обронили! Смотрите, потеряете!

Я обернулся и остолбенел. Это была Виола.

— А ну кончайте! — закричал я. — Чур эту девушку не трогать!

Я вмешался вовремя, потому что ребята уже настроились на обычный развязный лад.

— Как я рад, что снова вижу тебя, — сказал я, даже не поздоровавшись.

Виола была смущена и не понимала, что тут происходит, что парням от нее нужно. Я объяснил, что это все дурацкие штучки, бояться их нечего.

— Ничего тут удивительного, — успокаивал я ее, — просто они давно не видели такой красавицы.

Она была нарядно одета — в темном костюме, в туфельках на высоких каблуках. Осанка у нее была гордая, со мной она держалась сдержанно, и похоже было, что она не узнала меня.

Парни какое-то время шли за нами по пятам, выжидали, что будет дальше, но так как ничего интересного для них не происходило, они стали громко гоготать.

Мы свернули на соседнюю улочку, чтобы отвязаться от них.

— Я искал тебя, — сказал я. — В воскресенье мы были у вас. Мне очень хотелось снова тебя увидеть...

— Правда? — ласково улыбнулась она мне. — Это не пустые слова?

— Зачем мне притворяться? Ты даже не знаешь, как часто я думаю о тебе.

— Я не стою того, чтобы обо мне думать,— ответила она.— Я ничего не ценю, все мне трин-трава. По крайней мере, моя мама так говорит.

— Думаю, она ошибается.

— Не знаю. Возможно, она и права. Я, наверное, и впрямь... легкомысленная... Я чувствовал спиной устремленные на меня взгляды приятелей. Обернувшись, я увидел, что они стоят на перекрестке, машут мне руками и делают какие-то непонятные знаки.

— Что ты делаешь дома? — спросил я у Виолы.— Тоже обслуживаешь гостей?

— Нет, этим занимается Эмча, и она вполне обходится без помощников. А я закончила торговое училище, так что веду учет и делаю заказы.

— Вот здорово! Значит, мы с тобой коллеги!

— Осенью мне надо будет устраиваться на работу. Так решили наши... Трактир много денег не приносит. Летом еще сводим концы с концами, а зимой дела идут и вовсе плохо... А мы еще не расплатились с долгами...

— В кого ты? Ведь твоя сестра темная?..

— Я пошла в маму. Сестра в отца, а я в маму,— ответила она.

Мы вышли вдоль заборов в поле и медленно побрели среди высоких хлебов друг за другом. Я — впереди, она — за мной по узкой, заросшей травой меже. Иногда я останавливался и поддерживал ее. Ей на высоких каблуках было трудно идти по бугристой меже.

Однажды она остушилась, я подхватил ее и не сразу выпустил, залюбовавшись ее красотой.

— Ты обещала научить меня целоваться,— отважился я напомнить ей.

Она высвободилась из моих объятий, отошла от меня на несколько шагов и сказала:

— Сегодня не могу. У меня на губе лихорадка. Это после простуды. Ты же знаешь, что я была больна... А такие лихорадки заразны. И ты можешь заболеть...

Я заметил, что около ее рта пролегли какие-то линии вроде морщинок, которые придали ее лицу грустное выражение.

Мы медленно шли вперед. Стена высоких хлебов оттораживала нас от мира.

Теперь она шла впереди, а я уныло плелся за ней, не сводя с нее глаз; красивая, гибкая, она легко перешагивала через бугры на меже.

— Никогда больше не води меня сюда,— сердито выговорила она мне.— Здесь можно запросто подвернуть ногу.

К счастью, вскоре мы вышли на проселочную дорогу, неровную, но все же более широкую.

Смеркалось. От хлебов веяло теплом, над прогретыми солнцем полями разносился аромат зреющих хлебов.

Из стекольного завода неслось пьяное пение, громкие звуки гармоники, какие-то выкрики. Звуки эти неприятно нарушали тишину раннего вечера.

— Дальше меня не провожай,— сказала она, хотя до стекольного завода было еще довольно далеко.

— Почему? Я дойду с тобой до дома. Ты что, боишься, что нас кто-нибудь увидит?

— Мама следит за каждым моим шагом. Она не желает, чтобы я по вечерам ходила с парнями...

— Чего ты боишься? Я ведь тебя не съем,— сказал я ласково.

Не прошли мы и нескольких шагов, как она снова остановилась, приблизилась ко мне и припала головой к моему плечу; я растаял и обнял ее за плечи.

— Не сердись,— сказала она.— У меня сегодня плохое настроение...

— Да я и не сержусь,— ответил я.

— Посмотри, у меня действительно лихорадка.— И она дотронулась пальцем до красной точки на губе.— Иначе я сама поцеловала бы тебя.— Она погладила меня по щеке.— Спокойной ночи,— попрощалась она.— Если будет тепло, встретимся вечером на пруду. Не забывай меня! — уходя, сказала она и пошла в вечерних сумерках навстречу пьяным крикам.

5

Через несколько дней нашу округу облетела весть, которой вначале никто не поверил, она переходила из дома в дом и вызывала в людях ужас и страх. Сообщалось, что в трактир «На уголке» явились двое в штатском, они объяснялись на ломаном чешском языке, перевернули все вверх дном, сначала перерыли погреб и чердак, а потом арестовали трактирщика Пенкаву. И якобы все из-за того, что в трактире собирались враждебные элементы, велись разговоры, направленные против рейха и протектората....

Весть эта, к сожалению, вскоре подтвердилась и быстро обросла многочисленными подробностями.

Одни утверждали, что среди завсегдаев трактира нашелся доносчик, а значит, над каждым из нас, точнее над любым жителем предместья, нависало ужасное подозрение. Неприятное было время, каждый чувствовал, что верить никому нельзя, что любой доброжелательный собеседник в трактире может обернуться последним подлецом, и от этого сознания мороз подирал по коже. Жители предместья терялись в догадках, кто же из завсегдаев мог стать доносчиком, но так ни на ком и не остановились. У каждого находился свой защитник, так что в конце концов все оказывались вне подозрений.

Возникло и второе предположение, значительно более опасное и на первый взгляд более убедительное, кто-то распустил его, сам, очевидно, не ожидая, что оно так разойдется. Донести, мол, мог только Зубодер или его брат. Кто-то припомнил, как эти двое, заглянув по весне в трактир «На уголке», пригрозили трактирщику Пенкаве, что он теперь продержится недолго, что все будут ходить только к нам — в «Трактир у стекольного завода». И что вот таким образом они и расправились с конкурентом, переманили его посетителей к себе. Как ни странно, но этому слуху поверили, и он распространился молниеносно, как чума: услышав его, каждый передавал этот слух следующему как святую истинную правду.

Я этой версии не верил и пытался опровергать ее где только можно. Я говорил, что им самим пришлось покинуть Пограничье, что их самих, по-видимому, преследуют, но слова мои встречали с недоверием, мне тут же напоминали о темном прошлом Зубодера и с возмущением доказывали, что Зубодер и его брат — люди мстительные и злые.

С этим предположением жители нашего предместья так сжились, что в конце концов все стали обходить трактир у стекольного завода за версту.

Лето стояло жаркое, на пруд из города тянулись люди, которые не имели понятия о наших здешних событиях; они с удовольствием навевывались в «Трактир у стекольного завода», чтобы утолить жажду. Без них трактир бы пустовал и арендаторам рано или поздно пришлось бы его закрыть. Так что пока там, как и раньше, каждый вечер весело играла гармоника и пьяное пение доносилось даже до нашей улицы.

* * *

В бухгалтерии на фабрике, где я работал, старшим бухгалтером служил Хадима — человек прямой и веселый, которого все уважали и с которым любили перекинуться словечком. Хотя ему шел пятидесятый год, он все еще оставался холостяком. Сам про себя он говорил, что у него просто не хватало времени жениться, так что он уже свыкся со своей горькой судьбой бобыля.

Известно, правда, было, что у него есть зазноба — портниха из нашего предместья, вполне привлекательная развodka, которая потихоньку шила на дому платья нашим дамам к разным датам, а то и перешивала по моде старые платья. Он был с ней давно знаком и вроде любил ее всерьез. Он ездил к ней на мотоцикле, иногда прихватывал с работы домой и меня. Так мы с ним сошлись поближе. Казалось, все шло к тому, что в скором времени Хадима переселится к портнихе — у нее был вполне приличный домишко, — и тогда они сыграют свадьбу. Поговаривали, что частенько он остается у нее на ночь, так что дело было явно на мази. Все у нас этому искренне радовались, потому что любили Хадиму. Но он, казалось, медлил и ни на что не рещался.

Однажды я спросил его напрямик.

— Не хотелось бы мне испортить ей жизнь,— ответил он.— Нынче такое время, что никто не знает, что будет завтра...

— Но ведь это сейчас у всех так,— возразил я.

— Конечно,— согласился он.— Только обо мне много народу знает, что я коммунист.

— А я вот не знаю,— признался я.

— У тебя еще молоко на губах не обсохло,— сказал он и по-отцовски погладил меня по волосам.— Вот ты и не знаешь.

Заметив, что его слова задели меня, он попытался загладить их:

— Я мечтал, чтобы у меня был такой сын, как ты.

— Вам еще не поздно... Только надо поторопиться,— увещевал я его.

— Теперь уже поздно,— проговорил он печально.— Сейчас для меня уже все поздно.

Иногда в перерыв он подходил ко мне, присаживался на краешек стола, жевал бутерброд, вынув его из бумаги, расспрашивал меня о людях предместья или мы мечтали о лучшей жизни.

— С меня пример не бери,— внушал он мне.— Я всю жизнь просидел в бухгалтерии. А ты бери выше, ставь перед собой высокие цели...

— Да я ведь и сам не знаю, чего хочу,— признавался я ему.

— Конечно, сейчас ничего не добьешься, не то время... Сейчас люди только и думают, как бы не выделиться, как бы пережить войну. Но кончится война, все пойдет по-другому, появится столько возможностей...

Он был твердо убежден, что настанет конец этому жестокому и темному периоду, настанет конец немецкому владычеству и тогда все мы вздохнем свободно.

— Не все до этого доживут. Еще потребуется немало жертв. Хотелось бы мне дожить до конца войны, да вряд ли...

Я уверял его, что у него столько же шансов дожить до конца войны, как и у любого из нас.

— Не утешай меня, дружище,— возражал он.— Я знаю, о чем говорю. И вижу немножко дальше, чем ты...

Однажды он подошел ко мне и спросил:

— Что делается в «Тракторе у стеклозавода»? Ты бываешь там? От тебя до него недалеко.

— Да нет, не бываю. Был всего один раз, когда мы возвращались с футбола...

— Зубодера знаешь? Слышал что-нибудь о нем?

— Я о нем всякое слышал,— ответил я.— Но знаю его мало.

— Почему у вас в предместье так странно к нему относятся? — поинтересовался он.

Я рассказал ему все, что знал: и о том, как он с братом впервые появился в тракторе «На уголке», какие странные разговоры он там вел, и о том, как потом арестовали тракторщика Пенкаву, и о том, что наши люди убеждены — тут дело не обошлось без Зубодера.

— Глупости,— оборвал меня Хадима.— Зубодер — правильный мужик. Я за него голову дам на отсечение.

Когда в тот день он повез меня после работы на мотоцикле домой, он не свернул, как обычно, на конечной остановке трамвая, а покотил по узкой тропинке к лесу.

— Куда едете? — пытался я перекричать тарыхтение мотоцикла.

— На стекольный завод,— повернул он ко мне голову.— Потом отвезу тебя домой.

Он остановил мотоцикл на опушке, прислонил его к дереву и предложил мне:

— Хочешь, можешь подождать меня здесь... а то пошли вместе. Я тут ненадолго задержусь.

— Я лучше подожду.

Мне не хотелось идти в трактор: вдруг я встречу там Златовласку, она еще подумает, что я бегаю за ней; я был твердо уверен, что вечером она и так придет

на пруд. Да и Зубодера мне видеть не хотелось: не знаю почему, но он все еще вызывал во мне смешанные чувства, причем скорее неприятные, так что лучше держаться от него подальше.

Стеклозавод казался пустым, он переживал период затишья и вообще производил грустное впечатление. Хадима действительно задержался ненадолго. Минут через пять—десять он вышел каким-то боковым выходом, о котором я даже не подозревал, обогнул низкий молодняк и вернулся ко мне.

Он завел мотоцикл, и мы поехали, но не проселочной дорогой, как было бы естественно, а лесом, по буграм да корням к нашему шоссе.

— Вытрясу из тебя всю душу! — кричал он мне, повернувшись влоборота, в то время как я подскакивал на заднем сиденье.

Он высадил меня прямо перед домом, а сам поехал к своей поргнице, скрывшись в облаке поднявшейся пыли.

* * *

Я стал каждый вечер ходить к пруду, иногда купался, иногда просто так болтался, бродил по плотине. Но даже Ярославу я ни словом об этом не обмолвился из бязни, как бы он не попросил взять его с собой.

Сколько раз прошел я от пруда до опушки, с надеждой глядя на стекольный завод! Мне то и дело встречались парочки — они целовались, обнимались; вечера, казалось, были созданы для любви. Я же остался один: сколько ни ходил и ни ждал, все напрасно.

В субботу вечером, уже не в силах совладать с собой, я вдруг решил и пошел к «Трактиру у стеклозавода».

За деревянными столами перед домом сидела уйма народу. К счастью, я не знал никого из гостей. Я уселся с краешку за последний стол, где как раз пустовало одно место. Каждый развлекался как хотел. Образовывались компании, велись разговоры, какие обычно ведутся за кружкой пива.

Даже гармоники не было слышно, никто не пел, и обстановка была устало-спокойная, почти сонная. Только за одним столом у старой акации шумно веселились трое мужчин. Возможно, это были мясники или грузчики, они уже изрядно выпили, но не хотели угомониться. Люди, сидевшие по соседству, не обращали на них никакого внимания, лишая их возможности вступить в конфликт, чего, по всей видимости, так жаждала эта троица.

Вдруг откуда ни возьмись в зале появилась Виола. Сняв между столами, она разносила пиво, а троице принесла водку. Она была в белом халате, отчего напоминала скорее сестру милосердия, чем официантку; ее пышные золотые волосы были собраны в тугой узел, вид у нее был необычайно строгий, почти чопорный. Тем не менее, когда она подошла к пьяной троице, один из них беззастенчиво шлепнул ее, так что она даже ойкнула, но ничего не сказала, да и кто бы за нее заступился! Вскоре она заметила меня. Подошла ко мне, лицо ее горело, зеленые глаза смотрели грустно, смущенно. Не выпуская из рук поднос с пустыми кружками, она быстро произнесла:

— Сегодня вечером я не смогу уйти. Я должна заменить Эмчу, она уехала к своему жениху.

Тут в дверях появился Зубодер в своей обычной короткой жилетке и с неизменной виргинской сигарой в углу рта. Его сильный голос перекрыл тихие голоса гостей.

— Вендула! — крикнул он. — Иди на кухню!

Слова его, по всей вероятности, относились к моей Златовласке, потому что она побежала на зов с пустыми кружками, ее белый халат развеялся на ветру, обнажая худенькие босые ноги.

Значит, она не Виола, а Вендула, — промелькнуло у меня в голове, но это открытие ничуть меня не огорчило. — Что ж, Вендулка — вполне хорошее имя.

Вскоре она принесла мне кружку пенистого пива и, виновато улыбнувшись, проговорила:

— Видишь, приходится помогать.

Я видел, как она занята, поэтому не спускал с нее ревнивого взгляда. Но вдруг я почувствовал приступ ярости. Когда Виола прошла мимо той троицы, один из них снова шлепнул ее пониже спины, будто это было в порядке вещей. Второй схватил ее за руку, притянул к себе, скаля при этом зубы, словно собирался ее укусить. А Зубодер стоял в дверях, смотрел на них и даже бровью не повел; только перебросил наполовину выкуренную сигару из одного угла рта в другой.

Когда тот негодай в третий раз шлепнул Виолу, я, уже не владея собой, вскочил, подошел вплотную к развалившемуся негодаю и резко, чуть запинаясь от волнения, сказал:

— Вам, господин, следовало бы учтивее обращаться с дамой! Вы что, не умеете себя вести?

Слова мои неожиданно для меня прозвучали напыщенно, и со стороны это, конечно, выглядело смешно.

— Это с какой дамой? Покажите мне, пожалуйста, даму! — прыснул он. — И этот сопляк еще меня учит!

Он медленно поднялся из-за стола и потянулся ко мне своей могучей лапшей. Возможно, ему неловко было стоять между скамейкой и столом, а возможно, он был уже изрядно пьян, но только, замахнувшись на меня, он не удержался на ногах, закачался, а возможно, и я его слегка толкнул, и он повалился прямо на землю к моим ногам.

Если бы Зубодер не подоспел вовремя, его дружки избili бы меня до полу-смерти.

Один из них так двинул меня по голове, что у меня еще долго шумело в ушах. Словно издали донесся до меня сильный голос Зубодера.

— Успокойтесь, господа! Дышите глубже! Сейчас нельзя допускать никаких заварушек! — увещевал он. И затем, по-видимому обращаясь ко мне, сказал: — Вы тоже хороши... Приходите сюда в первый раз, берете одну кружку пива и еще скандалите!

В этот момент мне все было ни о чем, я решительно направился на кухню к Виоле, хотя и чувствовал, что присутствующие с любопытством следят за мной.

Я вошел в дом, прошел по узкому коридору до распивочной, где над столами тускло горела желтая керосиновая лампа. Здесь сидели всего несколько посетителей, а за пивным пультом брат Зубодера наливал пиво в заранее расставленные кружки. Я почувствовал на себе их удивленные взгляды, но, не обращая на них внимания, вошел в соседнюю кухню, где мелькнул белый халат Виолы.

К счастью, кроме нее, там никого не было, стоя у стола, она разливала по стопкам водку, сильно отдающую сивухой, в тусклом свете висящей под потолком керосиновой лампы. Тут было жарко, на плите что-то варилось, сильно пахло кореньями.

Заметив меня, Виола было смешалась, но тут же пришла в себя и, схватив меня за руку, стала выговаривать:

— Зачем ты это сделал? Не надо было обращать на него внимание.

— Это еще почему? — удивился я. — Я не позволю, чтобы тебя оскорбляли. Она грустно улыбнулась.

— Не беспокойся, — успокоила она меня, — я и сама могу за себя постоять.

— Вендула! — послышался из распивочной нетерпеливый голос Зубодера.

Я опасался, что Зубодер придет на кухню и выгонит меня, но он либо остался в распивочной, либо вышел к гостям на улицу, только больше его не было слышно.

— Завтра вернется Эмча, — прошептала она. — Так что завтра я приду к тебе. Жди меня вечером у леса.

Выходя из кухни с подносом, уставленным стопками с водкой, она поцеловала меня в щеку и поспешила к нетерпеливым гостям.

Когда я вышел из дома, Зубодер стоял на крыльце, наверное, поджидал меня.

— Ты откуда? — спросил он меня и тут же сам себе ответил: — Ты вроде из предместья.

Я кивнул.

— Слышал, какие там у вас распускают обо мне сплетни? Говорят, будто я виноват в судьбе бедняги Пенкавы.

- Да, слышал.
- Так вот, передай своим, что они спятили.— сказал он, отчеканивая каждое слово.— И добавь еще, что они такими разговорами себе же вредят.
- Вы им как бельмо на глазу,— осторожно проговорил я.
- Мне на это плевать,— спокойно ответил он и стряхнул на землю пепел с сигары.— Только как бы им самим об этом не пожалеть.
- Прощайте,— сказал я и пошел проселочной дорогой домой.
- Он никак мне не ответил.

6

Я не мог дожидаться вечера. День, как назло, тянулся медленно, работы у нас почти не было, все мы только делали вид, что работаем, раскладывали по столам бумаги и томились, ожидая конца рабочего дня.

Я надеялся, что сегодня Хадима предложит подвезти меня на мотоцикле, он уже несколько дней не подходил ко мне. Однажды я столкнулся с ним в коридоре и спросил напрямик, что случилось. Он сделал вид, будто не понимает, и ответил вопросом:

— Со мной что случилось? Ничего.

А на вопрос, не поедет ли он к нам в предместье, Хадима ответил неопределенно:

— Пока нет. Как-то не получается.— И заторопился.

Видно, ему не хотелось продолжать разговор, вот он и сделал вид, будто торопится по важному делу.

Под вечер я поспешил на опушку леса, спрятался там за деревьями и из своего укрытия наблюдал за каждым, кто выходил из старого стеклозавода и сворачивал к развалившемуся забору. Таких было немного. В основном выходящие из трактира сворачивали на проселочную дорогу. К пруду никто не шел, да и от пруда тоже.

От нечего делать я следил за шаловливыми белками, рыженькие пружинистые зверьки ловко перепрыгивали с ветки на ветку, камнем падали вниз и снова резво взмывали на самые верхушки деревьев. По кочковатой проселочной дороге из города, натужно пыхтя, приближался мотоцикл, его оглушительный треск разносился по всему полю; миновав стекольный завод, он остановился у леса, грохот смолк.

От мотоцикла отделились две фигуры и черным ходом прошли на стеклозавод. Бродя по опушке, я подошел к дереву, около которого стоял распространяющий запах разогретого бензина мотоцикл. Я узнал мотоцикл Хадимы по царяпине на баке и погнутому заднему номеру. Ну и хитрый Хадима! Значит, с Зубодером он заодно, вот почему он никогда не говорит о нем плохо, защищает его от всех и смеется над сплетнями, которые распускают о Зубодере в нашем предместье.

Я вспомнил, как однажды, когда я к слову спросил его, что он думает о Зубодере, на мой вопрос, заданный из праздного любопытства, он ответил:

— Не понимаю, почему я должен ему не верить... Все, что мне о нем известно, свидетельствует в его пользу...

— А вы давно его знаете?

— Да нет,— признался он.— Но не в этом дело.

Вскоре из трактира вышел Хадима с незнакомым мне спутником — я едва успел скрыться в густых зарослях овражка. Они сели на мотоцикл и покатали по каменистой дороге к пруду. Еще с минуту слышался тарахтящий звук мотора, потом они скрылись в темной глубине леса.

Я решил, что мне так ничего и не дожидаться. Больше не оглядываясь, побрел по опушке леса. Но тут меня словно что-то толкнуло — я оглянулся. По дороге, ведущей от стеклозавода в сторону леса, шла светлая фигурка. Несомненно это была Виола.

Я стремглав бросился к ней. И вот уже, запыхавшись, я стоял перед Виолой.

Она сделала вид, что удивилась моему неожиданному появлению, не могла понять, отчего я так запыхался, куда и почему я так спешу, если впереди у нас целый вечер.

Мы шли по окутанному сумерками лесу, пробирались сквозь ветви деревьев и заросли кустарников, пересекали неглубокие овражки, и наконец перед нами заблестела неподвижная гладь пруда.

— Знаешь, я и сегодня с трудом вырвалась,— сказала она.— Хоть Эмча и вернулась, настроение у нее ужасное. Она просила меня, чтобы я сегодня заменила ее, я едва ее упростила, сказала — в любой день, только не сегодня..

— Это ты из-за меня?

— Из-за кого же еще? У меня нет никого другого.

— Правда нет? — радостно спросил я.— У меня тоже нет никого, кроме тебя..

Мы взялись за руки, нам вдруг показалось, что мы знаем и любим друг друга с незапамятных времен.

— Я сказала Эмче, что иду на свидание с тобой,— призналась Виола.— Она тебя припомнила и отпустила меня. Кстати, она еще ничего не знает про то, как ты защитил меня от тех хулиганов..

Мы уже подходили к дамбе, когда из осинника на другом берегу вдруг вынырнул мотоцикл с двумя ездоками и направился прямо к нам. Чтобы нас не заметили, я повел Виолу по тропке над самым прудом, хотя она была и неудобная. Когда мы подошли к водосливу, мотоцикл протарахтел где-то сверху над нами. Хотя уже стемнело, мотоцикл ехал с выключенными фарами и, миновав дамбу, скрылся в непроглядном лесу.

По краям водостока, по которому стекала из пруда вода, росла высокая сочная трава, какая растет только вблизи воды или на кладбище. Мы выбрали укромное местечко под низкими вербами, раскинулись на траве и молча смотрели, как вода неравномерными толчками выбрасывается из пруда в водосток.

— Мне нравится здесь! — воскликнула Виола, вслушиваясь в шум журчащей воды.— Можно подумать, что мы у водопада..

Мы лежали рядом на траве, держась за руки. Вокруг нас медленно стучалась тьма, природа готовилась к теплой летней ночи. Небо оставалось еще светлым, казалось, тьма идет от деревьев и от спокойных вод пруда.

За дамбой без устали квакали лягушки, настала их пора.

— Как я люблю смотреть на парусные лодки,— мечтательно сказала Виола.— Когда лодки скользят по воде, кажется, будто они плывут в воздухе.. Хотела бы я быть богатой, чтобы купить парусник и поплыть на нем по морю..

— Может, выйдешь замуж за богатого,— засмеялся я.

— Я бы хотела путешествовать,— продолжала она, словно не слышала меня.— Увидеть далекие страны, большие чужие города и, главное, людей. Люди интересуют меня больше всего на свете.

— Это все хорошо,— протянул я.— Но только надо, чтобы кончилась война и мир стал другим — без войн и без немцев..

— Это не люди,— согласилась она.— Ты даже не можешь себе представить, какие это звери. Когда мы жили в Пограничье, они каждую ночь горланили у нас перед домом и били окна. Однажды подожгли нашу крышу..

— Я слышал, что вам пришлось оттуда бежать.

— Мы все там кинули. Ушли в чем были. Хорошо, что дядя Карел нас принял.. Он вдовец, у него нет семьи. Вот он и взял нас к себе. У него золотое сердце..

— Карел — это тот, что играет на гармонике? — переспросил я, вспомнив его свирепое лицо и густые сросшиеся брови над темными глазами.

— Представь себе,— продолжала она,— когда мы поселились здесь, на Стеклозаводе, он прежде всего смастерил скворечники. Развесил их по всем деревьям. Весной скворцы поселились у нас, и теперь их полным-полно. Говорят, они приносят счастье.. Дядя Карел хороший человек, я люблю его.

— А меня ты тоже любишь? — не удержался я и задал мучительный для меня вопрос.

Повернувшись ко мне, она стала щекотать меня длинным стебельком травы. Я для видимости увертывался и закрывал лицо ладонями.

— Ты не поверишь,— сказала она вдруг посерьезневшим голосом,— но признаюсь тебе, хотя мы и мало знаем друг друга, я тебя полюбила.

— И я давно влюблен в тебя,— признался я.— Хотя почти ничего не знаю о тебе.

Она обняла меня за шею, притянула к себе и стала покрывать поцелуями мои щеки, лоб, виски; она трепетно целовала меня и прижималась ко мне всем телом.

— Ты мой,— возбужденно шептала она.— Может быть, это и к лучшему, что мы не знаем друг друга...

— Почему? — недоумевал я.

— Зато у нас все впереди.

Теперь я целовал ее, нетерпеливо, теряя власть над собой, целовал в лоб, щеки, губы, шею.

Меж тем вокруг нас сгущалась тьма, и на бледном небе серебрились в вышине первые звезды.

— Если упадет звезда — исполнится мое желание,— мечтательно сказала Виола.

Вода то с тихим журчанием, то гулкими толчками выбрасывалась через водослив. А внизу, у дамбы, под прикрытием старых ветвистых верб, в тишине ночи, забыв обо всем на свете, мы лежали, сжимая друг друга в объятиях, словно после долгих мучительных блужданий наконец обрели друг друга.

Я склонялся над ней и смотрел ей в глаза, в изменчивые зеленоватые глаза, которые в полутьме казались бездонными, и пытался угадать, что же таится в их глубине. Она счастливо улыбалась и с веселыми огоньками в глазах уступала моим робким ласкам. Но вдруг веселые огоньки гасли, и она безучастно и равнодушно принимала неуклюжие проявления моей страсти.

— Будь со мной,— просил я ее.— Не уходи от меня...

— Но ведь я и так с тобой,— возражала она.

И тут же, словно желая вознаградить, кидалась меня целовать, прижималась ко мне.

Вдруг она неуверенной рукой стала расстегивать кофточку на груди. Я онемел, настолько она поразила меня, но она держалась удивительно естественно, без малейшего чувства стыда.

Покорно, преданно лежала она, ее большие блестящие глаза внимательно следили за мной. Обнаженная грудь светилась в темноте.

— Поцелуй меня сюда,— попросила она ласково и показала пальцем на нежную ложбинку между грудями.— И не смотри на меня так странно!

Я наклонился и нежно приник к ней губами.

Вода журчала по камням, шумел над нами лес, земля мягко колыхалась.

Казалось, светлое небо с мерцающими звездами медленно опускается и смотрит на нас сквозь густые ветви деревьев.

— Виола,— шептал я словно в бреду.

Воспользовавшись ее покорностью, я совсем потерял голову и был очень неловок в пылу страсти. Она мягко сдерживала мое нетерпение и умело управляла им.

Когда я опомнился, она лежала передо мной в высокой траве, прикрыв глаза так, словно она засыпает или предается сладостным мечтам.

Вдруг будто чего-то испугавшись, она стыдливо прикрыла грудь руками. Я попытался отстранить ее руки, но она крепко, почти судорожно сжимала их. Я кинулся их целовать и целовал до тех пор, пока они не разжались сами собой.

И опять она показалась мне какой-то далекой, отсутствующей; я подумал, что она мечтает о чем-то, известном лишь ей одной, поэтому она так улыбается.

— Ты моя,— шептал я ей.— Теперь ты будешь принадлежать только мне.

Она открыла глаза и молча посмотрела на меня, как бы взвешивая мои слова.

— Что ты на меня так смотришь? — спросил я.

— Сумасшедший,— ответила она.— Ты даже не можешь себе представить, как мне радостно смотреть на тебя.

Мы возвращались домой темным лесом.

Я помогал ей вскарабкаться по узкой извилистой тропинке, поддерживал ее, когда мы шли вдоль дамбы. Тьма стояла непроглядная, и тусклая гладь пруда, от которого поднимался туман, сливалась с окружающим лесом.

— Я бы не хотела,— запыхавшись, сказала она, когда мы вышли на берег пруда,— чтобы ты думал обо мне плохо...

— Я? Почему ты так говоришь? — недоумевал я.

— Да так. Мы ведь слишком мало знаем друг друга.

— Зато у нас все впереди,— напомнил я ей ее слова.

— Возможно,— чуть погодя отозвалась она.— По крайней мере, надо верить, что так и будет...

Когда мы вышли на опушку, впереди показалось зловещее здание стекольного завода.

— Обещай мне,— сказала она странно глухим, неуверенным голосом.— Обещай не забыть меня, если что случится.

Вместо ответа я обнял ее, и мы долго и страстно целовались. Потом она вырвалась от меня и кинулась по песчаной лесной дороге к своему мрачному дому.

В небе над полем сверкали мириады звезд.

7

Теперь мое время принадлежало Виоле. Иногда мне приходилось так долго ждать ее, что, когда она появлялась на дороге, у меня начинало колотиться сердце. Иногда я часами бродил по опушке леса — и все понапрасну: она не приходила. Но и в те вечера, когда ей не удавалось уйти из дома, когда ей приходилось заменять сестру, я был вместе с ней. В то время я жил только ради нее, думал только о ней, не желал знать никого, кроме нее, и все время проводил в ожидании встречи.

Я знал: ее сжигает тот же огонь, что и меня, знал, она готова на все, чтобы быть со мной.

Это были чудесные, счастливые вечера, особенно яркие и прекрасные в тусклые, страшные дни протектората, которые нам выпало пережить.

Возможно, мы слишком отдались во власть своей неумной жажды любви, своих желаний и эгоистичных стремлений, но для нас тогда в целом мире не было ничего важнее.

Да и могло ли быть иначе, ведь молодость требует полноты любви и идет к своей цели, невзирая ни на что, вопреки всему и всем.

— Знаешь, а я на год старше тебя,— как-то сказала Виола.

— Ну и что? Какая разница?

— Нет, это нехорошо.

— А мне все равно, хорошо это или нехорошо. Я знаю только одно: если бы не было тебя, мне бы не хотелось жить...

— А как же ты раньше жил?

— Раньше — жил, а теперь бы не мог. Теперь все изменилось. И сам я изменился. Благодаря тебе...

— Брось,— смеялась она.— Ты меня переоцениваешь. Я самая обыкновенная девушка...

— Ты — моя Виола.

— И зовут меня не Виола. Я всегда мечтала о красивом имени. Вот и выдумала, что меня зовут Виола. А мое настоящее имя — Вендулка.

— Для меня ты навсегда останешься Виолой. Я всю жизнь мечтал о такой девушке, как ты, и теперь моя мечта сбылась...

Иногда она казалась удивительно рассеянной. Тогда мне представлялось, что я ей надоел и что моя преданность ей, моя пылкая влюбленность ей в тягость.

В такие минуты над верхней губой ее пролегла морщинка, которая лишила ее лицо приветливости, свойственной ему. Тогда она уже не казалась мне такой красивой, мимолетная угрюмость делала ее менее прелестной.

— Я такая же, как и все,— защищалась она, когда однажды я упрекнул ее за это.— Если на меня временами находит, это не имеет никакого отношения к нашей любви...

— Я плохо разбираюсь в женских настроениях,— уступил я.

- Опыта тебе не хватает,— укорила она меня.
- Просто я боюсь за нашу любовь,— признался я.
- Ты должен видеть меня такой, какая я на самом деле, а не феей из сказки.
- Я хочу, чтобы ты была лучше всех,— упорствовал я.

Но мне ничего другого не оставалось, как мириться с находившими на нее временами равнодушием, замкнутостью и даже скрытностью, хотя мне это давалось трудно. Но это настроение проходило, и Виола опять превращалась в нежную, веселую выдумщицу; порой же она казалась мне умудренной и опытной, словно знала о жизни намного больше, чем я.

Вот какой была моя Виола.

— Сколько людей любили друг друга так же, как мы,— говорила она.

— И сколько влюбленных будет после нас,— добавлял я.

Мы вместе бродили по лесу в поисках укромных местечек, сидели на берегу, обнимались и целовались, занятые лишь своей любовью.

Иногда, когда на пруду никого не было, мы купались нагишом, шалили, как дети, плавали наперегонки на островок и обратно, поддразнивали друг друга и были счастливы тем, что мы вместе и что вечер принадлежит нам. А потом наставляли безмерно счастливые минуты любви.

— Какой ты ненасытный,— упрекала она, для виду отталкивая меня.

Устале, отдыхали мы в высокой траве, смотрели в темнеющее небо, пока высоко над нашими головами не зажгались первые звезды.

— А ведь если б не случайность, я мог бы и не познакомиться с тобой,— сказал я, и щемящая тоска сжала мне сердце.

— Ну и что? — беспечно ответила она.— Тогда я познакомилась бы с кем-нибудь другим и теперь ласкала бы его...

— Бесчувственная! — сердился я.— Разве ты не видишь, что я тебя обожаю.

— Ты мой единственный,— уверяла она меня, прижимаясь ко мне.

— Я бы не удивился, если бы узнал, что ты крутишь с кем-нибудь из тех, что ходят в ваш трактир,— вспылал я в приступе ревности.

Она засмеялась:

— Да отец за такое мигом бы выставил меня из дому.

Она не давала мне ни малейшего повода для ревности, но настроение у меня все же испортилось.

Однажды вечером мы снова увидели мотоцикл Хадимы, он проехал над нами по дамбе с выключенными фарами, хотя уже стемнело. На мотоцикле сидели двое: на заднем сиденье кто-то в светлой одежде, возможно, женщина, но на расстоянии это было трудно определить.

— Наверное, Хадима поехал со своей подружкой в лес,— решила Златовласка.— Не думай, что только мы ходим сюда. Тут много мест, прямо-таки созданных для любви...

В последнее время Хадима держался от меня на расстоянии, он меня явно избегал и почти не разговаривал, но вдруг во время перерыва сам подошел, присел на краешек моего стола и, откусывая от завернутого в бумагу ломтя хлеба, сказал:

— Как-то вечером я видел тебя в лесу... Ты был не один..

— Зато вас что-то совсем не видно,— с ходу срезал я его.

Мне было неприятно, что нашелся свидетель моих вечерних прогулок.

Хадима наклонился и зашептал мне на ухо так, чтобы никто не слышал.

— Мне сейчас приходится держать ухо востро,— доверительно сообщил он мне.— Седлачек снова начинает проявлять ко мне интерес. Наверное, следит за мной. Ты же знаешь Седлачека. От него ничего хорошего не жди. К счастью, его сегодня здесь нет, вот я и решил заскочить к тебе. Мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вместе...

Разумеется, мне было прекрасно известно, что представляет собой Седлачек, известно мне было и то, что у него с Хадимой какие-то счеты, хотя оба делали вид, что они в хороших отношениях. Но порой между ними случались стычки и они честили друг друга почем зря; отношения от этого лучше не становились, что замечали все и я в том числе. Приблизительно с год назад Седлачек вдруг вспомнил, что у него есть

предки из Судет, и, к всеобщему удивлению, стал подписываться на немецкий манер — Седдагшек. После чего несколько раз появлялся на работе в коричневой форме.

— Если хочешь, — сказал мне на прощание Хадима, — я могу отвезти тебя сегодня домой.

Хадима поджидал меня у главных ворот фабрики. Он стоял с мотоциклом у тротуара среди густого потока людей, уходящих после утренней смены, и махал мне рукой. Я сел сзади него, мы прокладывали себе дорогу в толпе, направляющейся к трамвая или к расположенной неподалеку железнодорожной станции.

Хадима умело управлял мотоциклом, подскакивающим на неровной дороге, ветер раздувал его редкие выгоревшие волосы, я крепко прижался к его потертой кожаной куртке. С Хадимой я чувствовал себя в безопасности. Я твердо верил, что никогда не ошибусь в нем, что, окажись я в трудном положении, он мне всегда поможет.

Он подъехал к проселочной дороге, убежавшей к стекольному заводу, остановился, спустил ноги на землю и, не сходя с мотоцикла, приглушил мотор. Достал из нагрудного кармана кожаной куртки завернутый в газету рулон, протянул мне и попросил:

— Оставь это у себя... на случай, если со мной что-нибудь случится. Не бойся... Тут выписки из книг, которые я делал лет эдак двадцать. Если захочешь, прочти как-нибудь, тебе будет интересно.

Я взял рулончик и в нерешительности сжал его.

— Хорошенько припрячь, — добавил Хадима.

Он нажал на газ, но на песчаной обочине дороги притормозил, обернулся ко мне и крикнул:

— Вендулка — прекрасная девушка! Не слушай никого. Цени то, что она тебя любит.

Мне, с одной стороны, не понравилось, что он знает о наших отношениях, с другой стороны, мне было приятно, что он говорит о Виоле с таким уважением.

Ничего больше не сказав, он помчался по шоссе к городу: видно, решил посетить свою подругу, которая жила в домике, до крыши заросшем диким виноградом.

* * *

Тяжелее всего мне было переносить послеобеденные часы в воскресенье: Златовласке приходилось помогать на кухне или допоздна обслуживать гостей, пока из-за дощатых столиков под старой акацией не вставал последний посетитель.

После обеда у меня под окнами раздавался свист Ярослава, и я отправился бродить по улицам с ребятами; как всегда, мы не знали, чем заняться, и шалили как могли. Я знал, что вечерами ребята били из рогаток уличные фонари или вывертывали, дурачьась, лампочки стоп-сигнала у машин, а шоферам потом приходилось платить штраф. Все это делалось не со зла, а от избытка энергии, которую некуда было деть.

Ребята и раньше сторонились меня, из них только Ярослав признавал меня своим, остальные же считали меня чужаком и не забывали время от времени мне об этом напоминать. А с тех пор, как они увидели меня с Виолой, мне все чаще приходилось терпеть их плоские и глупые шуточки. Я презрительно отшучивался, спокойно отражал их грубые нападки, которые рождала зависть или безысходная скука.

Трактир «На уголке» закрыли, о трактирщице Пенкаве никто ничего не знал, рассказывали самые разные версии его ареста. Когда я проходил мимо старого трактира, сердце мое сжималось от предчувствия, что Пенкава уже никогда не вернется.

Наши по-прежнему обегали «Трактир у стеклозавода», по вечерам они, как правило, сидели дома, а в хорошую погоду шли в привокзальный буфет, где и выпивали свою норму пива.

Но вот по предместью разнесся слух, что в бывшем складском помещении при стеклозаводе оборудовали вполне приличный кегельбан, утрамбованную землю залили цементом, и получилась гладкая, как наковальня, площадка, огородили место для игры и рядом с дорожкой сделали наклонный деревянный желоб, чтобы шары скатывались назад. Известие это заинтересовало и старых и молодых; молодым особенно не терпелось сыграть в кегли, в результате все, не устояв перед соблазном, ринулись в «Трактир у стеклозавода».

В воскресенье после обеда отправилась туда и наша компания. В этот раз я охотно к ним присоединился. Я надеялся увидеть Виолу, а если даже не увидать, то хотя бы побыть где-то неподалеку от нее.

Кегельбан помещался за основным зданием в бывшем складе, полуразвалившемся помещении без окон, одну из стен которого наполовину снесли, чтобы можно было следить за игрой. Хотя ярко светило солнце, там стоял мрак, от пола тянуло сыростью и плесенью.

Под высокими соснами стояли деревянные скамейки, на них сидели те, кто не играл, а наблюдал за игрой. В ногах у них на сыпучем белом песке, усеянном сосновыми иголками, цветными бусинками и пуговками — остатками производства бывшего стекольного завода, — стояли кружки с пивом.

Кегельбан обслуживал мальчик лет десяти, грязный и заросший; он стоял в конце деревянной дорожки, подхватывал шары и возвращал их по желобу нетерпеливым игрокам. Он получал за каждую игру и вдобавок еще чаевые за то, что ставил кегли.

Временами появлялась Эмча, уставая и озабоченная. Она бодрилась, приветливо улыбалась гостям, приносила им кружки с пенистым пивом и уносила пустые. Иногда она на минуту задерживалась около мальчика и нежно гладила его по волосам.

Вначале она не обратила на меня внимания, очевидно, просто не заметила, но когда одним ударом я сбил девять кеглей и все кинулись меня поздравлять, она остановила на мне взгляд своих ярко-голубых глаз и быстро проговорила:

— Это вы? Давненько вас не было видно. Передать что-нибудь сестре?

— Нет, спасибо, — отказался я. — А впрочем, скажите, что я передаю ей привет...

Ничего лучшего я не придумал.

— Обязательно передам, — ответила она и добавила: — Сегодня мы крутимся как беды в колесе... Такого нашествия у нас никогда еще не было.

Мы закончили игру и остались смотреть, как играют другие, более степенные и спокойные игроки. Играли они хорошо, пожалуй, даже лучше, чем мы, и кто-то из нашей группы предложил устроить состязание — старики против молодых.

Перед трактиром, как обычно, играла гармоника, пели песни, было полным-полно людей; они сидели на земле, располагались под деревьями поблизости от кегельбана и сами ходили за пивом в распивочную, потому что Эмча при всем желании повсюду не поспевала.

Гостей перед трактиром обслуживал сам Зубодер, он разносил пиво и еду и тотчас же получал деньги, чтобы гости не ушли не заплатив.

— Дядя Карел вынес на крыльцо табурет, гармоника в его руках играла одну песню за другой, попури прерывали восторженные возгласы слушателей. Стоило Карелу начать новую песню, как к нему несмело присоединялись те, кто сидел поближе, потом песню подхватывали другие, и так она неслась от стола к столу, набирая силу, а там к поющим присоединялись и гости, сидящие за домом, и даже игроки машинально подпевали:

Наша песенка чешская,
Она честная, честная...

Наконец запела и наша компания, никто не остался безучастным — хоровое пение захватило всех. Казалось, хоровое пение помогает нам понять, что все мы друг с другом связаны, что мы — одна большая семья. В нас разгоралась любовь к родине.

— Почему ты с нами не поешь? — набросились на меня.

— Я бы только испортил песню, — защищался я. — Вы же знаете, что я не умею петь. Я мурлычу про себя...

И все же мне думалось, что наша компания поет эту песню просто из озорства, без того глубокого чувства, с каким пели ее другие.

Вдруг я увидел Виолу, она обходила людей, расположившихся прямо на траве, на ней был свободный белый халат, медно-золотые волосы блестели в лучах солнца. Она шла к нам, обводя глазами людей, и явно кого-то искала; меня, решил я.

Я встал ей навстречу, окликнул, и вот мы рядом. Мы сразу забыли обо всем, о людях, нас окружавших, об их любопытных взглядах.

— Виола, — сказал я.

— Я не знала, что ты придешь. Я хочу тебе сказать — не жди меня сегодня вече-

ром,— сообщила она мне погрустневшим голосом.— Сам видишь, что тут делается... Я не могу оставить Эмчу одну...

Мы стояли друг против друга. Не сводя с меня глаз, она непроизвольно потянулась рукой к моему плечу.

— Жаль,— вздохнул я.— Я так ждал нашей встречи.

— Я тоже,— призналась она и нежно провела рукой по моей щеке.

Она не замечала, что мы привлекаем всеобщее внимание, что парни из нашего предместья не спускают с нас глаз. Она выглядела несчастной, вид у нее был более усталый, чем у Эмчи, казалось, она вот-вот расплачется, и мне захотелось прижать ее к себе, утешить, развеселить.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

Она смотрела на меня влажными, изменчиво зелеными глазами и молчала.

— Почему ты такая печальная? — допытывался я.

— Да так,— неопределенно ответила она.— То одно, то другое... А то и все вместе навалится...

— Когда я тебя снова увижу?

— Скоро. Даже скорее, чем ты думаешь,— улыбнулась она и снова погладила меня по щеке.— Я так тебя люблю,— сказала она чуть погодя.

— Я тебя тоже,— уверял я.— Очень тебя люблю.

— До свиданья,— попрощалась она и пошла к дому, пробираясь между человеческими телами, белый халат ее развеялся на ветру.

Парни из нашей компании выпили немало кружек пива, добавили к ним по нескольку стопок рома и к этому времени уже изрядно набрались. Поэтому, едва Виола отошла, они засыпали меня вопросами и мерзкими намеками:

— Когда же будет помолвка? Хочешь заполучить в приданое стеклозавод? А она-то, видно, здорово втрескалась в тебя!

По пути домой они без конца приставали ко мне, я стал мишенью их дурацких намеков, наконец-то они могли вдоволь потешиться надо мной.

Я ничего не отвечал им, мне даже не хотелось отругиваться, я шел, погруженный в свои невеселые мысли.

Ярослав пытался было заступиться за меня, но они скоро заставили его замолчать.

Когда мы вышли на шоссе, я, ни с кем не попрощавшись, повернул к дому. Мне не хотелось шататься с ними по улицам и участвовать в их мальчишеских забавах. Весь вечер я просидел дома, рассеянно перелистывая тетрадь, которую мне доверил Хадима.

Утром мне рассказали, что на почерневшей бревенчатой стене пожарного сарая, вклинившегося между футбольным полем и сахароваренным заводом, кто-то вывел белой краской видную издалека надпись: «Гитлер — осел».

* * *

Днем, когда я возвращался с работы, у нашего дома меня поджидал полицейский, который сразу же отвел меня в полицейский участок. Там мне пришлось долго ждать. Я сидел один в комнате ожидания, у меня подвело живот от голода: с самого утра я ничего не ел. Потом меня вызвали в соседнее помещение; там неизвестные мне два человека в штатском с ходу огорошили меня вопросом, где я был в воскресенье вечером и что знаю о надписи на пожарном сарае. Я ответил, что сидел дома и что о надписи ничего не знаю. Мне явно не поверили; у них, сказали они, есть доказательства, что в тот день я был в «Трактире у стеклозавода» и они даже знали, с кем.

— Да, в трактире я был. Мы играли в кегли. В этом, по-моему, нет ничего преступного.

После этих слов один из них медленно поднялся и, ничего не говоря, ударил меня ребром ладони по лицу.

Потом передо мной положили лист бумаги и карандаш и строго потребовали, чтобы я тотчас же написал имена тех, кто был при этом происшествии и кто вывел эту надпись.

— Пиши! — кричали они.

Я растерянно смотрел на карандаш и бумагу, боясь к ним притронуться, и упорно повторял, что ничего не знаю. Тогда они снова взялись за меня, дали мне несколько таких пощечин, что я почувствовал, как у меня раскалывается голова.

В глазах у меня потемнело, от горечи и обиды на глазах выступили слезы, но я стиснул зубы и пересилил себя.

Поскольку я ничего нового не говорил и повторял одно и то же, они били меня до тех пор, пока я не потерял сознание. Им, видно, доставляло удовольствие избивать беззащитного человека.

Наконец они поняли, что я действительно ничего не знаю, и отпустили меня.

— Смотри больше нам не попадайся,— предупредили они меня на прощание.

И хотя мать напугали и мое распухшее лицо и кровавый синяк под глазом, она была счастлива, что я вернулся.

Возможно, она лучше понимала, к чему это могло привести, чем я, обладавший тогда по молодости лет невозмутимым спокойствием.

8

В середине августа, когда крестьяне собирали с полей первый урожай, в нашем предместье отмечался храмовой праздник усения пресвятой богородицы и устраивалось гулянье. Во всех домах пеклись пироги, готовилось угощение; несмотря на скромные военные пайки, всякий искитрялся как мог, лишь бы достать чего-нибудь; резали гусей, уток, кур и, разумеется, кроликов, которых откармливали специально к этому празднику.

На площади перед старым костелом в стиле барокко при кладбище за одну ночь выросло несколько ярмарочных палаток, там торговали пряниками в форме сердца, косядой и другими сладостями, построили тир, качели и ярко раскрашенную карусель с оркестрионом.

В воскресенье поутру на площадь стало стекаться все предместье.

Моя мать надела свое лучшее платье и попросила меня пойти вместе с ней в костел. За весь год она ни разу не посетила костел и так же, как и я, не вспоминала о боге, но в праздник пресвятой богородицы считала своей обязанностью его посетить.

Накануне прошел сильный дождь, но утром тучи рассеялись, воздух был прозрачен и свеж, ясное голубое небо сияло над серыми улицами города.

Мы шли в толпе людей, стекавшихся к костелу отовсюду; их темные одежды казались мне этим солнечным утром траурными.

То и дело нам встречались знакомые, мы перебрасывались с ними несколькими словами, иногда останавливались на минутку-другую, мама расспрашивала, как они живут, что делают; говорили о свадьбах, похоронах, болезнях; я стоял рядом, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Перед костелом на размякшей от дождя дороге блестели большие лужи; мы обходили их по поросшей травой обочине, чтобы не испачкать начищенные до блеска ботинки. Неподалеку от костела мы встретили Хромого, он увязался за нами.

— У Зубодера,— с ходу начал он,— какие-то неприятности. Позавчера двое из тайной полиции заходили в муниципалитет, расспрашивали о нем.

У Хромого, видно, был в муниципалитете знакомый, от которого он узнавал подобные новости, а Хромой все, что ему удавалось узнать, тут же сообщал по секрету всему свету.

Так как мы шли гуськом, я, к сожалению, слышал лишь отрывками рассказ Хромого о жизни Зубодера в Пограничье.

На площади перед костелом собралось много народу; люди в темных одеждах собирались группами, здоровались, оживленно переговаривались. Настроение у всех было праздничное, спокойное.

Хромой не отходил от матери, он возбужденно рассказывал ей о надписи на пожарном сарае, о том, что будто бы начато следствие, что нескольких парней уже вызывали на допрос, но установить, кто же злоумышленник, пока не удалось.

— Благодарите бога, что ваш сын к этому не причастен,— говорил он.— Но его дружки точно замешаны в этом деле. Голову на отсечение даю! А за такие глупые шутки приходится расплачиваться. Как бы и нам из-за них не пострадать.

Женщины быстро смыли надпись на пожарном сарае, но краска успела впитаться, и слова «Гитлер — осел» все равно выделялись на потемневших бревнах. Тогда какой-то мудрец придумал выход: забить часть надписи досками. Так на пожарном сарае читалось только слово «осел». Впрочем, все догадывались, о ком шла речь.

Площадь перед костелом скоро опустела: все повалили в костел. Мать с Хромым успели занять места на скамьях впереди, а я застрял у входа, где толпилось столько народу, что не шевельнешься. Оттуда я наблюдал за службой: сначала перед ярко освещенным алтарем сновали два министранта, напустивших на себя важность, затем священник в праздничном облачении торжественно служил мессу.

В унылом, полутемном помещении костела было прохладно, летнее солнце, проникавшее через узкие высокие витражи, освещало старинные, изрядно облупившиеся фрески купола.

Священник у алтаря бормотал по-латыни молитву, в тишине ее непонятные слова гулко отдавались под сводами костела.

Только теперь я заметил, что на последней скамейке неподалеку от меня сидит Зубодер с братом, две черные косматые головы смиренно склонились. Рядом с ними светилась рыжеволосая голова Виолы. Она, видно, почувствовала, что я смотрю на нее, повернулась, глаза ее сверкнули, она как бы давала мне понять, что увидела меня и что мы встретимся, едва закончится служба.

Я не видел ее с прошлого воскресенья, когда мы с ребятами играли в кегли в «Трактире у стеклозавода», хотя каждый вечер приходил на условленное место в лесу.

Я не понимал, что у нее случилось, почему она ни разу не пришла. Какие только мысли не лезли мне в голову, временами мне казалось, что над нами нависла угроза, временами — что она предает нашу любовь. Но тут же я принимался ее защищать, уверял себя, что ей помешали прийти серьезные причины.

У меня не хватило терпения дождаться конца службы, я вышел на солнце и остановился на ступеньках костела, площадь перед которым пустовала. Только продавцы расставляли товары в ожидании покупателей, которые вот-вот ринутся в палатки после службы. В больших лужах отражалось светло-голубое небо.

Грустное пение и печальные звуки органа действовали умиротворяюще; на нас, грешных, нисходила благодать, дарящая надежду.

За спиной скрипнула дверь, послышались тихие нерешительные шаги, и чьи-то руки нежно коснулись моего плеча. Я догадался, что это Виола.

Мы молча стояли рядом, она ступенькой выше меня, щурясь от яркого солнца; за нами величаво гудел орган. Казалось, в эту минуту весь мир у наших ног...

— Всю эту неделю я ужасно скучала по тебе,— сказала она виновато.— Но мне нельзя было отлучиться из дома. Мама заболела.

Я страшно мучился все эти дни, воображение подсказывало мне невесть что, но ее объяснение меня вполне удовлетворило, особенно когда она добавила, что мама, очевидно, просто переутомилась и если она несколько дней полежит, то вскоре станет на ноги.

Я почувствовал облегчение, да и как могло быть иначе — я вижу ее, мы снова вместе.

— Давай уйдем, пока никто не вышел из костела,— предложила Виола.

Мы взялись за руки и, огибая лужи, пошли к тиру. За тиром была тропинка, ведущая на кладбище.

За низкой каменной стеной вздымались кресты и мраморные надгробья, поросшие мхом, обветшавшие, потемневшие. Большинство могил на кладбище поросло травой, словно связь между живыми и мертвыми полностью прервалась, словно ~~живые~~ давно забыли своих мертвых, а может быть, просто не осталось никого из тех, кто мог бы позаботиться о могилах своих предков. Только около стены был насыпан свежий холмик, прикрытый увядшими венками с траурными лентами.

Здесь было тихо, спокойно, безлюдно, только доносилось заунывное рыдающее пение из костела и глухо звучал орган.

Мы прохаживались по расчищенной центральной аллее кладбища и читали на памятниках имена умерших — в основном тут хоронили жителей нашего предместья. Здесь, за каменной стеной, ограждающей их от жизни, от городского шума, от человеческих страстей, закончилась их земная жизнь, здесь покоятся их останки вкупе с их мечтами и надеждами под простыми крестами и памятниками.

Мы остановились у могилы, где погребены мои предки — дедушка, бабушка, дядя и умерший десять лет назад отец. Я смутно помнил его высокую горбленную фигуру и добрые, все понимающие глаза. Я рассказал о нем Виоле. Она внимательно выслушала мой рассказ, погрузилась в раздумья — огорчилась вместе со мной его столь раннему уходу из жизни.

— Все наши похоронены не здесь, — прервала она меня. — Мамины родные похоронены в Моравии, в той деревне, где я родилась...

Потом мы сидели на ступеньках покойницкой, подставив лица солнцу, и вслушивались в нарастающий шум: служба закончилась и молящиеся повалили на площадь.

— Хочешь, я расскажу тебе о наших, — предложила Виола.

Я кивнул.

Она интересно рассказывала о родной деревеньке, о церквушке, куда стекались странствующие богомольцы, о бабушке и дедушке, до изнеможения работавших на небольшой клочке земли, чтобы скопить деньги и купить лошадь, на которой дедушка стал ездить на заработки. Рассказала, что Эмча в восемнадцать лет выскочила замуж, а уже через год разошлась: ее муж оказался прощельгой, он только и знал что хлестать водку и пропил бы все, так что они даже обрадовались, когда он взял свои пожитки и убрался восвояси...

— Мальчик, который в воскресенье помогал у кегельбана, сын Эмчи. Он рос у тети, а теперь поживет у нас, пока Эмча снова не выйдет замуж. За ней всерьез ухаживает один кондитер. Отцу он нравится. Отец говорит, только сначала нам надо встать на ноги и расплатиться с долгами...

Я слушал ее, положив голову ей на плечо, и чувствовал себя на вершине блаженства. Мы забыли, что находимся на кладбище и что сзади нас покойницкая, где, возможно, ждет своего погребения очередной умерший.

Когда на центральной аллее показались люди — многие заходили из костела на кладбище навестить могилы своих близких, — мы спрятались за покойницкой и стали там целоваться.

— А мне так нравится целоваться на кладбище, — сказала Виола с вызовом.

— Верно, — поддакнул я. — Для такой любви, как наша, все места хороши, для нее нет законов.

— И костел?

— Костел хорош только для тех, кто женится, — ответил я.

— Вчера под утро мне снилось, что я выхожу замуж, — вспомнила она. — Я была в свадебном платье с фатой, в волосах — розы, все подходило, поздравляли меня, желали мне счастья, и я всех их целовала. Правда, говорят, что сны про свадьбу не к добру.

— А за кого ты выходила замуж? — спросил я.

— Не помню, — засмеялась она. — Скорее всего за тебя.

Слабый ветерок шелестел в длинных, склоняющихся до земли ветвях старых плакучих ив.

— Наши будут меня искать, — вдруг вспомнила она. — Наверное, они уже пошли домой.

Мы вернулись в толпу людей, спящих между палатками. Но ни братьев, ни моей матери там не нашли. Только парни из нашей компании то и дело выныривали из толпы, подмигивали мне, скорбно ухмылялись.

У тира стояли всего несколько человек, мы подошли, я нерешительно взвесил в руке духовое ружье. Потом все же решился, прицелился и несколько раз подряд попал в жестяные фигурки. Я даже сам не ожидал, что так метко стреляю.

Виола стояла рядом и с восторгом смотрела на меня.

А я уже стрелял во все подряд — в шарики, подпрыгивающие на тонкой струйке

фонтана, в шарманки, которые вдруг начинали издавать скрипучие звуки, в кузнецов и барабанщиков, в деревянные скрепки, зажимавшие бумажные розы,— попадешь в скрепку, роза раскроется; стрелял бы и дальше, если бы за моей спиной не появился Хромой.

— Стреляешь-то ты хорошо,— ехидно сказал он.— Но мать оставлять не след. Она повсюду тебя искала.

— Куда она пошла? — повернулся я к нему.

— Не знаю,— пробормотал он.— Еще недавно была здесь.

За нашими спинами шумела толпа и оглушительно играл оркестрион, людей тут еще прибавилось, они толпились вокруг палаток, не обращая внимания на лужи.

Не знаю, заметил ли Хромой, что в тире со мной была девушка, мне-то казалось, что он давно наблюдал за мной и выжидал, когда ему представится случай подойти ко мне и отравить мне радость.

Я подмигнул Виоле, мы оставили тир, протиснулись через толпу и вышли в поле. Минувя предместье, мы пробрались по загуменью через кусты и крапиву и окольным путем вышли на шоссе. Оттуда было рукой подать до леса.

— А я и не знала, что ты умеешь так хорошо стрелять,— похвалила меня Виола.— Где ты научился?

— Чепуха,— хвастливо ответил я.— Стрелять по мишени в тире — штука несложная.

— А по людям? — бесстрастно спросила она.— Ты мог бы выстрелить в человека? Скажем, в немца?

Я ответил не сразу. Слишком неожиданным был для меня ее вопрос.

— Об этом я не задумывался,— чистосердечно признался я.— На военной службе я не был...

— Хорошо, а если бы понадобилось? Хватило бы у тебя силы воли? — не отступалась она.

— Наверное, хватило,— ответил я, подумав.

И тут я вспомнил, как однажды Хадима, когда мы затаив дыхание читали в газете сообщение о казни наших людей, сжав зубы, сказал:

— Каждое насилие вызывает сопротивление. Не горюйте, час отмщения настанет.

— Но не можем же мы бороться с ними голыми руками,— возразил я.

Хадима грустно улыбнулся и загадочно произнес:

— Есть люди, которые позаботятся об этом. И их немало.

— Но ведь тут нужны гранаты, ружья...

Хадима отечески похлопал меня по плечу и снисходительно проговорил:

— Ты молодой и многого еще не знаешь.

Мы шли с Виолой по опушке леса. Под нашими ногами похрустывали сухие ветки, яркое солнце пробивалось сквозь густую листву деревьев, мир казался радостным, полным очарования. И все же вопрос Виолы не выходил у меня из головы.

Я рассказал ей, как меня допрашивали в полицейском участке про надпись на пожарном сарае, как били.

— Тебе еще повезло, что тебя отпустили,— сказала она участливо.

— Да,— кивнул я.— Все могло кончиться хуже. После участка я много думал о матери и о тебе. Что, если бы я не вернулся?

— Послушай, а если бы нашлись люди, у которых есть оружие, ты пошел бы с ними? — спросила она меня.

— Я никогда не слышал о таких людях,— неуверенно проговорил я.— Да и на что они могут рассчитывать, на что надеяться?

Был прекрасный яркий день, солнце по-летнему щедро согревало людей и землю, лес, пруд — и разговор наш показался мне нелепым, бессмысленным.

— А все-таки... Пошел бы ты с ними? — настаивала Виола.

— Да,— решительно ответил я.— Без колебаний.

Она схватила меня за руку и так крепко, чуть не по-мужски сжала ее, что мне стало больно.

— Я рада, что ты оказался именно таким, каким я тебя представляла,— сказала она.— Я рада, что ты не трус...

Мы долго стояли за густой порослью молодняка не в силах расстаться — отсюда до стекольного завода было рукой подать.

Она обхватила меня за шею и страстно поцеловала.

В ее изумрудно-зеленых глазах сверкали искры, она прильнула ко мне всем телом и зашептала прямо в ухо:

— Жди меня вечером. Такой день, как сегодня, создан для любви.

9

Разумеется, наш сосед Хромой тут же рассказал всему предместью и моей матери в том числе, что во время храмового праздника я был с девушкой со стекольного завода и что потом видели, как мы обнимались у пруда. И вот вся наша улица уже знала, что у меня амуры с дочерью Зубодера и что я каждый вечер поджидая ее у стекольного завода, а потом мы ходим миловаться в лес.

Я очень рассердился на Хромого, но личного ему не сказал, я просто старался его избегать, а если случалось с ним встретиться, гордо молчал.

Он же, напротив, стал заходить к нам все чаще и постоянно наговаривал на меня матери, так что бедняжка совсем потеряла голову и глаза у нее вечно были на мокром месте. Мать попрекала меня, что я не слушаю ее, говорила, что я опозорю наш дом. Вспоминала, какой был порядочный человек отец, плакалась, мол, будь он жив, он бы не потерпел, чтобы я бегал за шлюхой, которая обихаживает пьяниц в пивной.

— Ты же ничего не знаешь о ней и не хочешь знать,— упрекал я мать.

Я не раз пытался переубедить мать и рассказать ей о том, какая хорошая девушка Вендула и как она помогает отцу вести всю бухгалтерию, говорил, что осенью она пойдет на работу и что я не понимаю, почему бы мне не дружить с ней. Но мать ничего и слышать не хотела, считала, что я несу вздор, что влюбленного человека ничего не стоит обмануть, что меня обвели вокруг пальца, что особы легкого поведения крутят сегодня с одним, завтра с другим, а я, мол, еще неопытный, зеленый и ни в чем не разбираюсь. Со слезами на глазах она говорила, что не допустит, чтобы я взял такую жену, что никогда не сможет признать ее.

Я весь кипел от негодования, но сдержался и ответил, что пока еще речи о женитьбе нет, хотя в будущем это не исключено, а сегодня ясно только одно: я люблю эту девушку и даже ради матери не откажусь от нее.

Мама расплакалась, слезы текли по ее морщинистым щекам. Но когда я под вечер, как обычно, поспешил в лес, она не сказала ни слова.

Через день после этой ссоры мы молча ужинали на кухне, когда в открытое окно заглянул Хромой.

— Вы дома? — спросил он.— Что же у вас так тихо?

Я, не поднимая головы от тарелки, продолжал ужинать.

— Хочу тебя спросить,— коварно начал он,— что слышно на стекольном заводе? Говорят, жену Зубодера увезли в больницу.

Я промолчал, хотя знал об этом от Виолы.

Мать подошла к окну, и они стали о чем-то переговариваться. Я воспользовался случаем и незаметно выскользнул из кухни.

Когда я вышел на крыльцо, Хромой снова начал ехидничать:

— Что подельывает твоя рыжеволосая зазноба? Когда будет ваша помолвка?

Я взбесился и вышел из себя.

— Заботьтесь-ка лучше о своих кроликах,— сказал я раздраженно,— и не суйте нос в дела, которые вас не касаются!

Я рванул на шоссе, вслед мне неслось насмешливое пение Хромого:

Рыжую, рыжую
Я люблю сильнее всех...

Этой песенкой обычно дразнили меня мои ребята, но чтобы наш достопочтенный сосед опустился до такого ребячества, я не мог и представить. Видно, он просто не в силах был сдержать свою ненависть к людям со стекольного завода.

Я спешил к лесу и всю дорогу пытался побороть в себе неприязнь к болтливому деду Хромому. Странный он был человек: добряк из добряков, он вечно вызывался помогать людям, охотно давал им советы, когда они оказывались в трудном положении, и в то же время своим ядовитым языком мог отравить жизнь любому, а уж если он кого невзлюбит, тут он ни перед чем не останавливался.

К моей матери он всегда относился особо почтительно, часто заходил, услужливо предлагал, не нужно ли сделать то или другое, самоотверженно помогал по хозяйству, доставал топливо на зиму, а иногда раздобывал кое-что в добавление к скудному протекторатскому пайку. Я знал, что он когда-то ухаживал за матерью и потом, когда она овдовела, усиленно добивался ее расположения, но мать, хотя и относилась к нему по-дружески и, возможно, на свой манер его любила, не хотела и слышать о совместной жизни с ним.

Собственно, его фамилия была Урбанек, но об этом все забыли, никто не звал его иначе как Хромым, хотя ему это и не нравилось. Даже моя мать по привычке называла его только Хромой. Он рабстал бочаром на местном пивоваренном заводе, не один десяток лет сбивал пивные бочки обручами и смолил их; год назад он бросил работу, ушел на пенсию. От старой профессии у него осталась только неумная любовь к пиву.

В последние годы он стал относиться к матери более спокойно и уравновешенно, короче говоря, стал вести себя как старый, верный друг. Когда он день-два не появлялся, мать начинала беспокоиться:

— Что же случилось с Хромым? Он так давно у нас не появлялся.

Действительно, мы успели привыкнуть, что он вечно сидит на скамеечке перед нашим домом, курит свои едкие самодельные сигареты, кашляет и с интересом наблюдает за всем, что происходит на шоссе. Нередко он бормотал что-то непонятное себе под нос или сварливо бранился. В запале он плевал на шероховатые камни у порога и частенько довольно громко пукал.

— Когда надумаешь жениться,— говорил он мне в добром расположении духа,— отдам тебе свою комнатку.

— А где же вы тогда будете жить? — спрашивал я его.

— Да я уж к тому времени помру.

К счастью, он был здоров, как бык, этот любитель пива был явно крепкой породы.

Возможно, потому, что временами я совсем не переносил его разглагольствования, он, особенно в последнее время, усвоил привычку меня поучать, разговаривать со мной тоном превосходства, что было мне еще более противно, чем его гаулые насмешки. Он вполне справедливо считал меня главным виновником того, что моя мать отвергла его ухаживания, и не мог мне этого простить. Но больше всего мне не нравилось, что он чем дальше, тем больше связывал меня с людьми со стекольного завода.

* * *

В этот раз Виола сама ждала меня.

Я еще издалека увидел ее — она стояла под высокой сосной и высматривала меня. Едва я показался, она бросилась мне навстречу, кинулась в мои объятия и расплакалась.

— С мамой плохо,— всхлипывая, сообщила она.— Завтра операция. Этого она боялась больше всего. Когда ее увозили в больницу, она без конца повторяла: лучше я умру дома, только бы не идти под нож, никуда не поеду, может быть, и так обойдется... Она не верит докторам... Ей с ними всегда не везло. А теперь ее судьба зависит от них...

— Ты должна надеяться, что все закончится благополучно,— пытался утешить ее я.— Возможно, операция поможет ей. Такие случаи бывают...

Недалеко от нас послышался шум, казалось, кто-то стремительно продирается сквозь ельник, слышен был хруст ломающихся веток, в сгущающихся сумерках мы увидели, как темная сторбленная фигура ведет мотоцикл к стекольному заводу.

С минуту мы стояли как вкопанные, я держал Виолу за талию, она опустила голову мне на плечо, затаив дыхание мы следили за незнакомцем, который стоял, прислонясь к мотоциклу, и явно кого-то поджидал. Потом с черного хода вышли два человека с каким-то грузом в руках — это был ящик или чемодан, груз казался довольно тяжелым, видно было, что им нелегко его тащить. Ящик прикрепили к заднему сиденью мотоцикла, чтобы он не свалился во время езды. В две-три минуты они покончили с погрузкой, один из них тут же сел на мотоцикл и, не включая мотора, покотил по пологой лесной тропинке вниз, к дамбе пруда, второй пешком направился за ним, а третий — это был несомненно сам Зубодед — тотчас же вернулся черным ходом на стекольный завод.

— Пошли отсюда, — сказала мне Виола, видно догадавшись, что мы невольно оказались свидетелями чего-то не предназначавшегося для наших глаз.

— Судя по мотоциклу, это Хадима, — сказал я.

Она ничего не ответила, словно не слышала меня.

В этот вечер нам обоим было плохо. Виола горевала о матери, я не мог забыть домашнюю ссору и колкости Хромого. Я не стал рассказывать об этом Виоле, она и так была огорчена.

Но ее горе и волнение еще больше тянули меня к ней. Сначала она отнеслась к моим ласкам безучастно, затем стала привычно отвечать на мои поцелуи, сперва робко, потом все более страстно, и наконец мы оба забыли обо всем на свете в сумасшедших объятиях.

Вдруг она снова расплакалась и сквозь рыдания жалобно попросила:

— Не покидай меня. Ты мне очень нужен. Без тебя...

От слез ее зеленые глаза приобрели какой-то новый, удивительный оттенок.

— Ты даже не можешь себе представить, — шептала она взволнованно, — как я благодарна тебе за то, что ты меня любишь.

Она гладила меня ладонью по лицу, по волосам, преданно смотрела на меня полными слез глазами.

Я никогда не видел ее такой взволнованной, смиренной, трогательно жалкой. Раньше, если на ее лице и мелькала грусть, она быстро превозмогала себя, начинала оживленно и громко смеяться. Она всегда охотнее веселилась, чем грустила.

Когда мы возвращались домой, она иногда вытирала набегавшие на глаза слезы, но больше не всхлипывала, а решительно шла рядом со мной и, как бы извиняясь, повторяла:

— Все, больше не буду плакать. Ни слезинки не пророню.

* * *

Обычно поутру мы собирались в тесном душном помещении бухгалтерии и разговаривали, перебивая друг друга, мы рассказывали последние новости — делать нам по-прежнему было нечего. Я, как правило, больше слушал, чем говорил, меня слишком занимали свои мысли, переживания, связанные с Виолой, мечты о нашем будущем счастье.

Но услышав, что речь идет о саботажах на железной дороге, о прерванной телеграфной связи, о попытке свести с рельсов поезд с военным снаряжением для фронта, я насторожился. Кто-то сказал, что из вагонов было похищено оружие, поэтому ночью арестовали нескольких железнодорожников. Причем двоих — из нашего предместья.

Вдруг дверь бухгалтерии отворилась и в нее просунулась противная, прилизанная голова Седлатшека. Раньше он к нам и носа не показывал, считая нас недостойной себе компанией. Видно, он уже давно стоял за дверью и подслушивал нас.

Разговор оборвался на полуслове, от страха все застыли на своих местах. Выглядеть это в высшей степени подозрительно, словно нас застали за каким-то недозванным делом.

Глазами-буравчиками, спрятанными за толстыми стеклами очков, Седлатшек оглядел всю комнату, каждого в отдельности и язвительно сказал по-чешски:

— Видно, у вас много свободного времени? Надо проверить, насколько каждый из вас загружен!

Он сделал было шаг в комнату, но остался стоять в раскрытых дверях, отчего сквозняк ворошил бумаги, разложенные на наших столах.

Вдруг, выпрямившись по-военному, хоть он и ходил в штатском, Седлатшек злобно заорал дрожащим голосом, на этот раз по-немецки:

— Кто из вас видел Хадиму? Куда он мог подеваться?

— Сегодня его здесь не было,— ответили мы ему по-чешски.

Он окинул всех ненавидящим взглядом и повернулся на каблуках. Сквозняк захопнул за ним дверь.

Все разошлись по своим местам, и в комнате вмиг воцарилась непривычная настороженная тишина, но тут же в коридоре снова раздался пронзительный голос Седлатшека, разносившийся по всему зданию, однако что он говорил, разобрать было невозможно.

Потом раздался крик — это кричали разом несколько человек,— послышался топот ног по лестнице, стук дверей и какие-то приказы по-немецки.

Мы толпой бросились к двери, один за другим выглядывали в коридор, но коридор был уже пуст, только внизу на лестнице еще раздавались голоса и топот.

Из всех комнат нашего этажа высывались испуганные лица. Соседи из комнаты рядом сообщили нам:

— Хадиму арестовали! Седлатшек привел гестаповцев!

Я подбежал к окну, выходящему во двор. Половина двора находилась в тени. Солнце ярко освещало здание напротив. Из нашего здания вышли четверо. Впереди шел Седлатшек, за ним между двумя незнакомыми мужчинами — Хадима. Если бы я не знал, что случилось, я мог бы подумать, что они идут в соседний цех по служебным делам. Трое шли обычным, спокойным шагом. И только Седлатшек суетился: то забегал вперед, то отставал, размахивал руками и что-то выкрикивал.

Когда они миновали теневую часть двора, Хадима на мгновение остановился на границе тени и света, обернулся и помахал нам рукой. Словно почувствовал, что все мы сгрудились у окон, и решил попрощаться с нами.

Мужчина, шедший сбоку, грубо схватил Хадиму за руку и потащил за собой так, что тот чуть не упал.

В узком проходе неподалеку от фабричных ворот стояла низкая черная машина. Мы видели, как сначала в нее сел Хадима, потом те двое, все это время Седлатшек стоял навтыжку, вскинув правую руку в фашистском приветствии. Черная машина медленно двинулась к фабричным воротам.

Горькие слезы бессилия выступили у меня на глазах.

В моей памяти навсегда запечатлелась скорбленная фигура бухгалтера Хадимы, когда он остановился на контрастной полосе, отделяющей темную часть двора от ярко освещенной, и махнул нам на прощание рукой.

* * *

В сумерки я снова пошел в лес, хотя и знал, что Виола сегодня не придет.

Мне хотелось видеть ее, потому что только она, она одна могла утешить меня и помочь побороть нарастающий страх.

Я стоял на опушке, ветви высоких сосен сочувственно шумели у меня над головой, а над ними на бледно-сером небе светились первые робкие звезды.

Прогретый за день лес дышал теплом. Где-то вблизи протяжно кричала сова, над полем пролетела большая черная птица, захлопав крыльями, она скрылась в густом молодняке за шоссе. И снова наступила тишина, удивительная успокаивающая тишина.

Я смотрел вниз на город, окутанный сизой дымкой, он представлялся скопищем темных человеческих жилищ, казалось, будто его жители живут в полном мраке. Только из неразличимых во тьме труб нашей фабрики поднимался белесый дым, полосою стлавшийся над крышами города.

Я вышел из леса и пошел по жнивью. Остановился на минуту и еще раз оглянулся.

Небо на горизонте за стекольным заводом было неестественно красным, словно где-то вдалеке разгорался пожар.

До сих пор я жил как во сне, витал мыслями в облаках и невольно оберегал себя от ужасов, с которыми чем дальше, тем больше сталкивала меня жизнь.

История с бухгалтером Хадимой глубоко потрясла меня; до сих пор я жил только нашей любовью, не видел никого и ничего вокруг себя, кроме Виолы. Я не мог поверить, что человек, которого я привык видеть ежедневно, с которым любил перебраться парой слов, к которому чувствовал симпатию и доверие, вдруг ни с того ни с сего перестал ходить на работу, исчез, пропал, как сквозь землю канул. Он уже больше не возвратится с работы домой на мотоцикле, не будет поджидать меня у фабричных ворот после смены, не будет ночевать в нашем предместье в домике своей портнихи, стены которого были увиты лозами дикого винограда. Больше я его не увижу тихим вечером на мотоцикле около стекольного завода.

Я не только ощущал отсутствие Хадимы, ведь он был мне и опорой и советчиком, но его арест образвала болезненную рану, которая никак не залечивалась. Кроме того, меня обуревала тоска, неутолимая тоска, которая гложет человека, когда он бессилен против жестокой несправедливости.

На работе вдруг перестали о нем говорить: боялись вспоминать его неожиданный арест, не хотели показать свой страх. Никто не осмеливался прикоснуться к трагическим событиям последних дней, казалось, люди хотели как можно скорее о них забыть. Все сторонились Седлатшека, он теперь держал в страхе всю фабрику.

Не в силах больше сдерживаться я заводил речь о Хадиме, вспоминал его арест, гадая, что с ним теперь, но в ответ люди опускали глаза, боязливо молчали и неопределенно пожимали плечами.

Тут я обратился к записям, которые он просил меня спрятать. Уже тогда он чувствовал, что его дни сочтены, потому что Седлатшек выноживал его.

Я пролистал их несколько раз. Там были выписки из прочитанных книг, высказывания знаменитых людей, прилежно перенесенные красивым бухгалтерским почерком на белые в клеточку странички школьной тетради.

Вначале выбор их показался мне странным, поспешным и подчас случайным. Потом я понял, что он выписывал для себя то, что служило подтверждением или развитием его взглядов на жизнь. В его записях отразился результат его жизненного опыта.

Больше всего меня привлекла первая цитата, усердно выведенная крупными каллиграфическими буквами:

«Я представляю себе человечество как гигантскую армию рабочих, возводящих великолепный храм Правды. Я живу и работаю вместе с ними. Мое тело, рабочий механизм, исчезнет, расплывется, но результаты моего труда останутся. Мне дорого сознание того, что я, незаметный, безымянный труженик, помогал созидать великолепное здание Правды, которое возводится человечеством с древнейших времен. И каждый камень, заложенный мной в это здание,— бессмертен».

Под цитатой стояла подпись — Клемент Готвальд.

Я смутно знал, кто такой Готвальд, кажется, от Хадимы я о нем и слышал, знал, что сейчас он живет в Москве, откуда руководит движением сопротивления. Поэтому я здорово перепугался. Без долгих размышлений я хорошенько завернул тетрадь, обмотал ее паклей, засунул в щель между бревнами на чердаке, а сверху еще зашпаклевал.

Пока я всем этим занимался, в голове у меня звучала запись, стоявшая в тетради последней: «Жизнь за жизнь, кровь за кровь!»

К этим словам, под которыми не значилось имени автора, Хадима, по-видимому, относился особенно серьезно. Ими он руководился в мрачные годы оккупации, он хотел внести свою лепту в победу над фашизмом.

Запали мне в память и другие слова, написанные карандашом на обложке тетради: «Наше будущее зависит от того, как мы будем действовать».

Я вспоминал тихий, проникновенный голос Хадимы, его горькую усмешку. Если до ареста Хадимы я многого не понимал в нем, то теперь для меня словно поднялась завеса над его жизнью.

Он так неожиданно исчез из моей жизни, что я никак не мог поверить в его отсутствие; сейчас он был мне еще ближе, чем раньше.

* * *

Я возвращаюсь с работы домой в странном состоянии: в голове шумело, оглушающие удары колоколов, звеневших вдалеке, гулко отдавались в ушах, перед глазами все прыгало, казалось расплывчатым, неясным. И улица, по которой я шел, вдруг стала покатою, так что временами я сам казался себе пьяным, неуверенно пробирающимся домой. Возможно, виной тому было палящее солнце, возможно, усталость, вдобавок я почти не спал последнее время — словом, чувствовал я себя хуже некуда.

По дороге я встречал знакомых, но с трудом их узнавал. Поздоровавшись, я брел дальше по обочине шоссе. Меня обгоняли рабочие на велосипедах, возвращавшиеся с работы; от их звонков я метался из стороны в сторону.

Я мечтал скорее попасть домой, прилечь отдохнуть, скинуть накопившуюся усталость, избавиться от неприятного шума в голове.

Подходя к дому, я увидел мать, стоявшую в тени у крылечка. Прикрыв ладонью глаза от солнца, она высматривала меня.

— Ты что так поздно? — спросила она, даже не поздоровавшись. — А тебя ждет гостья.

— Какая гостья? — удивился я.

— Иди сам посмотри, — лукаво улыбнулась она.

Я бросился в прихожую, где даже в самые жаркие дни было прохладно, и, запыхавшись, влетел на кухню. За столом сидела Виола — руки на коленях, склоненная голова, темно-золотые волосы светятся в полумраке кухни.

За окном я заметил Хромого, отбивающего косу под яблоней, вероятно, он собирался косить траву для своих прожорливых кроликов.

— Какими судьбами? — спросил я.

— Я гуляла по шоссе, поджидая тебя, — объяснила она, — а твоя мама увидела меня и позвала в дом, сказала: нехорошо ходить по такому солнцепеку.

Я опустился на стул, изумленно глядя на нее.

— У тебя хорошая мама, — сказала она. — Так хорошо меня приняла. Мы с ней немножко поговорили...

— О чем?

— О тебе. О чем же еще нам говорить? — улыбнулась Виола. — Она беспокоится, говорит, что ты в последнее время плохо выглядишь. Наверное, считает, что я в этом виновата.

Я махнул рукой.

— Действительно, я чувствую себя неважно, — признался я, — но ты тут ни при чем. Никто тут не виноват.

В прихожей послышались шаги матери: она обметала ступеньки, ведущие на чердак. Видно, умышленно оставила нас одних. Хромой по-прежнему отбивал косу под яблоней.

— Почему ты пришла? — спросил я. — Что-нибудь случилось?

— Нет. Ничего особенного, — ответила она. — Просто хотела тебя видеть. Соскучилась.

— Как дома? — спросил я.

— Сегодня мы привезли маму из больницы. Ей стало лучше, и я так рада.

Осторожно, словно с опаской, она стала гладить мою руку.

— Ты не сердись на меня, — продолжала она; ее голос доносился откуда-то изда- лека, вдобавок его все время заглушал звон далеких колоколов. — Какое-то время мы не сможем видеться. Мне придется постоянно быть с мамой, пока ей не станет лучше. Ведь наши должны обслуживать гостей.

— Извини, — проговорил я почти беззвучно. — Мне как-то не по себе.

Я встал, налил воды в таз, опустил в него голову и крутил головой в воде, пока не почувствовал приятную освежающую прохладу.

— Побудешь пока без меня, — сказала она задумчиво.

— Не хочу,— сопротивлялся я, хотя и понимал, что это напрасно.— Я хочу всегда быть с тобой.

— Пойми же меня,— умоляла она.— Мне так хочется, чтобы мама поскорее поправилась...

— Понимаю,— ответил я грустно.

— Да и тебе, кстати, неплохо побыть одному, успокойся и отдохнешь.

Я опустил голову и замолчал.

— Как только ей станет лучше, я снова приду к тебе,— утешала она меня.— Ведь я теперь могу заходить к вам...

Она встала, обошла вокруг меня, нежно провела рукой по моим мокрым волосам.

— А теперь мне пора идти,— сказала она, собираясь уходить.

Она постояла у свадебной фотографии моих родителей, висящей над диваном в овальной позолоченной рамке, и неожиданно весело сказала:

— Хотелось бы мне, чтобы и у меня была такая фотография, когда я выйду замуж...

Я остался сидеть на стуле не в силах встать. Я видел, как Виола нерешительно направилась к двери, повернула ручку, еще раз оглянулась, улыбнулась мне, потом беззвучно закрыла за собой дверь.

Слышал, как она разговаривала с мамой в прихожей. Усилием воли я заставил себя подняться и выйти на крыльцо.

Вся залитая солнцем, Виола шла по проселочной дороге к дому, стоящему у темной полосы леса.

Когда я вошел в комнату, Хромой просунулся в окно и насмешливо сказал:

— Ну и дела! Выходит, дело идет к свадьбе!

— Оставьте меня в покое! — бросил я раздраженно, рухнул на диван и с облегчением зарылся разгоряченной головой в мягкую подушку.

* * *

Я уснул, и мне приснилось, что жена Зубодера умерла.

Снова у нас на кухне сидела Виола вся в слезах и рассказывала, как она ненадолго отошла от мамы, а когда вернулась, та больше не открыла глаз.

Моя мать сидела вместе с нами за кухонным столом, грустно покачивала поседевшей головой и участливо говорила:

— Наверное, она даже не знала, что пришел ее последний час. Лучше нет смерти, чем заснуть и не знать, что заснул навеки...

За открытым окном под яблоней Хромой снова отбивал косу. Откуда-то издали доносились нежные, проникновенные звуки органа и благостная мелодия мессы.

Мне было жарко, я весь вспотел, ноги, спина мучительно ныли, голова раскалывалась — я явно заболел.

Мне представлялось, что я стою на крыльце нашего дома, смотрю в сторону леса и вижу, как по неровной проселочной дороге трясется повозка. Вначале ее еле видно, но потом я различаю лошадей с черными султанами и черный катафалк, который на ухабах мотает из стороны в сторону.

При выезде на шоссе кучер остановил непослушных лошадей, бьющих копытами по грязной земле, поправил сбрую, похлопал по их потным спинам и вновь дернул вожжи.

За катафалком шли несколько человек в черном: Зубодер с братом, две девушки, десятилетний мальчик, который вертелся у них под ногами, и незнакомый мужчина, довольно молодой, наверное, тот кондитер, что собирался жениться на старшей дочери. Ни минуты не колеблясь, я пошел по шоссе за похоронной процессией. Мы шли, сопровождаемые любопытными взглядами жителей нашего предместья.

Когда мы приблизились к кладбищу, вдруг навстречу нам вышел человек, еще издали показавшийся мне знакомым. Это был Хадима. Да и кто еще это мог быть! Он поравнялся с нами и молча присоединился к нашей процессии.

В том месте, где дорога пошла в гору и лошади замедлили шаг, Хадима сжал мне руку повыше локтя и сказал:

— Не вешай голову! В смерти нет ничего страшного. Она естественное следствие жизни...

Так мы поднимались бок о бок по длинному склону хлома, меж размокшую дождевую грязь.

— Наши тела умрут, распьются,— говорил Хадима тихим, проникновенным голосом.— Но наши дела станут камнями нашей великой стройки, нашего общего дела, они останутся жить после нас, они — бессмертны.

И снова загудели колокола. Их волнующий звон усиливался и заставлял забыть о нашей печали. Лишь равномерный стук молотка нарушил наше скорбно-торжественное настроение: это Хромой, как и раньше, отбивал косу под яблоней.

Я открыл глаза. В кухне было темновато, за окном день клонился к вечеру.

У стола, где днем сидела Виола, теперь сидела мама. Она отдыхала и смотрела в окно. За окном Хромой увозил на тачке скошенную траву.

Хотя мама и не смотрела на меня, она сразу же заметила, что я проснулся.

— Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить,— сказала она.— Ведь ты сегодня даже не обедал.

— Мне не хочется есть,— сказал я.— Только пить. Меня мучает страшная жажда.

Мать принесла из погреба кувшин холодного молока, и я осушил его с наслаждением.

* * *

Виола пришла через два дня.

Было уже довольно поздно и мать собиралась спать, как вдруг в окно легонько постучали и в надвигающихся сумерках блеснули золотые волосы. Я мигом выскочил из дому.

— Я соскучилась без тебя,— прошептала Виола.— Хотела тебя повидать хотя бы на минутку...

Мы сразу пошли к лесу.

Был необыкновенно светлый вечер; круглый диск луны низко висел над землей, заливая ее серебристым светом. Тишина стояла удивительная, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха, казалось, все застыло в мертвенно-бледном, голубовато-серебристом свете.

— Я попросила Эмчу, чтобы она посидела около мамы,— произнесла Виола,— сказала ей, что мне нужно к тебе...

В тихом, словно зачарованном лесу лунный свет отбрасывал таинственные тени, при луне эти знакомые места выглядели совсем иначе, совершенно непривычно. Мне казалось, будто мы не одни, будто за каждым деревом кто-то скрывается, будто в каждом темном уголке нас поджидает опасность.

Мы вышли на дамбу, поверхность пруда отливала гладким металлическим блеском. И тут тоже была тишина, поразительная тишина, словно и пруд и лес давно погрузились в сон, и лишь хруст камешков или сухих веточек у нас под ногами нарушал их священный покой.

— Наверное, в полночь здесь будут танцевать русалки,— пошутила Виола.— Сегодня у них праздничное освещение.

Луна сквозь густые ветви деревьев следила, как мы шли к нашему месту, закрытому со всех сторон развесистыми вербами, как опустились на высокую траву.

В лунном свете Виола сама казалась русалкой. Я страстно целовал ее губы, шею, грудь. Она пылко прижималась ко мне.

Ни один листочек не шелохнулся, ни малейшего дуновения не чувствовалось в окружающем нас воздухе. Только вода, вытекающая из пруда через водосток, журчала неподалеку.

— Я сойду от тебя с ума,— благодарно шептал я ей.

— Давай,— смеялась она.— Для девушки лестно свести возлюбленного с ума...

Вдруг из темной глубины леса раздался такой резкий, пронзительный не то крик, не то стон, что мы испугались. Со всех сторон послышались голоса, крики, лай собак.

Казалось, это ожили лесные тени.

Вначале я решил переждать, пока шум не затихнет. Но страшные звуки волной накатывали на нас, казалось, мы попали в окружение. Поскорее одевшись, мы поднялись крутой тропинкой на дамбу.

И там увидели их.

В своих тусклых серо-зеленых формах они казались в лунном свете призраками. Ожившими тенями этой серебристой светлой ночи. А вдруг все это время они прятались за деревьями? Вначале они показались нам до ужаса нереальными: неужели все это существовало только в нашем испуганном воображении? Но вскоре стало ясно, что они как нельзя более реальны. Они выползали отовсюду: из лощины, из укрытий, из-за косогора, из оврага, с песчаного берега.

Немецкие солдаты с собаками.

Стало ясно: они прочесывают лес и стягиваются к пруду.

Увидев нас, они зло закричали по-немецки:

— Вон! Сюда нельзя!

Мы кинулись бежать не разбирая дороги.

За нашими спинами в освещенном мертвенно-бледным светом луны лесу яростно лаяли собаки, раздавались отрывистые военные команды.

11

Спать в ту ночь мне почти не пришлось. Я то и дело просыпался, в окно ярко светила луна, засыпая, я снова страстно обнимал во сне Виолу, ласкал ее и целовал, а потом вдруг ощущал странную тревогу, словно мне предстояло сдавать важный экзамен, а сил нет. Потом мне казалось, что я убегаю от преследователей и вот я уже в безопасности, как вдруг ноги мои вязнут в трясины, я отчаянно пытаюсь вырваться, но не могу сдвинуться с места...

Уснул я только под утро, милосердный сон успокоил мои взбудораженные нервы, и когда над моей головой пронзительно затрещал будильник, я не сразу пробудился.

Еще не было пяти часов утра — я всегда так вставал, в это время, как правило, в предместье было тихо, лишь велосипедисты, направляющиеся из соседних деревень в город на работу, проезжали мимо нашего дома. Сегодня же по шоссе шли тяжелые грузовики, от которых звенели в окнах стекла; одна машина впритык следовала за другой, вероятно, это была военная колонна.

Хромой, видно, уже встал. Я слышал, как он покашливает на крыльце. Мама тоже встала, она чем-то шуршала у входных дверей, громко вздыхала и слезно молила бога, что делала только в самые трудные моменты жизни.

Я вскочил и, еще толком не проснувшись, выбежал на крыльцо.

И тут я увидел картину, которая привела меня в ужас.

Военные машины, набитые вооруженными до зубов солдатами в серо-зеленой форме и касках, сворачивали с шоссе в поле и направлялись к лесу.

— Что происходит? — испуганно спросил я.

— Учения, наверное, — глупо ответил Хромой. — Иначе с чего бы они так рано поднялись...

Мама стояла около, платок ее был наспех завязан под подбородком. Изумленно следила она за машинами, едущими по неровному рыхлому полю. Машины шли медленно, нерешительно, на буграх и колдобинах их подкидывало, казалось, они вот-вот остановятся, но они упорно ползли в глубь скошенного поля.

Затем появился зеленый мотоцикл с коляской, в нем сидели два офицера; мотоцикл, подсакаивая, летел по полевой дороге, обгоняя конвой. Возглавив колонну, офицеры дали команду, и машины разъехались. Одна направилась по песчаной дороге, ведущей к пруду, остальные, по-видимому в соответствии с планом, начали окружать стекольный завод с поля.

— Господи боже, — причитала мать, — смилуйся над нами!

Отовсюду сбегались люди, в испуге спрашивали, что происходит, но никто не знал, что им ответить. И так издалека предместье с тревогой следило за разыгрывающейся драмой, главную роль в которой опять играл таинственно затихший стекольный завод.

Прибежал и Ярослав, поднялся на наше крыльцо, внимательно посмотрел на поле, лес и с ходу все объяснил:

— Немцы окружают стекольный завод!

— С чего бы это? — Я не хотел соглашаться с ним. — Зачем это им надо?

— Откуда мне знать, — не отступался он. — Может быть, там склад оружия или база партизан...

— Глупости, — раздраженно отверг я его соображения. — Надеюсь, ты не думаешь, что Зубодер...

— Зубодер способен на все, — вмешался Хромой. — Я всегда говорил, что он мужик решительный. Ведь он уже схлестнулся с нацистами в Пограничье. Никого он никогда не боялся...

— Хватит вам умничать, — не слишком деликатно оборвал я их. — Все вы всегда знаете лучше других. А Зубодер у вас с самого начала в печенках сидит...

— Это у меня-то? — удивился Хромой. — Я всегда Зубодера признавал. И защищал его от наветов...

— Пошли на работу, — спохватился Ярослав. — Мы и так опаздываем.

— Сейчас? На работу? — усмехнулся я. — И не подумаю!

Между тем машины подошли к стекольному заводу на расстоянии выстрела и остановились в ожидании приказа.

Наступила неожиданная тишина. Бледные, с горящими от волнения глазами, люди напряженно замерли.

Казалось, Хромой и в самом деле прав, наверное, немцы и впрямь проводят учения. И все эти маневры с машинами, разворачивающимися строем, — всего-навсего военная учеба. Словом, вскоре офицеры прикажут солдатам вернуться снова в казармы, поскольку те уже доказали свою боевую готовность.

Но, к сожалению, эти предположения оказались ошибочными.

Вдруг на машине, что была ближе к лесу, что-то сверкнуло и раздался сухой короткий треск. Мы были слишком далеко от места действия, чтобы точно видеть, куда стреляли и что произошло потом. Сухой короткий треск последовал и с других машин. Сначала это были разрозненные выстрелы, затем они слились в канонаду.

Издали все это еще напоминало учения, а то и просто детскую игру, и даже обрывочные хлопки выстрелов казались какими-то нереальными в это спокойное прохладное утро, пришедшее на смену ясной лунной ночи.

Совершенно неожиданно я увидел, и очень ясно, на крыше стекольного завода несколько последовавших друг за другом вспышек, по-видимому, все они были направлены в одно место, потому что грузовик, стоявший перед входом стекольного завода, вдруг тронулся, покинув свое место в шеренге машин.

Неожиданно от леса со стороны разрушенной каменной стены раздалась резкая торопливая пулеметная очередь.

Мама громко молилась:

— ...Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим...

На минуту снова воцарилась тишина. Обе стороны молчали, словно выжидали, кто начнет перестрелку.

В этот момент из ложбины вынырнул мотоцикл с коляской и остановился перед машинами. Едва он оказался на открытом месте, как с крыши стекольного завода его расстреляли прямым попаданием. Мы услышали короткий глухой взрыв — в простреленном баке вспыхнул бензин.

Затаив дыхание следили мы, как, едва оказавшись на открытом месте, мотоцикл вспыхнул ярким пламенем и как две фигуры, спрыгнув с мотоцикла, пригибаясь, побежали к машинам.

— Пора на работу, — глухо повторил Ярослав.

— Оставь меня, — оттолкнул я его. — Неужели не видишь, что здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть...

— Все равно мы им не поможем, — сказал Ярослав. — Тут голыми руками не можешь!

— Вот гады! — ругался Хромой, следя за действиями солдат.

— На заводе, наверное, много оружия, — сказал я вслух. — Вот бы пробраться туда через лес...

— Нет, нет! — закричала мать. — Никуда я тебя не пуцую!

Но тут снова раздалась стрельба, и мы с Ярославом кинулись через скошенное поле в лес.

Колкая стерня до крови раздирала мои босые ноги, но я не чувствовал боли. Я думал только об одном — как бы проскочить лес, пробраться через молодняк, перелезть сбоку через забор, проникнуть на стекольный завод — на помощь окруженным, на помощь Виоле.

Ярослав что есть мочи несся за мной по живью.

Когда мы подбежали к лесу, солдаты, заметив нас, всадили несколько пуль в землю прямо перед нами.

— Назад! Назад! — злобно орали они.

Мы все же добежали до леса, на секунду остановились перевести дыхание, а затем залегли за могучими корнями деревьев.

И тут вспаханное поле словно вздыбилось и заходило ходуном, заслонив горизонт; и по полю, будто по воде, поплыли серые военные машины; как корабли к острову, двинулись они к стекольному заводу. Вдали на горизонте за полями чернела узкая полоса леса, расстояние между островом и кораблями все уменьшалось; от нас же они все больше удалялись. Все закружилось у нас перед глазами; лес, поле, завод, машины слились в серо-черную полосу грязи. Казалось, темная низкая туча на мгновение заслонила и небо и солнце, неподвижно стоящее на горизонте.

Со всех машин одновременно подняли пальбу по стекольному заводу. Вдребезги разлетелась черепица на крыше дома, падали на землю ветки старой акации, скошенные градом пули. С машины у леса кинули зажигательную бомбу, и из всех окон завода повалил густой дым. Белый дым столбом подымался к небу — казалось, весь завод полыхает.

Пули били по крыше, стенам, деревьям. Они срезали ветки соседей, кромсали кусты жасмина, росшего за старым низким забором. Разлетались в щелу многочисленные скворечники, сколоченные по весне дядюшкой Карелом в надежде, что скворцы, которые там поселятся, принесут счастье своим новым хозяевам.

Не успели мы опомниться, как снова наступила тишина, и машины неподвижно стояли в поле, словно отдыхали после тяжелой работы.

Стекольный завод горел: занялись огнем стены, тлели деревянные стропила. Но никто не пытался потушить пожар, никто не спешил на помощь.

Я бросился по лесу к стекольному заводу, как вдруг мне преградили дорогу двое в серо-зеленой форме, они свирепо толкали меня прикладами.

— Назад! Назад! — с бешеной злобой орали они.

Дальше мне не позволили сделать ни шагу.

Да, я никак не мог помочь тем, кто был на стекольном заводе.

Языки пламени вздымались над крышей, лизали кроны старых сосен, ветки вспыхивали, как смоляные факелы.

Над стекольным заводом стаяй кружились взволнованные птицы, наверное, скворцы, неожиданно лишившиеся своих скворечников.

Я с силой прижался к грубому, с потрескавшейся корой стволу, слезы горечи и ярости текли по моим ободранным щекам.

Вспокоенные птицы взмывали в голубое утреннее небо, с просительными криками улетали в лес, опускались на кроны сосен и снова летели к стекольному заводу, мечась в поисках своих разрушенных жилищ.

* * *

Домой я не вернулся. Так и пошел босиком прямо на работу. Всю дорогу Ярослав молчал, хмуро шагал рядом и лишь иногда, когда я зашибал окровавленные ноги о каменистую мостовую, крепко сжимал мою руку повывше локтя, как бы поддерживая меня.

В проходной нас отметили как опоздавших.

Ярослав довел меня до бухгалтерии, где все взгляды устремились на меня, я машинально дошел до своего места, сел и уронил голову на стол.

Все утро я просидел неподвижно, уткнувшись в руки лицом.

Когда ко мне подходили и спрашивали, что случилось и не надо ли мне помочь, я нетерпеливо отмахивался.

— Оставьте меня в покое! — говорил я.

К полудню к нам в комнату явился Седлатшек. Возможно, он просто хотел проверить, все ли на своих местах, но увидев, что я никак не реагирую на его приход и по-прежнему не поднимаю головы от стола, он ехидно и не без намека сказал мне по-чешски:

— Все, как я и предполагал!

— Он плохо себя чувствует,— пытались защитить меня коллеги.

Тут взгляд Седлатшека упал на мои ноги, которые я прятал под стулом.

— Вы только посмотрите,— пробормотал он за моей спиной.— Он ходит на работу босой... словно он пастух!

— У него больные ноги,— снова попытались защитить меня.

— Знаю я эти больные ноги,— ухмыльнулся он.— Трудовые лагеря его вылечат. По возрасту он для них подходит. Мы ему в два счета поможем! Не беспокойтесь!

И он хлопнул дверью.

* * *

С работы я кинулся в лес.

Стекольный завод все еще горел, тлели обгоревшие балки, бревна, ветви деревьев, едкий запах гари стоял по всей округе.

Хотя день был до прозрачности ясный — в чистом небе ни облачка, — но мне все виделось в тумане, как в кошмарном сне. Когда я подходил к стекольному заводу, передо мной неожиданно вырос военный патруль. Он тоже показался мне призрачным, но, увы, он был страшной действительностью, и от этого у меня разрывалось сердце. Кровь бросилась мне в голову, я чувствовал ее солоноватый привкус во рту...

Там, где дорога уходила в лес, прохаживался еще один немецкий солдат, по-видимому, их здесь было полным-полно. Они охраняли стекольный завод, разоренный стекольный завод принадлежал огненным им...

Я не сводил с завода глаз. Калитка была сорвана с петель. В проеме виднелись длинные столы, за которыми еще вчера сидели любители пива, а сегодня весь двор был завален ветвями, словно тут пронесся ураган. Без крыши дом казался более низким, приземистым, еще более мрачным, чем обычно. Окна с выбитыми стеклами усиливали впечатление заброшенности, черные от копоти стены сгоревшего дома казались надгробьем над погибшим насильственной смертью стекольным заводом.

Трудно было представить, что еще вчера здесь беззаботно пели песни, дядюшка Карел забористо играл на гармонике, а Зубодер курил перед домом виргинскую сигару... Сейчас на пыльной дороге валялась изрешеченная пулями доска с надписью «Трактор у стеклозавода».

Не находя себе места, бродил я по лесу, дошел до дамбы, сбежал к водостоку и там рухнул в высокую траву под старыми развесистыми вербами.

Я лежал, зарывшись лицом в траву, вдыхал запах тмина и чего-то сладковатого, напоминающего запах пчелиного меда. В первую минуту я даже не вспомнил, откуда мне знаком этот запах.

И тут перед моими глазами предстал тот летний вечер, когда я впервые увидел Виолу на фоне темно-синего пруда и тускнеющих красок погружающегося в сумрак леса. Я снова вспомнил, как она стояла передо мной в мокром, прилипшем к телу купальнике и вдруг стянула с головы резиновую шапочку...

Я видел, как она — в белом халатике, золотые волосы стянуты узлом — пробирается ко мне мимо раскинувшихся на земле людей, как она бросается в мои объятия со слезами на глазах...

И вот мы вместе лежим в высокой траве, а ночь опускается на ветви деревьев и черной пеленой окутывает пруд... Потом Виола лежит на моем плече и машинально застегивает пуговицы кофточки на груди, глаза ее устремлены в небо, увидев падающую звезду, она молитвенно шепчет: «Лети, моя звездочка, лети...»

Может быть, лучше было бы умереть. Не думать, не видеть, не слышать. Не существовать.

Или биться головой о землю до тех пор, пока не выбьешь все раздирающие сердце воспоминания.

Я не мог здесь оставаться. Как безумный бегал я по лесу, громко и безнадежно выкрикивая имя Виолы.

Лесистые склоны, безучастные воды пруда отзывались глухим эхом.

«Теперь ты все равно не сможешь быть один, даже если захочешь»,— доносился до меня издали ее приглушенный голос.

Минутами мне казалось, что она здесь, рядом, что мы снова ходим вместе рука в руке, не отрываясь смотрим друг на друга как зачарованные.

И тут же понимал, что к прошлому нет возврата, что война не возвращает своих жертв.

12

В сорок пятом году через три месяца после окончания войны я поехал в родной город получить в Национальном комитете необходимые документы и характеристику. К тому времени я переселился в Прагу, работал там в страховой конторе, и передо мной открывались самые широкие перспективы. Я не мог оставаться в родном городе: там каждый шаг напоминал мне о трагических событиях, происшедших четыре года назад.

И вот в июле в одну из суббот я неожиданно появился дома. Мама встретила меня со слезами на глазах, растроганно суежилась вокруг меня. Ее интересовало все, самые малейшие подробности моей жизни: что я делаю вечерами, и особенно воскресными, раз уж никак не удосужусь приехать к ней. Она не хотела поверить, что я могу жить вдалеке от нее, без ее опеки, без ее материнской ласки.

Она жаловалась на здоровье, сказала, что в последнее время частенько болеет, вероятно, дает себя знать возраст, по ночам ей не спится, потому и днем голова тяжелая.

— Что-то мне все нездоровится,— сказала она.— Наверное, лучше уже и не будет. Только хуже.

На крыльце послышались шаркающие шаги, кашель Хромого. Услышав в кухне голоса, он заглянул в окно.

— Ого, гость из Праги!— удивился он.— Хорошо, что вспомнил отчий дом, а то ведь и вовсе забыл, откуда ты родом!

— Я вам привез две пачки табака,— ответил я ему вместо приветствия.

В последнее время он пристрастился к трубке, усаживался поудобнее на скамейку перед домом, брал в руку длинную трубку с разрисованной фарфоровой головкой, не сразу разжигая ее, затягивался, сплевывая во все стороны коричневую слюну.

Я протянул ему табак, он довольно пробормотал:

— То-то же! Теперь я буду лучше думать о тебе.

Он вошел в дом, без приглашения присел к столу и молча смотрел, как я доедаю угощение, которым на радостях потчевала меня мать.

— Хорошо, когда есть аппетит,— рассуждал он.— А знаешь, зайди-ка ты в трактир «На уголке». Там тебе будут рады...

— Да, пожалуй, сходи,— добавила мать, которая хоть и сетовала, что сын не живет дома, гордилась тем, что он работает в Праге.

— А что, трактирщик Пенкава не вернулся?— спросил я.

— Да где там!— ответил сосед, опуская седую голову.— Никто не знает, что с ним случилось. Одно время в предместье говорили, что с ним вышла ошибка. Немцам будто бы сообщили, что в трактире на нашей окраине творится что-то подозрительное, а так как они не знали про другой трактир, то и прикрыли этот, «На уголке». Речь-то шла о «Трактире у стеклозавода». Только бедняге Пенкаве все равно обратного пути не было...

— А что говорят о стеклозаводе?— нетерпеливо спросил я.

— Да поговаривали, что в лесу за стекольным заводом немцы нашли припрятанное оружие. Чуть не целый склад...

— А о Зубодере что говорят?

— Никто из них не остался в живых,— удрученно проговорил Хромой, скорбно опустив углы губ.

...Вечером я сидел в трактире «На уголке». Гостей обслуживал теперь новый трактирщик, здесь, как и раньше, собиралась вся округа, Хромой со своими партнерами резался в карты.

— А вот и пражанин,— приветствовали меня, когда я вошел в трактир.— Ему в Праге живется весело, это наша еда — хлеб да вода...

— Хорошо, где нас нет,— напомнил им я.

— Зато трактиры там на каждом углу,— не унимались они.

Пришел Ярослав. Он искренне обрадовался, по-дружески крепко пожал мне руку. Мы сели вместе, выпили по кружке пива, но о чем говорить, не знали: у каждого была своя жизнь.

— Я слышал, тебе в наследство достался мотоцикл,— вдруг сказал он.

— Мне? Ты не шутишь?

Только теперь я вспомнил, как после ареста Хадимы к моей матери зашла та портниха, к которой он ездил, и сказала, что Хадима просил ее, если с ним что случится, передать мотоцикл мне: мол, у меня он будет в надежных руках.

— Откуда тебе это известно? — спросил я Ярослава.

— Да я как-то зашел к ней, сказал, хочу, мол, купить мотоцикл,— признался Ярослав.— А она ни в какую, и слышать ничего не хочет, говорит, мотоцикл твой: Хадима просил ее перед смертью отдать его тебе...

— Перед смертью?

— Она сказала, что немцы его казнили.

И я вспомнил Хадиму, его горькую и одновременно гордую улыбку, услышал его глухой голос: «Все равно рано или поздно они меня схватят».

Мне представилась сцена на фабричном дворе, когда его уводили и когда он вдруг остановился на границе света и тени...

— Я попрошу, чтобы она отдала тебе этот мотоцикл,— сказал я Ярославу и был счастлив, увидев, как он обрадовался.

* * *

В воскресенье я проснулся поздно. Мать куда-то ушла, вероятно за провизией. На столе стоял завтрак, на плите еще горячий кофе.

Небо было покрыто тучами, моросил частый дождик. Я подыскал в прихожей старый дождевик и пошел по мокрой проселочной дороге к стекольному заводу.

В поле, в пропитанном сыростью воздухе я неожиданно почувствовал себя хорошо: по моему лицу бежали капли дождя, но я не обращал на них внимания — я глубоко вдыхал чистый, влажный воздух, напоенный ароматом скошенных лугов и зреющих хлебов.

Вскоре передо мной возникли мрачные развалины стекольного завода. Невыносимая грусть сдавила мне сердце, слезы навернулись на глаза.

Забор обвалился, калитки не было, стены почернели от пожара, только покालеченные деревья за четыре года заметно разрослись, они тянули зеленые ветви над разрушенным зданием, пытаясь прикрыть утрюпые руины.

Я вышел со двора, приблизился к дому и в нерешительности остановился. Из обгоревших деревянных столов и скамеек были выломаны доски: видно, никто ими уже не пользовался.

Медленно брел я по сырому песку, усыпанному сосновыми иголками, я хотел было заглянуть внутрь дома, как вдруг сверху раздался неприветливый голос:

— Что вам здесь надо?

Подняв голову, я увидел двоих мужчин в синих рубашках. Они делали обрешетку новой крыши.

— Да вот зашел посмотреть,— ответил я в растерянности.— Когда-то здесь был трактир...

— Это когда еще было,— сказал один из них.— Теперь мы здесь хозяева.

— Идите своей дорогой,— забеспокоился другой.— Не то неровен час вам еще что-нибудь свалится на голову.

Я вышел на тропинку и направился к лесу. За моей спиной раздался перестук молотков, сопровождавший меня все время, пока я бродил по промокшему лесу.

Я не мог не спуститься с насыпи к месту, бывшему свидетелем нашей с Виолой любви. Дикое, заброшенное, почти неприступное, оно заросло со всех сторон буйной бирючиной.

И трава там была высокая, густая, необыкновенно сочная, какая растет только вблизи воды или на кладбище...

А вода, как всегда, выбрасывалась могучими толчками через водосток.

* * *

На следующий день я пошел в Национальный комитет. Там толпился народ. В отдел, где принимались заявления от желающих получить характеристики, стояла длинная очередь, так что мне не осталось ничего другого как стать в нее.

Очередь шла быстро, и я не успел оглянуться, как оказался перед барьером, за которым сотрудница отдела прочитывала заполненные подателями бланки и при необходимости просила дополнить их нужными сведениями. Когда она машинально сказала: «Следующий!» — и подняла на меня глаза, я на мгновение онемел. Мне показалось, что все это происходит во сне: коротко подстриженная женщина за барьером была не кто иная, как Эмча. Эмча со стекольного завода!

И она тотчас узнала меня.

— Значит, это вы? — сказала она. — Я уже справлялась о вас. Мне сказали, что вы живете в Праге...

— Вы живы? — уставился я на нее.

— Как видите, — ответила она.

— А Виола? — спросил я с надеждой.

— Вендулка? — сказала она и, помолчав, тихо и горько добавила: — Никто из наших не уцелел.

Она перевела взгляд на мой бланк и быстро пробежала его глазами.

— Все в порядке, — коротко сказала она.

— Не могли бы мы с вами встретиться и поговорить? — спросил я, когда следующий уже занял мое место.

— Конечно, — ответила она. — Лучше всего встретиться в обеденный перерыв... перед входом в наше здание.

Я не мог дожидаться, когда часы на башне пробьют полдень. Бесцельно бродил я по улицам, останавливался перед витринами магазинов, заходил на рынок, смотрел на человеческий муравейник, но ничто меня не занимало.

В моей памяти оживал во всех подробностях тот солнечный летний день во время оккупации. Я снова видел немецкие военные машины, ползущие по полю к лесу, слышал короткие хлопки выстрелов, видел охваченную пламенем крышу стекольного завода, почерневшие от пожара стены, обломанные деревья, стаи испуганных птиц в голубом небе...

Я долго переминался с ноги на ногу, поджидая Эмчу у входа. Наконец она пришла.

— Извините, но никак не получилось раньше, — сказала она.

— Расскажите, как это произошло, — торопил я ее.

Мы шли посередине площади, освещенные ярким полуденным солнцем, суетливые голуби путались у нас под ногами, мешали идти.

— В то утро меня не было дома, — объяснила она мне. — Накануне вечером я уехала в Бероун, ну а потом скрывалась до конца войны у добрых людей.

— Так что вы даже не знаете, что произошло на стекольном заводе?

— Нет, не знаю. И, вероятно, никогда точно не узнаю, хотя и догадываюсь, что там случилось...

Мы дошли узкой улочкой до небольшого сквера и заметили свободную скамеечку в тени каштана.

— Сядем, — предложила она. — Так нам удобнее будет поговорить.

— О чем же вы догадываетесь?

— Люди мне рассказывали, как фашисты окружили стекольный завод и обстреляли его со всех сторон...

— Я видел это собственными глазами. Я побежал на помощь вашим, но опоздал...

— Наши защищались, пока их всех не перестреляли. Временами я упрекаю себя, что меня тогда не было с ними.

— Они застрелили бы и вас,— сказал я.

— Но там я потеряла сына... и самых близких мне людей.

— У нас был жених,— вспомнил вдруг я.

— Теперь это мой муж,— сказала она и грустно улыбнулась.

Я смотрел на ее исхудавшее лицо, на котором ласково светились большие светло-голубые глаза.

— Вы ничуть не изменились,— спохватившись, вежливо сказал я.— Вы точь-в-точь такая же, как тогда.

— Правда? А у меня такое чувство, что я постарела на несколько десятков лет. Пережитое не проходит бесследно.

В профиль Эмча удивительно походила на Виолу: такой же прямой гордый лоб, ровный нос и полные, пожалуй, даже чуть слишком полные губы.

— А о Виоле, о том, что с ней стало, вы не знаете ничего? — упрямо повторял я мучивший меня вопрос.

— Как бы я хотела что-нибудь о ней знать! Я уверена, что Вендулка помогала отцу. У нас на чердаке стоял пулемет. Они наверняка стреляли вместе.

Я представил себе, как Виола вместе с Зубодером защищает до последнего дыхания свой дом...

— А вы? Все еще не женились? — перевела она разговор, когда я проводил ее в Национальный комитет.

Я покачал головой.

— Ничего, вы еще найдете ту, настоящую...— грустно заметила она.

— Настоящая была Виола,— перебил я ее.— Я не могу забыть Виолу...

Перед зданием Национального комитета мы с Эмчей наспех попрощались. Она крепко пожала мне руку и пожелала счастья.

Вокруг нас бурлила повседневная жизнь города.

Перевела с чешского Т. МИРОНОВА.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ



ТРИДЦАТЬ МИНУТ У ЛЕНИНА

Старый человек отрешенно разглядывал пришельца. Прямым, немигающим взглядом темных глаз. Будто прикидывал в уме, что за птица такая явилась в дом.

Вялым поворотом руки Рё Накахира пригласил в комнату, сокрытую за голубым пологом. Молча опустился, скрестив ноги, возле низкого шаткого столика на плоскую подушечку — дзабутон. Полог трепыхнулся, неслышно раздвинулся. Вошла маленькая сухонькая старушка с подносом в руках. Жена, вторая; первая, слышал, давно умерла.

— Нами, это наш гость из Москвы.— Едва уловимый кивок в мою сторону.

— О, какое счастье! Какое счастье! Как мы рады! — заворковала старушка, засияла вдруг в улыбке и низко поклонилась.— Как хорошо, что вы пришли! Как хорошо!

На столике появились корзиночки с теплыми влажными салфетками — о сибори,— бокалы с оранжевым соком. Минуты две-три спустя полог снова колыхнулся, и нам было предложено по куску арбуза, густо-красного, сочного.

— Додзо, пожалуйста, отведайте.

Накахира понурил голову. Молчит. На нем белая рубашка с длинными рукавами, черные брюки. Темно-синий, с густым отливом галстук перехвачен модной заколкой. Неторопливо перелистываю блокнотик, пробегаю вопросы, заготовлено их прорва.

...Приключилось это как-то вдруг, неожиданно. Будто шагнул Накахира своими нетвердыми старческими ногами со страницы газеты, где я случайно наткнулся на его фамилию, в мою жизнь. Теперь и сам не знаю, расстанемся ли мы когда-нибудь.

Накахира встречался с Лениным почти шестьдесят лет назад. В душный летний день он сидел в рабочем кабинете Владимира Ильича, брал интервью. Интервью, о судьбе которого ничего не было известно более четырех десятилетий.

Встречи с людьми, чьих судьба связала с Лениным, всегда событие. На такие встречи приходится спешить. Время неумолимо...

— Уважаемый Накахира-сан, мне доставляет удовольствие видеть вас в добром здравии и благополучии. Передать приветы из тех мест, где некогда прошел целый год вашей жизни. Хотелось бы задать несколько вопросов.

Молчание. Затем:

— Благодарю за добрые слова и приветы. Приятно их слышать. Я к вашим услугам. Догадываюсь, зачем вы пришли и что вас интересует — моя встреча с Лениным. Не так ли?

— Именно так. Как вы сами оцениваете столь знаменательный факт своей биографии? Вспоминаете встречу?

— Нельзя вспоминать то, что всегда с тобой. Минула целая жизнь с той поры, память не гранит — многое безвозвратно ушло. Но беседа с Владимиром Лениным — самое дорогое, что у меня осталось.

— Знаете ли вы, что интервью, которое вы взяли у Ленина, помещено в полном собрании его сочинений? В сорок первом томе.

— Слышал.

— Когда произошла ваша встреча с Лениным?

— Третьего июня двадцатого года.

— В какое время дня?

— Помню точно: после обеда.

— Вы были одни?

— Нет, вместе с другим японским журналистом господином Кацудзи Фусэ, он представлял газеты «Токио Нити-Нити» и «Осака Майнити». Пробивной был человек.

— Сколько времени вы пробыли у Ленина?

— О, весьма недолго. Минут тридцать.

— Скажите, Накахира-сан, какая особенность в облике вождя русской революции запомнилась вам более всего?

— Какая особенность? — Хозяин квартиры трижды повторил эти слова и задумался. — Нелегко, знаете ли, вот так взять да и прямо назвать. Ленин — гений. Обычные критерии и оценки, которые применимы к любому другому человеку, к нему не подходят. И все же на первое место я поставил бы мудрость. Да, именно мудрость. И еще простоту, скромность. До удивления прост и прям был Председатель Совета Народных Комиссаров. А прямой человек, как и прямой бамбук, встречается редко. Мудрость и скромность Ленина поразили нас особенно сильно.

— В одном из ваших репортажей я вычитал поистине пророческие слова и хочу напомнить их: «Настанет когда-нибудь такое время, когда имя Ленина завоеует уважение всего человечества как имя самой выдающейся личности».

— Да, так я думал в двадцатые годы, так думаю и теперь. Ленин действительно величайший человек в современной истории. Поставить рядом с ним некого.

Старик вдруг встал, пошатываясь, прошел в соседнюю комнатку, вернулся с томиком в руках.

— Вот книга, которую я написал о поездке в Россию. Называется «Год в красной России». Издана в двадцать первом году. Единственный экземпляр. Здесь собраны материалы, напечатанные в то время в «Асахи».

Книжечка довольно солидная, триста страниц. Формат некрупный, удобный. Переплет твердый, красного цвета. Наверное, выбран не без умысла. Раз Россия — красная, пусть и цвет соответствует. На обложке в центре силуэт собора Василия Блаженного. Фотокопии документов, портреты Ленина, Луначарского. А вот и сам герой: в поношенном мятом френче, с узелком в правой руке и перекинутой шинелью через левую. В старой кепке, белых туфлях. Лицо жесткое, строгое.

— Можно ли купить вашу книгу?

— Никак нет. Тираж небольшой. Где найдешь.

— Тогда нельзя ли сделать фотокопию с этого экземпляра?

— Извольте.

Так на моем столе появилась книга Накахиры.

Накахири-санская домашность донельзя скромна. Комнатка заставлена утварью. Старый комод с чемоданами, коробками, свертками, банками наверху. Почерневшая от времени ножная швейная машина. Телевизор, тумбочки, полочки. Шкафы и этажерки с книгами, некоторые в полинявших кожаных переплетах, изданы, должно быть, на грани веков. Все старое, обветшалое, вышедшее из моды.

Хозяин словно подслушал мои мысли.

— Мы с Вами бедные люди. Я прожил долгую жизнь. Давно ушел из этого мира отец с матерью, брат и сестра, ровесники. В Японии мало старых людей, а таких, как я, на пальцах перечесть. Прожил много, а богатства вот не нажил. Хотя в детстве, как принято, клал под подушку в предновогоднюю ночь красочные картинки с изображением семи богов удачи. Чтобы приснился добрый сон и исполнились желания. Так поступали миллионы. Но боги не оценили рвения и не няспослали на меня свои милости. Особенно в сильной обиде оказался Дайкоку — бог наживы и благополучия. За что — не знаю. Правда, говорят, и Конфуцию не всегда взяло. Осо-

беню в нынешнем Китае. Зато приглянулся я Фуку-року-дзю — богу долголетия, покровителю шахматистов, часовщиков, антикваров. Я ни то, ни другое, ни третье. Но заметив, должно быть, что мой профессиональный бог Дзюродзэн, призванный печется о журналистах — кстати, запомните это имя, вдруг пригодится, — совершенно забыл про мою скромную персону, под защиту взял меня Фуку-року-дзю. Вот живу, скриплю. Старость, как и верную собаку, не прогонишь.

О Накахире писано-переписано. Статьи, очерки, повесть, телепередача. И тем не менее я начал новый поиск. Полетели запросы в Иркутск, Владивосток, Омск, Пермь, Глазов, Горький, Ригу — города, по которым в свое время пролегал маршрут японца.

В который раз беру в руки темно-синюю книжку с дорогим силуэтом на обложке. 41-й том. 129—131 страницы — текст беседы В. И. Ленина с Накахирой. 132-я — 134-я — текст беседы с Фусэ. Стоят рядышком. Все знакомо.

И вдруг... Что-то в интервью задержало взгляд. Накахира спросил про революцию в России и о перспективах ее развития. Ленин изложил историю революционного движения и в заключение сказал, что ныне русский рабочий класс и крестьянство приобрели более чем двухгодичный опыт революции, который вполне сопоставим с многовековым развитием. Мысль ленинская. Но логически не завершена. Кажется, что-то опущено. Опыт борьбы, конечно же, важен. Но главное в социальной революции — ее конечный результат. Слом одного общественного строя и возведение на его обломках другого. Мог ли Ленин не сказать об этом буржуазным корреспондентам? Забыть, запамätовать, обойти молчанием? Никак не мог! Значит, либо нерасторопный журналист не записал, либо записал и отправил в редакцию полный ответ, а уж там...

Я принялся изучать накахировский текст и проверять Лениным. Метод не дал сбоя. Речь зашла об отказе стран Антанты признавать рабоче-крестьянское государство, стремлении осуществлять военную интервенцию. Ленин делает неожиданный вывод: чем дольше продлится такая политика, «тем выгоднее это будет в конечном итоге для нас». Почему выгоднее? Что имелось в виду? Ответа в тексте нет. Зато он есть во многих других работах: проводя интервенционистскую, грабительскую, хищническую политику, империалисты Антанты разоблачают себя в глазах своих же подданных, вызывают их гнев и возмущение, движение в защиту советской России.

Снова загадка: куда делся конец? Прояснила бы, конечно, рукопись.

— Помилуйте, какая рукопись! — Накахира удивленно приподнял левое веко. — Прошло столько времени. Была война.

В январской книжке «Усио» за 1967 год, которую удалось откопать в одном токийском архиве, наткнулся я на статьи некоего Есихиса Кадзитани, первооткрывателя Накахиры, напавшего на него, как сообщалось в журнале, восемь лет назад. Кадзитани писал:

«Места в телеграммах Накахиры и Фусэ, выброшенные цензурой, как раз содержали высказывания Ленина о коммунизме. Из отчета Накахиры в газете «Осака Асахи» по приказу властей было убрано 144 строки, из его книги «Год в красной России» — 5 с половиной страниц, из телеграммы Фусэ — 46 строк. Извлечения производились в соответствии с законом о газетах и изданиях, строжайше запрещавшем печатать «сведения об изменении государственного строя и разрушении государственного порядка»...»

Итак, все встало на свои места. Текст интервью урезан японской цензурой. Выброшены места, содержащие «высказывания Ленина о коммунизме». Что это за высказывания? Ответ могла бы дать рукопись интервью. Но она погибла.

В одном из репортажей Накахира упоминает про телеграф. Живя в Москве в течение года, он сносился с отделом Востока Наркомата по иностранным делам, просил передавать его телеграммы в редакцию по прямому проводу.

Снимаю телефонную трубку. Набираю номер давнего знакомого, ученого и дипломата, начальника Историко-дипломатического управления МИД Сергея Леонидовича Тихвинского, не питаю, впрочем, особых надежд. Дня через два ответный звонок:

— Нашлись следы вашего Накахиры. Приезжайте к нам.

Передо мной были доподлинные бумаги московского корреспондента «Осака Асахи». Первое, что бросилось в глаза, — «Рио». Не «Рё», а «Рио» — так писалось

тогда имя Накахиры. Паспорт, выданный в русском вице-консульстве города Кобэ. Телеграфные запросы из «Осака Асахи» о судьбе сотрудника, долгое время не дававшего о себе знать. Телеграфные же ответы через Лондон, Копенгаген, Ревель, Пекин. Отношение в охрану Кремля с просьбой выдать пропуска для встречи с Лениным. И наконец, рукописи и копии корреспонденций, посланных из Москвы.

В описании и датировке интересующих нас событий до сих пор нет полной ясности. В том числе, к сожалению, в изданиях самых что ни на есть авторитетных. В 41-м томе, именном указателе и разделе дат жизни и деятельности указано: Накахира был принят Лениным 3 июня 1920 года, Фусэ — 3-го или 4-го. Правда, в примечании 65 допущена возможность одновременной встречи японцев в Кремле. Еще больше определенности в 8-м томе Биохроники: там оба журналиста уже вместе, но опять-таки беседуют с Лениным 3-го или 4-го. И уж совсем нечто неожиданное вычитал я во втором справочном томе к ПСС в разделе «Беседы»: дескать, Накахира был в Кремле... 6 июня. Фусэ и там помечен 4-м. Во всех остальных изданиях разнобой еще более значителен.

Итак, когда были приняты в Кремле японские журналисты? 3 или 4 июня? (6-е снимается сразу как нереальная дата.) Вопрос первый: вместе или порознь? Второй: следовательно, сколько вообще было интервью — одно или два? Вопрос третий: в какое время дня происходила встреча? Четвертый: не сохранились ли вопросы, заданные Ильичу во время беседы? Пятый: приходил ли к Ленину Накахира на следующий после встречи день, как утверждает в некоторых публикациях, чтобы показать подготовленную запись беседы, просматривал ли ее Владимир Ильич, оставил ли исправления и пометки? Шестой: какова судьба рукописи? Седьмой...

И далее. Почему счастливчик Фусэ был обнаружен сразу? Уже 26 июня 1920 года изложение его интервью приведено во владивостокской эсеровской газете «Воля». Затем вошло в сборник «Ленин и Восток», потом в первое издание сочинений Ленина, в XX том. Фусэ повезло. Зато Накахира как уехал из Москвы — и будто в воду канул. Не подавал о себе известий в течение четырех с лишним десятилетий. Почему? — вопросы восьмой и девятый.

И наконец, самое главное в нашем повествовании. В какой степени текст интервью Ленина, который впервые был опубликован в июне 1920 года в газете «Осака Асахи», вошедший ныне в Полное собрание сочинений, соответствует тому, исконному, так сказать, первородному, написанному Накахирой непосредственно со слов Владимира Ильича, то есть тому тексту беседы, который ныне обнаружен в Архиве внешней политики СССР? Вопрос главный — десятый.

— Накахира-сан,— прошу я,— расскажите о себе. Как попали в Россию?

— Родился я давно, в прошлом веке, в девяносто четвертом году, в самый Новый год, так что мне сейчас — прикиньте-ка — восемьдесят пять лет. Родная деревня моя, небольшое бедное селение, называется Хасуикэ и находится в уезде Такаока, что в префектуре Коти. Если взглянуть на карту Японии, без труда можно обнаружить на острове Сикоку нашу префектуру. Край мало населен, развито в основном сельское хозяйство. Климат здесь мягкий, теплый, растут бананы и ананасы. Отец, Мицую Накахира, был сельским врачом, лечил крестьян, умел довольствоваться малым. Мать, Тора, тихая, скромная, безответная женщина, родила ему двоих сыновей и дочь, растила детей, хлопотала по хозяйству. Я должен был наследовать семейную профессию врача, но традиция на мне оборвалась. По английскому языку я шел первым учеником в префектурной гимназии, зато математику осилить не смог. Тут как раз открылись курсы торговли и языков при Осацкой торгово-промышленной палате. Я поступил учиться и одновременно начал работать в таможне. В марте пятнадцатого года закончил учебу и по рекомендации учителя русского языка Моити Ямагути был принят на службу переводчиком. В апреле семнадцатого года пришел в «Осака Асахи», а уже в январе следующего года в качестве собственного корреспондента газеты оказался в России, во Владивостоке. Не правда ли, неплохо для начинающего журналиста?

— Да, довольно успешно.

— В мае девятнадцатого года редакция вдруг предложила мне срочно выехать в Совдепию. Советскую Россию в то время называли не иначе как Совдепия. Или еще короче — Советы. Россия была зажата кольцом фронтов. Капиталистический мир ждал агонии большевистской власти, и мне выпал жребий стать очевидцем и летописцем агонии. Я упросил редакционное начальство и дня на два заглянул домой. К отцу с матерью. Когда жители деревеньки прослышали новость, все как один решили: младший сын врача Мицуе не иначе как сошел с ума. Никто не знал, что такое Россия, какая там власть и зачем нужно туда ехать. Но доходили страшные слухи. Власть там захватили какие-то хищные бородатые чудовища, их изображают с кинжалами в разъяренных пастьях. Они убили русского тэнно, императора. Женщин сделали общими женами, пьют кровь своих жертв. Ехать в Совдепию — ехать на верную смерть. Как мог я утешил отца с матерью. Попрощался с братом и сестрой, поклонился жителям деревеньки — и в путь-дорогу. Удастся ли свидеться, бог знает. Двадцать четвертого мая сел во Владивостоке на поезд, и началось мое путешествие по России. Бесконечные просторы лесов и степей, по которым мчался поезд, сочетались с бесконечной сменой властей. Царский генерал Хорват в Харбине, атаман Семенов, чехословацкие легионеры, соотечественники, вошедшие в Приморье и Сибирь, бесчисленные миссии союзников, омское правительство адмирала Колчака. Проверки документов, обыски, аресты, допросы, угрозы — казалось, всему этому не будет конца.

Поставленные вопросы требовали ответа. Начнем с главного — с текста интервью. Вот что написал и послал Рё Накахира в редакцию.

Пекин

В Пекинское отделение японской газеты

«Асахи Симбун»¹

Третьего числа июня месяца я был принят товарищем Лениным в его деловом кабинете, находящемся в Кремле.

Меня поразила простота обстановки, которую я здесь вопреки моим ожиданиям встретил. Минут ряд помещений и коридоров, в которых находились дежурные солдаты кремлевской охраны, мы проследовали в кабинет Ленина.

Прием наш со стороны Ленина носил характер чрезвычайной простоты и сердечности — принял он нас как старых грузей своих, ни на минуту не намекая на то исключительное по своей высоте положение, которое он занимает.

Опередив нас, собравшихся предложить ему ряд вопросов, Ленин выразил свое неудовольствие по поводу того, что со стороны Японии не замечается никаких признаков желания идти навстречу мирным дипломатическим тенденциям Советского правительства, признавшего даже в угоду такого сближения самостоятельность ныне создавшегося буферного государства на Дальнем Востоке.

Далее он предложил ряд вопросов вроде следующих — «много ли в Японии существует крупных землевладельцев», «в достаточной ли мере наделены японские крестьяне землею», «живет ли японский народ преимущественно продуктами собственного производства или же вынужден прибегать к ввозу из-за границы?».

Эти и другие вопросы указали нам на чрезвычайный интерес, питаемый Лениным по отношению к нашей стране

Так, между прочим, он предложил вопрос, правда ли, что в Японии, как он это прочел в какой-то книге, родители никогда не бьют своих детей. Узнав от нас, что это за редким исключением действительно так, Ленин по этому поводу высказал свое удовлетворение, указывая на то, что одним из принципов советской власти является именно борьба против телесных наказаний малолетних детей.

В ответ на наши вопросы Ленин кратко обрисовал ход революционного движения в России, указав на тот беспрецедентный гнет, под которым находились рабочие и крестьянские массы России. Далее указав на то, как в результате такого гнета постепенно возрастало возбуждение бедных классов, которое наконец вылилось в ничем уже не сдерживаемое революционное движение, несмотря на ту относительно малую степень

¹ Архив внешней политики СССР, ф. 146, оп. 2, п. 1, д. 11, листы 9—11.

организованности и низкий по отношению к другим странам уровень грамотности, которыми обладает русский пролетариат.

Однако теперь можно констатировать, что за два с половиной года русские рабочие и крестьяне приобрели громадный революционный опыт, который по своей важности может равняться с опытом, сделанным в этой области за несколько сот лет.

Чем тяжелее ложились на Россию репрессии союзников, тем шире становился размах революционного творчества русского пролетариата, который сумел воздвигнуть коммунистический строй на развалинах самодержавно-деспотического правления, минуя, таким образом, промежуточные стадии социального прогресса.

В ответ на наш вопрос, почему Советская республика, аннулировав в принципе все займы старого правительства, все же согласилась выплатить Эстонии значительную сумму золота, Ленин ответил в шутку следующее:

«Эстония первая проявила по отношению к нам известное дружелюбие. Посему ту сумму, которую мы ей уплатили, мы можем рассматривать как известного рода рекомпенсацию за эти высказанные ею по отношению к нам чувства.

Вообще с буржуазией всегда трудно иметь дело ведь она не видит другого почина, кроме чисто материальных выгод. Возьмем хотя бы Америку, которая даже сделала нам мирное предложение. Однако сие по ближайшему рассмотрению оказалось эксплуататорским и посему было для нас неприемлемым. Мы принципиально не будем подписывать такого рода мирных договоров, дабы не сочли, что мы себя чувствуем бессильными.

Чем дальше продлится наше непризнание и интервенция со стороны союзников, тем выгоднее для нас, ибо такая политика империалистических правительств вызовет ропот их же подданных и является залогом гибели капитализма от себя же самого.

До сих пор коммунистическое движение не имело прочной основы в странах Востока. Но во время войны Англия и Франция наполняли кагры своих колониальных войск населением этих стран, которые по своему возвращению посетят большевистское семя в этих странах.

Русской промышленности предстоят широчайшие задания вроде массовой электрификации промышленности целых районов. В этом направлении и выскажется творчество коммунизма, однако выполнение этих задач потребует не один десяток лет».

Накахира.

Интервью В. И. Ленина, как видно из текста, являет собой идеальный образец динамизма и экспрессии, умения дельно распорядиться каждой минутой времени, выжать из нее максимум возможного. Генциальная ленинская мысль спрессована в интервью с плотностью атома.

А подумать, ну что за время — тридцать минут. Столько пробыли журналисты в кабинете Владимира Ильича. За полчаса он сумел обсудить с ними массу важнейших проблем.

Да, это Ленин. Это он. Владимир Ильич представляется мне в этой конкретной ситуации не столько лидером партии, Председателем Совета Народных Комиссаров, сколько пропагандистом. Возможно, вспомнилось былое: вел когда-то занятия по научному социализму в рабочих кружках Питера.

Не имело значения, что перед ним сейчас не огромная площадь, запруженная революционным народом, не многоярусный зал театра с тысячами людей. Не заводской цех и даже не группа людей в рабочих блузах. Нет, всего-навсего два человека. Два иностранца-журналиста, представляющих буржуазную прессу.

Правда, Карахан говорил ему, что газеты, которые представляют Накахира и Фусэ, называют себя либеральными и чуть ли не свободными (свобода печати в буржуазном обществе! Экая нелепость!). Позволяют себе побаловать читателя более или менее объективной информацией из России. Что корреспонденции Фусэ производят настоящий фурор, ошеломляют обывателей, вызывают ярость военной клики (молодец!). Журналиста ругают большевистским агентом, обвиняют в предательстве национальных интересов. Номер «Осака Майнити» с первой заметкой Фусэ вообще был конфискован.

Вот они — два корреспондента из Японии сидят перед Лениным в креслах за приставным столиком. Тихо, смиренно, вежливо. Ждут. Когда вошли, остановились у дверей и как по команде поклонились. Почти в пояс. Наверное, такой обычай. Ленин не выдержал, от души рассмеялся. Вышел из-за стола, пошел навстречу, тепло поздоровался, усадил в мягкие кожаные кресла. Один помоложе, стрижен бобриком, напряжен, скован. Украдкой взглядывает на часы. Второй старше, солиднее, держится спокойно. В приличном черном костюме. В руках лисгок бумаги. Вопросы. Оба часто и широко улыбаются, обнажая ряды белых крупных зубов. Молодой, что ни слово: «Хай, тофариса Ренина-сан, хай, хай».

За стенами ленинского кабинета лежала исполинская страна. Нити ее жизнеобеспечения, точно кровеносные артерии, несли свой ток к Москве. С запада и востока, с севера и юга. Их неисчислимое множество, этих живительных нитей. Они сходились и расходились. Бежали рядышком, скрещивались, стремили свой бег дальше. Пересекали горы, реки, моря, тайгу, ковыльные степи и песчаные пустыни. Достигая красной столицы, сгустились в тугой поток. Концентрировались в одной крохотной точке — кремлевском кабинете.

Здесь мозг и сердце революции. Бесперывно текли сюда телеграммы, донесения, депеши, рапорты, сводки, письма. Шли военачальники, наркомы, рабочие, крестьянские ходоки из самой глубинки, писатели, ученые, журналисты, гости из-за рубежа. И у каждого дело. Важное, нужное, срочное, сверхсрочное. Солдат и неутомимый работник революции — Ленин был нужен миллионам. Его ждут тысячи неотложных дел. Завален бумагами стол. В соседней комнатке, знаменитой «будке», не смолкая тревожат телефоны. Там «верхний коммутатор». Требуют внимания к себе карты, развешанные по стенам. Рабочий день его распisan по минутам. Но он сидит и мирно беседует с японскими газетчиками.

«Перед отъездом у меня было много вопросов относительно положения в России, вызванных чтением сообщений из Европы и Америки. Как же может рабоче-крестьянская правительство держать в своих руках власть, если действительно обстановка в стране такая критическая, как говорилось в этих сообщениях? Как ему удается преодолевать нехватку материалов и продуктов? Почему Красная Армия побеждает всякий раз, откуда и как берет она свои силы? И прочее и прочее.

Знаюки России пытались объяснить все это действием «средств страха», но я надеялся увидеть и что-то другое и с большим интересом следил за событиями за Уралом. Именно в это время я получил из редакции распоряжение поехать в Россию. Не раздумывая сел за машинку и сам себе отпечатал предписание на имя московского правительства: «Единственная в Японии либеральная газета «Асахи» направляет своего сотрудника в качестве корреспондента в Москву для ознакомления с положением социализма у Советского правительства. Просит озаботиться о безопасности его жизни и имущества».

Через десять с лишним дней нелегкого пугешествия я прибыл в столицу сибирского правительства Омск. Город был переполнен людьми. Все номера отелей заняты. Поэтому представители разных стран и другие люди жили в вагонах поездов, в здании вокзала. Я также начал постигать житье в вагоне.

Я обдумывал план перехода через линию фронта, собирал сведения о действительности в красной России. Члены японской военной миссии и консул Мацусима, узнав о моем намерении, в один голос жинялись усиленно отговаривать меня, утверждая, что моей жизни будет угрожать опасность.

Через неделю я с трудом достал разрешение поехать на уральский фронт... Проехали Челябинск, Екатеринбург. Все станции переполнены эвакуированными. Среди них свирепствует тиф и холера.

...Третий день как я в Перми. Рано утром в городе поднялся шум. Я вышел на балкон отеля в ночной рубашке и увидел: суматоха, бегут люди, скачут лошади. Еще вчера было более или менее спокойно, а сегодня на стенах домов уже появились объявления: «Сибирские войска на некоторое время оставляют город по стратегическим соображениям». Жители были поражены. Я мгновенно понял, что, сидя в Перми, можно будет «перейти» границу рабоче-крестьянской России. На сердце стало легче. Прав-

да, о «варварстве» Красной Армии я слышался предостаточно и испытывал боязнь перед ее солдатами. Тем не менее я поставил стул посередине комнаты, присел и подумал, что же делать. И вдруг решил бесповоротно: остаюсь, если умру, значит, такова моя судьба.

Прибежала насмерть перепуганная горничная и кричит прямо с порога:

— Господин, все жильцы уже готовы к отправлению! Почему вы сидите?

— Я остаюсь,— спокойно отвечаю горничной.

Девушка остолбенела, поглядела на меня как на сумасшедшего. Потом так же мгновенно умчалась. Прибежал хозяин отеля и советовал передумать. Но я и ему ответил, что хорошенько подумал и решил остаться.

К вечеру белые войска убежали из города.

На другой день рано утром я открываю окно и смотрю на улицу. Прискакал офицер и остановился около караула, охранявшего вход в отель, о чем-то расспрашивал солдата, потом пожал ему руку и ушел. Я наблюдал эту теплую картину, которой был поражен, и подумал, что Красная Армия — это совсем не грубая сила. Тогда я решил начать переговоры о моей поездке в Москву. Пошел в комендатуру, показал рекомендацию от главной конторы газеты, которую я сфабриковал во Владивостоке. И мне сразу же безо всяких расспросов дали разрешение. Кроме того, любезно посоветовали до станции Глазов лучше поехать верхом, так как железнодорожная линия до нее разрушена.

В хорошем настроении я возвращался в отель. На пути подошел ко мне один солдат и на китайском языке приветствовал меня. Поскольку я только что получил разрешение на поездку, что было равнозначно гарантии моей жизни, то я открыто говорю:

— Я не китаец, а японец.

Он удивился, откуда я взялся, на что я ответил, что я журналист. Тогда он добавил:

— Заранее благодарю вас, если вы честно напишете в Японии все, что видели здесь.

Я ему говорю, что в душе беспокоился, что солдаты Красной Армии грубы. На это он ответил:

— Все это ложь, которую распространяют о нас сибирские правители. Мы воюем против вооруженных сил буржуазии, которые угрожают революции, завоеванной кровью рабочих и крестьян. Люди всего мира — братья. Рабоче-крестьянская власть желает мира. У наших войск есть приказ: всех военнопленных следует приветствовать хлебом и солью как убежавших из-под ига буржуазии.

На пятый день после падения Перми я на крестьянской телеге поехал на станцию Глазов, как мне посоветовал начальник гарнизона. Вечером добрались до одного крестьянского дома для ночлега. Но там уже был один взвод Красной Армии, следовавший на фронт. Солдаты искренне приветствовали меня, заварили сразу чай, выделили мне из своего и без того скудного пая сахару, дали селедку. Мы за чаем до утра с ними беседовали. Один говорит:

— Смотрите, господин хороший, как было у нас при царе. Сыновья крестьян и рабочих не могли учиться даже в средних школах. Помещики облагали тяжелым оброком. Когда крестьяне не могли выплачивать его, у них безжалостно изымали урожай. В годы голода конфисковали даже сохи и плуги. Нынче-то как? — не стало помещиков и капиталистов! Крестьяне имеют свою землю! Кто не работает у нас нынче в России, тот не ест...

Поднялось солнце, но по-прежнему было холодно. Извозчик был готов, но солдаты еще спали, и я не стал их будить, двинулся дальше. И люди и лошадь выдыхали белые клубы пара. Я укутался в одеяло и дрожал от холода. Вдруг часовой останавливает. Уже сколько раз проверяли документы, поэтому я не испугался. Но на сей раз стали подробно осматривать вещи. Нашли «хотан» и говорят, что это дробь. Я раскусил горошину, и их сомнение было рассеяно. Но когда они обнаружили настоящие пистолетные пули, все было кончено. Меня повели в штаб роты. И там мне пришлось отдать свой пистолет. К тому же еще были найдены документы, выданные генеральным штабом сибирской армии. Оттуда меня передали в штаб батальона. Там опреде-

лили меня как японского шпиона... Один говорит: «К расстрелу!» — другой также: «Расстрелять!»

В это время в комнату, где велся допрос, пришла старушка с самоваром. И все мы стали пить чай. Еще мгновение назад они говорили, что меня нужно расстрелять. А тут приглашают вместе с собой пить чай. Угощают хлебом, медом. Меня удивила их большая душа!» (Рё Накахира, «Год в красной России»).

Итак, 3 июня 1920 года.

Что делал Ленин в тот день? До и после встречи с японскими журналистами? Откроем 8-й том Биографической хроники, он охватывает восемь месяцев жизни и деятельности В. И. Ленина: ноябрь 1919 — июнь 1920 годов. К сожалению, «наш» день описан менее подробно, нежели многие иные. Возможно, не все еще открылось.

В тот памятный июньский день Владимир Ильич:

подписал ряд протоколов Совета Труда и Оборона, Малого Совнаркома и других;

читал (позднее 11 час. 30 мин.) телеграмму члена Реввоенсоветов республики и Юго-Западного фронта И. В. Сталина из Кременчуга относительно решения по его просьбе о направлении дополнительно на этот фронт двух дивизий, написал заключение;

направил ответную телеграмму члену Реввоенсовета Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе в Баку о необходимости принять быстрые и решительные меры для полного разоружения буржуазии и всех ненадежных элементов, просил сообщить о принятых мерах;

в ответ на письмо Г. К. Орджоникидзе написал (ранее 20 час.) ему телеграмму в Баку;

читал телеграмму И. В. Сталина с предложением ввиду необходимости усиления Западного фронта либо заключить перемирие с Врангелем, либо санкционировать наступление; на телеграмме написал записку Л. Д. Троцкому, что наступление потребует больших жертв, предложил послать Сталину телеграмму о необходимости архисторожно и серьезно обсудить вопрос о наступлении в Политбюро ЦК РКП(б) и до получения ответа ничего не предпринимать;

ответил отказом на просьбу написать статью о задачах II конгресса Коминтерна для журнала «Коммунистический Интернационал».

Далее Биохроника сообщает: «*Июнь, 3 или 4. Ленин беседует с корреспондентами японских газет «Осака Асахи», «Осака Майнити» и «Токио Нити-Нити» Рё Накахира и Кацудзи Фусэ...*» и еще: «*Июнь, не ранее 3. Ленин просматривает стр. 5—16 корректуры четвертого тома первого издания своих Сочинений и делает пометку о наличии большого количества опечаток. «Не ранее 3», то есть начиная с 3 июня и позже. Вполне может быть — в день встречи с журналистами. Пухлая папка с версткой могла лежать на письменном столе. Впрочем, папка совсем не обязательна, могли лежать на столе гранки, и Ильич между делом заглядывал в них. Любопытное совпадение! Встреча с японцами и правка корректуры сочинений. Именно в это первое издание потом, как помним, войдет и давняя беседа в записи одного из газетчиков.*»

Встретиться с людьми из другого мира и не поговорить про жизнь Нет, это не по-ленински.

И точно. У Накахиры: «Я не успел произнести ни одного слова, а Ленин уже засыпал нас вопросами. Получалось, будто не мы, а он нас интервьюирует. У Фусэ: «Собственно говоря, кто кого интервьюировал, он меня или я его?»

Что интересовало Ленина:

земельные и классовые отношения в японской деревне, в достаточной ли мере наделены крестьяне землей, каково положение безземельного крестьянина, как и сколько он платит помещику, есть ли крестьянские организации;

много ли в стране крупных землевладельцев, сколько десятин у среднего и у крупного;

живет ли японский народ преимущественно продуктами собственного производства или вынужден прибегать к ввозу из-за границы;

бьют или не бьют родители детей;
электрификация и народное образование.

Особенно досталось Фусэ.

— А вы сами, господин Фусэ, из какого класса? — вдруг обратился к нему Ленин. — Интеллигент?

— Я сын мелкого помещика, — ответил несколько озадаченный корреспондент.

— То есть сколько же десятин у вашего отца?

Фусэ назвал в японских мерах. Ленин настаивал на переводе в десятины. Оказалось, несколько десятков.

— Позвольте, позвольте, — живо возразил Ленин, — так это совсем не мелкий помещик. Для Японии это уже средний, почти крупный землевладелец. Значит, вы, батенька, буржуйчик!

Фусэ смутился, сидел как на циночке из иголок. Что-то скороговоркой, хай, хай, проговорил в ответ. Согласно и вежливо кивал.

Земельные и классовые отношения в Японии. Интерес к ним у Ленина не случаен. Еще в 1916 году, работая над «Империализмом, как высшей стадией капитализма», он скрупулезно изучил обширную литературу по этой стране. В тетрадях по империализму приводятся интересные статистические данные по площади, географии, экономике, демографии. Особое внимание уделено сельскому хозяйству и положению крестьянства. Земля в Японии, пишет Ленин, «обложена очень тяжело. Земледелие архимелкое. О чем свидетельствуют размеры ферм — указаны европейские (акры) и японские (таны и чо) единицы. Производительность труда крайне низкая.

Более шестидесяти лет назад были сделаны эти выкладки и выводы. Но поистине Ленин смотрел сквозь годы и десятилетия! Анализ полностью соответствует положению дел в современной японской деревне. Правда, после войны была проведена аграрная реформа. Крупное землевладение было в основном ликвидировано. Класс помещиков исчез. Земледелие стало еще более «архимелким». Ныне в стране 6 миллионов гектаров пашни, в среднем по гектару на крестьянский двор. А в мелкой ферме и того меньше. Поистине «крестьянин свое поле унесет на ладони».

Были и другие причины, проливающие свет на живой интерес Ленина к земельным и классовым отношениям в японской деревне. Шла деятельная подготовка ко II конгрессу Коминтерна, и он готовил ряд основных документов, среди них тезисы по национальному и колониальному, а также аграрному вопросам. 5 июня, спустя два дня после встречи с журналистами, Владимир Ильич направил группе товарищей первоначальный набросок тезисов. Просил «дать свой отзыв, или исправление, или дополнение, или конкретное пояснение...». В перечне пунктов, по которым запрашивалось мнение, последним стояло: «Китай — Корея — Япония». Не навеяна ли эта строчка встречей с корреспондентами?

Ленин указывал на необходимость союза рабочего класса с трудящимся крестьянством, выдвигал и обосновывал задачи коммунистических партий по отношению к различным слоям крестьянства как в период борьбы за победу социалистической революции, так и после установления диктатуры пролетариата. Трудящимся массам деревни нет спасения иначе как в союзе с коммунистическим пролетариатом, в беззаветной поддержке его революционной борьбы за свержение ига помещиков (крупных землевладельцев) и буржуазии. Пролетариат же, в свою очередь, выполнит миссию авангарда всех трудящихся, вождя в их борьбе лишь при условии внесения классовой борьбы в деревню. Далее обосновывалась тактика коммунистических партий по отношению к мелким, средним и крупным землевладельцам.

Но мы задержались. Ленинская мысль стремительно ведет нас дальше.

«Излагаю историю русского революционного движения и выясняю обстановку в Японии, Ленин, наверно, хотел узнать, сможет ли в недалеком будущем зародиться большевизм и в Японии и не созрели ли в Японии условия для социалистической революции, благодаря которым она удалась в России».

Что ж, Накахира оказался не столь уж наивным. Правда, несколько ранее, в мае, он высказывался на сей счет более определенно. Не в форме предположения, а категорического утверждения.

Накахира имел встречу с Чичериним. В телеграмме в «Осака Асахи», обнару-

женной в архиве, вкратце изложена точка зрения наркома на природу социальной революции, «которая не совершается по приказу извне, а происходит как осознанное движение широких народных масс. Ход революции неизбежен, она придет и без нашей помощи».

«Эти заявления Чичерина должны быть поучительны для тех органов японской печати, которые со слов английской прессы трубят ежедневно об опасности большевизма и его пропаганды. Опасность большевизма не в пропаганде. Опасность его для эксплуататоров в том, что на примере России все рабочие и крестьянские массы учатся, как взять власть в свои руки и как достичь того, чтобы имел право на жизнь, на хлеб, на счастье только тот, кто трудится. Пусть японский народ судит сам, опасен для него большевизм или нет».

Неудержимо несло по миру слово и дело Ленина. Ни задержать, ни закрыть, ни запретить, ни бросить в темницу, ни заковать в кандалы — не было силы, способной удержать этот живительный могучий поток. Как нельзя задержать восход солнца. Зарождение нового дня. Приход весны. Планета пришла в движение — от простолудинов до венценосцев.

Набирало силу демократическое и социалистическое движение в Японии. Ленин отлично знал это. Политические, экономические, социальные, классовые отношения, внешняя политика, захват и грабёж колоний, а также культура, наука, образование — все было в поле его пристального внимания. Накахира занес в блокнот: в кабинете, в шкафах книги с иероглифами на корешках. Да, книг о Стране восходящего солнца в ленинской библиотеке много. Сэн Катаяма — «Капиталистическое наступление в Японии», Ивагоро Мацубара — «На дне Токио», Т. Носака — «Краткий очерк профессионального движения в Японии», С. Осборн — «Новая японская угроза», Ф. Шаллэ и Г. Экштейн — книги по рабочему движению в Японии, М. Павлович (М. Вельтман) — «Японский империализм на Дальнем Востоке», сборник «Япония на русском Дальнем Востоке. Кровавая эпопея японской интервенции». И другие. Часть книг была в кабинете, часть на квартире. Многие с пометками, подчеркиваниями, закладками, надписями на обложках «Ленин» — находились в постоянном движении.

Октябрь оказал огромное воздействие на рост классового самосознания рабочего класса Японии. Способствовал отмежеванию его от буржуазно-демократического движения и превращению в самостоятельную политическую силу. Правда, сила эта не была еще достаточно организованной, как в развитых капиталистических странах Европы, не имела закаленного в битвах авангарда в лице пролетарской партии. Тем не менее влияние ее росло день ото дня. Октябрь создал решающие предпосылки для победы в Японии научного социализма над реформизмом и анархо-синдикализмом, превращения социализма из объекта изучения и популяризации в идеологическую основу революционной борьбы, острое теоретическое оружие борьбы пролетариата.

27 сентября 1918 года в «Правде» было опубликовано письмо социалистических групп Токио — Июкогамы, направленное V съезду Советов Дальнего Востока. В нем говорилось:

«Русским товарищам»

С самого начала русской революции мы с чувством восторга и глубокой симпатией наблюдаем за вашей бесстрашной деятельностью. Ваша деятельность оказала громадное влияние на психику нашего народа.

В настоящий момент мы с негодованием относимся к посылке нашим правительством войск в Сибирь под тем или иным предлогом. Это, несомненно, послужит препятствием свободному развитию вашей революции. Мы глубоко сожалеем, что не имеем сил предотвратить грозящую вам со стороны нашего империалистического правительства опасность.

Мы почти бессильны сделать что бы то ни было, так как правительство нас сильно преследует...

С революционным приветом

Исполнительный комитет социалистических групп
Токио и Июкогама».

Послание японских социалистов привез в Москву через всю Сибирь, занятую белогвардейцами и белочехами, с риском для жизни голландский коммунист Себальд Рутгерс, столетие со дня рождения которого недавно отмечалось. Он рассказал Владимиру Ильичу, как по пути из США заезжал в Японию и, используя адреса, данные Сэн Катаямой, установил связи с социалистами. Они и вручили ему письмо, а также 16 иен. Попросили отвезти эти деньги в Москву в качестве подарка русской революции. Во время учредительного конгресса Коминтерна 16 иен были внесены на организационные расходы Коминтерна как средства от социалистической партии Японии.

...Не успел Фуэс прийти в себя от замешательства, как на японцев обрушились новые, не менее неожиданные вопросы. И среди них — электрификация. «Ленин... был поражен, — вспоминал впоследствии Арсений Вознесенский², — узнав успехи этой отрасли в Японии и повсеместное распространение электричества с утилизацией горных рек». Не будь этого свидетельства и «показаний» самих журналистов, все равно невозможно было бы поверить, что Ленин, живший идеей электрификации летом двадцатого года, и раньше, и позже, мог обойти ее вниманием. Он выступал ее так же тщательно, смело, новаторски и масштабно, как в свое время выносил идею самой социалистической революции, поставил их в один исторический ряд, заявив, что «коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны».

— Господа, а правда ли, что в Японии никогда не наказывают детей, не бьют их? — вдруг спросил Ленин. — Я читал об этом в одной книжке.

Накахира собрался было ответить; действительно, японские родители очень любят своих детей, но нельзя сказать — никогда не наказывают. Исключения бывают. Но Фуэс опередил.

— Да, у нас не бьют детей, — сказал он. — Берегут их больше, чем на Западе. Вообще в Японии в своем роде культ детей как основа всей семьи и государственности.

— Неужели даже шлепка не дают? — не унимался Владимир Ильич, задорно переводя взгляд с одного собеседника на другого.

— Нет. Мы никогда не бьем детей.

Вознесенский добавил: он ребенком жил с родителями в Японии, имел няню-японку и не помнит случая, чтобы та хоть однажды ударила его.

— Да, это замечательный народ! Это настоящая культура, — заключил Ленин. — Это весьма важно. Ведь в самых так называемых цивилизованных странах Европы, в Швейцарии например, еще не совсем уничтожен обычай бить детей в школах. Коммунисты — решительные противники всяких телесных наказаний, и прежде всего в отношении детей. Это один из важнейших принципов нашего рабоче-крестьянского правительства. Он проведен в жизнь в первых декретах советской власти...

Накахиру смущала близость Ленина. Вот он — напротив, за столом, совсем рядом. Протяни руку — и дотронешься. Становилось не по себе.

С ними беседовал не просто человек по фамилии Ленин. Человек он и есть человек, не важно, какой фамилией наградила его природа, к любому можно приноровиться. В свои двадцать шесть лет Накахира перевидел множество людей, хороших и плохих. В том числе в России. Но здесь случай исключительный. Их принимал в Кремле премьер-министр великого государства, лидер большевиков, вождь красной революции.

Накахира не знал в лицо даже редактора собственной газеты, хотя дважды удостоивался чести предстать перед боссом — когда поступал на службу и накануне отъезда в Совдепию. Но спроси сейчас, какой он, редактор «Осака Асахи», как выглядит, стар ли, молод, — не ответит. В продолжение обеих встреч, а длились они не более двух-трех минут, он не осмелился поднять на патрона глаза, почитая это неслыханной неучтивостью. Затаив дыхание, смиренно застыл перед столом, на каждое слово сгибался в поклоне, сай-кэйрэй, глубоким и низким, как перед алтарем в синтоистском храме.

² Вознесенский А. Н. — заведующий отделом Востока Наркоминдела.

Были в стране министры, губернаторы, мэры, члены парламента. Кто они, что за люди, он не знал.

Но были еще более удивительные вещи. На самом верху, слышал Накахира, где-то между небом и землей, ближе к небу, восседал тэнно-хэйку. Душевный трепет охватывал каждого жителя земли Ямато, на какой бы ступени иерархической лестницы он ни стоял, особенно тех, кто купно теснился на последней, при одном упоминании этого имени. Божественный император почитался святым отцом нации. Пословица утверждала, что у бога только девять достоинств, а у тэнно все десять. Третья статья конституции гласила: «Тэнно священен и неприкосновенен». Сидел он на троне прочно. Правил самодержавно.

Миллионы людей ежедневно возносили молитвы земному богу, ни разу не видя его, не слыша его голоса. Лицезреть бога запрещалось под страхом смертной казни. Даже имя не дозволялось произносить, называли императора не собственным именем, а словом, обозначающим годы его правления. Не император Иосихито, а Таисэ-тэнно. Видеть не разрешалось, а вот отдать жизнь за него — к этому призывала вся официальная пропаганда. В школьных хрестоматиях ставили в пример некоего самурая Кусуноки Мамасигэ, жившего шестьсот с лишним лет назад, который хотел семь раз умереть и семь раз воскреснуть, чтобы снова умереть за императора.

Здесь никто не дрожал. Не бросался от страха наземь. И даже не кланялся! Это вовсе непостижимо! Во время беседы вошла секретарша, та самая, что провела японцев в кабинет. Подошла к столу, ровно, вежливо сказала:

— Владимир Ильич, срочная телеграмма.

И положила на стол бумагу. Ленин пробежал глазами текст, тут же одним махом, не отрывая ручки от листа, начертил что-то и протянул секретарше.

— Пожалуйста, Мария Игнатьевна, без промедления отправьте в Баку товарищу Орджоникидзе. Архисрочно.

— Хорошо, Владимир Ильич, сейчас отправлю.

«Пожалуйста» — простому клерку!

Демократизм новой власти поражал на каждом шагу.

К тридцать второму репортажу из России Накахира дал такое пояснение: «Слово «товарищ» имеет значение «друг». Это слово употребляется как официальное обращение к человеку, применяют его ко всем и ко всему. Поэтому если в отношении Ленина говорят «товарищ», то с тем же словом обращаются и к служанке. Будь то мужчина или женщина — различий нет».

Накахира впивался глазами в Ленина. Превратился в слух и зрение. Все увидеть. Услышать. Не пропустить детали, фразы, жесты. Более года назад он проехал пол-России. Страна поражала и пугала своей необозримостью. И вся она от края и до края жила именем Ленина. Не было дня и часа, чтобы он не слышал: «Ленин! Ленин! Ленин!»

Постепенно Ленин начинал терять в его представлении реальные, человеческие очертания. Начал превращаться в некое мифическое существо. В богатыря и героя, который только и знает, что повелевает миллионами людских судеб.

«Когда произносишь имя Владимира Ильича Ульянова, то даже в России найдется не много людей, знающих его под этим именем, но когда говоришь «Ленин», то это имя известно всем, кто хоть раз держал в своих руках газету. Какие бы ни проходились в России собрания и на какое бы время они ни назначались, при одном упоминании, что там будет присутствовать Ленин, весь зал непременно заполнялся битком».

— Я добивался встречи с Лениным. И был готов ко всему. За месяц уведомят о высочайшем приеме, за полмесяца напомнят, осведомятся, о чем хочу говорить. За неделю потребуют в письменном виде вопросы. Следующий этап — пропустят через массу советников, референтов, секретарей, начальников. И наконец, для порядка и остротки продержат в роскошной приемной. Чтобы почувствовать до каждой своей клеточки исключительность чести, какой удостоен, чтобы пережить историчность момента. И уж после всего этого введут в святая святых.

В действительности все оказалось куда как просто. Сели в машину, приехали в Кремль — и сразу в кабинет.

Ленин оказался обыкновенным человеком. Даже слишком обыкновенным и земным. Ничего от владыки, героя, кумира толпы. В темном поношенном костюме, среднего роста, коренастый, с плотно сбитой фигурой, знакомыми по фотографии рыжеватой бородкой и усами. Крупная голова, огромный, высокий, благородный лоб мыслителя, занимающий едва ли не половину лица. Прицельный взгляд темных глаз.

Не сон ли это? В облике хозяина кабинета ничего не было от диктатора и всеокрушителя, каким изображала Ленина буржуазная пресса; ничего от страшного лидера кагэкиха, что в переводе с японского означало «экстремистов», понятия, пущенного в ход военной для обозначения большевиков давно, еще в период русско-японской войны, используемого даже в либеральных и демократических кругах. Нет, перед Накахирой и Фуэз сидел простой, приветливый, симпатичный человек. Донельза простой и доступный.

Накахира: «меня поразила простота обстановки», «прием наш со стороны Ленина носил характер чрезвычайной простоты и сердечности, принял он нас как старых друзей своих», «выражение лица было полно нежности, будто обращался к своим внукам или племянникам».

Фуэз (Ленин его встретил словами: «Очень рад вас видеть»): «это самая интересная беседа с самым простым собеседником за время пребывания в Москве», «никто из революционных деятелей не произвел на меня такое сильное впечатление, как Ленин», «Ленин — это душа большевизма», «великий испытанный стратег».

Все это было ново и неожиданно для японской прессы. Журналисты как бы давали возможность своим соотечественникам побывать в кабинете руководителя новой России. Побеседовать с ним о проблемах, которые волнуют мир. Увидеть Ленина таким, каким он в действительности и был — простым, доступным, сердечным, мудрым.

А нет ли фотографии Ильича того дня? К сожалению, нет. Но Накахира поместил в своей книжке две его фотографии. Одна — портрет в овале, другая — заседание Совнаркома. На портрете с правой стороны внизу видна обрезанная надпись «В. И.» и верхняя часть буквы Л. Чья рука вывела эти инициалы? Ильич смотрит прямо, взгляд спокойный, пронзительный, губы плотно сжаты. Весь облик, особенно большой лоб и глаза, одухотворен глубокой, сосредоточенной мыслью.

Обнаружились прелюбопытнейшие вещи! Портрет Ленина, помещенный Накахирой в своей книжке, у нас... не публиковался до 1924 года! Если верить бытующей версии, конечно. В таком случае как он мог оказаться у японского журналиста в 1920 году? Не подарил ли ему фотографию сам Владимир Ильич? Иногда он это делал. Либо Петр Оцуп, которому принадлежит снимок — он сделал его вскоре по выздоровлении Ленина после ранения. Либо работники Наркоминдела, тот же Вознесенский? Либо... Либо в наши уважаемые издания вкралась ошибка и указанный портрет был опубликован ранее 1924 года. Словом, есть над чем подумать.

Каков хозяин, таков и его кабинет. Скромных размеров комната оклеена светленькими обоями. Все в ней дышало простотой и естественностью. Накахира вдруг почувствовал, как с плеч спадает напряжение. Приходило успокоение. Весь последний год нервы были натянуты до предела, казалось, тронь — и лопнут. Перед глазами словно в тумане поплыли события недавнего прошлого.

Когда после мытарств по Сибири и Уралу он наконец летом девятнадцатого года добрался до Москвы, не сразу, не вдруг поверили в его добрые намерения. Потом поверили, что он приехал писать. Начал работать, сдал корреспонденции и заметки. Правда, жизнь была — хуже некуда. Накахира форменным образом голодал. Выстаивал в очередях за куском хлеба, иной день размером с воробьиною слезу, и миской каши. Замерзал зимой в нетопленном номере отеля. Со слезами на глазах вспоминал свою Хасуикэ, где даже зимой зрели бананы, а солнце в полдень останавливалось в своем движении, замирало над крышами домиков, тесно прилепившихся один к другому. Увы, воспоминания, как бы теплы ни были, не русская шуба, на плечи не накинешь. Становилось еще холоднее. Он весь обносился, черт знает на кого стал похож. Не журналист, а оборванец, гонец из преисподней.

Осенью свалил тиф. Оказался в подмосковном санатории, где отдыхали и лечились рабочие и крестьяне. Совершенно бесплатно. Коммунистическая новь открывалась все более поразительными гранями. Пробыл в санатории три месяца, и с него

тоже не спросили ни иены. В редакцию уходили все более благожелательные телеграммы, правда печатали их все реже.

И вдруг — Ленин! Наивысшее лицо в большевистской партии.

И случилось чудо: все страхи, волнения, тревоги, спутники-неразлучники в течение года, как бы остались по ту сторону двери, через которую он вошел в кабинет Председателя Совнаркома. Стало покойно и хорошо. С сердца спал камень. Главный большевик оказался самым душевным и простым человеком из всех, кого он встречал в Советской России.

...Накахира задумался, смежил веки, затих. Молчит, о чем-то думает, вспоминает. Затем приоткрыл глаза, оживился.

— Хотите, расскажу вам забавную историю? Как Ленин спас мне жизнь.

— Вот как?

— Да, самым натуральным образом. Из Перми я вначале выехал на крестьянской подводе, искал, где можно переправиться на другой берег Камы, чтобы продолжить путь в Москву.

— Об этом написано в вашей книжке. Остановил вас красноармейский патруль. Нашли документы, выданные омским правительством, пистолет и определили как японского шпиона. Приговорили расстрелять. Что было дальше?

— Самое страшное. Вывели «шпиона» за околицу и поставили к стенке. Ее вполне заменила белая ветвистая береза. От испуга у меня язык в трубку свернулся. Помню, было жарко, хотя по ночам еще изредка подмораживало. А сейчас стоял теплый полдень. Солнце, облака, птички поют. Тишина. Воздух — что заваристый крестьянский чай, который я только что пил с двумя моими конвоирами. Возможно, в эту самую минуту мелькнула мысль: в родной Хасуикэ мать глядит на небо и думает о своем блудном сыне, не ведая о том, что пришел его смертный час. «Ну, давай, батя, не вольнь. У меня щи в избе стынут,— бросил молодой конвоир.— Командуй!» Красноармейцы подняли ружья. Вижу, целятся. Прямо в голову. Старший поднял руку. Мгновение — взмахнет... И тут я закричал: «Ленин!» — Накахира снова сомкнул веки.— Почему «Ленин» — не знаю. Не могу сказать. Обычно в последнее мгновение жизни люди молят о пощаде, валяются в ногах, либо, примирившись с неотвратимостью смерти, мысленно прощаются с миром, матерью, отцом, близкими, либо обращаются с молитвой к богу. Я был почти без сознания. На колени не упал и про бога забыл. Возможно, потому, что понимал: пощады ждать не приходится. Взывать к закону? К какому? За время путешествия по Сибири и Уралу я наблюдал вокруг сплошную анархию и беззаконие. Словом, я закричал: «Ленин! Я еду к Ленину! Ленин знает газету «Асахи». Сообщите Ленину обо мне!» Произошло чудо. Выстрелы не прозвучали. Рука красного офицера или просто старшего красноармейца вдруг замерла на полпути. «Отставить», — наконец глухо произнес он, и смерть миновала.

«Впервые я увидел Ленина в начале марта 1920 года на конгрессе Третьего Интернационала. Когда он, сравнительно низкого роста, с лысой головой, появился на трибуне, присутствующие встретили его неистовыми, бурными аплодисментами. Я видел его издали, но его облик, полный разума, оставил у меня сильное впечатление... Он говорил так, будто читал лекцию в аудитории, но в его речи, опирающейся на глубокую эрудицию, не было ни одного лишнего слова, и вся она была словно опалена пламенем революции, в которой вся сила и вся жизнь Ленина. Впоследствии я несколько раз видел его на митингах, но непосредственно с ним встретился лишь в начале июня, когда посетил его в Кремлевском дворце» (Рё Накахира, «Год в красной России»).

Исправим неточность. Ни на каком конгрессе III Интернационала «в начале марта» 1920 года Накахира присутствовать не мог, ибо конгресса в то время просто не было. Состоялось торжественное заседание Московского Совета, посвященное первой годовщине Коминтерна, и на нем действительно выступал Ленин. Было это 6 марта в Большом театре. Две недели назад Накахира покинул подмосковный санаторий и вернулся в столицу. Первый после болезни выход в свет. «Свет» — огромный многоярусный зал знаменитого русского театра.

На трибуне появился Ленин. Тысячи людей, собравшихся на заседание, в едином порыве поднялись со своих мест. Шквал оваций, неистовых, бурных, взорвался под сводами зала, покатился из конца в конец, из партера устремился в амфитеатр, в ложи бенуара, взлетел вверх по золоченым ярусам, и вот уже грохочет и неистовствует весь зал.

Оратор пробыл на трибуне самую малость. Устремился на авансцену, встал перед столом президиума, ближе к людям. И — Накахира видиг — мужчины и женщины, рабочие и солдаты, одетые кто в потрепанную поддевку, кто в латаную шинель, кто накинул на плечи, зябко поеживаясь в нетопленном зале, выцветший старый платок, затаив дыхание ловили каждое ленинское слово, каждый жест, взмах руки, каждое новое выражение лица.

Схватился за блокнот. Вначале записи по-русски, затем привычнее и скорее — иероглифами. «Облик, полный разума», «эрудия», «все сжато, емко, ни одного лишнего слова», речь «опалена пламенем революции». И резюме — какое великолепное! — в революции «вся сила и вся жизнь Ленина».

О чем говорил Владимир Ильич в той речи? Раскроем 40-й том сочинений. «Товарищи, со времени основания Коммунистического Интернационала прошел год. В течение этого года Коммунистический Интернационал достиг таких побед, которых нельзя было ожидать, и можно смело сказать, что никто не ожидал таких громадных успехов при его основании...

Посмотрите, как распространяются во всем мире наши уродливые слова, вроде слова «большевизм». Несмотря на то, что мы называемся партией коммунистической, что название «коммунист» является научным, общеевропейским, оно в Европе и других странах меньше распространено, чем слово «большевик». Наше русское слово «Совет» — одно из самых распространенных, оно даже не переводится на другие языки, а везде произносится по-русски...

...можно ручаться, что победа коммунистической революции во всех странах неминуема, и чем больше колебаний в рядах врагов и неуверенности... тем лучше для нас».

Накахира написал 59 русских репортажей. Один из них называется «Великий вождь Ленин». Не как-нибудь, а именно «великий вождь». Надо было обладать немалой смелостью, чтобы в условиях антисоветской истерии, захлестнувшей императорскую Японию подобно цунами, отважиться на такой заголовок. Не говоря уж о содержании материала. Массу поразительных сведений сообщал корреспондент. Когда, где, в какой семье родился вождь рабоче-крестьянской России. Кем были его родители — «отец с сочувствием относился к угнетенным крестьянам, а старший брат участвовал в подготовке покушения на царя Александра III. Поистине в жилах Ленина текла кровь революционера». Журналист пытается уяснить, на чем зиждется огромный авторитет руководителя новой России. Чем он завоевал любовь миллионов трудящихся.

«Настанет когда-нибудь такое время, когда имя Ленина завоеует уважение всего человечества как имя самой выдающейся личности. Ленин сдержал интервенцию стран Антанты, которые все сообща обрушились на рабоче-крестьянское государство. Он не отступил перед голодом, который с тыла подкрался к стране, он хладнокровно, смотря трудностям в лицо, сопротивлялся и тогда, когда со всех сторон пели России похоронную песню. Следует признать, что это превосходная и прочная позиция. В нем, точно в живом источнике, мы открыли свое собственное величие. Россия может наверняка гордиться тем, что спустя несколько десятилетий к именам рожденных ею Петра Первого, Пушкина и Толстого она добавила имя Ленина».

Прочитрованное далеко не весь репортаж, лишь выдержки из него, лучшие, наиболее зрелые строки. Следовательно, не весь Накахира. Не все оказалось под силу корреспонденту «Асахи». Скажем именно так, помятче. Не все он понял и не все принял. Сказались шоры буржуазного мировоззрения. Чем дальше во времени он уходил от столицы рабоче-крестьянской России, чем меньше становилось в легких революционного озона, которым дышал год, чем больше стлы в сердце революционные впечатления и тускнели картины новой жизни, тем шоры становились все ощутимее. К тому же был молод, не хватало обыкновенного жизненного опыта. О по-

литическом же кредо журналиста можно судить по предисловию, которое редакция сочла нужным предпослать к книжке своего сотрудника: «...не коммунист и не приверженец капиталистической идеологии».

Здравые суждения в его писаниях сплошь и рядом перемежаются путанными и наивными. Немало и откровенного вздора, досужих благоглупостей и небылиц, почерпнутых из белогвардейских листков и реакционных органов японской печати.

Встреча в театре запала в сердце. Перед глазами неотступно встало видение: бурлящий зал, на авансцене, у ramпы — Ленин. В ушах не смолкали рукоплескания и восторженные крики. Со временем видение не померкло. Не растворилось в череде будней, напротив, обрастало новыми деталями и красками.

Пришло желание увидеть еще раз. Журналист старается попасть на собрания и митинги, на которых ожидается присутствие Ленина. Есть основания полагать, что он мог быть приглашенным на IX съезд РКП(б), а 23 апреля 1920 года — на собрание в честь пятидесятилетия Владимира Ильича.

Спустя четыре дня после собрания в «Известиях» на первой полосе было опубликовано приветствие Ленину от группы интернационалистов Востока. Среди подписей фамилия Накахиры. Вот этот документ:

«Революционные организации и рабочие союзы Востока обратились к товарищу Ленину со следующим адресом.

В пятидесятилетнюю годовщину со дня рождения Вашего от имени корейских, китайских и японских трудящихся масс поздравляем Вас, маститого борца революционного марксизма, гениального вождя международного борющегося пролетариата, и желаем видеть Вас и в будущем во главе освободительного движения народных масс Азии, победа которых приблизит вожденный день освобождения человечества.

ЦК корейских союзов в России (подпись).

ЦК китайских рабочих организаций в России (подпись).

Группа японских революционеров — Рио Накахира.

Группа корейских революционных социалистов (подпись)».

Накахира ездил в Шатуру на открытие электростанции и там снова видел и слушал Ленина. Был на параде войск московского гарнизона, отправляющихся на польский фронт.

9 мая ушла в редакцию очередная корреспонденция. Рукопись ее, восемь тетрадных листов, сохранилась в архиве:

«5 мая в Москве на Театральной площади состоялся торжественный парад войск, отправляемых на польский фронт, после чего было открыто под лозунгом «За свободу польского и русского народа!» соединенное заседание Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов, членов фабрично-заводских комитетов, правлений профессиональных союзов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. Встреченный бурными аплодисментами, выступил Ленин. Он указал, между прочим, на то, что, неудавши своею силою задушить Советскую республику, благодаря сопротивлению пролетарий своих стран, Антанта натравляет теперь Польшу против русских рабочих и крестьян. Буржуазия Западной Европы борется в этом столкновении за власть у себя дома и имеет перед собой не русский вопрос и не польский, а вопрос своего собственного существования. Но интересы союзных стран противоположны, у них нет никакого согласия. Французам нужно возвращение генеральской Польши, а Англия, исходя из своего экономического положения, нуждается в раздробленной России и слабости Польши ради интересов своей торговли и колониальной политики. Ленин, учитывая, кроме несогласия союзных стран, справедливость откровенной и не колеблющейся советской политики и то, что Советская республика вынесла более тяжелые времена, чем сейчас, утвердил с уверенностью, что она победит... В заседании участвовали 300 питерских рабочих, отправляющихся на фронт. Во время заседания много участвующих не только русских, но и польских коммунистов выражали свое желание немедленно отправить их на фронт... Заседанием единогласно была принята резолюция бороться до конца с Польшей и приветствовали польский рабочий класс».

Написано по-русски, но, как видим, без абзацев, сплошным текстом — так принято у японцев.

Весной в Москве вдруг объявился Фусэ. Они встретились у Вознесенского. Накахира слышал про журналиста с такой фамилией, но увидел впервые. Поклонился соотечественнику со смешанным чувством радости — кончалось наконец одиночество — и нескрываемой зависти. Фусэ был одет с иголки. Свеж, элегантен, в модном костюме, белоснежной сорочке, новеньких туфлях. Великолепно говорил по-русски. Был на все руки мастер. «Тысячу лет провел в горах, тысячу лет на морях».

Фусэ заработал как мотор. В полном согласии со старой японской поговоркой «пока на теле есть кожа, попробуй что-нибудь свершить». В Пекин на имя тамошнего корреспондента «Осака Майнити» Нарасаки, а оттуда в Токио и Осаку потоком понеслись корреспонденции, репортажи, отчеты, информации. Иногда маршрут выбирался более прямой: Москва — Иркутск — Владивосток, отделение РОСТА, для корреспондента Японии Куроды.

В первой корреспонденции в конце апреля Фусэ писал:

«Я ехал в специальном советском вагоне, без пересадки. На пограничной станции мне дали хлеб и сахар. Несколько работниц подметают вокзал под пение «Интернационала». Все зовут друг друга товарищами. Сразу я почувствовал себя в новом мире. Проехав через Ямбург и Гатчину после недавнего сражения, подъехал к Петрограду... Ходил только по вокзалу, где большое движение публики. На лицах людей не видать той усталости, о которой так много говорят за границей...

Седьмого наконец прибыл в красную столицу. Проехал по городу. Внешний вид действительно изменился... Рабочие, работницы, солдаты и дети жизнерадостны, бодр и горды. Старой рабской зависти, которая была столь привычной русскому бедному классу, уже больше не видать. Редко встречаются люди буржуазного типа... Одним словом, разница во времени между двумя годами назад и теперь огромная. Русский народ как будто переродился. Внутреннее положение идет к улучшению. Гражданская война почти кончилась. Холод прошел. Тиф затихает. Еще царствуют разруха хозяйства и голод. Тем не менее в общем положение во много раз лучше, чем я предполагал».

Не исключено, что и Фусэ был на IX съезде РКП(б). Он внимательно следит за работой непривычного для него форума партии. Восхищенно пишет о преобразующей деятельности большевиков и новой власти, их стойкости, организованности, дисциплинированности, преданности своим идеалам. Особенный восторг вызывает личность Ленина. Журналист повсюду наблюдает проявления любви к вождю пролетарской революции.

«...Сегодня исполнилось 50-летие Ленина. Авторитет его все более и более усиливается, — сообщает в редакцию Фусэ. — Его появление на трибуне каждый раз встречается громом оваций. На одном заседании съезда несколько ораторов посвятили речи заслугам Ленина как вождя русской и мировой революции... Говорили: «В лице Ленина мы видим блестящее соединение теоретика идей последовательного марксизма и непреклонного практика в деле проведения идей в жизнь». Международное положение Советской России, говорил Ленин на съезде коммунистов, никогда не было так хорошо, как теперь. Самая отсталая страна победила могущественный всемирный капитализм и империализм. Мы победили потому, что мы крепко объединены, тогда как они все время в драке между собою».

Журналист добивается встреч с руководящими работниками наркоматов. Просматривает уйму газет и журналов. Мечется с одного рабочего, солдатского митинга на другой. До полуночи засиживается на писательских и артистических собраниях. В архиве сохранилась копия отношения за подписью А. Вознесенского от 8 мая 1920 года в мандатную комиссию Всероссийского съезда пролетарских писателей с просьбой предоставить гостевые билеты «для двух японских журналистов Фусэ и Накахиры». Съезд, или, вернее, совещание пролетарских писателей, проходил 10—14 мая в Доме печати (ныне здесь Центральный дом журналиста). Среди других были заслушаны приветствия «от японских журналистов, находящихся в Москве, от про-

летариата Японии». Первых, удалось установить, представлял Фусэ, от имени пролетариата, по-видимому, выступил Накахира.

В театрах Фусэ наблюдает рождение нового, пролетарского искусства.

«Меня глубоко заинтересовала художественно-литературная жизнь в Советской России,— пишет он.— Я присутствовал на нескольких литературных собраниях, был на концерте в пятилетие со дня смерти знаменитого композитора-пианиста Скрябина и на митинге в память умершего недавно мирового ученого Тимирязева. И я лично убедился, как серьезно относится красная столица к этой области жизни. Наркомпрос Луначарский и его заместитель профессор Покровский объяснили мне, что главный принцип советской политики в области литературы заключается в том, чтобы сохранить все хорошее из оставленного буржуазным миром наследства и постепенно вливать в него новый, пролетарский дух, вытесняя из него буржуазную наклонность. Эта разумная политика спасла русское искусство от разрухи. Все старые учебные заведения, музеи, библиотеки, театры и тому подобное не только сохранились в целостности, но и обогатились содержанием и открылось много из новых...

Я уже замечаю некоторые зародыши новой эпохи русской литературы. На страницах литературных журналов вижу все новые и новые имена... На последнем съезде пролетарских писателей я слышал, как читали свои стихи поэты из рабочих и крестьян. Преобладали стихи на боевые и революционные темы, как то: динамит, восстание, красное знамя, завод и так далее. И так воплощается в жизнь светлая мечта пролетарской диктатуры: писать стихи теми же мозолистыми руками, какими работают с молотом и плугом.

Я провел несколько вечеров в театре. Тут я лично убедился, как работают театры, работают если не лучше, то, во всяком случае, не хуже, чем раньше. Шалапин, Пирогов, Петров, Нежданова, Станиславский, Балашова и другие звезды театрального мира бывшего царского времени остались на своих местах. Та же роскошная декорация, та же тонкая техника. Правда, на местах публички произошла большая перемена. Вместо красы аристократии, богачей тут преобладают куртки солдат и пиджаки советских служащих (шестьдесят процентов билетов раздаются через профессиональные союзы, заводские комитеты и советские учреждения, пятнадцать процентов приезжим красноармейцам и только двадцать процентов продаются публичке). Я видел в Большом государственном театре, как старушки-крестьянки, покрыв черным скромным платком свои головы, смотрели из бывшей царской ложи на балет. Мне особенно нравится балет. О, русский балет! Какая это грация и тонкость искусства! Какая это роскошь и прелесть! Балет был гордостью русского искусства. Таковым он и остался и в Советской России. Глубоко ошибаются те, кто думает о Советской России как лишь о стране голода, разрухи, войны. Нет. Здесь (по японскому выражению) и цветы растут и плоды зреют».

Волнуют Фусэ и вопросы отношений между двумя странами. «После всего того, что я видел собственными глазами,— пишет он,— особенно после личных бесед с авторитетными советскими кругами и ознакомлением с планом экономических соглашений, я пришел к заключению, что Япония в данный момент должна немедленно перейти к той политике, которая могла бы немедленно восстановить торговые отношения с Россией и дала бы нашей торговле и промышленности возможность пользоваться всеми теми экономическими выгодами, которые могла бы дать Россия. С этим мы должны спешить...»

Стук в дверь.

— Войдите.

— Это вам, товарищ Накахира,— сказала появившаяся на пороге горничная и передала пухлый пакет.

Накахира вскрыл и едва не вскрикнул от удивления. В пакете оказались пачки «Осака Асахи» и других японских газет. Каким образом? Откуда ему было знать, сколько забот стоил этот неожиданный сюрприз Накахире для Карахана и Вознесенского. Через советского представителя в Копенгагене они связались с японским посольством в Лондоне, а с помощью последнего с тамошним корреспондентом «Осака Асахи» Циматанэ. Сообщили, что Накахира жив, выздоравливает.

Но работа на этом не кончилась. Накахира посетовал как-то в отделе Востока, что вконец обносился, а новую одежду купить не на что, денег нет. Вскоре его одели, обули во все новенькое. Не забыли самых что ни на есть малых мелочей вплоть до носков и носовых платков, о чем свидетельствует следующий документ:

«В горпродукт.

Народный Комиссариат по Иностранным Делах настоящим просит выдать ордер японскому корреспонденту г. Рио Накахире на право приобретения следующих вещей:

1. 2 пары носков, 2. фуражку, 3. 2 кальсон, 4. чайник, 5. 2 носовых платка, 6. 2 стакана».

Питание положили бесплатное. И предложили работу преподавателем японского языка в военной школе. За 6 тысяч рублей в месяц.

Рядом находился Фусэ, и жить стало куда как веселее. Исчезло гнетущее чувство одиночества. Появилась возможность на близком примере — Фусэ был журналистом с божьей искрой в голове — учиться не хлопотать ушами там, где требовались цепкость ума, хватка и сноровка.

Встречались они часто. Сойдутся в отеле, в сыром, обшарпанном номере со следами былой красоты. Словно заговорщики, подмигнут друг другу.

— Давайте, Накахира-сан.

— Хорошо, Фусэ-сан.

И вот дверь мигом на запоре. Снимают обувь, пиджаки. Расталкивают по столам мебель. Застилают часть пола газетами. Сбрасывают на них матрац с кровати, сверху одеяло, подушки — и будьте любезны, чем не татами с дзубутон.

— Додзо, Фусэ-сан, прошу, — приглашает довольный Накахира в качестве хозяина номера. — Чувствуйте себя, как говорят русские, как дома.

— Если как дома, — шуточно отвечает Фусэ, — то почему я не вижу на столе графинчика с саке?

— Графинчик я поставлю в Осаке, когда вы приедете не в отель, а в мой настоящий дом, а сейчас придется удовольствоваться вот этим. — И он вытаскивает из записки полбутылки самогана. — Приобрел в Охотном ряду. Сказывал хозяин — пятьдесят градусов. Подогреет не хуже саке.

Они взбирались на «татами». Пропускали по маленькому глотку мутноватой жидкости. И по-своему, по-японски копя слова и движения, отводили душу в тихой, неспешной беседе. Чуть-чуть, по обычаю, принижая себя и чуть-чуть возвышая собеседника.

Ходили на бульвары. Присядут на Тверском на скамеечку и потихоньку замрут. Ни слова, ни звука. Сидят и созерцают пробуждение весны.

Щемило сердце молодому Рё. Ко многому он привык. К схваткам в полемике не на жизнь, а на смерть. К бесконечным собраниям и митингам. К железным характеристикам и неустроенному быту. К очередям, карточкам, пайкам. К неудобчивым чиновникам и грубым горничным. Тем сильнее была тоска по родине, отцу с матерью, родной деревушке. По крохотному рисовому полю, что прилепилось как заплатка к дому.

21 мая Накахира и Фусэ встретились с Чичериным. Корреспондент «Осака Асахи» спросил наркома:

— В чем заключается ваша политика в отношении Японии?

— Мы никогда не преследуем политики расширения, поэтому и в отношении Японии у нас одна политика — мир. И нежелание вмешиваться в чужие дела, — ответил Чичерин.

— Какие ваши условия мира с Японией, если он возможен?

— Япония должна отозвать свои войска из Сибири, она должна признать вновь возникшее государство — Дальневосточную Демократическую Республику, которая служит буфером между Советской Россией и Японией.

— Правда ли, что вы отказались от прежней своей политики вызвать путем повсеместной агитации всемирную революцию?

— Мы хорошо знаем, что революция совершается только тогда, когда народ станет достаточно сознательным и вся обстановка приведет к революции. Сознание

это растёт повсюду, растёт медленно, но ход революции неизбежен... Советская Россия занята только своим внутренним переустройством и поглощена этой гигантской работой настолько, что ей некогда заниматься агитацией за границей.

Чичерин произвел на корреспондентов сильное впечатление. Как человек, по словам Фусэ, «с головы до ног проникнутый убеждением в идее, как человек, внешне выглядевший холодным и спокойным, но внутри кипящий горячим революционным темпераментом, и как человек, рассматривающий всякие вопросы с точки зрения идейных принципов, и в частности дипломатические вопросы с точки зрения принципов классовой борьбы, самоопределения народностей, равенства народов и т. д.». Фусэ поведал, кто такой Чичерин, как он работает, где и в какой семье родился, когда и почему пришел в революцию, где жил в эмиграции. Затем он также изложил позицию наркома в отношении Дальнего Востока. Чичерин, по Фусэ, сказал следующее:

«Нации неоднократно предложения мира за границей принимают часто как признак нашей слабости. Это неправильно. Мы предлагаем мир потому, что народная масса, по выбору которой создана наша власть, совершенно чужда всяким захватническим и агрессивным стремлениям. Мы силой навязывать революцию никому не собираемся... Насилие извне может только портить дело. Вот почему Япония нас не должна опасаться. Мы силою нарушать спокойствие на Дальнем Востоке не думаем...»

«Кто умеет ждать, того ждет награда».

Зазвонил телефон:

— Товарищ Накахира, здравствуйте. Это я, Вознесенский. Прошу вас спуститься вниз, в вестибюль. Только быстро, пожалуйста. Я буду минут через десять — пятнадцать.

— А в чем дело?

— Поедем в Кремль. Сегодня вас примет товарищ Ленин.

В аппарате щелкнуло. Голос исчез. Так же мгновенно, как возник...

— Я продолжал держать трубку в руке, — оживившись, рассказывал Накахира. — Словно ждал, что она крикнет еще что-нибудь. У вас и у нас это называется примерно одинаково — гром среди ясного неба. Да, да, в тот июньский день в моем номере прогремел гром. Я был ошеломлен. Быстро убрал самодельную цинковку. Привел себя в приличный вид. Приличный по тем временам. Имелся один костюм на все случаи жизни. И на субботник в нем ходил, и в военную школу, и в театр. Почистил влажной тряпичкой туфли. Водой смочил галстук, чтоб выглядел посвежее. Опрометью бросился вниз по лестнице. Вознесенский, поглядывая на часы, нетерпеливо ходил по вестибюлю. Вскочили в старенькую машину и на большой скорости помчались... Но не по направлению к Кремлю, от отеля «Савой» туда рукой подать, а куда-то в сторону. Оказалось, Ленин примет меня вместе с Фусэ... Втроем поехали в Кремль. Ленин работал в большом дворце. Одна стена его обращена к Красной площади. Пока добрались до кабинета, прошли много коридоров и залов, везде перед дверьми стояли или сидели солдаты охраны. В большой комнате, соседней с кабинетом Ленина, сидели человек двадцать — одни женщины. Все усердно трудились. Стучали пишущие машинки. Мое внимание привлекла одна секретарша с сединой в волосах. «Владимир Ильич ждет вас, проходите, товарищи», — вежливо произнесла она, провожая нас к высокой двери, обитой белым войлоком. Дверь открылась, и мы увидели Ленина.

Почему Владимир Ильич решил встретиться с японскими корреспондентами?

Ленин знал о существовании Фусэ и Накахиры. 8-й том Биохроники: «Апрель, позднее 23. Ленин знакомится со справкой Наркоминдела о К. Фусэ и Р. Накахире — корреспондентах японских газет «Осака Майнити» и «Осака Асахи»; пишет на них: «Об японских корреспондентах» — и делает пометку: «В архив». «Позднее» — может статья, 24 апреля, на другой день после коммунистического вечера на Большой Дмитровке, посвященного его пятидесятилетию. Дело не терпело отлагательств. Не сам факт встречи, разумеется, — сообщение о ней в наших газетах не появилось — а декларация из уст Председателя Совнаркома о миролюбивых устремлениях Советского правительства.

В Сибири и на Дальнем Востоке находилось 175 тысяч японских солдат, почти

половина сухопутной армии. Девиз мифического императора Дзимму: «Восемь углов мира под одной крышей», то есть объединить под властью Страны восходящего солнца все стороны света, жег сердца военщине. Ей уже мало было загребать добычу самодзи (большой ложкой), которую, по обычаю, пронесли во главе колонны солдаты, уходя на войну в Совдепию. Ей хотелось навсегда отхватить лакомый уголок, один из восьми,— богатейшую русскую Сибирь.

Громя остатки колчаковских войск, части Красной Армии еще в начале марта дошли до Верхнеудинска, возникла угроза прямого военного столкновения с Японией, чего всячески добивалась Антанты. Интервенты пошли ва-банк и в ночь с 4 на 5 апреля выступили во Владивостоке.

Советское государство, отдавая отчет в серьезности происшедшего, проявило мудрость и хладнокровие. Оно не могло вести войну на два фронта—с Польшей и Японией. Выступая на заседании фракции РКП(б) VIII съезда Советов, Ленин говорил: «...вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, потому что нам она по понятным условиям сейчас непосильна». Коммунисты Дальнего Востока получили строжайшую директиву: революционная выдержка, терпение, самообладание. Не давать японцам малейшего повода обострить отношения.

Накахира также был против войны. В архиве обнаружен полный текст написанной им листовки-обращения к солдатам интервенционных войск в Сибири. Это прекрасный документ. Лучшее, пожалуй, что он создал в течение года пребывания в Советской республике. А может быть, за всю свою жизнь.

«Товарищи, японские солдаты,— писал Накахира.— Осенью 1918 года вас послали в Сибирь якобы для помощи чехословакам, на самом деле против русских революционеров, борющихся за освобождение своей страны от деспотического правительства и эксплуатации русских и иностранных капиталистов... Вскоре лживые уверения... были заменены совершенно открытой помощью сибирскому бандиту Семенову и царскому адмиралу Колчаку... На долю японского солдата, такого же крестьянина, как и русский, переодетого в солдатскую форму, выпала позорная задача нести полицейскую службу в чужой стране и исполнять волю европейских капиталистов. Послушный своей дисциплине, японский солдат более года нес все тяжести и лишения войны, проливал кровь такого же, как он, русского крестьянина и помогал захватчикам отнимать у русского крестьянина и русского рабочего то, что он завоевал для себя революцией». И далее: «Но вот, несмотря на все усилия союзников и русских контрреволюционных генералов... вся Россия и Сибирь объединились снова вокруг революционной Москвы. Союзники, видя, что солдаты их не желают более сражаться против русского народа, спешат увести свои войска. Они вступают теперь в переговоры с Советской Россией и открыто признают, что не могут совладать с революционным русским народом силою оружия. Однако сами избегая борьбы, которой не хотят их народы, они все же пытаются нагривить на Россию японцев... чтобы исполнять роль сторожевого пса над награбленным имуществом и попытаться в последний раз задушить свободного русского крестьянина и рабочего. Чувствуешь ли ты, японский солдат, какая позорная для тебя?»

Затем следует рассказ о себе. Длительное время пробыл у Колчака и союзников, видел гнет худший, чем гнет царского режима, с ужасом убедился, что главным оружием, которым действовали царский адмирал и союзники, был все тот же японский солдат.

«Настал момент, когда японский солдат должен показать, желает ли он оставаться рабом, наемным полицейским капиталистов, либо он желает быть свободным человеком. Если он не раб — он прекратит ужасную бойню, он смеет с себя свой позор, отказавшись от дальнейшего кровопролития. Так сделал русский крестьянин и русский рабочий. Так должен сделать всякий честный японец. Довольно крови. Долой войну. Настал час возврата японского крестьянина к своему мирному труду, к братскому сожительству с Великой Советской Российской Социалистической Республикой.

От имени японцев, проживающих в Советской России, Рио Накахира, специальный корреспондент газеты „Асахи Симбун“».

Ленин использовал любую возможность, и в первую очередь печать, для разъяснения и пропаганды миролюбивых устремлений Советской России, ее желания установить деловые, экономические отношения со странами капитализма. Хотя препоны были невероятные. Державы Антанты открыто заявляли на весь мир, что «будет отказываться в паспорте всем лицам, направляющимся в большевистскую Россию или прибывающим из нее». Правительствам предписывалось отказывать своим гражданам сносятся с большевистской Россией по почте, телефону и радиотелеграфу... Железный занавес. Полнейший заговор молчания.

Положение несколько изменилось, когда появилось окно в Европу — мирный договор с Эстонией. Первой воспользовалась окном пишущая братия, среди нее Фусс.

Журналисты ехали в Россию кто за правдой, кто за сенсациями. Чего только не сочинялось! Буржуазная кухня лжи, клеветы, инсинуаций, фальсификаций работала, казалось, по сорок восемь часов в сутки. Придумывались самые фантастические сюжеты. То сообщалось (разумеется, из самых «достоверных и компетентных источников»), что Россия готовится к войне. Со всем миром сразу. Это была утка № 1, ее подавали обывателю каждое утро со свежим номером газеты. То печатались секретные телеграммы, которых никто не посылал, или речи, которых никто не произносил. То вдруг новая сенсация: Кремль разрушен, Москва сожжена, Советское правительство готовится к бегству. То оно чеканит фальшивые деньги. То довело армию до 20 миллионов.

Однако все рекорды побил американская «Нью-Йорк таймс». Она 91 раз сообщила о гибели советской власти, 6 раз — о захвате белыми генералами Петрограда, который, кстати, при красных якобы 6 раз восставал против большевиков. Москва, по утверждению этой газеты, трижды находилась накануне захвата, дважды сжигалась и еще два раза была в состоянии паники.

Потоки лжи и клеветы выливались на Ленина. В одной буржуазной редакции свели воедино все «сведения» из России, касающиеся вождя Октября. Получилась невероятная ложь: с момента революции Ленин несколько раз арестовывался, заточался в тюрьму, бежал в Ригу, Ереван, Ташкент, Архангельск и даже в... Барселону.

Итак, оба газетчика в Кремле. Они первые японцы, с которыми здесь встретился Владимир Ильич после октябрьских дней.

Сопровождал японцев к Ленину Арсений Вознесенский. Никаких записей он не оставил, кроме коротенького воспоминания, впервые опубликованного вместе с корреспонденцией Фусс в книжечке «Ленин и Восток» и частично использованного ныне в примечании 65 Полного собрания сочинений В. И. Ленина.

На беседе у Ленина мог быть еще один человек — некий Харламов. Фамилия его встретилась в архиве на пропуске-отношении в комендатуру Кремля, датированном 3 июня 1920 года.

Ленин бросил взгляд на часы на стене. Улыбнулся. Сокрушенно развел руками, словно извиняясь, что время имеет привычку не стоять на месте.

Тридцать минут истекли.

Накахира, коренастый, широкий в плечах, с крупными, грубоватыми чертами лица, торопливо дописывает в блокноте последнюю фразу. Затем поднимается из-за стола. Напоследок окидывает кабинет взглядом. Запомните! Как можно больше запомните! Пригодится. Легонько жмет руку Ленина. Низко кланяется. Владимир Ильич провожает журналистов до двери и тут, словно вспомнив что-то, обращается к Накахире:

— Вознесенский говорит, что вы много ездили и ходили по нашей стране. Напишите о том, что видели и слышали. Без всяких прикрас.

— Хорошо, тофариса Ренина-сан, хай, хай. Я оясатерно напишу. Хорошо напишу.

— Вот и договорились. Ну, до свидания. Счастливого пути на родину!

— Хай, хай, хай!

Снова поклоны и улыбки.

Японцы выходят в приемную. Секретарша, та, что встречала их, поднялась со своего места, подошла к гостям. Проводила к выходу. Накахира она показалась горба-

той и настолько малой ростом, что в одном из репортажей он совсем не по-джентльменски назовет ее карлицей.

Накахира проживет долгую-предолгую жизнь. Повстречает на своем пути сотни и тысячи людей, сочинит множество статей и несколько книг. Переживет всех участников встречи в Кремле.

До встречи с Лениным он прожил около двадцати шести лет. После встречи живет уже пятьдесят девять. Но тридцать минут — ленинских! — обеспечены золотым содержанием человеческой памяти.

По следам бывшего корреспондента «Осака Асахи» пойдут советские журналисты. С неподдельным удивлением встретит их на пороге своей каморки старый человек. Неужели к нему? Зачем? По какому делу? Кому он мог понадобиться в этом суетном мире, который давно бы следовало покинуть, да боги не берут?

...Но вернемся в двадцатый год. Веселье, оживленные спускаются вниз по дворцовой лестнице два японских журналиста.

Фусэ управился в два счета. Примчался в отель, закрылся на ключ и бросился расшифровывать записи. Написал корреспонденцию — и на почту. Не прошло и суток как телеграмма с отчетом о встрече с Лениным понеслась в Японию.

В коридорах буржуазной прессы понимают и умеют ценить «сенсейшн». Все вокруг пришло в движение. Закружилось, завертелось. Одна виза на рукописи категоричнее другой. 10 июня интервью с Лениным появилось в «Токио Нити-Нити».

Ну а Накахира? Он сидит в душном номере «Савоя» — босой, в одной майке, взъерошенный, возбужденный. Мучается. Но вот, слава богу, управился с черновиком. Прочел — разорвал в клочья: ни мысли, ни содержания. Принялся заново. Перечеркнул. Третий, четвертый варианты. Когда наконец в полдень на другой день поставил точку и в изнеможении откинулся на спинку стула, вдруг вспомнил: в редакции, кроме него, никто не знает русского языка. Снова незадача. Прибежал к Вознесенскому:

— Тофариса Арсени-сан, прошу вас, пусть кто-нибудь из васих сотрутникоф перефотит этот мой статей на ангийский. Я сапрачу, у меня есть теньки...

— Вообще-то мы не оказываем иностранным корреспондентам услуг такого рода, — ответил Арсений Николаевич. — Но что с вами поделаешь. Японский народ должен узнать, что говорил товарищ Ленин. Что до платы, то деньги сохраните у себя. В дороге пригодятся, путь у вас неблизкий. Но давайте условимся, дорогой Накахира, о следующем: когда в Японии произойдет социальная революция, такая же, как у нас, вы вспомните наш уговор и, в свою очередь, поможете советскому журналисту. Может быть, в такой же ситуации.

— Конесно, Арсени-сан, хай, хай, конесно, — поспешил согласиться Рё.

Корреспонденции перевели и — опять же по настойчивой просьбе Накахиры — 6 июня передали по наркоматовскому телеграфу. В редакции «Осака Асахи», получив телеграмму — интервью с Лениным, усомнились в ее подлинности. Не иначе как подделка большевиков! Московский корреспондент газеты вел себя странно. Вначале о нем вообще ни слуха ни духа, потом на время объявился, начал слать материалы, затем снова никаких вестей. Спихватились и поверили лишь 10 июня, когда в печати появилось интервью Фусэ. Сличили — сходно. Материал быстро подправили, пропустили через цензуру и заверстали в номер. 13 июня 1920 года, в воскресенье, на первой полосе «Осака Асахи» была опубликована «Беседа с Лениным». Спустя два дня, 15 июня, во вторник, она появилась также в «Токио Асахи».

Именно этот вариант интервью с Лениным до сего времени был известен. Вариант, пропущенный через цензуру, свирепствовавшую тогда в империи. Мимо зоркого ока ее не могла проскочить незамеченной не то что целая корреспонденция — одно печатное слово.

Наше повествование об истории новой ленинской работы и новых документов, связанных с именем Ленина, подходит к концу. Правда, дошла эта работа до нас не в виде рукописи, как сотни и тысячи других, а всего лишь в кратком и, безусловно, не самом точном изложении корреспондента буржуазной газеты. Но и здесь виден отсвет гениальной ленинской мысли.

Сопоставляя тексты — архивный и опубликованный в «Осака Асахи», — нетрудно обнаружить принципиальное различие, имеющее отношение к самому Ленину, его взглядам на события и явления современной ему политической жизни, о которых шла речь во время беседы. Несоответствий в композиции, в конструкции абзацев и отдельных фраз, лексике много. Они объяснимы, ибо текст, который ныне в ходу, пятикратно переводился с одного языка на другой. С русского на английский (в отделе Востока наркомата), с английского на японский (в редакции «Осака Асахи»), с японского на английский (в августе 1920 года это интервью было перепечатано журналом «Soviet Russia», издававшимся в США), с английского на русский (при публикации 16 апреля 1963 года интервью в «Известиях») и, наконец, с японского на русский — для собрания сочинений.

Следует отметить самое существенное. Из корреспонденции Накахиры цензура полностью изъяла два абзаца, содержащих важнейшие ленинские высказывания. Еще один абзац так «отредактировали», что мысль Ленина оказалась как бы препарированной, усеченной.

Заметно сглажена в газетной публикации реакция Владимира Ильича на характер японо-советских отношений и позицию Японии. Журналист записал: «...Ленин выразил свое неудовольствие по поводу того, что со стороны Японии не замечается никаких признаков желания идти навстречу мирным дипломатическим тенденциям Советского правительства», которое «в угоду такого сближения» даже признало самостоятельность создавшегося на Дальнем Востоке буферного государства. Цензура (или редакция) правит: Ленин лишь «выразил глубокое сожаление. «Сожаление», даже «глубокое», не синоним «неудовольствию». В ленинском слове больше категоричности, принципиальности, позиция выражена определеннее и яснее.

Совсем исчезли из интервью слово «Совет» и производные от него. Оно заменено на «рабоче-крестьянский» при обозначении правительства и власти. Видно, очень страшилась императорская цензура простого русского слова «Совет».

Владимир Ильич спросил журналистов «В достаточной ли мере наделены японские крестьяне землей?» В газете оказалось: «Могут ли японские крестьяне свободно владеть землей?» Хотя острота вопроса сохранилась, сформулирован он несколько расплывчато, стусшевана политическая заостренность, смягчен динамизм. Ленин прекрасно знал, что ни о какой свободе во владении землей в буржуазных странах и речи быть не может. А вот каков в Японии земельный надел у крестьянина, достаточен ли он для прокормления семьи — эти острейшие социальные вопросы издавна были предметом его пристального внимания и изучения.

Рассказав о развитии революционного движения в России, Владимир Ильич продолжил мысль:

«Чем тяжелее ложились на Россию репрессии союзников, тем шире становился размах революционного творчества русского пролетариата, который сумел воздвигнуть коммунистический строй на развалинах самодержавно-деспотического правления, минуя, таким образом, промежуточные стадии социального прогресса».

Эти слова полностью исчезли из газетного отчета. Исчез еще один абзац. Вот он:

«До сих пор коммунистическое движение не имело прочной основы в странах Востока. Но во время войны Англия и Франция наполняли кадры своих колониальных войск населением этих стран, которые по своему возвращении посетят большевистское семя в этих странах».

У Фусэ ответ изложен гораздо лучше, ближе к манере речи Владимира Ильича. (Кстати, это единственный вопрос из числа заданных Фусэ, на который откликнулся Накахира. Возможно, потому, что речь шла о Востоке, в котором географически расположена Япония. До и после этого бросалось в глаза некое негласное — а может, и гласное, кто знает, — разделение сфер влияния: мое — мне, твоё — тебе.) Фусэ записал ответ так:

«Настоящий коммунизм может иметь успех пока только на Западе, однако ведь Запад живет за счет Востока; европейские империалистические державы наживаются главным образом на восточных колониях, но они в то же время вооружают и обучают свои колонии, как сражаться, и этим Запад сам роет себе яму на Востоке». Настолько точен и ясен стиль и смысл, что мелькнула мысль: не стенографировал ли Фусэ беседу?

Цензор начисто убрал более половины еще одного, третьего по счету, абзаца в накахировском тексте, где Ленин говорил о неотвратимости гибели капиталистического строя. В корреспонденции сказано:

«Чем дальше продлится наше непризнание и интервенция со стороны союзников, тем выгоднее для нас, ибо такая политика империалистических правительств вызовет ропот их же подданных и является залогом гибели капитализма от себя же самого».

Вторая половина фразы, со слов «ибо такая политика...», в газете не появилась, стала нам известна только теперь. И это еще не все. К началу фразы в редакции прицепили неуклюжее «есть основание думать». Из прямой, категоричной, без околичностей заявленной позиции она стала несколько рыхловатой, размяченной, ослабленной.

Следующий пример несоответствия текстов. Речь зашла о мирном договоре с Эстонией. Ленин в связи с этим говорил, что вообще с буржуазией всегда трудно иметь дело, ведь она не видит другого почину, кроме чисто материальных, «купеческих» выгод. Америка вот тоже предложила Советскому государству заключить мир, но при внимательном рассмотрении оказалось, что предложение от начала и до конца носит грабительский характер. Было отвергнуто как неприемлемое. «Мы принципиально не будем подписывать такого рода мирных договоров, дабы не сочли, что мы себя чувствуем бессильными», — заключает Владимир Ильич. То есть не только разоблачает имевшие место попытки с негодными средствами, но и предупреждает других, в том числе японцев: господа империалисты, не суйтесь к нам с нечистыми руками, не выйдет. Мы пойдем лишь на честные переговоры, заключим лишь равноправные мирные договоры.

Цензор «буржуазию» из текста интервью убрал, заменил на «имущие классы», с которыми не «вообще... всегда трудно иметь дело», а только лишь «очень трудно». Опять-таки налицо размячение, разрыхление мысли, заметное снижение политического и социального критерия.

На этом, думается, можно закончить сопоставление текстов интервью, обнаруженного в архиве и опубликованного в «Осака Асахи». Доводы в пользу первого, первоисточника, неоспоримы.

— Накахира-сан, верно ли, что на другой день после встречи вы снова пришли в Кремль с текстом интервью? Ленин прочитал его и вычеркнул фразы: «Ленин решил...», «Ленин отказался...» и т. д. В связи с этим возникает сразу два вопроса. Во-первых, так ли в действительности обстояло дело? Во-вторых, о каких чертах в облике Ленина могла свидетельствовать, на ваш взгляд, такая примечательная деталь?

— В то время был введен порядок: иностранный журналист, аккредитованный в Москве, если он брал интервью у видного деятеля, обязан был показать ему написанный текст. Я поступил в точном соответствии с правилом. Но к Ленину второй раз не ходил. Передал рукопись Вознесенскому. Следовательно, я не видел, как Ленин вычеркивал отдельные слова, мне рассказал об этом Вознесенский. Он же, вернувшись из Кремля в «Метрополь», где я ждал его, передал привет от Ленина и его похвальный отзыв: «Из всех моих интервью мне больше всего нравится это». Возможно, Ленину понравилась нестандартность формы, не привычный вопрос — ответ, как, например, у Фусэ, а сплошной текст с вкраплением описания обстановки кабинета, радушия хозяина. Исчезла из рукописи и моя «горбатая старушка», которая, помнится, ввела нас в кабинет. По словам Вознесенского, это место в рукописи не понравилось Ленину. Возвращаясь из Кремля, мы с Фусэ предположили, что «старушка» — боец коммунистического движения, сотрудничавший с Лениным. Впоследствии я все же «восстановил» ее, желая сильнее подчеркнуть человечность Ленина.

— Придется, однако, вас подправить. Никакой старушки не было. Встретила вас в приемной и проводила в кабинет Ленина, как удалось установить, дежурившая в тот день милостивая и симпатичная женщина Мария Игнатьевна Гляссер, одна из секретарей Председателя Совнаркома. Ей в ту пору шел тридцатый год, то есть она была старше вас всего лишь на три года и моложе Фусэ на семь. Волосы у Гляссер действительно были с проседью.

— Возможно, возможно, не берусь спорить. Значит, рано седали женщины русской революции. Будем считать, что на первую часть вопроса я ответил. Пойдем далее. Почему в тексте были вычеркнуты выражения «Ленин решил...» и им подобные? Могу высказать сугубо личное мнение. Ленин как ученый, представляется мне, лучше других революционеров знал исторический материализм, основу которого заложили Маркс и Энгельс. А эта теория учит, что общественное развитие совершается не по воле и действиям отдельных индивидов, а движется вперед массами. Ленин убрал из текста фразы, касающиеся своей личности, липший раз проявив свою исключительную скромность.

Читатели видят — оба японца в моем рассказе вместе. В Кремль их привезли на одной и той же машине. В кабинете Ленина сидят рядом. Задают вопросы, записывают ответы. Но вынужден признать: покамест это самоуправство. Или почти самоуправство. Правда, имеется свидетельство самого Накахиры. Но устное свидетельство не доказательство. К тому же возраст...

Попробуем представить доказательство. Автор имеет почти все публикации о «ходе» к Ленину на японском языке, и, надо отдать справедливость, везде Рё Накахира ныне честно указывает на Фусэ как сотоварища в описываемых событиях.

Но есть «кулика», на мой взгляд, совершенно неотразимая — рукопись интервью. Та самая, которая была сочинена в номере «Савоя». Вот она — на двух с половиной листах в голубоватую полоску, формата чуть больше, чем ныне принято. На обороте какой-то машинописный текст. У бедняги Накахиры не нашлось чистой бумаги. Писал он обычной ученической ручкой, фиолетовыми чернилами. Почерк слегка наклонен вправо. Строчки ровные, старательно выведены, буквы четко очерчены. В конце подпись — «Накахира». Без завитушек и закорючек, ясная, четкая, похожая на учительскую. Желая удостовериться в подлинности, упрямил старого японца, когда был у него в гостях, расписаться в моем блокноте. Сравнил — подпись не изменилась.

«Третьего июня, — читаю в первом абзаце, — я вместе с корреспондентом «Осака Майнити» был принят Лениным в Кремле в его кабинете». Точно указана дата — 3 июня (хотя сама фамилия Фусэ отсутствует). Мы уже знаем, что Накахира остался неудовлетворен первоначальным наброском и продолжал шлифовать материал. Тут же в архивной папочке другой вариант. Значительно улучшенный, с четкими формулировками, разбитый на абзацы, отпечатанный на машинке. Начало претерпело изменения, и они оказались весьма симптоматичны: исчез корреспондент «Осака Майнити» и «Токио Нити-Нити», Ленин же назван «товарищем Лениным».

Итак, подведем итог: сколько было встреч! Одна или две? Одна. Ленин принял японских корреспондентов обоих сразу. И в один день. Следовательно, была одна беседа. Одно интервью. Хотя записали его два разных человека. Накахира убрал из текста Фусэ. Тот не остался в долгу — тоже не упомянул коллегу. Были вдвоем, сидели за столом локоть к локтю, входили в кабинет в одну и ту же дверь. Вышли из него — и точно память отшибло. Сразу у обоих.

— Накахира-сан, почему вы тогда вычеркнули Фусэ?

— Не помню.

— Обычная конкуренция, — шепнул мне переводчик Като-сан.

Да, именно конкуренция. Делить удачу на двоих? Слуги буржуазной прессы, они поступили в точном соответствии с ее канонами. Каждый выдал сенсацию за свою собственную. Не исключено, могли даже договориться. Как, впрочем, и о разных датах. Ты давай, моа, поставь 3 июня, я — 4-е. Из одной беседы сделаем две.

Но цель моя не бранить задним числом, в общем-то, порядочных людей. Меня интересовало: какие вопросы были заданы Ленину? сколько их? на все ли он ответил?

В одном старом издании брослась в глаза строка: «Фусэ поспешил вынуть свой вопросный лист...» Фраза заставила остановиться. Вопросный лист? Где найдешь сейчас этот загадочный лист?

И вот он в руках! Спокойно лежал в архиве. Отпечатан на машинке. Сверху, над текстом, учинена карандашная надпись: «Вопросы, заданные (частью) т. Ленину Фусэ 3/VI-20 г.». Далее следует шесть пунктов (орфография и пунктуация оригинала):

- 1, Как Вы смотрите на рабочее движение в Японии.
- 2, Ближайшие задачи Советской власти.
- 3, Как представляется существующее взаимоотношение городского пролетариата и крестьянства.
- 4, Ваше пожелание японскому народу.
- 5, Где имеет больше шансов развитие коммунизма — на Западе или на Востоке.
- 6, Каково будет добрососедское отношение между социалистическими и буржуазными странами.

Вполне вероятно, отпечатав вопросник, Фусэ оставил себе копию, а первый, из-под машинки, экземпляр передал в отдел Востока. Оттуда он мог попасть к Ленину для предварительного ознакомления или был передан ему во время самой беседы. Так или иначе, но не лишено оснований предположение, что вопросный лист мог быть в поле зрения Владимира Ильича. Он даже мог держать его в руках. По окончании встречи Вознесенский унес листок с собой, видимо, он и сделал карандашную надпись и сдал в архив.

В вопроснике 6 пунктов. В интервью Фусэ использована половина: второй, пятый и шестой. А остальные? Прозвучали ли они во время беседы? Помета в скобках указывает: Ленину была задана лишь часть вопросов. Часть, но сколько — три или больше? Если больше, то ответы на них — особенно на первый и четвертый — могли содержать столь взрывной материал, что даже непугливый Фусэ в предвидении скорого возвращения на родину решил не рисковать.

Остался невыясненным последний вопрос. Когда Ленин принял Накахиру и Фусэ? 3 или 4 июня? Только — 3-го! Никакого 4-го не было и быть не могло. Свидетельств тому, и притом самых неопровержимых, теперь более чем достаточно. Эта дата указана в первом абзаце рукописи интервью, вышедшей из-под пера Накахиры, — раз. Этой датой помечено отношение в комендатуру Кремля насчет пропусков — два. Именно эта дата стоит над вопросником Фусэ — три. Именно этой датой зафиксирован выданный ему мандат для «проезда из Москвы в Японию» — четыре.

И наконец, в 8-м томе Биохроники на странице 617 есть коротенькая пометка: «Не позднее 3 июня. Ленин делает запись на листке настольного календаря от 3 июня 1920 г.: NB 4^{1/2} тгю». Я ничего не утверждаю. Я рассуждаю: не о встрече ли с японскими журналистами календарная пометка? Многое сходится. «3 июня» — ясно. «NB» — по-ленински: всегда архиважно, архинужно, архисрочно. Так и было в действительности: японцев нельзя было не принять именно в это время. «4^{1/2}» — это, думается, обусловленный час встречи. Накахира тоже указал на послеобеденное время. Ну а «тгю» — надо полагать, Фусэ, Накахира и Вознесенский (Жарламов, к сожалению, не вписывается). Повторяю, это всего лишь догадка. Но у нее немало резонансов...

Япония еще не читала с а м о г о Ленина. Еще в далекой Америке, укрывшись в тишину нью-йоркской квартиры, вдали от любимой родины, изгнанный из нее в 1914 году и более не вернувшийся, Сэн Катаяма скрупулезно заполнял лист за листом витиеватыми иероглифическими письменами. Переводил на японский язык «Государство и революцию» — первую большую ленинскую работу. Еще не было Коммунистической партии Японии (будет создана через два года), рабочие не пели пролетарский гимн «Интернационал» (он прозвучит тогда же, в день пятой годовщины русской революции).

Но взглянем на цифры, в них поэма о триумфальном шествии ленинских идей по земле Ямато (первая означает год, вторая — количество изданных трудов): 1921-й — 1923-й — по 3 работы в год, 1924-й — 6, 1926-й — 15, 1927-й — 51, 1928-й — 49, 1930-й — 45, 1931-й — 39.

К 1932 году, до наступления периода реакции, когда издание марксистской литературы легальным путем практически стало невозможным, в Японии вышли все основные ленинские работы. Широкие слои японского общества, изнывавшие под гнетом императорской власти, точно к живому источнику, потянулись к Ленину.

— Накахира-сан, где вы были в январе двадцать четвертого года, когда скончался Ленин?

— Находился в Софии. Три года я уже работал в Германии, Швейцарии, тосковал по дому и с разрешения редакции ехал на побывку к семье. И вдруг сообщение — умер Ленин! Я воспринял эту скорбную весть как личное горе. Встали перед глазами Москва, Кремль, живой Ленин. Нет, я не мог не откликнуться! В тот же день, вечером двадцать первого января, послал телеграмму в Осаку.

«Великий вождь рабоче-крестьянской России Владимир Ильич Ульянов (Ленин — его псевдоним), — писал Накахира, — болеет — об этом сообщали примерно с весны прошлого года. Он скончался, считая по-японски, в возрасте 55 лет... Царство Ленина осталось незыблемым. Прошло 7 лет после революции, но рабоче-крестьянская Россия будет благополучно существовать и впредь благодаря усилиям последователей Ленина».

В таком же духе выдержан некролог в «Осака Майнити»: «Умер Ленин — величайший человек. Без колебания мы признаем Ленина гением. Во всем мире нет места, где бы не знали имени Ленина. Это выдающийся герой, единственный авторитет, выдвинувшийся после войны. Будучи марксистом, Ленин воплотил теорию Маркса в жизненные формы, развил и разработал ее, провел в жизнь, несмотря ни на какие затруднения». Не исключено, что автор этих строк Кацудзи Фусэ, специалист по России. Характерно, что даже реакционные буржуазные органы печати, несмотря на драконовские цензурные ограничения, писали в те дни о Ленине не иначе как с глубоким уважением.

— Накахира-сан, как потом сложилась ваша судьба?

— Ветер жизни человеку неподвластен. Журналисту тоже. Много поколесил я по разным странам и континентам. Работал, писал. Но вдруг неожиданный зигзаг. В тридцать втором году ушел из «Асахи» из-за столкновений с правыми в редакции. В стране наступало время самой черной, оголтелой реакции. Усиливалось господство военщины. Насаждался так называемый японский дух — грубый милитаристский шовинизм. Поехал я служить в Маньчжурию, в северный (русский) отдел исследовательского института Южноманьчжурской железной дороги. Затем оказался в Пекине. После поражения Японии в войне вернулся домой. Трагедия нации обернулась личной трагедией для миллионов людей. В том числе для меня. Крах всех надежд. Перебрался на родину жены, в префектуру Вакаяма, занялся сельским хозяйством. С пятьдесят второго года живу в Токио.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Работаю. Никоеном, то есть чернорабочим, на районном строительстве. Копаю ямы, отношу землю в мешке, сажаю деревья.

— Что заставляет вас трудиться в таком возрасте?

— Жизнь. При капитализме старый человек — лишний человек. Хоть ложись на улице и помирай.

— Все-таки не тяжело носить землю на девятом десятке?

— Конечно, нелегко. Но я приноровился, и теперь снег на моем зонтике, как говорится, уже не кажется таким тяжелым. Выхожу из дома спозаранку. Беру с собой бенто — рис в лубяной коробочке, — другую скромную снедь. Я люблю и ценю физический труд. Крещение получил еще в Москве на красном субботнике.

— Из редакции «Асахи» вас навещают?

— Нет.

— У меня предстоит встреча с главным редактором. Может, передать что-нибудь?

— Благодарю, мне ничего не нужно.

— А вообще японские журналисты интересуются вами?

— Брали интервью лет десять—двенадцать назад, в годовщину вашей революции.

— О чем спрашивали?

— О Ленине.

— Еще?

— Больше ни о чем.

— Вы о себе рассказывали? Про свою жизнь остальную, не связанную с поездкой в Советскую Россию?

— Рассказывал, но ни строчки не напечатали. Кому нужна моя жизнь!

Я все же не сдержался. На другой день во время посещения редакции «Асахи» сказал главному редактору господину Хате (тоже, кстати, бывшему московскому корреспонденту этой газеты) о встрече с Накахирой. Меня интересовала ответная реакция. Хата спокойно спросил: «Накахира? А кто такой этот Накахира?» Услышав ответ, извлек из кармана блокнот, что-то пометил. И все.

Я пошел дальше. Решил провести своеобразный мини-опрос: выяснить, знают ли в Японии человека по фамилии Накахира. В Токио, Канадзаве, Киото, Нагое, Хиросиме, Нагасаки, Ниигате при случае спрашивал журналистов, профессоров университетов, должностных лиц префектуры и городов, активистов общества «Япония — СССР», спрашивал в Накано у жильцов соседнего дома. Никто в Японии ничего не слышал о Накахире.

— Накахира-сан, не соберется ли снова в Россию? Теперь-то уж, надо полагать, никто не станет отговаривать. Поглядели бы, какой нынче стала страна. Как изменилась, сравнили бы с той, прежней, «своей».

— Заманчиво, весьма заманчиво... Однажды, много лет назад, один ваш добрый человек, Харин-сан его фамилия, вдруг заявился ко мне и предложил съездить в Осаку. Выставка там была. Поехали мы. Побродил я по советскому павильону, поглядел, подивился. Никаких сравнений не подберешь. Помню нечто совершенно грандиозное. Действительно новый мир. Что до поездки в Советский Союз — спасибо за приглашение. Но какие теперь поездки. Хоть и говорят у нас, что доброму коню и в старости большие переходы снятся, мой цветок отцвел.

— Не хотите ли, Накахира-сан, что-либо пожелать советским людям?

— Позвольте ваш блокнот и ручку.

Старый человек склоняется над низким скрипучим столиком. Медленно, старательно, точно священнодействуя, выводит русские слова.

— Додзо, прошу вас, напечатайте вот это,— протягивает мне блокнот.

Читаю: «Народу СССР. Желаю вам счастливую жизнь. 31 июня 1977 г. Р. Накахира».

Я встаю чуть свет. Это мой час. В доме все спят, и мыслям просторно. Сажусь за стол. Беру фотокопию номера японской газеты — того самого, июньского... Беру с полки словарь. Брожу взглядом по страницам. С великим трудом продираюсь в витиеватые кружочки, палочки, закорючки иероглифов и нахожу — вот оно, слово! Вовраваще в себя эпоху, мир, бессмертное слово — Ленин.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ТУРБИН



СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Серия «Литературные памятники». Заметки

Есть язык, есть речь общества — общества в целом, общества как величины собирательной. Общество непрерывно говорит о себе предметами материальной культуры, и исторически совсем недавно в состав материальной культуры вошла книга в ее современном виде.

Место книги в иерархии произведений материальной культуры вряд ли можно обозначить однословно и непреложно: без книги как будто бы и обходятся, но в то же время несомненна ассоциация, соединяющая образ Книги с образом Человека. Вещь и идея нигде не сосуществуют так явственно, как в книге. Книги — друзья, книги — овеществленные, воплощенные души. У них есть одежда — переплет, есть тело. У них может быть противоречие между духовным и материальным: роскошно издано, но бессодержательно; невзрачно, но глубоко и прекрасно («По одежде встречают, по уму провожают»). Книга как явление материальной культуры — безотносительно к ее содержанию; допустим, книга на иностранном языке, которым мы не владеем, — строится как модель Человека, высшей для нас ценности на земле; одно это ставит ее в исключительное положение. Замена книги портативными пленками, микрофильмирование? Не знаю, не знаю... Мне такая замена рисуется катастрофой, и я не хотел бы дожить до нее: извлечь из книги идею, упразднивши книгу как вещь, — вряд ли подобная операция может пройти безболезненно для людей, безнаказанно: отомрет что-то в обществе, косноязычным станет оно.

Книга обращена к будущему, и там, где есть книга, в самой жизни исподволь начинает высветиваться тема отцов и детей, тема наследования. Хоть мелчком, да непре-

менно она появится: книгой награждали в гимназиях, в земских школах, сейчас книгой премируют отличников; отец приносит маленькому сыну книгу; сын забирается в библиотеку отца и находит там что-нибудь не очень-то ему подобающее — таких сюжетов и в жизни и в литературе полно. «Книжный бум», катящийся по белу свету сейчас, связан все-таки прежде всего с чадолюбием. У кого ни спросишь, зачем ему книги, ответ будет один: для сына, для дочери. Лукавит человек или нет — его дело. Но даже если лукавит, то знаменательно, как лукавит: книгу мыслит наследством, приданым, своим завещанием. И это специфично именно для нашего общества. Поместий наследственных нет, нет частных фабрик, банков, заводов: «Такой-то и сыновья», «Дело таких-то». И самое достоверное, прочное из того, что можно оставить наследнику, — книга. Можно, разумеется, возразить: но и двадцать лет спустя будет, наверное, «Советский писатель», «Художественная литература». Будут издавать Пушкина, Гургенева, Хемингуэя; сын или дочь повзрослеют, пойдут и купят. Но, во-первых, купят или нет — дело темное: НТР всемогуща, капризна и вдруг к тому времени книгу уже заменят холодные змейки лент микрофильмов; а во-вторых, видимо, рассчитывается так, что наследник приобретет книги для своих сыновей, продолжая дело нынешнего собирателя книг (вдруг все-таки книга еще сохранится?). А у основания дела — он. И книги — его слово, обращенное к внукам и правнукам. И пусть даже отец завещает сыну, внуку книгу только как вещь, укорять его этим трудно. В вещи — идея. Завещатель верит, что идея, которую он, может быть, сейчас сам

не способен постичь, откроется последующим поколениям.

Так — на уровне одной семьи, рода; так же, несомненно, и на значительно более широком уровне, на уровне общества в целом. Общество говорит и вещами, и скрытыми в них идеями; оно живет, ежесекундно выявляя идеи вещей. «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» — смысл известной поговорки можно раздвинуть до грандиозных масштабов, придав собирательному «ты» исторический, обобщенный характер: «ты» — общество как социологическая категория, kaleйдоскопически множественная, но единая, монолитная.

Что мы читаем?

Книги тяготеют к серийности. Зная это сокровенное свойство книг, издатели стали объединять их в группы.

Серии, которые издаются у нас, трудно охватить даже профессионально составленным библиографическим каталогом: от детской серии «Книга за книгой» до серии «Философское наследие». Только что завершилась «Библиотека всемирной литературы». Она получила всеобщее признание. Но опыт по объединению книг в серии продолжается; и серии книг «Литературные памятники» — деяние, протекающее у нас на глазах. Оно началось задолго до того, как была задумана «Библиотека всемирной литературы». А кончится оно неизвестно когда: серия уходит в даль будущего, конца ей не видно и его не должно быть видно в принципе, по идее.

Можно, несколько вольничая, вообразить, что серия книг по отношению к вне-серийным изданиям то же, что фраза по отношению к разрозненным словам. «Разгром» Александра Фадеева и «Петербург» Андрея Белого, «Письма Марка Туллия Цицерона...» и «Легенда о докторе Фаусте», «Симплиссимус» Гриммельсгаузена и «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» отстоят неизмеримо далеко друг от друга. Пусть иногда есть близость хронологическая: Андрей Белый еще продолжал работать над «Петербургом», сокращать роман, доводить его до искомого стиливого и жанрового совершенства, а Александр Фадеев начал «Разгром». Но даже внутри одной национальной культуры и едва ли не в пределах одного и того же года — отдаленность, разрыв.

Однако, пытаясь разведать дальнейшие планы серии «Литературные памятники»,

узнаешь: в этой серии с самого начала ее намечались как раз и «Петербург» и «Разгром». И логика здесь, несомненно, есть.

Смысл всякой серии — в соединении. Есть соединения как бы само собой разумеющиеся, есть соединения — открытия. Они охватывают удаленные одну от другой эпохи, разноликие национальные культуры. А в пределах малых отрезков времени могут обнаруживать и прояснять сложные и изломанные контрастные связи.

Один из основоположников серии «Литературные памятники», академик Н. И. Конрад, намечая перспективы задуманного издания, особо выделял роман А. С. Серафимовича «Железный поток» и «Разгром» А. А. Фадеева, «эти, — по его словам, — памятники ранней поры советской литературы, сыгравшие столь большую роль в процессе образования мировой социалистической литературы». Книги еще не вышли, но показательно именно то, что они были выделены как принципиально важная веха творческой и издательской жизни «Литературных памятников». Намеченное бывает не менее красноречиво, чем сделанное; и с рассуждения об изначально намеченном разумнее всего начать анализ изданного и издаваемого. А издаются-то книги, в массе своей обнаруживающие диалектическое единство весьма и весьма несходного, пребывавшего и пребывающего во взаимной оппозиции, резко контрастного.

Своеобразная контрастная связь соединяет «Разгром» с «Петербургом». «Разгром» — начало, «Разгром» — исток, «Разгром» — один из первых камешков в фундаменте новой культуры, слагавшейся по законам, еще не очень-то ясным и для нее самой. Действие романа протекает на дальней окраине рухнувшей пространной империи, и все в нем «окаинно»: глухая, удаленная местность, куда ворон костей не занасивал, тайга. Партизанский отряд, а партизаны при всем великом политическом и стратегическом значении их войны, их жертв и их подвига — все-таки не регулярная армия; и воинский труд партизан по отношению к регулярной армии дополнителен. «Разгром» — об окраине и о нравственном, о политическом праве окраины на равенство с центральным, главенствующим. «Кто был ничем, тот станет всем!» — лозунг, призыв, которым новая культура утверждала себя, реализован в сюжете романа, в расстановке его героев. Теме «окаин-

ного», мотиву «окраинного» Фадеев был верен в течение всей своей драматически прожитой творческой жизни. Верен в неоконченном «Последнем из удэге», верен в «Молодой гвардии»: мальчики и девочки, восставшие против врага так, как звала их совесть, и так, как они сумели, смогли восстать, жили в скромнейшем из городков; и, кстати, поосторожнее бы нам быть, рассуждая, в частности, о толстовских традициях в творчестве Фадеева. К набившей оскомину «диалектике души» традицию не сведешь. Л. Н. Толстой в «Воине и мире» принципиально «центрологичен», «центрографичен»: Москва — политический, исторический и социально-психологический центр Отечественной войны 1812 года, Кутузов и его штаб — стратегический центр войны. Прямая служебная близость к центру, к Москве, к Кутузову, к Бородинской битве — важнейшая сторона жизни героев эпопеи Л. Н. Толстого: в центре решается все; в центре — Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова. Платон Каратаев, умные и глупцы, патриоты и равнодушные проходят через военную жизнь в Москве или через участие в Бородинской битве. А мальчики и девочки из Краснодона не участвовали в генеральных сражениях и не совещались в штабах. Взгляд писателя обратился куда-то туда, где, казалось бы, люди были удалены от центра. Но все дело в «казалось бы»: далекое — близкое. Партизаны, выходец из экзотических племен, удэгеец; мальчики, девочки из степного населенного пункта, все это — растекшиеся по периферии «капли воды», жизнь которых протекает по тем же законам, что и жизнь мощнейших потоков. И «Разгром» может быть трактован как первое романное слово культуры, представляемой А. А. Фадеевым.

А «Петербург» — роман о центре, глухо размываемом гибелью. «Петербург» — о столице. Об ее высоких учреждениях, в одном из коих правит человек с комически удвоенным именем античного бога: «Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович выросал в некий центр...» А среди героев романа есть герой-вещь: бомба в банке из-под сардин, то, что сын припас для отца, крупного правительственного чиновника. Чтение романа — ожидание тайно планируемого взрыва, а взрыв — это разрушение, идущее от центра, мгновенно достигающее периферии, рвущее ее на куски. «Петербург» — роман о конце громозда-

кой бюрократической культуры, об ее закате, об ее жутковатой предвзрывной жизни. Пусть взрыв на страницах романа и не грянул, это только отсрочка того, чего миновать было нельзя: отсрочка другого взрыва, конца.

Разные идеологические миры, взаимоисключающие социальные эмоции: мажор убежденных в своей правоте надежд (Фадеев), эсхатологическое отчаяние (Андрей Белый). Андрей Белый настаивал на том, что его романы — поэмы, и это действительно поэмы, притом трагические. Трагичны здесь не столько герои, сколько писатель: фигура его стилизуется под облик ветхозаветного пророка, скорбящего и оплакивающего. Он жжет сарказмом, клеймит, но в голосе его сквозят интонации плача. Он — в пустоте; ему не на кого и не на что опереться.

«Буржуазная идеология»... Мы стали осторожны, стали исследовательски застенчивы: часто ли встретись прямыми, жесткие социологические дефиниции? Конечно, компрометировались они безжалостно, многократно, но все-таки без них в принципе как бы то ни было невозможно. И есть же эта буржуазная идеология, есть связанные с ней эмоции: прежде всего, наверное, — леденящее дух одиночество. Одиночество, дошедшее до высочайших своих степеней. Одиночество в творчестве. Одиночество в толпе. Одиночество эгоцентризма: одиночество-возмездие, одиночество-кара. И романы Андрея Белого создаются поэтом, погруженным в одиночество, не чаящим выбраться из него. Одиночество обступает со всех сторон, изолируя человека не только в пространстве, но и во времени: впереди чернота какая-то, нет ничего, никого — конец. Ощущение себя в конце чего-то рождает поэзное содержание «Петербурга».

Серия «Литературные памятники» — гигантский, многотомный путеводитель по истории идеологической борьбы, полемики, споров, протекавших в пределах одной национальной культуры, в пределах мировой культуры вообще. История немислима без полноты представительства: умирившее должно быть явлено так же, как и рождавшееся. И «концы» сопрягаются с «началами», «закаты» — с «восходами». Мне кажется, я не ошибусь, высказав предположение: «Литературные памятники» — серия, несущая в себе достаточно заметную полемику с шумной, сенсационной для своего времени, какой-то сладострастной книгой Шпенглера

«Закат Европы». И дело, разумеется, не в одном только трактате Освальда Шпенглера, выпшедшем после первой мировой войны, в 20-е годы, но резонирующем и поныне. Дело в настроении, выраженном в этом трактате, — настроении похоронном, зловещем: есть несколько типов культур и каждый тип в положенный срок исчерпывает себя, кончается, приходит к закату, а другой тип восходит вне какой бы то ни было преемственности с исчерпавшим себя типом. Помню, как сердито, почти брезгливо говорил о «Закате Европы» М. М. Бахтин, ученый и человек, обладавший какою-то фантастической интуицией в области типологии: «Гм... Семь типов культуры, и ни один тип о другом ничего не знает. Один Шпенглер почему-то все знает! И странно, что сейчас даже серьезные ученые стали склоняться к Шпенглеру...» Сердитыми словами нашего выдающегося современника говорило, смею предположить, литературное общественное мнение: типология, к которой сходятся ныне многочисленные творческие искания историков, литературоведов, хочет быть типологией живых и живого, типологией преемственности. Типологией общности и контактов, какие бы драматические формы ни принимали эти контакты, вплоть до войны. И «Литературные памятники» — в русле этих научных исканий.

«Литературные памятники» — в постоянном зондаже, обнаружении границ, идеологических рубежей, обозначающих концы и начала культур. «Петербург» и «Разгром» — относительно несложный из случаев. Есть сложнее, но «Литературные памятники» ищут возможности и в них внести прояснение, обнаружить преемственность там, где история вычертила сплошные зигзаги, затутанные кривые или разрозненные штрихи своих капризных пунктиров.

Изданию «Литературных памятников» сопутствуют методологические обоснования, которые время от времени выносятся на люди. «Литературные памятники» как единое целое серьезно и ответственно комментируются учеными, взявшими на себя заботу о судьбе издаваемой серии: о задачах серии писал академик Н. И. Конрад, недавно — академик Д. С. Лихачев. И как бы ни были сдержанны их пояснения, размах, дальновидность и точность научной мысли, высказываемой в сопровождении серии, импонируют и привлекают.

«Литературные памятники» представляют минувшее. И недавнее, и отдаленное, древнее: античность, раннее средневековье в Европе, древнюю русскую литературу, далее — к XIX столетию, а там уж и к нам, к современности. А минувшее, прошлое не обязано было духовно жить так, как живем теперь мы. Наши критерии оценки литературных явлений кажутся нам незыблемыми, и литература без романа, положим, с нашей точки зрения, как бы не завершена, неполна, недосроена. Н. И. Конрад терпеливо настаивал на другом: не культуру минувшего надлежит себе адаптировать, а себя адаптировать к ней. Если какие-то страны, народы на протяжении целых эпох, живя полноценной духовной жизнью, почему-то могли обходиться без романа, это не значит, что их культура была неполной, а слово их — недосказанным. Важно отрешиться от нашего «романоцентризма», войти в логику стран и народов, мысливших «не по-нашему», и нам же самим лучше будет: явления нашего собственного культурного обихода, почитаемые нами иной раз за не имеющие ни истории, ни перспективы обломки, откроются нам как отголоски великих традиций, отчих заветов. Шпенглер — Шпенглером; но есть и еще более радикальная разновидность полемики: полемика с собою самим. Poleмика с самодовольством человека, ощущающего себя каким-то последним словом исторического процесса; он ценит прошлое постольку, поскольку оно похоже на настоящее. Грех великий — гордыня. Но настоящее бывает склонно грешить этим великим грехом, и мысли одного из основоположников серии «Литературные памятники» зовут к очищению от него.

Н. И. Конрад привел пример: «Записные книжки» П. А. Вяземского. Они «считаются находящимися как бы на периферии русской литературы XIX в.; аналогичные же по жанру «Записки» Сей Сенагона в японской художественной прозе X—XI вв. занимают центральное место в системе литературы того времени, ничуть не уступая роману»¹. Значит: опять прояснение, обнаружение внятной линии там, где виднеются лишь разрозненные штрихи. И если прояснение контрастной связи «Петербурга» с «Разгромом» было задачей относительно легкой, локальной, то здесь — другой случай, потруднее, позамысловатее.

¹ Н. И. Конрад, «О серии «Литературные памятники» (в кн. «Литературные памятники (Справочник)». М. «Наука». 1973, стр. 10).

«Литературным памятникам» хорошо ведомы «закоулки» истории всемирной литературы, культуры; здесь уже просматривается давно назревшая «эстетика закоулков»: эстетика неклассических литературных жанров, типа ходивших когда-то в народе туманных легенд, типа частного письма или деловых документов.

«Эстетика закоулков» предполагает обнаружение великого в неброском, в забытом на том основании, что подобное сможет написать, создать ничем не выдающийся человек, первый встречный: все пишут письма, а записная книжка — предмет нашего повседневного обихода. А коли так, наше сознание отодвигает все это в «закоулки» истории литературы и успокаивается, тешась тем, что оно занимается чем-то главным и до чрезвычайности важным.

Но издание «Записных книжек» П. А. Вяземского включает в большую традицию малый и как бы не обязательный для литературы жанр. Записная книжка похожа на шкатулку, она заполнена жанрами-миниятюрами: афоризм, бытовая зарисовка, штрихи к портрету какого-нибудь чудака, пародия, философская сентенция, эпиграмма — все это соединяется в записной книжке. Мне трудно судить, как обстояло дело в Японии XI столетия. Но теперь обычно обладатели записных книжек не рассчитывают на их обнаружение: записная книжка застенчиво спряталась, ушла в подполье, замкнулась в быту. Она «сверчок», знающий «свой шесток», и надеяться на равноправие с «большой», «значительной» литературой она не может, не смеет. Записная книжка как бы «позабыла» о других временах и странах, в коих пользовалась она всеобщим почетом и уважением: вряд ли князь Вяземский думал о средневековой Японии и соотносил себя с эстетикой иной расы, иного этнического мира. Но традиция, не знающая о том, что она традиция, все равно остается традицией. Жанр хранит ее. Жанр терпелив. Сто, двести, пятьсот, восемьсот лет он может ждать, что его воскресят, восстановят в правах. И воскрешение наступает. И связь времен восстанавливается. И на каком-то «страшном суде» почитавшийся окраинным жанр предстанет рядом с высокой трагедией, с эпосом и романом.

Для «Литературных памятников» нет незначительного. Строгая монументальная серия видит и законченное, завершенное, от-

лившееся в незабываемые формы нынешней классики; но видит она и тех, кто тещил окружающих анекдотами, записывал забавные случаи, умел вовремя проронить острое словцо, каламбур. И такие разновидности словесного творчества тоже находят место в ее монументальных изданиях.

В серии издаются романы: «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и «История кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево, «Анна Каренина», «Воскресение» Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Но роль романа в серии как бы редуцирована, и это разумно, тактично. Заполнить серию романами было бы легко, но тогда издания серии замкнулись бы исключительно в сфере литературы, понимаемой «по-теперешнему», профессиональной литературы. А у серии иная идея: гуманная идея всеобщности литературного творчества. И огромное число составляющих серию книг представляют жанры, в которых в принципе могут творить, высказываться, выражать себя все. Жанры, настолько доступные для «простых смертных», что смертные даже и не считают их сколько-нибудь заслуживающими внимания.

Роман для нас — жанр жанров. Романы исследуются, пишутся их истории. Романы изучаются в школе. Романы переиздаются, издаются романы-новинки: на Западе — в сверкающих лаком и почему-то отпугивающе пахнущих касторкой ярких обложках, у нас, скажем, — в своеобразной серии «Роман-газета». Однако же как бы ни был славен и перспективен роман, ограничен и он, а участие «простых смертных» в творении романа слишком опосредованно и слишком косвенно.

К тому же роман, как, впрочем, и другие жанры, бытует на фоне распространенной мысли об изначальной отчужденности, отстраненности литературного творчества от интеллектуальной и духовной жизни «простых смертных»: уже школьнику день ото дня внушается, что писатель-художник «мыслит образами», что творимое им «относится» к тому или иному регламентированному направлению и что где-то в достаточно таинственном мире «конкретно-чувственного мышления» возникают «художественные особенности» с их атрибутикой, устойчивой, неизменной. Рядом с этим «художником слова» — фигура «ученого», мы-

слагшего уже не образами, а понятиями. И все это прекрасно. И все здесь ясно, за исключением одного: но как же мыслит сам школьник? И как вообще мыслит «простой смертный», «толпа», волею судеб расплескавшаяся между «ученым» и «художником слова»? Впереди — громадная работа по оживлению стабилизовавшихся в сознании представлений. И она ведется уже, а серия «Литературные памятники» незаметно, скромно в нее включилась. И наступает какой-то новый этап, новая фаза: смысл здесь — в одухотворении явления литературного, словесного жанра. В том, чтобы показать жанр как живую реальность социальной обихода.

Письмо, записная книжка, дневник, афоризм, анекдот, бытовая сценка — жанры, в которых подвизаются все. Словесное творчество осуществляется повсеместно, и так было всегда, везде: в Древнем Риме, когда Апулей в великолепной судебной речи отражал обвинения в магии; в Китае и в Индии. А кто такой С. П. Жихарев? Выражаясь в наших понятиях, — «окололитературный», «околотеатральный» молодой человек начала прошлого века: приходил в литературные салоны, в театры, наблюдал да записывал. Но его «Записки современника» — замечательный труд, имеющий автономную ценность: Россия перед 1812 годом, чего-то грозно ожидающая Россия представлена Жихаревым в пестрых картинках нравов, литературных мод, художественных увлечений.

Издание тех же «Записок...» С. П. Жихарева, «Записных книжек» П. А. Вяземского — симптом, факт глубоко принципиальный: на равных с классикой издается «второстепенное». А едва ли не половина книг, изданных в серии, вообще были созданы не литераторами, не писателями, а как бы «пришельцами», явившимися в литературу «со стороны», ибо литература для подобных «пришельцев» была побочным занятием: ни Гай Юлий Цезарь, ни русский полководец А. В. Суворов не считали себя литераторами.

Известно, что у истоков серии стоит «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и отсюда пошла традиция издания в серии многообразных путевых дневников, публицистических отчетов о путешествиях — словом, документов об общении, о мирном диалоге народов. Но рядом с русским путешественником XV века — рим-

ский диктатор Гай Юлий Цезарь: «Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне...» были изданы одновременно с трудами почтенного тверского искателя новых миров и дорог, неизведанных и таинственных.

Обе книги были книгами об общении разных, радикально непохожих один на другой народов: русский — индус, римлянин — галл. Д. С. Лихачев подчеркивает, что «Хождение...» — «памятник дружеского общения стран, дружеского и глубоко уважительного отношения первого европейца, побывавшего в Индии, к новой открытой им для Руси стране»². Издание «Хождения...» — ответ науки на мировую войну, на предрассудки о национальной или расовой исключительности, на рознь, на разобщенность. Но важна и другая сторона дела.

Важно то, что «Литературные памятники» открылись произведениями из ряда рождающихся и живущих вне границ художественной литературы, если толковать её по-теперешнему, проецируя наши критерии и на прошлое. «Образами» или «понятиями» мыслили заносчивый римлянин и скромник-тверич? К какому «литературному направлению» они «относились»? Вот их знает, ибо Афанасий Никитин да Юлий Цезарь создавали что-то «незаконнорожденное», оставшееся за пределами и «художественного творчества» и «научного мышления».

Но от трудов римлянина и трудов тверича потянулись две «сюжетные линии», проходящие через монументальные издания серии: война и мир как два контрастных состояния общества, как две формы драматических международных контактов. «Повесть временных лет» с ее тщательным и каким-то трагически дотошным описанием внешних и междоусобных войн, истерзавших Русь; «Слово о полку Игореве», «Воинские повести древней Руси» и далее — до «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Война — катастрофа; война может угрожать какой-либо культуре как целому, но война в своих посягательствах и угрозах неизменно ошибается. Война бессильна изолировать культуру, на которую поднят меч. Война — тоже контакты. Извращенные, запутанные, но несомненно все же:

² Д. С. Лихачев, «Задачи серии «Литературные памятники» («Русская литература», 1977, № 4, стр. 104).

победитель контактирует с побежденным, побежденный — с победителем; интенсифицируются людские контакты внутри каждого лагеря, воюющие апеллируют к прошлому, форсируют мысль об общности с ним.

Война создает такую чудовищную форму существования, как пленение, плен: человек полностью изолируется в чуждой ему, во враждебной, в иноязычной социальной и национальной среде, его окружающей. Пленником может быть одиночка, группа людей, народность (случаи нашествий и оккупаций). Пленник изолирован, но он говорит: с врагом, с товарищами по беде. Неуничтожимые жанры возникают и здесь: сатира, устный памфлет, дидактический монолог, ностальгическая элегия о родине, об отчизне. Логично, что, как бы закладывая основы систематизированной истории контактов между людьми, «Литературные памятники» обратились к образу человека, ввергнутого в изоляцию, лишенного права и возможности свободно общаться с другими людьми. Образ пленника, узника в серии постепенно делается очень заметен: в плену князь Игорь, в плену Пьер Безухов, в плену сын гоголевского Тараса Бульбы Остап, в странном плену у Емельяна Пугачева герой пушкинской «Капитанской дочки» Петр, Петруша Гринев. Совсем недавно изданы «Опыты в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова, а одна из лучших элегий поэта — «Пленный»; и мается в ней русский казак, с берегов Дона заброшенный во Францию:

В часы вечерняя проклады
Любуясь рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один — толпой врагов.

Пленник, узник — фигура, проходящая через серию явственно, выступающая крупным планом: страдальческие лица одиноких, брошенных в заточение, казнимых забвением и унижением, смотрят сквозь строгие академические переплеты. «...взяв город, подожгли его огнем, а людей поделали и увели в вежи к семьям своим и сродникам своим много крещеного народа: страдающие, печальные, измученные, стужей скованные, в голоде, жажде и несчастиях, с осунувшимися лицами, почерневшие телом, в чуждой стране, с языком

воспаленным, голые и босые, с ногами, израненными тернием, со слезами отвечали они друг другу, говоря: «Я жил в этом городе» — а другой: «Я — из того села»; так вопрошали они друг друга со слезами, называя свое происхождение, вздыхая и взоры обращая на небо к вышнему, ведущему тайное». Это не какая-нибудь неизвестная редакция «Войны и мира» Л. Н. Толстого, рассказывающая о мучениях Пьера Безухова и Платона Каратаева в 1812 году; это из «Повести временных лет»: 1093 (!) год, половцы, их набеги на русские города. Трагический образ пленника возникает в XI столетии, и с тех пор словно бы одно и то же, одно и то же: о пленнике пишут Батюшков, Пушкин, Гоголь, Л. Н. Толстой.

От «сюжетной линии» войны вообще ответвляется «сюжетная линия» плена, от нее «сюжетная линия», которую составляют изданные в серии записки, воспоминания и дневники узников-деятели освободительного движения: «Сочинения и письма» А. О. Корниловича, «Воспоминания Бестужевых», «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». Из объекта изображения, из героя повествования пленник, узник теперь сам превращается в повествователя. Открываются судьбы трагические: годы жизни человеческой, брошенные в тюремные, в острожные камеры, в казематы. Но и тут реализуется потребность в общении, в диалоге. И тут рождается литература: она — в милостиво дозволенном тюремным начальством письме, в самостоятельном трактате, ибо замысловатые судьбы людские складываются и так, что именно узник вдруг получает возможность относительно вольно писать весьма пространные рассуждения. И узник пишет о... торговле России со Средней Азией. Пишет в тюремной камере, в крепости: декабристу А. О. Корниловичу высочайше дозволено было писать то, что сочтет он нужным. И в кошмаре одиночества, лицом к лицу с неизвестностью узник рассуждает и проектирует. В одиночке тюрьмы вдруг возрождаются... традиции Афанасия Никитина: Корнилович совершает — правда, мысленно — «хождение» на Восток. Слово нет у него других забот, неимется ему, и трактует он о перспективах отношений России со Средней Азией. Оказываясь, что «учреждение колонии в Мангишлаке, на восточном, пустынном берегу Каспийского моря, не представляет... неудобств». Гниет

человек в одиночке и поучает оттуда правителей: уж вы, правители, осваивайте Мангышлак! Это пророчество: из ямы, из каземата прозреть освоение края, который начал осваиваться лишь сто лет спустя, да и то полное освоение его еще впереди. И трактаты, записи А. О. Корниловича — что это? К какому они «относятся» направлению? «Направления», вероятно, нет; но право докладных записок заточенного декабриста считаться фактом литературной эволюции сомнению не подлежит. А литература движется живыми, деятельными, активными жанрами; в каждом нашем высказывании они борются между собой, теснят друг друга, взаимно ассимилируются и диссимилируются. У А. О. Корниловича — и докладная записка, и политическое пророчество, и, может быть, немного утопия: царь и чиновники, по указанию которых пишет декабрист свои докладные записки, прочтут их, прозреют и тотчас же снарядят экспедицию на Мангышлак — так, что ля, будет? Но не прозрели. Экспедицию не снарядили. А Корнилович писал да писал. Из узилища высмотрел он, высветил памятью, что есть «в Хиве до трех тысяч наших соотечественников, томящихся в тяжелой неволе; в Бухарии у каждого зажиточного почти человека есть по несколько русских рабов». О них, настаивает Корнилович, нельзя забывать! Устроим колонию на берегу Каспийского моря, защитим соотечественников! И тут — какая-то «двойная экспозиция»: заключенный, пленник из глубины заточения прозревает других невольников, своих соотечественников. И деятельно печется об их судьбе. И это тоже общение. Трогательно заочное, но живое, сердечное: один узник стремится общаться с другими через... тюремщиков.

Да, изучение того, как общаются люди между собой, — принцип, провозглашенный серией и проводимый ею последовательно, до последнего рубежа: пленный, узник в одиночной темнице — ситуация, в которой возможности для общения, мало-помалу сужаясь, в конце концов как бы сходят на нет. Но жизнь берет и берет свое: узничество порою едва ли не абсолютное, библейский миф о человеке, заключенном во чреве китовом, кошмарно реализован в судьбе Корниловича. И даже здесь нет «заката» культуры и не угасает традиция: литература существует латентно как невыявленная возможность, а дали узнику в руки перо, бумагу — и в нем ожил писатель.

Традиция ожила: Корнилович продолжает рассказанное в «Повести временных лет», описанное в стихотворении Батюшкова. Продолжает тематически, а в чем-то даже и жанрово: грусть его о русских пленных в Хиве эмоционально родственна элегической грусти поэта, обратившего взор туда,

Где юнше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.

Итак, есть «сюжетная линия» серии: книги о войнах, книги о плене. Многие из них созданы очевидцами, ветеранами. Это книги о жестоком, о суровом и страшном. Но они же — и книги об общении: ни одна культура не может стереть с лица земли, изолировать другую культуру, заставить забыть о ней. В плен попадают города; вершатся нашествия, и в плену оказываются народы: «История государства инков» Инки Гарсиласо де ла Вега — уникальное повествование о завоевании целого материка, Южной Америки. Однако потребность общаться могущественнее потребности уничтожать. И невозможна изоляция ни народа, ни отдельного человека: плененные, ввергнутые в узилище все равно подадут голос, заговорят.

И тогда начнет рождаться литература.

Она будет рождаться из языческой молитвы и ритуала, из письма, из личного дневника или докладной записки. Запутанный философский роман и томящая грустью элегия, баллада, сатира, утопия, — все это будет теплиться в сознании человека, при первой же возможности озаряя уж хотя бы пронумерованные листки казенной бумаги: возникновение и становление литературы — процесс, совершающийся непрерывно. И, постигая литературу как перманентное становление, можно и надо найти аспекты, в которых записная книжка окажется равноправной с романом, а деловой меморандум — с трагедией.

Серия ищет и ищет эти аспекты.

А с «Хожения...» Афанасия Никитина началась «сюжетная линия» мирного общения, мирных контактов народов: «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова, а совсем недавно — вновь открытые нам «Письма об Испании» В. П. Боткина. Загромыхали колеса перекладных экипажей и дилижансов, потянулись путевые записки и путешествия: мир посмотреть, обогатить разум, душу очистить.

Путешествие всегда противопоставлялось заточению, узничеству; и едва ли не любое путешествие начала прошлого века предвралось словами о том, что путешественник покинул свою «келью». Человек в путешествии свободен, открыт, разомкнут.

«Путешествие — это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение», — писал Н. Г. Чернышевский в рецензии на «Письма об Испании» В. П. Боткина. Жанровая калейдоскопичность путешествия обозначена Чернышевским без намерения исчерпать все, что есть в книге, и можно продолжить: «отчасти», «отчасти», «отчасти»... Путешествие, как бы реально оно ни было, отчасти и миф: пространство поглощает отправляющегося путешествовать; и голос его, долетающий до оставшихся дома, — уже какой-то «потусторонний» голос. Человек есть, но его в то же время и нет, ибо он — в мире, о котором другие могут только гадать, иногда что-то провидя и иногда попадая впросак. И в «Письмах об Испании» В. П. Боткина отозвались самые разные традиции путешествий.

«Письма...» Боткина несут в себе некое освобождение: «там», «в мире ином» — не так, как думают те, кто остался. «Мнение о скрытности и молчаливости испанцев совершенно ложно: может быть, оно и справедливо относительно их частных дел, может быть, они скрытны в делах сердца и страсти, но что касается до дел общественных, то нет народа прямотнее и открытее. Садитесь в кофейной к любому столу, к любой группе разговаривающих — к какой бы нации вы ни принадлежали, ваше присутствие никогда не мешает разговору — этим приглашающим жестом открываются «Письма...».

«Письма...» В. П. Боткина — очерки-импровизации: прожив один день, путешественник не знает, чем одарит его Испания завтра. Образ Испании строится на ходу, вырисовываясь из записей политических споров, репортажей с неорганизованных уличных митингов, зарисовок сельских нравов. Повседневность чередуется с классической испанской экзотикой: бой быков, бой петухов. «При этом бое, равно как и при бое с быками, особенно интересны живость и самостоятельность народного характера». Народный характер проявляется в политических прениях, в искусстве, в овеянных легендами рискованных развлечениях. Путешественник в этом кипении

жизни чувствует себя свободно, как дома. Он — наблюдатель народной жизни, этнограф, журналист, добросжелательный бытописатель.

Но путешествие идет к концу, и подспудный мотив пребывания в мире ином, не земному прекрасном, начинает звучать в полную силу и мощь: «Да нет! Этой красоты нельзя передать... и возможно ли отчетливо описывать то, чем душа бывает счастлива! описывать можно только тогда, когда счастье делается воспоминанием. Минута блаженства есть минута немая... В голове у меня нет ни мыслей, ни планов, ни желаний; словом, я не чувствую своей головы... но если б вы знали, какую полноту чувствую я в груди, как мне хорошо дышать... мне кажется, я растение, которое из душной, темной комнаты вынесли на солнце... что если б вся жизнь прошла в таком счастье!» Это стихотворение в прозе, песнь в прозе; путешественник где-то вне привычного мира, вне времени. Он ушел в неземной покой, видел то, чего увидеть при жизни словно бы и нельзя. Вживе побывал он в каком-то мифе, и он возвращается просветленным и обновленным.

Сейчас, когда «Литературные памятники» собрались в массивную и внушительную библиотеку, видишь, что здесь начинают очерчиваться, прорисовываться своеобразные автопортреты национальных культур. От «Песни о нибелунгах», от «Легенды о докторе Фаусте», от «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена до «Писем» Томаса Майна — культура немецкая. Культура Древнего Рима: «Записки Юлия Цезаря...»; «Письма Марка Туллия Цицерона...»; Марк Порций Катон, «Земледелие»; Марк Анней Лукан, «Фарсалия, или поэма о гражданской войне»; Марк Туллий Цицерон, «Речи в двух томах»; Гай Светоний Транквилл, «Жизнь двенадцати цезарей»; снова Цицерон, «Диалоги (О государстве. О законах)». Франция — от «Песни о Роланде» до Шарля Бодлера и его сборника «Цветы зла». Словом, расцвет Европы. Восход Европы, достаточно странного, может быть, и несомненно уникального исторического образования.

Что такое Европа как целое? Что это за соединение религий, культур, политических устремлений, уже третье тысячелетие тяготеющих к единству и в то же время ревниво сохраняющих своеобычность?

Европа — арена бесконечных войн, захватнических походов, вторжений. Но ни

в одной национальной культуре, входящей в состав Европы, нет не только ненависти, нет, в общем-то, и сколько-нибудь едкой насмешки над другой культурой, инонациональной. Войны, вторжения и оккупации не порождали ориентированной на сколько-нибудь длительное существование литературы мести и ненависти. Войны оканчивались, поднималась новая волна взаимного уважения и глубокого интереса друг к другу.

«Литературные памятники» — словно протяженная и связанная фраза, и исключителен историософский смысл этой фразы, ее интонация. Воспроизводя картину единства европейской культуры, серия спрашивает, вопрошает о том, какова его историческая природа и его перспективы.

«Литературные памятники» — серия, представляющая слово в всех народов земли. Но книги серии издаются у нас, в России, на русском языке, и естественно, что русский национальный автопортрет вырисовывается в них определеннее, яснее других, иноземных.

Русский человек отправляется за рубеж, на восток ли, на запад. Он — чужестранец. Он — где-то «там», в запредельном мире. Каков он?

Прежде всего, вероятно, он ищет полноты знаний о мире и о себе. И Афанасий Никитин, и Н. М. Карамзин, и И. А. Гончаров, и В. П. Боткин — самодеятельные исследователи инородных культур, соразмеряющие инородное и отечественное. «У них» и «у нас» — на этой оппозиции структурно держится каждое путешествие.

Все, что «у них», осматривается обстоятельно, снизу доверху. Тот же П. А. Вяземский в течение одного дня обследует английскую тюрьму и английский парламент. Ньюгет, тюрьма: «жизнь по смерти и смерть при жизни» (путешествие поистине всегда в чем-то «потусторонне», «загробно»). Из тюрьмы — в парламент. Тюрьма жива, многолюдна. «Около 200 заключенных, женщин 40, дети лет 13-ти». Парламент пуст и безмолвен: «...все вынесено, чистят. Я сел на шерстяной мешок. Странно впечатление видеть пустынным и безмолвным то, что наполняет внимание мира и гремит из края в край, что разгромило Наполеона и проч.». Русский князь-путешественник восседает на традиционном месте английского спикера. Иронизирует: «Здесь все вылиты в одну форму или в известные формы, и англичанин, где бы ни

был, в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собою или, лучше сказать, находит готовые из одного края Англии до другого, дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в трактирах... Нет сомнения, что присутствие иностранцев в английском обществе, пока он не выанглизируется, должно производить в англичанах раздражение как присутствие разнородной или противуродной стихии...». Прямая противоположность тому, что В. П. Боткин заметит об испанцах! Но «Литературные памятники» и задуманы как своего рода хор голосов, друг друга перебивающих, спорящих, но всегда единых в стремлении к алкаемой полноте.

Русский, превратившийся в иностранца, неизменно исправляет, корректирует что-то в представлениях, сложившихся у него на родине о стране, в которую он отправился. П. А. Вяземский явно полемизирует с образом Англии, который сложился в России после увлечения Байроном, В. П. Боткин — с романтизированным образом Испании и отчасти Италии. Но и преемственность сохраняется: В. П. Боткин — и реалист и нежный романтик. Ум и душу русского интеллигента, северянина-петербуржца неизменно влечет в страны Данте, Сервантеса: какая-то «диагональ» незримо простирается от Петербурга в Рим и в Мадрид. К. Н. Батюшков, всю жизнь странно влюбленный в поэзию Ариосто; потом — Н. В. Гоголь с его влечением в Рим (продолжить можно было бы до Вячеслава Иванова). В. П. Боткин оказывается на самом дальнем конце «диагонали», связующей Петербург с романским красочным миром. Он — в Мадриде, в Гранаде. Ум ясен, сердце открыто. На привет отвечает приветом, на шутку — шуткой и мыслью — на чью-то встречную мысль. Странствует по Испании, пишет письма — фейерверки жанров, от беглого очерка о разбойниках и о полиции до задушевной поэмы в прозе.

Русский человек воюет в плену; с одиночеством он воюет, с окружающей немой.

Русский человек странствует, он ищет полноты знаний о мире.

Русский человек постоянно ждет нападения извне: так ждут нашествия Наполеона петербуржцы начала прошлого века в «Записках современника» С. П. Жихарева.

Русский человек собирает богатства, доставшиеся ему от далекого прошлого: былины, исторические песни, легенды.

купол, пространная сфера, объемлющая множества художников разных времен и народов. Под покровом этой волшебной сферы они обрели возможность встретиться и общаться. И японец XI столетия беседует с русским князем Петром Андреевичем Вяземским, декабрист Корнилович — с Гаем Юлием Цезарем, а Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович ведут степенный диалог с современным романом. Они правы по-своему, для своего времени; роман прав по-своему.

Корчащееся слово романа насторожено; оно отвечает от себя оговорки и уточнения, но стесняется себя самого. А рядом с ним — сверкающее, как сказочный меч, ясное, простое, бесстрашное слово эпоса:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море...

Знаменитым заклинанием этим открывается книга «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым»; недавно она вышла в «Литературных памятниках» новым, вторым изданием.

Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омоты днепровския.

С чего бы корчиться, сказавши такое? Роман страшиться и на кого озираться? Роман организуется установкой на диалог. В этом его сила, его красота, а там, где романист осознает свое одиночество, — его, романа, внутренняя трагичность. Распространенность подобной установки на диалог — закономерное явление новой истории. Но есть основания опасаться, что поглощенные изучением слова диалогического, мы заглушим в себе представление о сущности и даже просто о правомерности изначально, монологического слова, вдохновенно дидактического и непреложного. Издавая образцы художественных произведений, организованных монологически, «Литературные памятники» словно бы корректируют современное им научное сознание и — шире — общественное сознание вообще. Серия напоминает о народах, веками живших так, что монолог в их культуре преобладал, и преобладал он отнюдь не по причине некоего исторического несовершенства этих народов. Нет, просто эпическое слово — твердое слово: оно не предусматривает возражений; оно знает, что нельзя возражать ни доблести, ни добру, ни правде, ни красоте.

Эпос народен. Нравственная основа эпо-

са — бесстрашие; и герой эпоса не мог бы появиться в мире, где люди поминутно оглядываются по сторонам в ожидании возражений и где их самих терзают сомнения, понуждающие защищать свою речь часто колом вводных словечек.

Синтаксис эпоса безоговорочен. Рассказывающий готов к тому, что его могут убить; но ему и в голову не приходит, что ему можно возразить. Слово эпоса — заверщенное слово, а такое слово принципиально недоступно индивидуальному сознанию. Творцом его может быть только народ; он готов к подвигу, к жертве, и он говорит бытию свое безусловное «да».

Героизм эпоса носит всеохватывающий характер. В эпосе героично все, от сюжета и фабулы до безоговорочных интонаций, в которых народ говорит с историей.

От национального эпоса до личного письма; а оно клеточка, эмбрион художественной литературы нового времени.

Излюбленный нами роман слишком многим обязан письму, и, помня об этом, он не раз обращается к эпистолярному слову: «Опасные связи» Шодерло де Лакло достаточно красноречиво напоминают о генетической общности письма и романа. «Бедные люди» Ф. М. Достоевского — за пределами серии, но и «Преступление и наказание» говорит само за себя: без одной только сцены чтения Раскольниковым письма его матери романа существовать не могло бы. Записки, письма — и в «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, и в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова, и в «Петербурге» Андрея Белого.

«Литературные памятники» внятно сказали нам о том, что мы живем в какой-то «эпистолярной эре» и, возможно, на исходе ее: эволюция письма как простейшего жанрового образования разворачивается на протяжении двух с половиною тысяч лет, и сейчас она вступает в новую фазу.

Затевать некий «плач по письму» не хотелось бы, но что есть, то есть: письму все труднее защитить, отстоять себя. Оно громоздко, неоперативно. Оно беззащитно. К тому же часто бывало оно и поводом для шантажа, и уликой, и предметом насмешек. А не посмеются над ним другие, так сам иной раз посмеешься, читая свои давние письма. А о конкуренции с письмом различного рода технических средств связи говорить не приходится.

Письмо начинается с его одеяния, облачения: с адреса. «Его Высокоблагородию, господину Такому-то, в Москве, в доме купчихи Такой-то, что в приходе Рязположения за Калужской заставой...» Здесь — новелла, в которой действуют и люди разных сословий, и история, и святыня.

А присутствие святыни в письме и даже на письме, на его облачении обязательно: письмо — диалог, словесный дуэт; переписываются, как правило, двое. Но даже и сейчас, когда «одежда» письма существенно потускнела, кто-то, что-то заставляет нас украшать конверты портретами героев, писателей и ученых, наклеивать на конверт марки с гербом государства или хотя бы с изображением каких-нибудь милых зверей. Тотемы эти, очевидно, как-то компенсируют тоскливую технологичность вычерченной цифири новоявленных индексов: 115477, 103006. Изображение на конвертах и марках сохраняет существенную традицию: эпистолярный стиль с акрален; присутствие святыни, апелляция к ней для него — важнейший, формирующий его фактор.

«Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! — пишет Ф. М. Достоевский Анне Григорьевне; не пишет, а взывает, благодарно, раскаянно и умоляюще. — Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл! Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь!» Переписка Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской вводит в мир личных святынь писателя. Тут будто кто-то единым порывом, ударом распахнул дверь в его интимные апартаменты: «Аня, ангел мой, единственное мое счастье и радость, — простишь ли ты меня...» — доносится отсюда.

Трудно найти письмо, которое не заключало бы в себе моления, мольбы. Они сохраняются хотя бы в редуцированном виде, в пожеланиях здоровья и счастья, в бытовых просьбах. Достоевский молит самого близкого ему человека о прощении, и он достигает почти предела эпистолярного мышления. А предел эпистолярного мышления, эпистолярного стиля — мольба о спасении. О спасении молит дедушку чеховский Ванька Жуков в бессмертном рассказе «Ванька», здесь дана блистательная концентрация эпистолярного слова. А есть один случай, когда мольба о спасении как

важнейшая, предельная сторона эпистолярного мышления выступает в трагически чистом виде: капитан гибнущего корабля пишет последнее слово об экипаже, о себе, запечатывает письмо в бутылку и бросает ее в безжалостный океан. Текст письма может быть деловито сух: географические координаты, название судна, порт приписки и имена погибающих. Но жанр и стиль словесного высказывания никогда не исчерпываются его текстом. В трагическом случае с гибнущим кораблем апелляция к святыне становится единственным содержанием написанного. Пишут-то «на деревню дедушке», но в каждом, кто может найти письмо, подобрать его, ищут спасителя. Случай с гибнущим кораблем для нас — экзотика. Но именно в экзотике высказывания раскрывается его жанровая и стилевая сущность, его жанрообразующие потенции. И характерно: сюжеты двух прекрасных романов XIX столетия построены как развитие некоего сообщения, найденного в океане, «Человек, который смеется» Виктора Гюго и «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. И здесь происхождение романа из письма проявляется чрезвычайно наглядно, в самом сюжете: роман возник потому, что герои его нашли письмо, мольбу, обращенную к человечеству.

Стиль писем Ф. М. Достоевского к жене — в прямом родстве со стилем его романов. Иногда кажется, что пишет эти послания Макар Девушкин: слово здесь то и дело оправдывается, лихорадочно хватается за аргументы, позволяющие высказанному существовать. Оно в вечном ожидании выражения, опровержения. «Вообще дней 12 останусь, но никак не более, а там, что скажет доктор. Нельзя, чтобы не вышло пользы. Все больные говорят, что главная польза оказывается впоследствии... но такое мнение, по-моему, только райские песни. Положительного же я заметил над собою, что, особенно в последнюю неделю, не так задыхаюсь, как в Петербурге... Но взамен того — все-таки кашляю... Здесь вообще чувствую, что как будто мне больше воздуху дышать. Но что за подлый здесь воздух!» Страшное это слово — корчащееся романное слово, которое рождается в письме, обозначая не условную реальность «Бедных людей», «Преступления и наказания», «Игрока», а доподлинную реальность жизни Ф. М. Достоевского: в структуре такого слова — грубая правда об

общественной жизни нового времени с ее напряженностью, с ее ожиданием катастрофы.

А «Литературные памятники» разворачивают феерическую картину жизни людей в «эпистолярную эру»: «Письма Марка Туллия Цицерона...», «Письма Плиния Младшего», «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина», «Послания Ивана Грозного»; А. О. Корнилович, «Сочинения и письма»; Байрон, «Дневники. Письма»; И. И. Горбачевский, «Записки. Письма»; М. Ф. Орлов, «Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма»; Н. А. Серно-Соловьевич, «Публицистика. Письма»; Шелли, «Письма, Статьи. Фрагменты»; Гийераг, «Португальские письма»; Томас Манн, «Письма»; В. П. Боткин, «Письма об Испании». Пишут письма. Все пишут их: самодержцы и политические бунтовщики, поэты, полководцы, историки, юристы. Пишут римляне, немцы, поляки, французы, итальянцы и русские. Дворец политического диктатора и тюремная камера узника, походный шатер, изба — всюду находится стол, бумага. И пишут. Впадая в предельную откровенность, сетуя, философствуя, взывая о помощи, бранясь, святотатствуя — пишут. Роман Гюго называется «L'homme qui rit». Можно перефразировать: «L'homme qui écrit», человек, который пишет, предстает со страниц невозмутимо правдивой серии книг «Литературные памятники».

«Литературные памятники» ищут точек соприкосновения, уз, связующих разное: разные времена, разные социальные устроения, людей разных рас и национальностей. Ищут общий знаменатель словесного творчества, нечто такое, что объединяло бы Цицерона и Томаса Манна; прославленных и безвестных; отлитых в монументы и забытых, забвенных. И очерчивается картина развития «эпистолярной цивилизации», живущей, здравствующей и поныне, хотя как раз сейчас, может быть, должна она начать вливать накопленные ею сокровища в какую-то иную цивилизацию. Но в какую? В цивилизацию кинематографа, телевидения? В цивилизацию, основанную на увековечивании зрительного образа, в котором *р а с с а з а н н о е* сольется с *п о к а з а н н ы м*?

Ответы — где-то в радужных туманностях будущего.

Но пока «Литературные памятники» спокойно продолжают делать начатое ими ум-

ное и доброе дело. Слагаются «автопортреты» наций, эпох; в конечном счете — «автопортрет» целой цивилизации. И рядом с письмами — речи. Устные речи, дошедшие до потомков в записи. От Цицерона и до... «До» здесь интригующе перспективно: Н. И. Конрад считал, что необходимо издание в серии речей русских судебных ораторов второй половины XIX столетия: от Цицерона — до А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасовича; традиция есть и здесь.

Издание речей русских судебных ораторов — вперед, в возможных планах «Литературных памятников». Будут изданы они — выявятся новые междужанровые связи: роман и судебная речь. Пародирование судебной речи в романе («Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Воскресение» Л. Н. Толстого). Но и огромное воздействие судебной речи на литературу, распространяющееся вплоть до современных детективных романов; такая проблема возникает, и «Литературные памятники» с их даром «подсказывать» науке скрытые в истории культуры проблемы «подскажут» ее. Но пока, исследуя поэтику судебной речи, можно опираться на древность. На Цицерона, на Апулея: «Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии» открывает том его сочинений.

Обвинение Апулея в занятиях магией — заурадная житейская склока, отголоски которой долетели до нас в их забавной сложности, в их сутяжнических переплетениях: в античном Риме склочничали так же, как и в какой-нибудь коммунальной квартире. Перед нами — «Воронья слободка» в ее античной модификации: из рук родственников почтенной сорокалетней вдовы уполывает ее имущество, и Апулея, который женился на этой вдове, обвиняют в занятиях магией. Склока как склока, доведенная, правда, до возделенного для всякой склоки предела: возникает угроза чести, свободы и жизни человека, на которого склочники ополчились. Но ему предоставляется право защиты, и он защищается спокойно, с блеском и риторической грацией. Его речь — устная речь отдаленного прошлого и, быть может, какого-то будущего: ее хорошо читать, прекрасно было бы слышать, но еще достойнее было бы видеть ее в исполнении говорящего. Житейская склока, угрожающая Апулею, трактована им поистине космически: не склока, а прямотаки столкновение сил зла и добра, тьмы и веры, невежества и философии. Свет, доб-

ро и наука, разумеется, торжествуют. Зло низвергается в прах так смешно, обстоятельно и красиво, что кажется: после неудачи, постигшей врагов Апулея, все склочники мира должны были навеки угомониться, затихнуть, исчезнуть с лица земли; их дальнейшая деятельность представляется историческим недоразумением, случайной промашкой истории, хотя они почему-то продолжают упорствовать: склочничают, прибегая для этого ко всем языкам мира, от латыни до русского.

И здесь — о переводах, о том типе перевода, который культивирует серия.

Конечно, вершиной академизма было бы двуязычное издание каждой нерусской книги: подлинник — перевод. За ним — исследовательские статьи, комментарии, примечания. Но так делается лишь в отдельных случаях, а в целом мечтать о двуязычных книгах — утопия, на пути к которой стоят неодолимые экономические препятствия. И тем большая ответственность ложится на тружеников-переводчиков.

Д. С. Лихачев обстоятельно изложил принципы отбора переводов для серии: никакого пристрастия, предпочтения одной, избранной переводческой школе, тенденции. И никаких преимуществ для современного перевода перед уже имеющимися. Памятник можно представить и во многих переводах, ибо и лучшие, наиболее характерные для своего времени переводы — тоже литературные памятники.

И все же, мне кажется, что один общий переводческий принцип в серии ясен, последователен: переводятся не слова и не фразы, переводятся жанры.

«Мы мыслим не словами, — не раз говорил М. М. Бахтин. — Мы мыслим жанрами!» И в интонациях ученого даже что-то извиняющееся сквозило: ему словно бы неловко было говорить само собой разумеющееся. Впрочем, работы М. М. Бахтина несут в себе ту же мысль: человек мыслит, говорит, живет жанрами.

Однако простая мысль о жанровой завершенности каждого высказывания человека еще долгое время будет требовать разъяснений и доказательств: суждения о «поэте», мыслящем «образами», укоренились в нас с не поддающейся разумному объяснению прочностью. «Жанры» — в репертуаре таинственного «поэта», но никак не в нас, не в реальности повседневной

жизни; и охотно расставаясь с интересными, яркими иллюзиями, с этой иллюзией, скучной и плоской, мы почему-то не можем расстаться.

Однако пока суд да дело, практика литературы берет и берет свое. Жанровое родство речей Цицерона, Апулея и, скажем, А. Ф. Кони было обозначено еще Н. И. Конрадом. Жизнь жанров, переходящих из страны в страну, из эпохи в эпоху, вспыхивающих, угасающих и вновь возгорающихся явлена в «Литературных памятниках»: весь огромный труд вдохновителей серии и ее исполнителей направлен на обнаружение жанровой преемственности национальных культур. Понятно, что это сказалось и на переводах.

Академическое издание — не место для традиционной полемики «буквалистов»-педантов и «романтиков», сторонников поэтического, субъективированного перевода. И здесь намечается некое примирение, когда переводят «Апологию» Апулея, переводится жанр: скажем, судебная речь. В ключительной заметке «О языке и стиле Апулея» дано описание особенностей лексики, морфологии и синтаксиса гениального римлянина, подмечено странное родство трактата «О вселенной» (*De mundo*) и «Апологии». И перевод ориентирован на это родство: перед нами — произведение риторической прозы, произнесенное перед реальным судьей, рожденное тогдашним бытом, в этом быту пребывающее, но утяжеленное стилем теоретического трактата о мире вообще.

Стиль — словесное выражение жанра. Но в реальном высказывании жанры сопрягаются, борются. Искомая точность художественного перевода зависит от проникновения в логику этой борьбы. И направление, в котором идут переводы «Литературных памятников», имеет своей целью достижение прежде всего жанровой точности.

«Литературным памятникам» удалось создать несколько переводов-событий, переводов-явлений: к русскому читателю пришло что-то громадно важное, принципиальное и отныне уже не изымаемое из его обихода.

«Симплициссимус» Гриммельсгаузена и «История государства инков» Инка Гарсиласо де ла Вега — переводы-события.

Для того чтобы «Симплициссимус» Гриммельсгаузена встал там, где ему над-

лежит пребывать, надобно время: Рабле, Сервантес и Гриммельсгаузен — вершины, определившие развитие европейской повествовательной прозы. Но судьба обошла Гриммельсгаузена: сомнительным считалось его существование как реальной личности, как писателя; роман его претерпел фантазмагорические злосключения. Добраться до первоначального текста, освободить роман от последующих наслоений было делом столетий. Ленинградский ученый А. А. Морозов принялся за работу тогда, когда все достаточно прояснилось. Но он не пришел на готовое. И перевод романа потребовал около 40 (!) лет работы: складывалось научное осмысление романа, шло освоение феномена барокко как явления общественной жизни и литературы.

«Симплициссимус» — достаточно характерный для «Литературных памятников» тип издания: это — издание-монолог, с начала и до конца оно выполнено одним ученым. Перевод романа, сделанный А. А. Морозовым и Э. Г. Морозовой, — перевод-убеждение: такой перевод — результат проникновения в жанровое строение книги, которая сливает в себе утопию и сатиру, барочную игру рассказчика со слушателями и философские спекуляции, бытописание и фантастику «Симплициссимус» за сверкал островами, зататорил на веселом аргю, хотя, может быть, насыщение перевода аргю бывает избыточным: «Рядом был рынок, где я увидел зубодера, который зашибал изрядные деньги, навязывая людям всякие негодные снадобья». Поглядывая на «зубодера», герой романа сказал себе, что он тоже может «облапошивать глухих мужиков и тем добывать себе пропитание». Тут, конечно, что ни словечко, то сомнение: «зубодер», «облапошивать», «зашибать». Не слишком ли похоже на жаргон современной провинции, изо всех сил работающей под языковой шик молодежи столиц? Но разбирать перевод Гриммельсгаузена от словечка к словечку, от одного арготизма к другому не надо: это — не перевод с л о в, а перевод прежде всего ж а н р а, жанрового многоцветья романа, охваченного единым потоком, сказом его героя. А в этом качестве он останется тем, что он есть: переводом-событием; и инициатива здесь навсегда останется за исследователем-переводчиком.

А вслед за тараторящим барочным весельчаком Симплициссимусом — Инка Гарсиласо де ла Вега, рассказавший «Историю

государства инков», историю возникновения и падения прекрасной древней цивилизации.

Гарсиласо де ла Вега — южноамериканец, метис, живший в Испании. На староспанском языке в начале XVI столетия пишет он историю своей родины, гигантского средневекового государства Южной Америки. Он педантично точен. Он воспроизводит тысячи мелочей из жизни стертого с лица земли государства, его экономики, его культов, его труда, распрей и войн. Географические названия, названия экзотических сельскохозяйственных культур, наименования диких и домашних животных, строительные и военные термины — как все это переводить? Но в переводе В. А. Кузьмищева каждое слово представлено странно живым: один и тот же предмет обозначается так, как его обозначали туземцы, потом его название дается в испанской транскрипции, потом — по-русски. И пробираться сквозь эти заросшие специальной терминологией дебри почему-то чрезвычайно занятно: вещь, будь она видом вооружения или огородною овощью, как бы движется. Вернее, вещь-то стоит неподвижно, но вокруг нее снуют изучающие ее новички, пришельцы, вспоминающие ее коренное название, соразмеряющие ее с чем-то уже им знакомым и подбирающие для нее новое имя.

Перевод А. А. Морозова — перевод вольного слова, сказа, имитированной импровизации. У В. А. Кузьмищева — перевод терминов, историографического труда. Переводятся два произведения, которые, будучи относительно современны, разительно непохожи одно на другое. Но в обоих случаях переводится живой, многокрасочный жанр; и это не только индивидуальная удача, здесь виден творческий принцип, который проводится «Литературными памятниками».

«Литературные памятники», естественно, прежде всего соотносимы с «Библиотекой всемирной литературы» — с серией книг, получившей восхищенное общественное признание, выполненной быстро, опрятно, отчетливо. Серия была подписным изданием, она имела заранее очерченные границы, и она выполнила свою репрезентативную просветительскую миссию. Но «Библиотека...» не ставила, не могла и не должна была ставить перед собой ни задачи обновить сложившиеся ныне представления о

словесном творчестве, ни задач эвристических и исследовательских.

Апулей представлен в «Библиотеке...» романом «Метаморфозы, или Золотой осел», «Апология» в серию войти не могла: в нашем, теперешнем представлении «Апология» — уже не художественная литература. И роман Апулея обрел пристанище в томе, посвященном античным романам, рядом с «Дафнисом и Хлоей» Лонга, с «Сатириконом» Петрония. С точки зрения «Литературных памятников», подобное объединение было бы недопустимым, но в «Библиотеке...» оно органично: она оперирует с тем, что закрепилося в нашем сознании, и лишь предисловия, открывающие каждый том ее, стремятся убедить современника в необходимости судить прошлое по собственным его, исторически сложившимся законам и нормам. Предисловие вообще не может быть нейтральным, но здесь предисловия особенно педагогичны, императивны, научно воинственны. Они увещевают нас быть историчными, предуведомляя нас, положим, о том, что Лонг писал «Дафниса...» по законам эстетики своего времени и «едва ли правомерно с нынешними критериями подходить к произведению древнего автора: многое, что кажется нам сегодня искусственным или безвкусным, современниками могло восприниматься и, вероятно, воспринималось иначе» — так пишет С. Полякова в статье-предисловии «Об античном романе», открывающей том романов Ахилла Татия, Лонга, Петрония и Апулея.

У «Литературных памятников» такая же установка: не мерить прошлое мерками настоящего. Но в них демонстративно нет предисловий: прошлое должно сказать о себе с а м о. Книга предстает такою, какою она была, и этому служит даже полиграфическое ее облачение: стилизованные шрифты, современные первым изданиям иллюстрации. А «Жизнеописание» Софрония Врачанского просто шедевр: дано факсимильное воспроизведение рукописи, дан текст на болгарском языке, дан перевод, даны географические карты (они даны и в приложении к «Истории государства инков» Гарсиласо де ла Вега). «Библиотека всемирной литературы» приводит давнее к нам, «сюда». «Литературные памятники» нас приводят «туда», к истокам, к основанию книги. И наше сознание становится ареной странного свободного «разговора», посмертного общения тех, кто оставил след в мировой культуре: Цицерон свободно

общается с Гриммельстаузенем, С. П. Жихарев может разговаривать с Н. Г. Чернышевским, И. А. Гончаровым или Андреем Белым.

«Библиотека всемирной литературы» — то, что мы з н а е м. «Литературные памятники» — то, что мы у з н а е м, внедряясь в глубины истории, пересекая горные хребты, как В. П. Боткин, моря и океаны, как Инка Гарсиласо де ла Вега или Афанасий Никитин. Китай, Индия, Ближний Восток, Грузия, Осетия. Дальше — Болгария, Венгрия, Польша. Дальше — Германия, Франция, Италия и Испания, Африка, которая тоже повитая в серии. И — по пути Колумба, в Америку. В государство инков, а после в Америку Эдгара По, причудливо похожего на нашего Н. В. Гоголя (Гоголь и По — возможно и такое сопоставление). Путь современника по книгам «Литературных памятников» — хождение, а может быть, даже и какое-то «сошествие» или «вознесение» к небесным светилам, подобное тому, которое проделал герой народной молвы доктор Фауст: «Легенда о докторе Фаусте» как раз только что вышла в «Литературных памятниках» новым, вторым изданием.

«Литературные памятники» не имеют предела, как мир, который они представляют. Ушли из жизни академики В. П. Волгин, С. И. Вавилов, Н. И. Конрад; нет многих редакторов ранних выпусков. Но появляются новые имена и таланты, возникают новые предложения. От «большой серии» ответвляется своеобразная «малая»; в ней изданы «Думы» К. Ф. Рылеева, «Последние песни» Н. А. Некрасова, «Вечерние огни» А. А. Фета. Книги стихов издаются так, как они издавались при жизни поэтов. Они таковы, какими собрал, сделал, издал их когда-то поэт, от них веет исторической подлинностью; и я бы сравнил эти издания с... заповедниками: флора и фауна здесь таковы, какими они сотворили себя когда-то, и все здесь неприкосновенно; здесь ничего нельзя трогать, улучшать, поправлять.

И серия продолжается, продолжается. Она уже что-то наподобие явления природы, которое переживает нас: уйдём из жизни и мы, а книги серии будут расти, неся в себе манящее стремление побывать в прошлом, прикоснуться к нему, послушать, о чем оно говорило, увидеть, как оно жило.

Н. И. Конрад говорил о «макротекстологии» и «микротекстологии». Что такое «микротекстология», ясно. Но понятие «макротекстология» неожиданно ново. Оно требует истолкования, ибо «Литературные памятники» на «макротекстологии» держатся, проповедуя ее, внедряя в сознание. «Микротекстология» имеет дело с тем, что сказал писатель, поэт. «Макротекстология» — с тем, что сказала эпоха, нация. «Макротекстология» — наука о социальном языке минувших эпох; она смыкается с исторической поэтикой и служит ее опорой.

«История» Фукидида, «Иудейская война» Иосифа Флавия, среднеазиатский трактат XI столетия «Сиясет-наме», по мысли Н. И. Конрада, — литературные памятники, литература, потому что и историографический труд, и трактат об управлении государством в античной Греции, в Риме и в Средней Азии воспринимались рядом с трагедией и с элегией: дидактика, историография и лирика переплетались. И «макротекстология» видит подобные переплетения, находя их отголоски в дальнейшем, когда представления о литературе радикальнее изменились.

Сейчас ясно, что «макротекстологии» и основанной на ее принципах серии книг «Литературные памятники» суждено огромное будущее, хотя в серии еще есть множество белых пятен. В веренище писем остро недостает «Философических писем» П. Я. Чаадаева в путешествиях все еще даже не предвидится книги Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие», а это узловая, плодоносная книга, она дала толчок веренище действительных и вымышленных путешествий.

«Литературные памятники» могут годами, уже десятилетиями лет томить ожидающих: скажем, «Петербург» все еще в планах издания, «Разгром» — в его замыслах; и у врат серии, кротко переминаясь с ноги на ногу, долго-долго ожидает толпа. Ожидания ее, разумеется, обудутся. Но уж очень изнурительно ждать.

Впрочем, по частностям серию можно мысленно пополнять без конца. Можно сетовать на приглушенность в ее книгах комедий: нет Аристофана, Мольера нет. А и Расину, трагедии которого в серии изданы, и нашему Грибоедову без явственно обозначенной комической, комедиографической линии мирового искусства, естественно, как-то «скудно». Изданы фельетоны

В. В. Воровского, и это прекрасно: снова увидели некое начало, исток перспективнейшего потока своеобразной «фельетонной культуры». Но тогда уж пусть где-нибудь рядом встанет Влас Дорошевич, забытый классик фельетонного жанра.

Но намечаются и какие-то более радикальные открытия в области «макротекстологии» современности.

Прекрасно, умно, справедливо, что издан «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. Это народная книга, и рождалась она в условиях, особенно занимающих серию. «Василий Теркин» — произведение, слагавшееся у всех на виду, стих к стиху, глава за главой. Книга складывалась из какой-то «нелитературы», «недолитературы»: из юмористических пассажей в армейских газетах, из окопного жаргона, из фронтовых и госпитальных острот, прибауток. А если говорить о глубинных связях культур и о тайнах традиций, откроется парадокс: в «Василии Теркине» вспыхнули традиции, жившие и в творческой истории «Фауста» Гёте и в «Симплициссимусе» Гриммельсгаузена, ибо и эти художественные открытия складывались из «недолитературы», из пересудов народной молвы и незатейливых спектаклей вертепа. И немец, с которым врукопашную дрался Теркин, был каким-нибудь ковенным потомком тех трудолюбивых и талантливых простаков, которые когда-то забавлялись и ужасались, разглагольствуя о докторе Фаусте. Только вернуться к родным традициям ему, немцу, суждено было тяжким и сложным путем. А Теркин эти традиции сохранял, не зная о них: да, война — это тоже контакты, хотя подальше бы от подобных контактов!

«Василий Теркин», введенный в серию, обновляется, усложняется. Но дальше-то что? Серия не гонится за современностью. Она мыслит современно, и это значительно. Но современность настойчива. Она все равно вломится в «Литературные памятники». И что же издавать дальше? Как издавать?

Возникают гипотезы о стратегии серии: есть русская научная мысль, русская философия, бытовавшая в необычных, в неклассических формах. Н. Ф. Федоров и его «Философия общего дела», ряд трудов А. А. Ухтомского, работы В. И. Вернадского по философии естествознания — что это? «История» Фукидида «в составе греческой литературы — законченный, особый литературно-художественный жанр», пи-

сал Н. И. Конрад. Да, «история» в античном ее понимании — жанр законченный. Прямого продолжения он впоследствии не нашел. Но жанры не знают заката, они не исчезают бесследно, будто в ночи. Завершившись, они «распыляются» и дают новые всходы. Косвенное продолжение жанра тоже знакомо «большой текстологии», и в свете ее задач совершенно ясно: философия естествознания В. И. Вернадского жанрово родственна античной историографии, хотя здесь мы имеем дело и с «историей вперед», с «историографией будущего». В. И. Вернадский на наших глазах вырастает в гиганта, достойного встать рядом с классиками античной научной мысли. Его работы — литература, и рано ли, поздно ли, а в «Литературные памятники» они просто не могут не войти, не влиться.

Каждую книгу серии заключают обширные дополнения, приложения, историко-литературные очерки, комментарии, примечания — все это «макротекстология» в ее рабочем, в ее повседневном виде. Цели и задачи здесь от книги к книге варьируются; серия ищет свой собственный, присущий именно ей тип суждения, рассуждения об изданном романе, трагедии или сборнике писем.

Полнее, завершеннее всего получается, кажется, в изданиях-«монологах»: «Симплициссимус» Гриммельстаузена — издание, подготовленное А. А. Морозовым, и это морозовское издание с начала и до конца. Перевод, комментарий, сотни примечаний по частностям — все выполнено одним ученым.

Комментарий к книге, выполненный А. А. Морозовым, — обширный трактат. И основной предмет исследования в комментарии — поэтика Гриммельстаузена. Понята она, разумеется, широко. В поле зрения исследователя — драгоценное для каждого художественного высказывания сосуществование жанров, в данном случае сосуществование утопии и сатиры, между которыми пребывает беспокойный, неутомимый герой романа.

Скупее, аскегичнее выглядит другая книга, «История государства инков» Гарсиласо де ла Вега. Здесь — не комментарии, а данная в «приложении» статья о создателе книги, о его судьбе и трудах. И несколько примечаний. Что-то здесь недосказано, недоговорено; книга не вписана в тради-

цию, ей не найдено ни ближайших, ни дальних «родственников», хотя где-то же они, несомненно, есть.

Вообще комментарии в серии бывают как-то недостойно скромны и скудны.

Во-первых, уж очень они разнолики. «Повесть временных лет» — типичное издание-«монолог». Книга — детище Д. С. Лихачева, она выпестована им, им сделана. Но то, что у А. А. Морозова названо комментарием, здесь дано скорее в «историко-литературном очерке», а под комментарием разумеются примечания.

Во-вторых, во многих изданиях комментарии вообще исчезают. Вместо них — «приложения», состоящие, как правило, из хорошей историко-литературной статьи, а за ними — «примечания», поясняющие реалии, расшифровывающие намеки и уточняющие представления о языке памятника. Комментарии как бы растворяются в «приложениях», «примечаниях».

Мне кажется, что комментарий дает знания о предмете, а примечания — сведения о нем.

Нынешний, современный комментарий к литературному произведению может быть прежде всего посвящен анализу особенностей его поэтики. Современная филология уже обрела научную уверенность, даже могущество, необходимое для истолкования поэтики как социально значимого явления, которое присутствует всюду, где есть общение, слово, идейная жизнь. Популярность и авторитет исследований по поэтике ныне огромны. «Литературные памятники» — чуткая серия: запросы современности она улавливает и тогда, когда они высказаны еще невнятно, вполголоса. Сейчас современность просто-таки скандирует: по-э-ти-ка! Так в чем же дело? Поэтика Фукидиды и Цезаря, народного эпоса, лирической свадебной песни и «готического романа» ждут исследований, и где же им появиться, если не тотчас же вслед за тщательно изданным текстом? Комментарии, трактующие о поэтике, в серии уже были, и это лучшие из ее комментариев. Уж и сделать бы достижение серии раз и навсегда установленной нормой, в хорошем смысле слова — стандартом.

Разумеется, необходимы и примечания — беззащитный и какой-то трогательный вид научной работы: писатель бывает витиеватым, сложным, двусмысленным, а читатель — взыскателем. Изволь стоять между ними и,

переводя взгляд с одного на другого, объяснять, растолковывать что к чему. От избытка добросовестности возникают нагромождения пояснений.

Ю. М. Акутин открыл аудитории «Литературных памятников» роман А. Ф. Вельтмана «Странник»: еще одна книга извлечена из историко-литературного полузабвения и вписана в традиции русской и европейской культуры. Но примечания Ю. М. Акутина, быть может, чрезмерно подробны: «Суворов Александр Васильевич (1729—1800) — русский полководец», «Пенелопа — супруга Одиссея» — так растолковывает исследователь фейерверк замысловатых исторических и мифологических ассоциаций Вельтмана, русского писателя 30-х годов XIX столетия. Но надо ли так? Тем более что в других книгах серии примечания бывают интригующе краткими.

Вкрадываются в примечания и забавные, поучительные обмолвки. Апулей в «Метаморфозах» говорит про «папирус, исписанный острием нильского тростника». В реальных примечаниях, которые в издании Апулея «Литературными памятниками» торжественно называются комментариями, разъясняется: «Остро отточенная тростниковая палочка заменяла древним пером». Слово в слово повторяется это разъяснение и в издании Апулея «Библиотекой всемирной литературы», хотя там оно включено в раздел, называющийся точнее, отчетливее — «примечания». Сперва оговорки даже не замечаешь — так уж привычно для нас вести отчет от нашего быта, от нашей жизни. А потом просто возопить хочется: как могла тростниковая палочка заменять (!) перо, если древние вообще не знали пера? Нельзя же сказать, что туника заменяла им пиджаки, а колесницами они пользовались вместо автобусов! Обмолвка, конечно, но характерная, и как же все-таки трудно понять нам эстетику древних, если мы не можем представить себе их быта без сопоставления его с нашим привычным бытом! А уж, казалось бы, учим и учим друг друга мыслить конкретно-исторически, исследуя прошлое таким, как оно было безотносительно к нам.

Только что издан «Медный всадник» А. С. Пушкина. Издание — труд Н. В. Измайлова, классика нашего пушкиноведения. Здесь снова нет комментария, есть «Дополнения» и «Приложения». В «Дополнениях» поэма А. С. Пушкина окружается сопутствовавшими ей сообщениями о пе-

тербургском наводнении 1824 года, свидетельствами, которые преломились в поэме, и художественными произведениями, тематически близкими к ней (воспроизведено далеко не все, но тем не менее видно, как поэма выкристаллизовывалась из документов, из ходячей молвы, из анекдотов, всегда сопутствующих значительным катастрофам, из литературной полемики). В «Приложениях» — заключительная статья Н. В. Измайлова.

Статья Н. В. Измайлова — серьезная развернутая монография. В центре ее, конечно, вопрос: на чьей стороне Пушкин? Множество ответов в сторону, экскурсов в творчество поэта 30-х годов прошлого века. Некоторые из них очень оригинальны, некоторые лишь доводят до конца уже вполне устоявшиеся трактовки: например, рассуждение о «ничтожных» героях у Пушкина в 30-е годы, а особенно в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина». По мысли Н. В. Измайлова, в повестях две разновидности «ничтожных» героев: одни ничтожны по своему общественному положению, а другие ничтожны «лично, психологически». В психологические ничтожества безоговорочно попадают граф в «Выстреле», Бурмин в «Метели» и Минский в «Станционном смотрителе». И мне кажется, что Н. В. Измайлов слишком уж беспощаден, а составленный им список — проскрипция. За что карать бедного графа? Чем уж так ничтожен Бурмин, даже если, искусственно извлеки его образ из контекста пушкинской повести, судить его как реально жившего человека? Да и отношения Минского к Вырину не слишком ясны, и вряд ли сводятся они к тому, что перед нами выступает богач, обидевший бедняка — для того чтобы написать такое, не надо было быть Пушкиным. А «положительные» герои, перечисленные исследователем, возможно, не однозначно «положительны». «Безусловно, подлинным героем выступает отец Дуни, станционный смотритель, пытающийся спасти от вероятной гибели свою дочь...» — утверждает Н. В. Измайлов. Но трудно согласиться с исследовательским «безусловно»: чтение «Станционного смотрителя» в литературном контексте времени, «медленное чтение» повести не дает особенных оснований для героизации Вырина. Вырин сложен, и он никак не укладывается в схему: бедный, неродовитый — хороший; богатый, родовитый — дурной, ничтожный. И другие герои пове-

стей А. С. Пушкина тоже шире этой схемы, свободнее, диалектичнее.

Статья Н. В. Измайлова — труд капитальный, обширный. Он достойно сопутствует тексту, но труд этот — не комментарий. А комментарий в «Литературных памятниках» то появляется в разных видах, то исчезает, прячась в менее определенных жанрах «дополнений» и «примечаний». И самое досадное все-таки в неопределенности, в неясности границ, разделяющих комментарий и примечания, в смешении этих глубоко различных видов научной работы.

Конечно, есть спасительное слово «многообразии». Всемирный объем замечательной серии действительно требует многообразия исследовательских индивидуальностей, нюансов методологии и методики, находчивости. Но все же читателю хочется знать заранее, чем встретит его каждая книга серии, и минимум определенности в серии необходим. Минимум этот начинается с комментария — слова принципиального, слова-моста, переброшенного от прошлого к настоящему. А без исследования поэтики комментарий по нынешним временам состояться не может.

«Литературные памятники» — знаменование большой победы отечественной науки (этнографии, истории, филологии) в ее классических формах, в уверенности ее нынешней академической мысли.

И странно, казалось бы: чем академичнее, чем серьезнее издана книга, тем шире ее общественный резонанс, тем она популярнее, ближе «непосвященным». Но «непосвященные» год от года растут. Может статься, мы сейчас слишком уж увлеклись идеями о текучести едва ли не каждого жизненного и литературного феномена, о невозможности охарактеризовать его однозначно. Да, есть текучесть; но есть же и что-то ожидающее категорических, ответственных, завершенных определений. Отсю-

да, наверное, спрос на академизм. И «Литературные памятники» идут навстречу исканиям твердого и точного слова; в книгах их видно, как литературное произведение проходило самые различные стадии становления, но видно и то, как стремилось оно завершиться. Каждая книга «Литературных памятников» говорит о каком-то триумфе культуры, творчества, мысли; а там, где чувствуется триумф, всегда есть и популярность.

«Литературные памятники» спокойны, но они полемичны. Они спорят с предрассудком об имманентном существовании культур, живущих и погибающих в изоляции, забываемых, уходящих во тьму. Но спорят они и с чем-то гнездящимся в нас самих.

Фигура писателя, тип писателя, жанры, представляемые книгами серии, непривычны, неканоничны и порой неожиданны. Расин — писатель, Пушкин — писатель, Эдгар По тоже писатель, конечно. И все они создавали литературные памятники. Но постепенно оказывается, что Инка Гарсиласо де ла Вега, создавший научный труд, историю инков, — тоже писатель. Что студент и чиновник, завсегда тай литературных собраний и театральных премьер С. П. Жихарев — несомненный писатель. Что Ф. М. Достоевский, в своих письмах умоляющий жену о прощении, потому что он проигрался в рулетку, — такой же писатель, как и в романах и в повестях. Но тогда и чеховский Ванька Жуков писатель? Что ж, возможно. Видимо, быть писателем не профессия, а перманентное свойство ума и души человеческой. И об этом тоже напоминают «Литературные памятники».

Гамлет Шекспира сеговал на то, что распалась связь времен. Впрочем, он мужественно говорил о своем призвании восстановить эту связь.

«Литературные памятники» вершат дело отважного принца: они издаются — и связь времен крепнет, становится неразрывной.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Марк Соболев. Последняя книга Сергея Орлова.— Л. Лазарев. «А мы с тобой, брат, из пехоты...» — В. Пискунов. Достоинство критики.— М. Шнейдер. Китай: классика и современность.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Карпушин, Я. Поварнов. Обреченный мир.— Лев Гинзбург. В предрассветный час.— В. Пашуто. У истоков древнерусского права.

Литература и искусство

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Сергей Орлов. Костры. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 247 стр.

Эта книга ожидалась — и все же она трагически неожиданна. «Я знал, что Сергей Орлов работает над новой книгой... поторопливал его», — пишет в предисловии Егор Исаев, один из соратников поэта по жизни, войне и работе. Давно было найдено автором и название — «Костры». Речь о книге возникла от случая к случаю несколько лет подряд...

А сегодня с великой грустью невольно вспоминаю светловские строчки: «Так хочется последней спичкой зажечь высокие костры!» Книга вышла, когда поэта уже не стало. Даже составлял ее уже не он.

Оказывается, она писалась всю жизнь. Стихотворение «В огороде», прелестное по мальчишескому озорству, по яркости еще ничем не замутненных красок, — оно помещено 1938 годом. А последние стихи — 1977-м, годом ухода... Без нескольких дней — сорок лет!

Как во всякой книге, здесь есть поэтические взлеты и написанное «на уровне» — но ведь уровень-то по-орловски высок! Все имело абсолютное право на существование в печатном виде, однако для печати не предлагалось.

Еще не успели увянуть свежие венки на Новокунцевском кладбище, когда вернейший из верных товарищей поэта Виолетта Орлова, посвятившая ему давно и навсегда всю свою жизнь, стала разбирать листки

с полустертыми карандашными строчками. Не для того, чтоб куда-то это нести — просто для себя и для нас, его друзей. И вдруг что ни день — десяток неизвестных, реже хотя бы в отрывках прочитанных кому-то из нас стихотворений. Через некоторое время решили сосчитать — сколько же их? Даю слово, мы были поражены. Оказалось — более трехсот!

Произошло некое чудо. И, как всякое чудо, до сих пор, по крайней мере для меня лично, — загадка. Книга, куда вошла примерно половина найденного, является зримым и убедительным доказательством реальности события.

Почему он ее не издал при жизни? У этого дважды горевшего в танке офицера Великой Отечественной, широко известного и любимого поэта, одного из руководителей Союза писателей РСФСР, очень заметной чертой характера была, как ни странно, застенчивость. Умея твердо отстаивать свои позиции в самых рискованных спорах, он как-то по-ребячьему терялся, когда нужно было сдавать стихи редакции или издательству. К тому же, как всякому подлинному поэту, ему казалось, что можно еще что-то улучшить, сказать короче и точнее. Отдать стихи в чужие руки порой бывает поистине страшно. На дворе лютый мороз, а твой ребенок вроде бы еще недостаточно надежно одет: может, как-нибудь отыщется по-теплее шарфик?

Нам остаются только догадки. Точно уверены лишь в одном: тут не выбраковка, а что-то иное, недаром книга уже виделась Орлову в обозримом будущем. Тысячу раз прав Валерий Брюсов, сказавший однажды: «Значение писателя определяется количеством его произведений, оставшихся в рукописи. Посредственности... успевают все напечатать».

Прежде чем говорить о самих стихах, хочу рассказать забавный на первый взгляд эпизод из давних послевоенных лет.

В памятном ровесникам пивном баре номер четыре на площади Пушкина (у нас он именовался «бар имени товарища Четвертого») мы — Орлов, Михаил Львов, Максимов, я и еще кто-то — читали за столиком по кругу стихи. Сергей прочитал одно из лучших своих стихотворений того времени — «Жеребенок». Вдруг за соседним столом, где гомонили подвыпившие инвалиды, на нас яростно обрушился какой-то дядя.

— Вы чего тут руками махаете? — заорал он на весь бар. — Думаете, это стихи?! Поэты копеечные! Вот я вам сейчас прочту стихи!!! Слушайте! «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»

Наш сосед прокричал стихотворение до конца. Я чуть не сморозил глупость: уже готов был показать на Сергея — вот, мол, автор. Сергей, побелев, приложил палец к губам: молчи!

Позже, по дороге домой, он грустно сказал:

— Сколько нам всем еще надо сделать, чтоб вновь пробиться к читателю!..

Он совершил этот нелегкий поэтический подвиг, войдя в людские сердца, может быть, не столь пронзительно, зато основательно и надолго. Знаменитые стихи — реквием погибшему солдату — бессмертны в памяти и истории, как само время, создавшее их. Но неправда, что они стоят выше всего остального, как бы наособицу; я недавно вычитал, будто «ни одно другое стихотворение Сергея Орлова нельзя поставить рядом с этим». По-моему, как раз наоборот: все, написанное Орловым, стоит именно рядом — равняясь на правифлангового. Посмертная книга еще раз это подтверждает.

Мы перелистываем страницы жизни поколения, шагнувшего из детства в крошечную пламя войны, поколения битого, раненого, атакующего, победившего. Одолевшего труднейший перевал возвращения —

мои ровесники знают, как все было не просто; молодые почувствуют это по стихам Орлова. «Я вырвался из тьмы огня и вновь приполз к друзьям» — слово «приполз» здесь не однозначно.

Инвалид войны, лицо и руки в шрамах ожогов, ему бы искать местечка подождохней да поуютней. А он —

Живу как получается,
Один и налегке,
Весь дом мой помещается
В походном рюкзаке.

Хожу, где не положено,
Испытываю жизнь,
И пусть мне вслед прохожие
Кричат: — Чудак, вернись!

И впрямь чудак — 1945 год, полстраны в руинах, а он: «Мы еще на дальние планеты корабли Союза поведем — слесари, танкисты и поэты, мы на желтую Луну взойдем...» Еще вчера человек был «на самой страшной грани жестокого, но славного конца». И под его ногами «медленно вращается Земля, не совсем обжитая планета...». Кому ее обживать как не нам? Но легкое ли это дело? Нет! Не знаю, включил бы в книгу сам Сергей Орлов те стихотворения, где прорывается усталость, горечь, порой растрянность. Думаю, вряд ли: ведь не станешь печатать собственный дневник, где конечно же сказались минуты отчаяния — разве у вас их не бывает? — скорбь о краткости земного бытия... Орлов просто постеснялся бы выйти на люди в рубаше нараспашку, безоружным — как-никак боевой офицер. И — парадокс! — книга получилась бы менее человеческой, менее близкой, что ли.

Позже поэт скажет, что колья станут трудно, он найдет «ту рощу забинтованных березок», где горел в танке: «Да, я приду, и я опять смогу...» Фронтная молодость — вот точка опоры: пошатнешься — и обретешь силы, чтоб вновь подняться. Хватит метаний, нужна четкость! Об этом написано просто отлично:

Я словно опустевшая квартира,
Откуда за полночь ушли друзья.
В ней происходит перестройка мира,
Которую откладывать нельзя.
Передвигаю вещи и предметы,
Сор выметаю. Убираю дом.
Переклочаю свет. Поменьше света.
И больше трезвой ясности притом.

Это стихотворение 1950 года очень близко по ощущениям написанной много позже «Переформировке» Александра Межирова.

Дело не в том, кто первый сказал «э», — оба поэта независимо друг от друга остро почувствовали «болевые точки» духовной жизни своего поколения.

Я уделил так много места первой трети книги потому, что именно здесь становится понятней, как сформировался поздний Сергей Орлов, автор множества прекрасных стихов и добрых книг.

Не хочется повторять известного по ранее опубликованному. В «Кострах», идя от страницы к странице, видишь, как он становится мастером и — одновременно — как уходят из строчек внешние признаки мастерovitости. Зато резко вырастает емкость строки.

Все острее «в хрустальный полдень покоя, тревожа самим собой, входит мир, беспокоя неясной еще судьбой». Тот мир, который — наша планета, и тот, «могло какого очень запросто не быть, за него сторел под Псковом полк, меня учивший жить». Мне давно памятно со слуха стихи о том, как однажды ночью Орлов шел «с Макаенком по Пекину». Ровным счетом ничего не произошло, шли себе и шли, «пусто в городе Пекине, все давно в Пекине спят...». Да и ритм взят у старой шуточной песенки о двух китайских мандаринах, я слышал ее еще в детстве. Но через каждые две строфы Орлов повторяет как рефрен:

Два китайские солдата
Повстречались нам впотьмах,
Два знакомых автомата
Дулом книзу на ремнях.

Написанное шесть лет назад, это стихотворение звучит сегодня резко злободневно.

Затаенная в строчках тревога со временем становится все слышней и слышней...

Поэт мечтал о том времени, когда «победу Девятого мая отпразднуют люди без слез»; «Поднимут старинные марши армейские трубы страны, и выедет к армии маршал, не видевший этой войны». Орлов сделал все, чтоб это время пришло, — в горящем танке, за письменным столом, просто фактом своего короткого пребывания на Земле, потому что человеком он был чистым и беспокойным, а другом на редкость надежным и верным.

На лежащей передо мной книге дарственная надпись Виолетты: «Как в былые времена от Сергея...» Мне хотелось бы сказать о нем более связно и точно, чем получилось на этих страницах.

А закончить необходимо словами Сергея Орлова:

Говорят, что мы — поколение
И что этим мы и славны,
Поколение — повелением
Высочайшим самой войны.
Ох как трудно стать поколением!
Если мы бы не стали им,
Все б закончилось поражением
И падением мировым.
Что ж, выходит, что поколением
Называют нас не зазря.
Поколение не год рождения,
Поколение — год Октября.
Поколение — фронты гражданские,
Поколение — гребни плотин,
А не просто по свету странствие
От крестин и до именин.
И живем мы, ничем не хвастая,
В этом нашей заслуги нет.
Только есть ощущение ясное
Не напрасно прожитых лет.

Марк СОБОЛЬ.



«А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ...»

Вячеслав Кондратьев. Сашка. Повесть. «Дружба народов», 1979, № 2.

Газетная заметка: опять где-то обнаружена невзорвавшаяся авиабомба в четверть тонны весом. Прочитаешь и невольно ловишь себя на мысли: ну, эта, кажется, последняя, теперь, пожалуй, уже все... Но проходит несколько месяцев, и снова промелькнет в газетах: строители копали траншею для фундамента и наткнулись на остатки склада боеприпасов; выбирали рыбаки трал и обнаружили там торпеду. Сколько лет минуло после войны, сколько раз за это время саперы проходили здесь с

миноискателями, сколько раз тралили фарватеры и прибрежные воды, а выгresti все под чистую никак не удается. Война прокатилась по такой огромной территории, так много было изготовлено смертоносного металла, не мудрено, что ее наследство — несработавшие снаряды, мины, бомбы — до сих пор таит многострадальная наша земля...

Как похоже все это на то, что происходило с литературой о Великой Отечественной войне... Толки о том, что тема войны исчерпана или вот-вот должна себя исчерпать,

возникали не раз начиная чуть ли не с первого послевоенного года. Но проходило какое-то время, и вдруг появлялся роман или повесть, опрокидывающие прогнозы критиков насчет того, что «сам ход жизни оттесняет эту тему на периферию литературы», и рассеивающие скептицизм читателей («Что можно еще сказать тут нового!»). Война открывалась нам с неизвестной стороны, и мы опять убеждались, что рассказано было об этих незабываемых событиях народной жизни еще далеко не все, что источник, уже не одно десятилетие питающий нашу литературу, не иссякает.

Правда, нельзя не заметить, что в последнее время подобного рода книги, становящиеся вехами литературного процесса, большей частью принадлежали перу писателей, хорошо нам знакомых, давно получивших признание,— это Константин Симонов и Василий Быков, Юрий Бондарев и Даниил Гранин, Владимир Богомолов и Григорий Бакланов, Виталий Семин и Алесь Адамович, Константин Воробьев и Виктор Астафьев... И все реже и реже в когорте писателей военного поколения появлялись новые имена, а некоторые обратившие на себя внимание книги о войне написаны уже людьми, которые сохранили о том суровом времени лишь детские воспоминания,— назову для примера Валентина Распутина и Ивана Чигринова. И это закономерно: самым молодым участникам войны нынче пошел шестой десяток, о пережитом на фронте кто хотел и мог уже написали повести или романы, в этом возрасте вроде бы поздно начинать занятия литературой, разве что засесть за мемуары...

Несколько лет назад Василий Быков, говоря о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал следующее, как мне представляется, принципиального характера соображение:

«...я, немного повоевавший в пехоте и испытывавший часть ее каждодневных мук, как мне кажется, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее дракопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались ли когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920—1925 годов рождения? Это — пехота... Я не

знаю ни одного солдата или младшего офицера-пехотинца, который мог бы сказать ныне, что он прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было невысказано. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота. Время показывает, что уже вряд ли придет оттуда в нашу литературу ее гениальный апостол, зато нам, живущим и, может, еще что-то могущим, надо искать там».

Я вспомнил об этих с таким волнением и печалью сказанных словах Василя Быкова, прочитав в февральской книжке журнала «Дружба народов» повесть «Сашка» — первое произведение Вячеслава Кондратьева. Вспомнил потому, что опубликованная только что повесть возникла именно на том направлении нашей литературы о войне, которое представляется Быкову особо важным и где было до этого не так уж много серьезных удач. Автор появившейся повести — из пехоты (о его фронтовой судьбе рассказывает в предисловии Константин Симонов, но это ясно и без того из самой повести — так написать можно только о пережитом), и посвящена она рядовому пехотинцу...

Не будем говорить о гениях — с этой меркой к текущему литературному процессу не подступишься, оставим ее для классиков, для «небожителей», лишь там она уместна. Впрочем, думаю, что Василий Быков имел в виду и иное — то, что поближе к нашим вполне земным делам и масштабам в литературе: рассчитывать на пополнение писателям военного поколения уже не приходится, все сроки вышли — вот что он хотел сказать...

И литературный дебют Вячеслава Кондратьева (я не сомневаюсь, что небольшая его повесть не затеряется в широком литературном потоке) — явление совершенно уже неожиданное, прецедентов не было, я, во всяком случае, припомнить не могу. В столь зрелом возрасте (хочу это повторить) если и берутся за перо, то с единственной целью — написать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода «мемуарность» (ставлю здесь кавычки, чтобы указать, что это понятие употребляется в более широком, чем обычно, смысле) — существенная особенность почти всей прозы писателей военного поколения. Эта проза не

всегда строго автобиографична, но она навсёз пропитана авторскими воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их, писателей военного поколения, буквально выталакивала в литературу сила пережитого, и повести о фронтовой юности, которые они написали, особенно их первые повести, были одновременно и лейтенантскими мемуарами. Теми мемуарами, которые впрямую никто никогда не отваживается писать. Вячеслав Кондратьев в этом смысле исключения не составляет — вот разве что уж очень много времени прошло после войны. Каков же должен был быть заряд пережитого, чтобы сработать и через три с лишним десятилетия!

Как и всех писателей военного поколения, Вячеслава Кондратьева привело в литературу страстное, ничем не утоляемое желание (появившиеся яркие и правдивые книги о фронтовых годах, видимо, только разжигали его) рассказать о «своей» войне. Но что значит «своя» война? В предисловии к повести «Сашка» Константин Симонов пишет: «Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской». Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степень; легкой войны вообще не было, и одному богу известно, где она была самой трудной — подо Ржевом или в Сталинграде, под Керчью или на Невской Дубровке? Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств — и объективных и субъективных, которые правдиво отражены в повести «Сашка» (К. Симонов в предисловии подтверждает это выписками из воспоминаний известных наших военачальников), — было невыносимо, невыносимо тяжко, об этом спору нет...

И когда я говорю, что Вячеслава Кондратьева привело в литературу желание во что бы то ни стало рассказать о «своей» войне, я имею это в виду не только место (непротоптанную ржевскую топь — непроезжие дороги, воду в землянках и окопах) и время (выдохшееся наступление, напоминающее то, о котором в давнем, военных лет стихотворении Константин Симонов писал: «Есть в неудачном наступленье несчастный час, когда оно уже остановилось, но войска приведены в движение. Еще не отменен приказ, и он с жестоким постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас»). Литература наша не обошла этот не просто дающийся художнику материал — эпизоды ржевской эпопеи

воссозданы в повести Елены Ржевской «Февраль — кривые дороги», в романе Сергея Крутилина «Окружение». «Своя» война Вячеслава Кондратьева — это прежде всего неведомый раньше угол авторского зрения: все происходящее мы видим глазами человека, находившегося на передке, действительно «в самой трудной должности — солдатской».

В. Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный — начальник», для которого КП батальона, находящийся в каких-нибудь двух километрах — рукой подать, — был уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом и парой гранат (против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация), а все-таки именно он и его товарищи решающая сила, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или захватили они, пехотинцы, — вот им и достается.

А в боях подо Ржевом приходилось им хлебать горячего до слез. На что уж Сашка не избалован: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам («...был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал»), но и ему невмоготу — все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И тяжело не только то, что он уже которую неделю ходит на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает — из ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их «битой-перебитой» роте. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два... Но не вечно же? А война впереди долгая». Но что бы ни было, что бы ни ждало его, он готов выполнить свой долг...

Нет, устал так Сашка не от одной лишь смертельной опасности — не меньше от того, что все время на фронте впроголодь, что во всем нехватка (не только в харчах и куреве, но и в боеприпасах), что на переднем крае и в армейском тылу порядка маловато и все их усилия и жертвы по-настоящему не окупаются. От этого на душе у Сашки камень, а чтобы давил поменьше, старается он убедить себя, что «по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили». Но все эти невеселые

обстоятельства боев подо Ржевом (я не помню еще о скудной жизни в разоренных войной прифронтовых деревнях, которую наблюдает добирающийся до госпиталя Сашка и которая тоже описана В. Кондратьевым без какой-либо ретуши) в повести важны и интересны не сами по себе — перед нами художественное произведение, не документальный очерк, — а тем, как в них проявляется характер главного героя, обнаруживая скрытое, не дающее о себе знать в обычное время, в ординарных условиях.

Этот характер — главная удача автора, самое существенное достоинство его повести. В жизни каждый из нас, наверное, не раз сталкивался с людьми, чем-то напоминающими кондратьевского Сашку, и если мы не сумели по-настоящему понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством, — не зря Александр Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, «до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна».

Не так часто даже талантливому художнику случается открыть новый характер. В. Кондратьеву это удалось, его Сашка — открытие. И пусть нас не обманывает внешняя простота и ясность этого характера — он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, раньше литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная «родня» (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводит нас в заблуждение: перед нами явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. В. Кондратьев открывает нам характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения, — добавлю для точности: лучшие черты (этим, кстати, объясняется и та близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки и его ротного, бывшего студента, у Сашки и лейтенанта Володи, выросшего в интеллигентной семье).

Сложилась устойчивая традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, «внутряного» нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Сашка у В. Кондратьева человек не только с обостренным нравственным чувством, но и твердыми убеждениями, глубинную суть которых он выражает просто: «Люди же мы, не фашисты...»

И прежде всего он человек размышляющий, пронизательно судящий и о происходящем вблизи него и об общем положении дел. «На все, что тут (на фронте.—Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки...» Раздраженный упрямством Сашки, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, его неуступчивостью, ординарец комбата ему «врезает»: «Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячьё... Приказали — исполнил! А ты...» А он так поступать — «наше дело телячьё» — не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в «Василии Теркине», «в ответе за Россию, за народ и за все на свете», не раз обнаружится в повествовании. Характерная деталь: увидев на этикетке пшеничного концентрата, что изготовлен он всего месяц назад, сделает Сашка вывод, что не одни нерадивые тыловые начальники да распутица виноваты в их невзгодах, — видно, на пределе сил вся страна ведет эту страшную войну. И трезво понимая все это — и превосходство врага, у которого мощная и хорошо отлаженная военная машина, и то, что мы еще учимся воевать, дорого оплачивая эту науку, — не преуменьшая наших бед и недостатков, Сашка, однако, непоколебимо верит в победу, не сомневается, что на нашей стороне правда и справедливость.

Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства — все это соединилось, сплывилось в цельный характер Сашки. Тонкий и проникновенный психологический анализ, свойственный В. Кондратьеву, вскрывает, что и первое движение души у героя, и привычные мысли, и обдуманные поступки всегда направлены в одну сторону: сначала о других, потом о себе. Заметив, что у ротного никудышные валенки, Сашка решает добыть для него целые — снять с убитого немца, лежащего на нейтральной полосе. Затея опасная, он это отлично понимает: «Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались...» Ранило Сашку; ему бы сразу в тыл, в медсанбат, но он возвращается к себе в роту (дважды пересекая откры-

тое, хорошо пристрелянное немцами пространство, где проще простого получить еще одну, уже роковую, пулю): хочет оставить свой ППШ, у них негусто с автоматами, и попрощаться со всеми — неловко ему, он хоть и раненый, но живым отсюда выбирается, а кто знает, что их ждет... «Психанул» Володя в госпитале, запустив тарелкой в майора, по-хамски разговаривавшего с ними, — Сашка вину на себя принял, рассудив, что лейтенанту эта выходка так просто с рук не сойдет, а его, рядового, быть может, и не накажут строго... И таков герой повести всюду и во всем — в большом и малом, во взаимоотношениях со случайными спутниками и девушкой, в которую влюблен, на передовой в минуты смертельной опасности и в деревне, где остались одни бабы.

Говоря о значении Пушкина, Достоевский обращал внимание на то, что он «первый из писателей русских» создал «целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском», и они не выдумка, не плод фантазии писателя, «главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осознательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные». Надеюсь, что я не ставлю В. Кондратьева и себя в неловкое положение, воспользовавшись этой формулой Достоевского (речь идет, конечно, не о масштабе — такого рода сближения невозможны, — а о направленности дарования), — я хочу подчеркнуть, что автор «Сашки» не выдумал в соответствии с идеальными представлениями и литературными канонами, а нашел в народе, сражавшемся в Великую Отечественную войну, со временны́й положительно прекрасный тип и правдиво изобразил его.

Для своей повести В. Кондратьев выбрал одну из разновидностей сказовой формы. Этот выбор оправдан и точно отвечает поставленной автором перед собой художественной задаче. В только что вышедшем исследовании (Е. Муценко, В. Скобелев, Л. Кройчик, «Поэтика сказа») справедливо отмечается, что эта форма повествования выражает «стремление литературы к реализации принципа народности», она служит «выявлению народного характера», предоставляя «народной массе возможность заговорить от своего имени». Именно в этом

качестве сказовая форма используется в повести В. Кондратьева, помогая ему раскрыть изнутри характер главного героя, ход его мысли и строй речи (кстати, само обращение к ней свидетельствует, что автор «Сашки» опирается не только на завоевания литературы военного поколения, но и на опыт современной деревенской прозы). Однако сказовая форма скрывает в себе опасности: иногда она словно бы подчиняет автора, ведет за собой, превращается в самоцель. Не всюду избежал этой опасности и В. Кондратьев. Бросается в глаза, что прямая речь Сашки проще, ближе к литературной норме, чем так называемая несобственно-прямая речь, в которой сливается голос героя и повествователя. Все эти «побоязничали», «прогляд», «поукрытистей», «незабывный», «моклая», «замертветь» и т. д. и т. п., невозможные в устах Сашки, создают, как ни странно, ощущение не простонародности, а вычурности, изыска, манерности.

И еще одно. К концу вещи драматическое напряжение не нарастает, а ослабевает. Не потому ли это происходит, что мысль автора (вспомним, что во второй половине повести рассказывается о скитаниях Сашки по прифронтовым деревням): военная беда обрушилась не на одну армию, идет всенародная война, — эта мысль до конца выявляется прежде, чем завершается сюжет?

Если в повести «Сашка» есть еще какие-нибудь недостатки, а я их не заметил, то по одной причине. Автор этих строк тоже из пехоты, и мне пришлось в годы войны вместе с Сашкой, Володей, Жорой — пусть их звали по-другому и дело было не подо Ржевом — и есть из одного котелка часто не очень густую кашу, и прижиматься под огнем к раскисшей земле, и хоронить товарищей, и мыкаться по госпиталям. Повесть Вячеслава Кондратьева не только заставила меня вспомнить их — она открыла многое, чего я тогда по молодости лет и по недостатку жизненного опыта не сумел разглядеть в людях, с которыми вместе воевал. А скорее всего дело тут не в молодости и не в недостатке опыта — просто талантливому художнику дано и то, что мы хорошо знаем, сами пережили, раскрыть как неведомое...

Л. ЛАЗАРЕВ.



ДОСТОИНСТВО КРИТИКИ

Феликс Кузнецов. Живой источник. М. «Московский рабочий». 1977. 336 стр.
Феликс Кузнецов. Самая кровная связь. Судьбы деревни в современной прозе. М. «Просвещение». 1977. 222 стр.

Феликс Кузнецов. За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики. Издание второе, дополненное. М. «Советский писатель». 1978. 616 стр.

Общезвестно, что критика переживает сейчас полосу подъема, реально становится одним из наиболее авторитетных и читаемых родов литературы. Именно читаемых, а не просто почитаемых, что, как известно, далеко не одно и то же. Широкий читатель облюбовал сегодня критиков, с мнением которых готов считаться, суждениям доверять, к оценкам прислушиваться. Их новые книги не застаиваются на полках магазинов, статьи в свежих номерах журналов вызывают живой интерес и рождают споры. Сегодня в критику охотно идут и молодые творческие силы, что служит верным признанием престижности профессии. Рискнем утверждать, что по степени влияния, силе воздействия, по удельному весу в общелитературном деле критика готова, пожалуй что, поспорить сегодня с прозой, поэзией, драматургией, посостязаться с ними в воздействии на умы и нравственное сознание читателей.

Феликс Кузнецов из числа авторов, приложивших немало усилий к тому, чтобы вернуть критике достоинство важнейшего занятия и серьезного дела. Без малого четверть века различим его голос в литературе, ощутимы усилия повысить кпд нашей общей работы, поднять уровень исследовательской мысли, способствовать совершенствованию метода и стиля «движущейся эстетики». Особенно активен автор в последнее время: из-под его пера выходят все новые статьи и книги, редкая литературная дискуссия обходится без его участия.

Три недавние работы Ф. Кузнецова, о которых пойдет речь в настоящей рецензии, несут названия «Живой источник», «Самая кровная связь» и «За все в ответе». Вместе с предыдущей — «Пережличка эпох» — они составляют своего рода критическую тетралогию, лучше сказать — летопись современной литературы в четырех частях.

Действительно, эти вышедшие друг за другом тома охватывают едва ли не всю литературу наших дней, содержат полный перечень — от «а» до «я» — наиболее приметных явлений современной художественной жизни страны. Деревенская проза, публицистика десятой пятилетки, литература о

«деловом человеке», историко-революционные повести и романы, дебюты молодых, новинки критики и литературоведения, документальный жанр, «современный городской роман» — такова тематика одного только сборника статей «Живой источник». Еще более обширен круг явлений литературы, рассмотренный в фундаментальной монографии «За все в ответе», где целые главы отведены судьбам деревни в прозе, изображению войны, показу жизни рабочего класса, теме партии в повестях и романах 60—70-х годов...

Слова «За все в ответе», вынесенные в заглавие монографии, не просто формула должного, но практическая нравственная позиция автора, определение собственной причастности к происходящему в литературе. Знакомясь с книгами Ф. Кузнецова подряд, убеждаешься в завидном темпераменте автора, который не пропустит случая «взять на карандаш» новую писательскую работу, откликнуться на вспыхнувший литературный спор, опережая других, высказаться по поводу свежей журнальной публикации. Критику до всего дело, он остро внимателен к фактам и явлениям литературного процесса, которые рассматриваются им не изолированно, но сопоставляются между собой, сводятся в систему, осмысляются в общем контексте литературы и жизни.

Понятия «литература» и «жизнь» стали рядом, одно подле другого не ради красного словца, но потому, что они так стоят у Ф. Кузнецова, плотно пригнанные одно к другому, взаимно облучающие друг друга. «Образ жизни, литература, идеологическая борьба» — заглавие одной из статей, входящих в сборник «Живой источник», весьма характерно и показательно, оно очерчивает контуры триады, с которой постоянно имеет дело автор, утверждая диалектическую взаимосвязь литературы и жизни.

О работах Ф. Кузнецова высказались уже, они достаточно подробно разобраны и проанализированы в целом ряде рецензий. Особенно широкий отклик получила монография «За все в ответе», удостоенная Государственной премии РСФСР. Поэтому, чтобы не повторять других, мы не станем

идти от книги к книге, детально характеризуя их состав и проблематику, но постараемся выделить по возможности опорные пункты всей тетралогии в целом, определить главные идеи, на которых сосредоточено пристальное внимание автора.

Как отмечалось выше, пафос работ Ф. Кузнецова — осмысление искусства слова на путях действительности, что дает право зачислить его в ряды «реальной критики» (воспользуемся незаслуженно забытым определением В. Белинского, которое прилагалось к авторам, решительно отказывавшимся смотреть на искусство «только в сфере самого искусства, без отношения к жизни», ставившим во главу угла жизненное содержание литературы, видящим в слове самое что ни на есть важнейшее практическое дело). Отсюда — из постоянного внимания к тому, как относится искусство к действительности, по каким законам взаимодействуют образ и реальность, — активный интерес к проблемам социологии, философии, психологии, частые отступления (бывает, весьма обширные) сугубо обществоведческого либо социологического свойства. Собственно, никакие даже не отступления, а органические страницы литературоведческого текста, которые выводят литературу из общественного бытия.

Критик не может не быть сегодня философом, социологом, обществоведом или, во всяком случае, не иметь отчетливого представления о проблематике и уровне этих наук, не знать направления их поисков. Условие первостепенной важности сформулировано еще Белинским, который называл критику «философским сознанием эпохи». Но при всем том у литературной критики — органической части человековедения — свой угол зрения на общественную жизнь, собственная сверхзадача. Она отчетливо осознается Ф. Кузнецовым. Куда бы ни устремлялось его перо, им движет «одна, но пламенная страсть»: поставить на общественное обсуждение вопрос о роли духовных и нравственных ценностей современной жизни, четко определить их природу и сущность. «Нравственные искания в современной прозе» — сказано в подзаголовке книги «За все в ответе». «Активность жизненной позиции» — названа обширная «позиционная» статья критика, опубликованная в декабрьском номере журнала «Литературное обозрение» за прошлый год. С нажимом повторяются близкие по смыслу и звучанию формулы и в других работах.

XXV съезд КПСС подчеркнул возрастающую роль нравственных начал в современной жизни и, само собой разумеется, в литературе, служащей, по крылатым словам поэта, «нравственному обеспечению коммунизма». Действительно, понятия «духовность», «нравственность», «мораль», «совесть» (которые, случалось, сопровождались в словарях определением «устаревшее») теперь в числе наиболее «частотных». Трудно отыскать современное художественное произведение, теоретический трактат, критическую статью, в которых они не варьировались бы, многожды не повторялись. В этом сказывается общественная потребность времени, своеобразие «идеологического рельефа» эпохи, что одним из первых почувствовал и осознал Ф. Кузнецов.

Монография «За все в ответе» открывается разговором о духовных ценностях современности, их истоках, почве и судьбе, это определяет дальнейшее движение мысли, задает тон всему повествованию. Автор сейчас, годы спустя, вспоминает, как в тишине зрительного зала прозвучал в свое время острый, резкий вопрос интеллигентного русского батюшки отца Серафима, который был задан в фильме «Все остается людям» обреченному на смерть академику Дронову: «Америку догонять собираетесь?.. Не сомневайтесь, перегоните! Плоть людскую ублажите!.. А с духом как же?.. Как сделаете, чтобы сын не предавал отца, а ученик не предавал учителя? Чтобы животный страх смерти не превращал человека в труса поганого? Чтобы святое было за душой? Без бога как сделаете?» Не без оснований Ф. Кузнецов замечает, что это ведь не авторов фильма вопрос. Это центральный, мучительный вопрос Федора Михайловича Достоевского, заданный им своему и — объективно — нашему времени.

Введение к монографии содержит большой фактический материал, свидетельствующий о том, сколь разные (и противоположные) ответы предлагаются сегодня на этот вопрос, какая яростная, непрекращающаяся борьба ведется вокруг «идеи человека» в современном мире. Введение служит своеобразной увертюрой всей тетралогии, которая есть не что иное, как попытка сформулировать собственный ответ на этот действительно центральный вопрос времени о путях и судьбах гуманизма. «Как человек человеком быть...», «Анатомия бездуховности», «Гуманистическая правда револю-

ции», «Человек „естественный“ и „общественный“» — в названиях глав монографии закодированы существеннейшие грани единой проблемы гуманизма. На обширном плацдарме современной литературы автор обдумывает вопросы о смысле жизни, нравственном выборе, природе человеческого счастья, то есть занимается тем, что составляет самую душу «реальной критики». Но не менее очевидное достоинство книг Ф. Кузнецова заключается и в том, что все эти сложные вопросы бытия получают точный социальный адрес, осмысливаются в контексте действительных противоречий развития.

«Диалектика жизни такова,— пишет автор,— что чем полнее и эффективнее будет решаться в нашем обществе вопрос о хлебе насущном... тем острее будет вставать перед людьми весь непростой комплекс вопросов, связанных с хлебом духовным. Наша литература и критика чутко откликаются на эту общественную потребность».

Общность задач, стоящих перед литературой и критикой, весьма существенная часть эстетической программы Ф. Кузнецова, который настойчиво подчеркивает свое понимание критики как части общелитературного дела, говорит о ее серьезной роли в осмыслении новых процессов жизни, в верной ориентации художников слова и расширении идейно-тематического кругозора литературы. Отсюда принципиальный интерес к теории критики и методологическим основам ее работы. Дело, конечно, не только в том, что, определяя сверхзадачу монографии «За все в ответе», автор упоминает о литературе и критике «почти что рядом»: «Нравственные искания в современной прозе и методология критики». И не в том, что в сборник «Живой источник» на равных со статьями по современной литературе включены работы по истории отечественной критики, составляющие второй — и, пожалуй, сильнейший — его раздел. Все это, в конце концов, могло бы быть и чистой случайностью либо простым словесным орнаментом, не будь обеспечено сознательной позицией автора. Действительно, литература, критика, история культуры — относительно самостоятельные сферы духовной жизни общества — служат под его пером обоснованию единой мысли о социологической природе художественного творчества. Пишет ли Ф. Кузнецов о противостоянии революционной демократии и либерализма, о мировоззрении Н. Черны-

шевского или М. Салтыкова-Щедрина, о круге «Современника» или «Русского слова», то есть берет на себя роль историка общественной мысли, или анализирует самонаивнейшие повести и романы, выступая, таким образом, как критик «чистейшей воды», он поглощен общей задачей строительства методологии литературно-критического мышления, проявляет постоянную озабоченность содержанием понятий и точностью критериев нашей литературоведческой науки. Это тем более необходимо, подчеркивает Ф. Кузнецов и подкрепляет свою мысль немалым числом примеров, что в иных современных работах нравственные категории утрачивают конкретно-историческое содержание, как бы растворяются в умозрительных абстракциях.

Нельзя строить литературно-критическое мышление современности, обходя вниманием культурные ценности прошлого, оставаясь равнодушными к опыту истории, творчеству предшественников. Ф. Кузнецов прав, подчеркивая, сколь более историчной становится наша литературоведческая мысль, как ныне растет и совершенствуется ее память, как крепнет уверенность, что фундамент нашей культуры закладывался веками, творческими усилиями очень разных мастеров — от Пушкина до Тютчева, от Некрасова до Фета. Сектанство прямо противопоставлено строительству подлинной социалистической культуры, которая призвана наследовать все важное и ценное из сокровищницы мирового гуманистического опыта.

Очень своевременно и напоминание о необходимости критического отношения к наследию, классового к нему подхода. Нашими прямыми учителями в области литературной критики Ф. Кузнецов называет революционных демократов, на которых часто ссылается, уроками которых широко пользуется. Цикл статей о них, входящий в сборник «Живой источник», получил программное название «Связь времен». По мере чтения этих статей, вводящих в круг творческих исканий и духовных драм Белинского, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Писарева, их учеников и последователей, начинаешь все отчетливее осознавать близость революционно-демократической мысли нашим дням, прямую преемственность идей, первостепенную важность их опыта для современности.

«Нам надо учиться доказательно вести спор по самым сложным мировоззренче-

ским вопросам эпохи» — слова во многом программные для автора, обеспеченные наиболее удачными разделами его собственных книг, теми, где речь идет о гуманизме и народности литературы, духовных ценностях современности. Причем достоинство этих разделов обусловлено внимательностью к реальной противоречивости общественного бытия и литературного процесса. Не раз и не два читатель встретит ссылки на сложность, диалектичность, противоречивость фактов и явлений художественного творчества. Они, эти ссылки, не остаются простыми декларациями, но подкрепляются логикой исследовательской мысли, обосновываются анализом произведений. Я бы вообще подчеркнул внимание Ф. Кузнецова к произведениям многомерным, будь то романы В. Астафьева или Ч. Айтматова, повести В. Распутина, Ю. Трифонова, В. Белова или драмы И. Дворецкого, А. Гельмана. Особо сказал бы и о его стремлении показать многосложность, разносторонность сегодняшней образной картины мира, в которой находится место не для одних только «основных типов эпохи», но и для великого числа других персонажей, будь то «чудики» В. Шукшина, деревенские мудрецы С. Залыгина, иронисты В. Катаева, «рефлектеры» М. Слущикса, юноши В. Семина, которые резонно определяются Ф. Кузнецовым как свидетельство все углубляющегося понимания искусством человека, как следствие пронизательного и уважительного проникновения литературы в глубинные, нравственные устои личности.

Истины ради следует, правда, заметить, что в сборнике «Живой источник», составленном из работ последних лет, встречаются и страницы беглые, перечислительные, написанные второпях. Изменяя собственному методу, автор сводит произведения на уровень простых примеров, иллюстраций мысли, порой злоупотребляет списками, «обоймами» книг, которые, как это давно и хорошо известно, никого ни в чем не способны убедить. Если подобные ходы еще допустимы в устных речах, докладах, выступлениях, то специфика печатного слова требует большей доказательности, аргументированности, обстоятельности.

Монография «За все в ответе» с ее неторопливым ритмом повествования и обстоятельной системой доказательств — в известной мере произведение итоговое, своего рода свод раздумий автора о литературном процессе последнего десятилетия. Куда бо-

лее конспективный сборник «Живой источник» весь нацелен на процессы, только определяющиеся в литературе наших дней. Это скорее заявка будущих исследований, чем результат длительных наблюдений и сопоставлений. Но так или иначе, обе книги стремятся панорамировать литературный процесс в целом, охватить и свести воедино различные стороны художественной жизни страны. В противоположность им книга «Самая кровная связь» посвящена рассмотрению лишь одного сектора литературы, правда важнейшего, в ней «крупным планом» показаны произведения, объединяемые обычно не очень точным термином «деревенская проза». Ходом рассуждения и анализа автор обнажает всю узость и ограниченность подобного термина, не оставляет сомнений, что в произведениях А. Яшина и В. Шукшина, В. Астафьева и В. Белова, В. Распутина, Е. Носова и других, посвятивших свое творчество исследованию путей и судеб русской деревни, поставлены важнейшие вопросы века, заключены значительнейшие мировоззренческие и художественные проблемы. И первейшая среди них — философия народной жизни. «К нравственному самосознанию народа, — утверждает критик, — нельзя подходить однолинейно, упрощенно, метафизически. Это мир сложный, противоречивый, а главное — непрестанно развивающийся вместе с изменением условий социального существования народа». Книга «Самая кровная связь» как раз и построена с таким расчетом, чтобы показать читателю, как по мере изменения условий существования народа развивается и меняется мир его нравственных представлений, что чутко уловлено и запечатлено современной литературой, которая отличается высокой степенью сопричастности судьбам родного народа, традиционным чувствам долга перед ним.

Одной из важнейших черт мироощущения зрелого социалистического общества Ф. Кузнецов считает восстановление историзма в подходе к ценностям народной морали. В то же время сама художественная логика лучших произведений современности, их образный строй опровергают примитивные, одномерные попытки свести целиком содержание этих книг к проповеди патриархальности, урезать и обкорнать их, ограничить окомоем сентиментально-романтического взгляда на крестьянскую жизнь. «Начало спора» — называет идущую следом за вводной, «установочной» главой своей кни-

ги Ф. Кузнецов. И далее — от главы к главе — спор этот ширится, разрастается, включает в себя все большее число книг, авторов, явлений действительности и литературы, подводя к весомому выводу, что диалектика художественной мысли стремится утвердить «ценности народного характера в неразрывной связи с традициями трудовой народной жизни и завоеваниями революции и социализма». Вывод приобретает тем большую основательность, что Ф. Кузнецов размыкает ставший привычным круг произведений о деревне, с полным основанием включая в него историко-революционные романы Г. Маркова и С. Залыгина, остросоциальные произведения С. Крутилина, В. Фоменко, В. Липатова,

очерковые книги авторов овечкинской школы.

В заключении монографии «Самая кровная связь» приведено писаревское: «Надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества». Они, эти слова, нисколько не устарели. Действительно, надо думать, чтобы учиться понимать жизнь и обретать собственное в ней место. Главное достоинство книг Ф. Кузнецова в том как раз и состоит, что они стремятся служить этой цели, приобщая также и читателей к раздумьям о действительности и литературе.

В. ПИСКУНОВ.



КИТАЙ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н. Т. Федоренко. Древние памятники китайской литературы. М. «Наука». 1978. 320 стр.

Советскому народу, науке нашей страны неизменно свойственно глубокое и искреннее уважение к китайскому народу, к его многовековой истории, культуре и литературе. Свидетельство тому — систематическое издание в Советском Союзе письменных памятников китайской культуры, классического литературного наследия, многочисленных научных исследований в данной области. К их числу относится и рецензируемая монография одного из ведущих советских китаеведов, члена-корреспондента АН СССР Н. Т. Федоренко, явившаяся результатом многолетних и весьма успешных разысканий в области истории китайской литературы и культуры от седой древности до наших дней. Вместе с тем это дань большой любви и уважения ученого к предмету своего исследования — китайской классической литературе. Он прослеживает ее генезис еще в XVIII—XIII веках до н. э. Однако основное внимание в книге уделено трем важнейшим письменным памятникам: «Шицзину» — «Книге истории», или «Книге исторических преданий», наиболее ранние части которой восходят к XII веку до н. э., а более поздние к VI—V векам до н. э. и где собраны «записи» речей исторических лиц, клятв, увещеваний и описания различных церемоний; «Шицзину» — «Книге песен», поэтическому своду из 300 песен и од, составление которого приписывается традицией Конфуцию (551—479 гг. до н. э.);

«Ицзину» — «Книге перемен», литературному памятнику, сложившемуся на основе материалов гадательного происхождения, магии, волшебства и созданному безымянными авторами, видимо, в период VIII—VII веков до н. э.

Автор исследования дает свою, вполне мотивированную, датировку создания каждого из этих памятников и убедительно показывает, «что эти и другие дошедшие до нас от древних времен памятники китайской письменности... представляют собой не более как скромные остатки огромной литературы, которая существовала, но погибла, быть может, навсегда. Однако сохранившееся позволяет судить и о величии этой литературы, и о необыкновенном многообразии, яркости и самобытности жизни, которую она отображала». И действительно, древние литературные памятники, которые рассматриваются в книге Н. Т. Федоренко не изолированно, не обособленно, а в их взаимосвязях и обусловленности жизнью, поистине являются хранителями духовных ценностей минувших веков, биографией китайского народа, дающей потомкам представление об условиях общественной и частной жизни, нравах, обычаях, умонастроениях, сражениях и подвигах людей давно ушедших эпох. Более того, в них, как справедливо замечает исследователь, «диалектическое движение мысли, развитие мировосприятия, познание общественно-истори-

ческих условий, порождавших на разных этапах сознания веру в силы добра, разума, гуманности, свободомыслия, справедливости».

Значительное место в рецензируемой монографии отводится также анализу идейно-эстетических особенностей каждого памятника, рассмотрению средств художественной выразительности, которыми мастерски владели безымянные авторы. Естественно, что в большей степени сказанное относится к «Шицзину» — «Книге песен», первому письменному памятнику китайской поэзии, неповторимому образцу самобытного художественного творчества народа, живой истории неувядаемого поэтического искусства. Напомнив о поистине удивительной роли, которую на протяжении веков играла в Китае поэзия, исследователь подчеркивает, что именно в пору фольклорных песен «Шицзина» начали складываться традиции древнекитайской поэзии, ее своеобразие, то есть все то, что впоследствии породило таких гениев, как Цюй Юань, Тао Юаньмин, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, Су Ши, и что составило весомый вклад китайской поэзии в сокровищницу поэзии мировой.

Написанная со строго научных, марксистско-ленинских позиций, работа Н. Т. Федоренко обладает еще одним бесспорным достоинством — в ней раскрывается важная роль классического культурного наследия в современной идеологической борьбе. Аргументированной, убедительной критике подвергнуты в книге антимарксистские, нигилистические взгляды маоистов на наследие, показан невосполнимый ущерб, нанесенный их позорной практикой китайской культуре. Козни маоистов против национального и зарубежного классического наследия прослеживаются начиная с яньаньских выступлений Мао Цзэдуна по вопросам литературы и искусства в 1942 году, первых лет существования КНР, периода пресловутой «культурной революции» с ее кострами из книг, гонениями на творческую интеллигенцию (в полном соответствии с крылатым выражением времен кумира Мао — жесточайшего в истории Китая императора-тирана III века до н. э. Цинь Шихуана: «Книги — в огонь, ученых — в яму») и далее — вплоть до шумных кампаний 70-х годов, когда под огнем критики оказались древний мудрец Конфуций и якобы связан- ный с ним идейно современный политиче-

ский деятель Линь Бяо, а также классический китайский роман XIV века «Речные заводи».

Весьма точным и важным является также и следующее наблюдение Н. Т. Федоренко: «При всем нигилизме и нескрываемой враждебности к культурному наследию маоизм не брезгует, однако, использовать его в своих политических целях, прибегая к грубому утилитаризму и вульгаризаторству». Подтверждений тому несть числа. Широко известны, например, политические спекуляции Мао Цзэдуна на протяжении всей его деятельности вокруг изречений древних китайских мыслителей и литераторов. Каждый раз он по-разному, весьма произвольно и крайне прагматически истолковывал их, ловко используя в борьбе со своими идейными противниками. В 1975 году для развенчания давным-давно повергнутых Лю Шаоци и Линь Бяо, а в 1976 году для борьбы с Дэн Сяопином был использован уже упоминавшийся старинный роман «Речные заводи». Главный его герой Сун Цзян, вожак крестьянского восстания, был объявлен китайской пропагандой капитулянтгом и ревизионистом, духовным предшественником современных врагов Мао. Так, ради большей «наглядности» маоисты попытались использовать в своей фракционной борьбе за власть героя очень популярного и любимого китайским народом литературного произведения.

Характерно, что и теперь, при наследниках Мао, когда китайскому народу вновь стало доступно кое-что специально отобранное из национального и зарубежного культурного наследия, оно всячески извращается и комментируется в вульгаризаторском духе. Исследование Н. Т. Федоренко убедительно показывает, что обращение к историческим событиям и личностям, к древним памятникам письменности, к образам героев литературных произведений необходимо маоизму вовсе не для объективной оценки истории своего и других народов, не для осмысления прошлого в поучение настоящему, но исключительно для осуществления своих антинародных, антигуманных акций, для оправдания своих территориальных притязаний к соседним государствам, для воплощения в жизнь своих экспансионистских целей.

М. ШНЕЙДЕР,
доктор филологических наук.

Политика и наука

ОБРЕЧЕННЫЙ МИР

Ю р и й Ж у к о в. Общество без будущего. Заметки публициста. М. Политиздат. 1978. 319 стр.

Новая книга крупнейшего советского публициста Героя Социалистического Труда Юрия Жукова посвящена, по словам автора, показу конкретного проявления «глубокого и поистине неизлечимого духовного кризиса, охватившего нынче безнадежно больной мир капитализма...». Многолетний труд по сбору и анализу обширного литературного материала, свидетельств зарубежной печати, личные наблюдения, встречи, мастерство партийного журналиста привели к созданию произведения большого общественного звучания.

Политически острая, злободневная книга впечатляюще рисует панораму современного капитализма, охваченного общим кризисом, усиливающейся моральной деградацией буржуазного общества. На фоне неуклонного роста экономики, культуры, благосостояния в странах социализма, бурного расцвета их духовной жизни особенно ясно видно, насколько нравственно опустошенным, по точному выражению В. И. Ленина,гниющим заживо в наши дни является капитализм.

Характеризуя современный капитализм, Леонид Ильич Брежнев назвал его обществом без идеалов, обществом без будущего. Сбылись слова В. И. Ленина, сказанные почти шестьдесят лет назад: «Капитализм гибнет; в своей гибели он еще может причинить десяткам и сотням миллионов людей невероятные мучения, но удержать его от падения не может никакая сила». Великий Октябрь — главное событие XX века — открыл историческую эпоху перехода человечества от капитализма к социализму. Процесс этот непреложен, неотвратим, к каким бы зловещим козням ни прибегали его враги, империалистическая реакция.

В главе «Нищие духом» Юрий Жуков неопровержимо показывает провал самоуверенных и хвастливых пророчеств адвокатов капитала. Все их выкладки о «новом дыхании» капитализма, наступлении «безоблачного» третьего тысячелетия оказались несбыточным мифом. Идеологи буржуазии немало шумели о «неэффективности коллективизма», «неустойчивости социализма», о его «временном характере»... Жизнь опрокинула их прогнозы: бесславно канули в

Лету сочинители «общества всеобщего благоденствия», всякого рода «конвергенций», «стадий развития» и прочих наукообразных концепций. И если кое-где в виде рецидива раздаются голоса, повторяющие сказки прошлого, то они тонут в потоке горьких и вовсе не бодрящих настроений.

Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Дж. Рестон, известный своими далеко не прогрессивными взглядами, недавно вынужден был писать о «мрачных мыслях», которые одолевают лидеров США. «Дьявольские проблемы» экономической и социальной жизни тревожат сильных мира Запада. Подобные настроения ныне созвучны переживаниям многих других буржуазных политических деятелей. В книге приводятся высказывания академика Жана д'Ормессона, относившиеся к дням, когда он был главным редактором газеты «Фигаро». «...времена улыбок и грациозных жестов миновали», — писал он в канун 1977 года. А в конце года уже в качестве лишь обозревателя этой газеты академик предался иллюзиям «страхнуть с себя ветхое былое и оставить позади все то, что прилипло к нашей шкуре: угрозу инфляции, безработицу, страх перед будущим, раздоры между французами». Он сохранил еще некоторый запас здравого смысла, понимая, что «все наши ошибки, все наши недочеты, все наши слабости, все наши безумия остаются при нас». Однако его призывы перестать «ненавидеть и бояться», «сопротивляться смятению... проявлять терпение» остались гласом вопиющего в пустыне.

В чем же причины столь оголенных откровений? Суть в том, отмечает автор книги, что капитализм навсегда утратил командные позиции на земном шаре. Его вселенская вотчина неумолимо сокращается из года в год, из десятилетия в десятилетие. Это вынуждены признать и правверные буржуазные политики. Американский журналист Дж. Олсоп следующими словами выразил свою позицию: «Мы имеем возможность пользоваться как нам заблагорассудится всей землей и всеми ресурсами на 75 процентов территории континента... Этот счастливый период закончился в последних месяцах 1957 года, когда Советский Союз

запустил свой первый спутник в космос... Теперь мы должны сами о себе заботиться». Трезвое признание, хотя последние слова невольно выдают тоску привыкшего всюду хозяйничать колонизатора.

О необходимости преодолеть отчужденность между экономическим прогрессом и достижением социальных целей, о мрачных прогнозах будущего капитализма и других «проклятых вопросах» ныне часто говорят многие деятели буржуазного Запада. Но никто из них не мог и не может предложить выход из тупика. Весьма красноречиво мнение по этому поводу профессора Франсуа Дюшена из Британского университета в Сассексе. Подводя итоги встречи известной «трехсторонней комиссии» в Киото, профессор иронически заявил, что на комиссии «было высказано полное согласие о необходимости улучшить мир и полное разногласие насчет того, как это сделать». Позже, в 1977 году, эта же комиссия собралась в Бонне. Здесь с речью выступил Збигнев Бжезинский. И хотя помощник президента США пытался представить дела капитализма в розовом свете, он не без тревоги говорил о происшедших в мире переменах, все более затрудняющих Соединенным Штатам защищать интересы капитализма на планете. Знаменательно и то, что Бжезинский выдвинул как первоочередную задачу «преодоление кризиса духа», «кризиса исторической веры в собственные силы».

Старый мир капитализма сдает одну позицию за другой. На смену ему идет исполненный сил новый мир — социализма. «Есть от чего встревожиться «мозговым центрам» капитализма! Есть над чем поразмыслить!» — восклицает автор. Вместе с тем он отмечает, что было бы наивно думать, что капитализм «вдруг капитулирует и сдастся без боя». Нет, эксплуататорские классы пытаются всеми силами удержать свое господство, наступая на права, свободу и независимость народов. Но спасти мир капитала им не дано. Он обречен. Этот мир породил самые отвратительные пороки, отравляя души людей, калеча их судьбы.

История капитализма — нескончаемая летопись его жесточайших преступлений, нравственного упадка, духовного вырождения. Картины алчности, равнодушия, представленные в книге, сочетаются с показом трагических судеб детей, подростков, молодежи, разбушевавшихся эпидемий насилия, наркомании.

Американский журнал «Юнайтед Стейтс Ньюс энд уорлд рипорт» пишет, что дети в США живут в «моральном и эмоциональном вакууме». Как говорит статистика, не менее миллиона американских подростков ежегодно убегает из дома. Самоубийство — вторая по количеству жертв причина смерти молодых американцев в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. Один из каждых девяти подростков к восемнадцати годам попадает в суд для несовершеннолетних. Примерно 10 процентов всех детей школьного возраста страдает от различных душевных и эмоциональных расстройств.

Капитализм гнетет, нещадно топчет чувства, устремления, моральные силы людей. В этом обществе прогрессирует ужасная болезнь, образно названная автором «гангренной совести». Еще в начале века в памфлетах о «Городе Желтого Дьявола» А. М. Горький писал об одном из американских «жрецов морали», в представлении которого «жизнь есть процесс выжимания золота из мяса и крови человека». Бесчеловечная, жестокая, удушающая мораль разрослась в США и других странах капитала угрожающей злокачественной опухолью. Идеология вседозволенности, культ американской исключительности, милитаристский угар и жажда наживы не могут не привести к деградации, потери облика человеческого.

На страницах книги встает нашумевшее в свое время дело о начиненных наркотиками трупах. Как известно, трупы погибших во Вьетнаме американских солдат на самолетах отправлялись для захоронения на родину. И вот, оказывается, на протяжении восьми лет солдатские трупы служили тайниками для вывоза героина в США. Его покупали в Таиланде по 1700 долларов за килограмм, а продавали в США по 20 тысяч долларов за килограмм. Афера фантастическая и чудовищная! Мораль, совесть, духовные ценности выброшены за борт: главная цель — сделать деньги, а средствами можно и не брезгать.

Читатель ознакомится со множеством свидетельств о профессиональных убийцах, наемниках, уголовниках, готовых за «презренный металл» совершить любое, самое страшное преступление. Перед нами проходят черные дела агента ЦРУ Холдена Робертса и его банды, пытавшихся свергнуть законное правительство Анголы, наймита все того же ЦРУ калифорнийца Дэвида Бафкина, вербовавшего в США пушечное

мясо для мобутовского Заира и смитовской Родезии. Майор Вильямсон из США, сержант Герман Хейнлих Хукке из ФРГ, французский капрал Жан Дебль — все эти и подобные им «спасители свободного мира» избрали прибыльным своим ремеслом человекоубийство. «Для наемников человеческая кровь что вода, и они не задумываясь, а иногда с садистским удовольствием лили и льют ее повсюду, куда их посылают...»

Собранные в книге факты говорят о возрастающей преступности, с городах, объятых страхом, из которых бегут миллионы американцев. «Когда поток автомобилей прекращается, вашингтонские тротуары пустеют, так как в столице державы, претендующей на установление порядка во всем мире, по вечерам они опасны, подобно змеиному гнезду...— пишет репортер западногерманского журнала «Штерн» Рольф Винтер.— Кинотеатры вечером пусты, ибо в округе небезопасно, как небезопасно во всем городе... Каждую ночь происходит примерно 60 ограблений, более 100 краж со взломом, но почти половина ограбленных и обкраденных не сообщают об этом полиции, просто не имеет смысла делать это, ибо полиция уже давно бессильна...» На руках у жителей Вашингтона 100 тысяч единиц огнестрельного оружия, не считая стилетов, кастетов, кистеней и дубинок. Огнестрельное оружие есть даже у тринадцатилетних детей. Они нападают на прохожих умело, абсолютно спокойно, как учит телевидение, «полные решимости, с детским коварством, убийственным хладнокровием...».

Преступность — кошмарный бич капиталистического мира. Тот же журналист Рольф Винтер сообщает, что с начала столетия от руки преступников погибло 800 тысяч американцев — на 250 тысяч больше, чем потеряла страна во всех войнах, в которых она участвовала со времени Гражданской войны. Юношеские банды действуют во всех крупнейших городах, численность их быстро растет. Только в шести городах — Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Детройте и Сан-Франциско — насчитывается 2700 банд, в составе которых 81 500 человек. Культ кровавого насилия, процветающего в Америке, принимает самые уродливые формы. Одна из них, подробно изложенная в книге,— зверские злодейства банды Мэнсона, называвшего себя именем Иисуса-сатаны...

Среди других проявлений морального падения и опустошения, охвативших современный мир капитализма, следует назвать и расплодившихся там в огромном числе гадалок, прорицателей, колдунов, знахарей, шарлатанов-проповедников, «слуг дьявола», основателей новых религий и сект. «Чертовщина» — так автор назвал главу, вобравшую в себя материал о всей этой камарилье отравителей умов и душ. Мы узнаем подробности о евангелистском проповеднике Билле Грэхеме, вещающем о близком светопреставлении. Он приобрел популярность, его принимали президенты, миллиардеры помогли ему создать «Ассоциацию Билли Грэхема» с огромным капиталом. Его ежемесячный журнал «Решение» издается четырехмиллионным тиражом. Радиотелевизионная передача «Час решения» транслируется 975 передатчиками по всему миру. Психоз? Нет, целенаправленная система обмана, оболванивания людей. Читатели узнают о фактах взрыва мистики, увлечения астрологией и прочими суевериями в капиталистическом мире, о секте Ага-Хана (Четвертого), «Миссии божественного света», «Иисусе из Сеула», модных колдуньях и поклонниках черной магии. Все они призваны сбить людей с толку, «облекая свой воинственный антикоммунизм в безобидное облачение псевдорелигиозных движений».

Завершая книгу, автор раскрывает суть ленинской политики мира и мирного сосуществования, разрядки международной напряженности, основополагающие принципы международных отношений, закрепленные в Конституции СССР. Он подчеркивает, что «мир не манна небесная. Мир завоевывается в упорной борьбе». Советский Союз уверенно идет дорогой мира. Мы выступаем за то, говорил Л. И. Брежнев в докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества», чтобы «не на поле боя, не на конвейерах вооружений решался спор социализма и капитализма, а в сфере мирного труда. Мы хотим, чтобы через границы, разделяющие эти два мира, проходили не трассы ракет с ядерными зарядами, а протянулись нити широкого и многообразного сотрудничества на благо всего человечества. Последовательно проводя эту политику, мы выполняем один из самых главных лозунгов Октября, заветов Ленина: мир — народам!».

Таков наш курс. Он отвечает чаяниям миллионов людей на всех континентах. Но в мире капитала, объятom глубоким общим

кризисом, в мире духовной и нравственной нищеты, лишенном будущего, есть еще силы, выступающие против мира, разоружения, против сотрудничества, создающие угрозу безопасности народов. Мы знаем и верим: эти силы потерпят крах. Социализм, высоко несущий факел мира и счастья лю-

дей, неодолим. Ему принадлежит и настоящее и будущее.

В. КАРПУШИН,
доктор философских наук.

Я. ПОВАРКОВ,
кандидат философских наук.



В ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС

Григорий Вайс. Утром после войны... Очерки. М. «Советский писатель». 1977. 304 стр.

В знаменитой «Песне стройки» Бертольта Брехта, которую поет Эрнст Буш, есть образ зябкого предрассветного часа, когда новый день едва только брезжит. Дословно там сказано так: «...приближение утра всегда сумрачно». В предрассветном сумраке движутся смутные тени, едва различимые фигуры, как в театре в самом начале действия или картины. Постепенно свет нарастает, фигуры становятся видимыми.

Книга Григория Вайса вводит нас в Германию в так называемый час ноль на изломе эпох, на рубеже дня и ночи, войны и мира. Для фронтового советского офицера Г. Вайса, который начал войну младшим лейтенантом, все четыре года провел в окопах на переднем крае и с боями пришел в Берлин, утро после войны — это утро победы. Но что значило это же утро для миллионов немцев, ютившихся среди невообразимых развалин, как следовало отнестись к этому утру тем, кто, пробираясь между руин, толкал тележку со скарбом? Что значило оно для выползших из подвалов и бомбоубежищ, оглушенных бомбежками, ослепших от слез вдов и матерей, для горемычных инвалидов, для изможденных детей или для тех, кто в колоннах военнопленных отправлялся в неведомый, горестный путь?..

Книга Г. Вайса сильна тем, что она правдива. Не только в запоминающихся деталях, бытовых сценах, точно подмеченных черточках времени. В ней достоверно передано душевное состояние людей — победителей и побежденных. Конечно, интерес представляют описания того, как советская комендатура налаживала обеспечение бывшей имперской столицы хлебом, топливом, как ожили первые парикмахерские. Но в книге важнее другое: в ней сказано, каким образом и отчего побежденные осознали

себя освобожденными, как и кому удалось раскрыть им, выражаясь словами Иоганнеса Бехера, «священный смысл поражения».

Советские воины (в известном смысле символическим является в книге образ первого коменданта Берлина генерала Н. Берзарина, который описан автором с исключительной теплотой, с влюбленностью), наши солдаты и офицеры, пришедшие на территорию рухнувшей нацистской Германии, прежде всего не дали немцам унизиться. Привыкшие к слепому повиновению, многие, наверно, были бы не прочь высказать победителям приторную «лояльность» и «преданность». Но в подобной «преданности» те, о которых пишет в своей книге Г. Вайс, не нуждались. Опираясь на немецкий антифашистский актив, на ветеранов немецкого рабочего движения, на честных людей из самых различных слоев общества, они пробуждали в широких массах немецкого населения совесть, разум, чувство собственного достоинства, способность трезво оценивать события. Они взывали к сердцу и рассудку людей, потерявших, казалось бы, всякую надежду на будущее.

В поверженном Берлине маршал Г. К. Жуков сказал: «Берлин мы взяли штурмом, но за души немцев нам еще придется повозвовать...»

Борьба началась с освобождения людей от гнетущего страха, внушенного им подлой геббельсовской пропагандой, с вовлечения в живую, созидательную деятельность в местных органах самоуправления. Путь к человеческим сердцам шел через доверие, через понимание чужой жизни, чужой беды. Классовое чутье точно подсказывало, кто притаившийся враг, кто приспособленец, кто завтрашний товарищ, более того — брат. На вздыбленных берлинских улицах, среди фантастических развалин и щепя

шло сотворение мира — не случайно первая глава книги Г. Вайса носит знаменательное название «И была ночь, и было утро — первый день...».

Об этом первом дне, самом, быть может, важном в немецкой истории, с благодарностью вспоминают миллионы граждан Германской Демократической Республики, где 8 мая всенародно празднуется как День освобождения. Тогда, в тот все удаляющийся от нас «день первый», высокую проверку выдержала не только сила советского оружия, но и сила великодушия, гуманности, сознательности и дисциплины.

Нет, это вовсе не идиллическая картинка, а характерный для тех дней уличный эпизод: советский солдат угощает хлебом с маслом и колбасой голодных берлинских детишек. Хлеб этот не подачка, здесь, как в притче, сознаешь, что значит «преломить хлеб», и в солдате этом не «милость победителя», а неутоленное чувство отцовства теплятся, и не чужие ему эти дети, и в ответе он за их судьбу, за их будущее...

В Берлине Г. Вайс работал в редакции газеты «Теглихе рундшау». Ее издавали для немцев русские. Это была поначалу первая и единственная газета в послевоенной Германии. К сожалению, у нас еще мало написано о поистине исторической роли, которую сыграла эта газета в становлении новой, демократической немецкой культуры, более того, не только культуры — новой жизни. В этом смысле воспоминания Г. Вайса представляют особую ценность. Впервые за двадцать лет люди, отравленные ядом «Штюмера» или «Фелькишер беобахтер», оглуленные передовицами Геббельса, речами Гитлера, виршами Шираха, мерзостью нацистской лексики, читали в газете нормальные человеческие слова, встречались с запрещенной, перечеркнутой, сожженной на кострах великой немецкой и мировой литературой. Кто мог знать или слышать об Эрихе Мюзае, Стефане Цвейге, Курте Тухольском, Вальтере Газенклевере, Карле Осецком?.. Газета напечатала статьи и воспоминания о них под рубрикой «Их убил фашизм».

В воскресенье, 28 мая 1945 года в магистратуре района Вильмерсдорф состоялась встреча работников редакции с представителями немецкой столичной интеллигенции. Редактор газеты, пишет Г. Вайс, «сформулировал три основных принципа культурной политики в советской зоне: беспощадная борьба с нацистской идеологией, с идеа-

ми фашизма, расизма и милитаризма; привлечение прогрессивной немецкой интеллигенции к активной борьбе за духовное возрождение нации, за расцвет ее культуры, литературы и искусства; приобщение немцев к сокровищам мировой и советской культуры, от которой они были изолированы все долгие годы фашизма. В таком духе говорили и другие работники редакции. Слушали выступавших внимательно, — пишет далее автор, — удивляясь, что мы беседуем с немцами без переводчиков и так хорошо ориентируемся в истории немецкой культуры».

Может быть, в ту пору, на территории Германии наиболее квалифицированных германистов следовало искать среди советских офицеров, выпускников московских и ленинградских вузов?.. Испытание прошло все, что мы пережили за двадцать восемь лет, в том числе и наша высшая школа, система гуманитарного образования...

Это потом стало книгами, стихами, ораториями — памятник Ленину, спасенный в Эйслебене, знамя Кривого Рога, сбереженное от нацистских палачей мансфельдским шахтером Отто Брозовским. В 1945 году об этом известила немцев «Теглихе рундшау»: люди, познавшие национальный позор, национальную катастрофу, получали основание для национальной гордости.

Многие страницы книги Г. Вайса посвящены Иоганнесу Бехеру. В нашей стране хорошо знают его имя, изучают его творчество. Но все ли в полной мере представляют себе, что совершил он для своего народа, когда многовековая немецкая культура казалась навсегда погребенной под грудой кирпичных обломков?.. Не щадя себя, он извлекал их из-под руин: слово Гёте, фуги Баха, холсты Грюневальда бережно передавал в руки народа. Он нашел для него новые слова: песни утешения, сострадания, надежды и твердой убежденности, что «счастье далее засветится вблизи».

В 1945 году Бехер создал «Культурбунд» — союз прогрессивной немецкой интеллигенции, процветающий и поныне. Автор вспоминает первое публичное выступление Бехера после его возвращения на родину в Берлине на пресс-конференции в связи с созданием «Культурбунда». Бехер сказал тогда: «...«Культурбунд» объединяет всех прогрессивных деятелей немецкой культуры, тех, кто готов отдать свои силы, талант и знания делу возрождения гуманистических традиций нашей литературы, ис-

куства, философии и науки, их славы и чести...»

В тех условиях это было задачей исключительно сложной еще и потому, что фашизм с его извращенным, доведенным до изуверства культом «Германии» невероятно опошил все немецкое — классическое наследие, национальный фольклор, вызвал к самим понятиям «родина», «родная почва», «народность» непреодолимое отвращение. Очистить эти понятия от грязи и крови, вернуть им их исконный, истинный смысл оказалось под силу только интернационалистам, только марксистам-ленинцам; страницы книги Г. Вайса, рассматривающие эту проблему, особенно поучительны...

Работая в «Теглихе рундшау», Г. Вайс имел счастливую возможность близко сотрудничать с выдающимися немецкими писателями. Он знал Ганса Фалладу, Бернгарда Келлермана, судьба свела его с престарелым Гергартом Гауптманом.

Можно не сомневаться, что главы книги, повествующие о последних днях Гауптмана, перед «самым заходом солнца», будут прочитаны с большим вниманием. Сейчас к автору «Ткачей» возник новый повсеместный интерес, его пьесы ставятся во многих странах, пристально изучается и его крайне сложная, во многом трагическая биография. Автор ни в какой мере не стремится эту биографию упростить, в его очерке Гауптман предстает фигурой достаточно противоречивой. Однако сама жизнь, стремительное развитие событий в первые послевоенные месяцы, живые ростки нового, которые успел увидеть Гауптман, привели его к сотрудничеству с теми, кто закладывал тогда фундамент новой Германии. Принимая предложение Иоганнеса Бехера стать почетным председателем «Культурбунда», Гергарт Гауптман сказал: «Я с вами... Это мой национальный долг. Вместе с моим народом я отдаю все мои последние силы делу демократического обновления Германии». Г. Вайс слышал эти слова, вместе с Бехером он приехал к Гауптману в Агнетендорф. В мандате, подписанном маршалам

Г. К. Жуковым, было написано весьма четко и ясно: «Оказать писателю Гергарту Гауптману всяческую помощь и содействие во всем, в чем он будет нуждаться». Думается, что этот красноречивый документ заинтересует исследователей творчества выдающегося немецкого драматурга.

Не менее важны для истории литературы воспоминания Г. Вайса о Гансе Фалладе, об участии этого замечательного писателя в работе газеты «Теглихе рундшау», о Фалладе — бургомистре в городе Фельдберг. Вот что говорил Ганс Фаллада сотрудникам газеты «Теглихе рундшау» за несколько дней до своей смерти: «Я хочу написать роман о русских. О советских офицерах. И не потому, что я многим обязан русским, не потому, что многие русские офицеры сделали для меня лично непостижимо много! Нет! Нет!.. Русские люди потрясли меня, ничего подобного я еще не видел... Где и когда это видано было, чтобы армия-победительница была так великодушна и добра к побежденному народу?.. Вы же приплыли к нам победителями. Освободителями всей Европы. Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смотрели смерти в лицо... Тысячам смертей! Вы должны были озвереть, сердца ваши должны были стать булыжниками. У вас было право пировать, кутить, отбирать самых красивых женщин, обогащаться, наслаждаться жизнью, которую вам подарила судьба... А что я увидел? Я увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется еще одна булочная для немцев, пока не пустят электростанцию, не откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую столовую...»

Свидетельства такого рода, а их в книге Г. Вайса немало, являются в полном смысле слова бесценными. Они позволяют лучше понять, как зарождалось утро, ощутить живительную свежесть, которая пришла на смену зябкому предрассветному часу, утро, наступившее после войны.

Лев ГИНЗБУРГ.



У ИСТОКОВ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА

Я. Н. Щапов. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М. «Наука». 1978. 291 стр.

Науки имеют свои внутренние закономерности развития. Советские ученые-медиевисты посвятили десятилетия архео-

графическому и аналитическому исследованию экономики, социально-политических отношений, добываясь фундаментальных обоб-

щений и периодизации истории России, и лишь затем, разработав ее построенную на источниках концепцию, смогли вплотную заняться проблемами идеологии, культуры в широком смысле слова. Долго не доходили руки у наших историков и до прошлого русской церкви.

Этим объясняется несомненный факт, что и в истории отечественной науки церковная тема оказалась забытой. А между тем в самодержавной России, где борьба за объединение и воссоединение древнерусской отчины велась под лозунгом православия, роль церкви, ее духовных корпораций была весьма значительна. Перед революцией на 10 университетов приходилось 4 духовных академии, поэтому влияние церковной идеологии на историческую науку было ощутимым. Церковная историография обширна и сделала немало в собирании, публикации и решении конкретных вопросов; ее оценка — назревшая задача науки. Однако из работ видных исследователей канонической и общественно-политической истории русской церкви XIX века обычно встает идеализированная фигура «бескорыстного самодержавия», свято хранящего византийское благочестие во имя защиты православной народности от «лживых папешников» и «зловредных арапьян». Не удивительно, что историю русской церкви эти авторы накрепко привязывали к истории Византии, а гражданскую историю, особенно права, культуры и быта, — к истории церкви.

Лишь с огромным трудом, опираясь на разыскания археологов, искусствоведов, лингвистов, советские историки докапываются сквозь окаменевшие наслоения многовековой церковной традиции до истинных корней культуры, до истории изменяющегося соотношения религиозной и светской идеологии и практики в ней, определяя и место, занимаемое иноземными — византийскими, скандинавскими, западными (славянскими и неславянскими), восточными (арабскими, иранскими) — элементами. Особенно горячие споры вызывает византийская тема потому, что в международной историографии идеологи антикоммунизма в стремлении создать ложную, чуждую Европе родословную нашего общества давно ищут его корни в мнимом византийском духовном засыле на Руси, в цезарепапизме, восточном деспотизме и т. п.

Новое исследование известного советского медиевиста Я. Шапова подготовлено тру-

дами и его собственными и С. Юшкова, М. Тихомирова, А. Зимины, Л. Милова и других советских ученых по истории права. Особенно много для выявления древних памятников и обширных сводов права — кормчих книг — сделано В. Бенешевичем. На склоне лет он собирался обобщить свой материал. В одном из писем в Прагу (они хранятся в архиве Института Н. П. Кондакова) он сообщал: «Надеюсь вскоре приступить к громадной работе над кормчей книгой, важнецкое дело выйдет, если удастся его закончить» (письмо Д. Расовскому от 12 февраля 1934 года). Закончить, однако, не удалось.

И вот только через сорок лет большая проблема византийского правового наследия вновь ставится на основе кормчих книг. Кормчие (т. е. номоканоны, или «путеводные» книги) — это византийские тематические сборники, объемистые фолианты, включающие до 200 и более отдельных памятников: сочинения христианских идеологов, нормативные акты церковных соборов, императоров, патриархов, а также местные права, правила, уставы, толкования, справочники... Эти сборники служили епископам и их чиновникам в управлении.

В 11 архивах 6 городов СССР и в хранилищах 19 городов и монастырей других стран Я. Шаповым выявлено 180 славянских списков кормчих книг XII—XVIII веков; теперь изучен их состав, они систематизированы, а древнейшие подготовлены к печати. Комплексное исследование наиболее представительных древнерусских, византийских и западнославянских составных элементов кормчих, таких, как Русская Правда, княжеские уставы, Закон судный людем, Прохирон, Летописец Никифора, и других, раскрыло их истинное место в древнерусском праве, а также позволило ответить на вопрос, когда и как попали на Русь древневизантийские сборники VII века, давшие название этому источнику, как они здесь на протяжении XII—XVII веков перерабатывались, сокращались, пополнялись — словом, применялись.

Наши медиевисты нередко сетуют на скудость источников, а оказывается, что «для истории древнерусского права, истории античного и византийского наследия на Руси, древнерусской общественной мысли и философии, даже для истории межславянских связей кормчие книги остаются в значительной степени книгами «за семью печатями», ценность которых как историче-

ского источника практически не определена», пишет Я. Щапов.

Все дело в том, что такой источник может открыть свои тайны только широко эрудированному историку-полиглоту, археографу, правоведа, имеющему многолетний опыт изучения разноязычных рукописей, знающему их лексический запас, историку, умеющему применять и обобщать методику источниковедения и критически оценивать международную историографию проблемы.

Я. Щапов снял печати с тех книг, что относятся к средневековой Руси. Оказалось, что в богатом мире древнерусской мысли, самобытного светского и церковного права византийские кормчие книги занимают скромное место, меняющееся по мере развития и усложнения общественно-политического строя страны. Этапы этих перемен убедительно выяснены автором. В X веке византийский сборник был переведен, переработан и применен в Болгарии, в XI веке эта Древнеславянская кормчая при Ярославе Мудром проникла на Русь. В пору феодальной раздробленности кормчая, сильно сокращенная, была приспособлена к деятельности бывших на Руси 13—15 епископов.

После татаро-монгольского разорения, когда на Руси погибло огромное число памятников письменности, киевский митрополит Кирилл при посредничестве болгарского князя, русского родом, Святослава выписал с Балкан в 1262 году Сербскую кормчую, которая в 80-х годах XIII века была значительно переработана в Древнерусскую кормчую в Киеве и северо-восточной Руси, проникла в Новгород (где соединилась с Русской Правдой) и Псков; из Киева она тогда же попала на Волынь и в Молдавию, а затем в Великое княжество Литовское. Выявление на строго текстологической, археографической основе истории распространения кормчей и изменений ее состава на протяжении трехсот лет — серьезное научное достижение, важное, конечно, прежде всего для историков-профессионалов.

Хочется обратить внимание и на значение авторских наблюдений для освещения положения Руси второй половины XIII века, когда источники наши особенно скудны. Прежде всего выявленная Я. Щаповым правотворческая деятельность митрополита Кирилла в Киеве подтверждает мнение тех ученых, которые отрицали полное запусте-

ние древней столицы. Кроме того, Кирилл — верный сподвижник выдающегося государственного деятеля, оставившего нам государственные, внутривластные и международные акты, сохранившие значение на века, Александра Невского. С его именем ученые связывали русско-сарайско-никейское сближение, направленное против политики папства и крестоносцев. Теперь это подтверждается тем, что Болгария, которую в 50-х годах XIII века посещал Кирилл, — союзница Никеи, а его связи с ней падают на время создания православного епископства в Сарая (1262).

Напрашивается вывод, что Русская кормчая, «Правила» Кирилла, как и государственные документы князя, относятся к числу актов, которыми Александр Невский и переживший его Кирилл стремились укрепить основы единства страны в Киеве, Владимиро-Суздальской земле и Новгороде ввиду последствий татаро-монгольского нашествия, в условиях напора папского католицизма, литовского язычества, ордынского варварства и мусульманства. С этим, конечно, связаны и ханские льготы русской церкви и ее идеологический нажим на общество, в котором светское и церковное права подчас объединяются в общие сборники, уславливается клерикальный дух в летописании, повести превращаются в жития... Так продолжается до возрождения Москвы и централизации России.

Итак, после труда Я. Щапова мы не только располагаем важным источником, но нам ясно истинное место византийского элемента в древнерусском праве: дополнение местных норм привнесенными, подчиненность последних специфически русским сферам церковной юрисдикции, местным особенностям взаимоотношений церкви и государства и социальному заказу князей объясняют превращение Древнерусской кормчей в своеобразную средневековую энциклопедию и значительное распространение этого памятника на Руси и даже за ее пределами.

Это же предопределило отношение к полному славянскому своеобразию русским кормчим книгам средневековых ревнителей византийского канонического права как к «худым номоканунцам», которые «годятся съжечи».

В. ПАШУТО,
член корреспондент АН СССР.

КОРОТКО О КНИГАХ



СЕРГЕЙ МАРКОВ. Летопись. М. «Молодая гвардия». 1978. 287 стр.

Эта рецензия была уже написана, когда пришла скорбная весть о кончине Сергея Николаевича Маркова — человека удивительной судьбы и разносторонних талантов. Творчество Сергея Маркова необычайно многогранно — он и прозаик, и поэт, и ученый. Но в каком бы качестве ни выступал писатель, все его произведения пронизаны любовью к родине и ее славной истории. В «Юконском вороне», «Летописи Аляски», «Вечных следах», «Идущих к вершинам», в поэтических сборниках и в последней его книге «Летопись» оживают страницы героического прошлого русского народа, образы землепроходцев и мореходов земли русской.

Такое не каждому дано: скупыми, но зачинающимися штрихами, всего лишь на одной странице, а то и на полстранице рассказать о судьбе человека, о главном в его жизни или о значительном событии, факте в истории нашей страны.

Хронологические рамки, кажется, не существуют для автора: ему одинаково хорошо известны сведения о кораблях русов в 774 году, «Чертеж всей Сибири» С. Ремезова конца XVII века или знаменитый дрейф «Георгия Седова» во главе с прославленным капитаном Героем Советского Союза К. Бадиным в конце 30-х годов нашего столетия.

Сергей Марков любит повествовать о малоизвестном, выискивать сведения о забытых деяниях путешественников и мореходов, выводить их из небытия. Мало кто слышал, например, что великий Леонардо да Винчи в 1500—1502 годах совершил большое путешествие на Восток, во время которого собирал «данные для описания пути от Гибралтара до Дона, узнавал об уровне Черного и Каспийского морей, упоминал об Азовском море. Да Винчи расспрашивал «о горе Кауказус в Скифии». Возможно, — высказывает предположение Сергей Марков, — что да Винчи слышал в Италии рассказы о России московских послов Митрофана Карачарова и Дмитрия Ралева». Вот ведь как: Леонардо и Россия!

Все знают о первом русском путешественнике в Индию Афанасии Никитине. А кто побывал там после него? Сергей Марков говорит, что в 1697 году «на землю Индии

ступил первый после Афанасия Никитина торговый представитель Русского государства — московский «гостиной сотни купчина» Семен Маленький (Малинков)» в сопровождении Сергея Аникеева, переводчика (толмача), слуги и пяти стрельцов. Они побывали в Хиве, Бухаре, Кабуле, дошли до империи Великих Моголов и были приняты в Дели «могущественным индийским императором Аурангзибом, восседавшим на своем знаменитом павлиньем троне».

Только специалистам — историкам и географам — известно о деятельности сподвижника Петра I, участника «дела» Артемия Волинского Федора Ивановича Соймонова в Сибири, где он готовил оставшуюся неосуществленной Нерчинскую экспедицию (в середине XVIII века), а затем стал сибирским губернатором, активно содействовал русским мореходам в организации их плаваний на Северном Ледовитом и Тихом, или Великом, океанах. Многие слышали о Черепановской летописи, но опять-таки только специалисты знают, что называется она так по имени автора — ученого-ямщика Ивана Черепанова. Ценны сведения и о том, что предок А. С. Пушкина Абрам Петрович Ганнибал в 1727—1731 годах находился в Сибири, где принимал участие в строительстве крепостей, в описи некоторых районов, бывал в Селенгинске, Кяхте, Нерчинске.

Сергей Марков провел много времени в архивах, где разыскал уникальные материалы о путешествиях русских людей. И автор щедро делится своими находками с читателем. Он сообщает, например, что в Казани хранится архив художника И. Симанова, участника плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный» к берегам Антарктиды; напоминает о плодотворной деятельности и научном наследстве Ф. Каржавина; извещает о том, что известный исследователь истории Сибири Г. Спасский умер в Одессе, где можно искать его а; жив...

«Любовь к Родине, восхищение подвигами ее сыновей пронизывают эту книгу Сергея Маркова от первой до последней страницы!» С этими словами предисловия академика А. Окладникова нельзя не согласиться.

А. Алексеев,
доктор исторических наук.



ВЛ. САВИЦКИЙ. Солнечный зайчик на старой стене. Л. «Советский писатель». 1978. 288 стр.

У этого сборника есть свой сюжет и своя забота, которой этот сюжет движется. То и другое сформулировано уже в первой вещи — «Из записок ровесника», открывающей книгу: «Ничто так не расхолаживает, а если договаривать до конца — так не развращает людей, как систематическое пренебрежение их возможностями, как жизнь и работа вполосилы». И чуть раньше: «Мысли, которые зреют у тебя в голове и которые идут, казалось бы, вразрез с чем-то привычным, могут оказаться невысказанными и у других». Поэтому, делает вывод автор всем дальнейшим своим повествованием, очень важно, чтобы люди умели утверждать свое «я», чтобы их возможности были реализованы, а индивидуальность осуществлялась.

Сюжет, переживаемый каждым из героев Вл. Савицкого, это действительно роман с самим собой даже в тех случаях, когда герой не ищет общих и конечных истин и не утруждает себя самоанализом, а просто живет или просто служит, как, допустим, скромный провинциальный фотограф Тихомиров (рассказ «Парашют»). Тихомиров на фронте, дабы отстоять свое честное имя труженика и солдата (он был укладчиком парашютов), впервые в жизни прыгает с парашютом, который, как полагали, не раскрылся ранее по вине укладчика. «С годами в реальность случившегося перестал верить и он сам», — заканчивает свой рассказ писатель, видя в случившемся не драматический казус, а тот редкий миг, когда концентрируются и реализуются высшие возможности человеческой души. Возможности, и до того и после рассеянные в честной повседневности, где так трудно их уловить и полюбить.

Вот так, неожиданно для самого себя, для своих родителей и для своей девушки, которым он и люб и хорош, стал поперек своего усредненного существования рядовой спортсмен, «единственный сын Ваня, обаятельный парень лет двадцати», испытавший однажды «благотворное потрясение, так редко отпускаемое смертным; он впервые в жизни соприкоснулся на мгновение с неведомыми и неподвластными ему пока силами, заточенными где-то глубоко внутри его существа».

Большой рассказ «Вдохновение» проследживает, как рожден был этот высший миг прозрения из череды малозначительных обстоятельств и робких наклонностей. Приведет ли он к тому, что Ваня Фомин действительно реализует себя как спортсмен высшего класса, остается неясным. Но герой духовно уже нашел себя, потому что сумел отдаться вдохновению, его посетившему, сумел не задавить в себе и не дать задавить другим — и больше всего своим доброжелательным близким — этот высокий порыв.

...А сюжет книги движется и как бы все усложняет рассматриваемые ситуации. Если

скромный фотограф Тихомиров пошел на смертельный риск, чтобы обрести себя в собственных глазах и глазах окружающих, то для героя рассказа «Alter ego», заурядного врача, третируемого в семье своего знатного тестя, не меньшим нравственным испытанием, чем для Тихомирова парашют, оказывается... приобретение собственной машины. Написанный как вдохновенный монолог героя, этот рассказ представляет собой беспощадный и снисходительный одновременно, ироничный и уважительный анализ своей личности, своего самосознания. Писатель здесь исследует многое: и когда стиснутый кругозор героя вдруг размыкается, и когда герой оказывается у края бездонной житейской пошлости.

О чем бы ни рассказывал Вл. Савицкий, он всегда держит в поле зрения всю жизнь героя, его предшествующее и дальнейшее, в этом масштабе рассматривает то, что вот сейчас происходит. Сюжетность определяется развитым у писателя чувством движущегося времени, которое способно проследить человека насквозь, но может проскользнуть мимо, так и оставив его не «расшифрованным» ни для него самого, ни для других.

Г. Койрацкая.



ВИКТОР ФЕДОТОВ. Миг. Книга стихов. М. «Современник». 1978. 127 стр.

Мне по душе стихи Виктора Федотова. Его внешне неброский стих дышит истинностью, болью по ушедшим товарищам, добротой. Передо мной тот счастливый случай, когда автор стихов и его стихи — братья, когда у поэта и его стихов общая судьба, когда поэтический голос не надрывается, поза поэту ни к чему, а биография не нужно высасывать из пальца: удержат бы в зрачках своего комбата, медсестру, спасшую ему жизнь, товарища, пришедшего на помощь.

Гляжу на поле ржи,
а вижу поле боя...
Здесь были рубежи
и небо голубое
пестрело от пальбы
клочками серой ваты.
Лежали, как снопы,
убитые солдаты.

Это стихи, типичные для грустноватой, скромной военной музыки Виктора Федотова. Все щемяще просто, достойно и благодарна память поэта. Слова точны и единственны.

Стихотворение «Летят треугольником журавли...» на первый взгляд непритязательная зарисовка. Но читаю — и вдруг словно резануло по сердцу: «летят треугольником журавли», как треугольнички писем солдат. И сразу внешнее спокойное, эпически ровное течение стиха словно взрывается мыслью о том, как часто эти письма летели в последний раз. Кто из воевавших с тревогой не складывал перед боем наспех эти простые треугольнички...

Есть у цветов цветение второе,
неброское, но дорогое нам,
как войны, отставшие от строя,
растерянно глядят по сторонам.

И в час, когда чуть солнышком согрета
еще шумит листвою деревьев рать,
ласкают взор цветы — частицы лета...
Как хочется их в целое собрать.

Второе цветение, позднее, но... свое, и хочется эту частицу лета собрать, как отставших воинов, в единое целое! Та же интонация, то же проявление добра, тот же взгляд, корнями уходящий в войну.

Главное в этих стихах — верность солдатскому долгу, уважение к доброй солдатской памяти, любовь к земле, возвращение на которую после стольких жарких боев в небе стоило стольких жизней.

В заключение хотелось бы процитировать строфу Федотова, прекрасную по своей точности и лаконичности:

Кто боками смог узнать
географию,
тем не надо сочинять
биографию.

Воистину так.

Григорий Поженяв.



ЛЕВ КВИТКО. Избранное. Стихи. Перевод с еврейского. Составление, подготовка текста и вступительная статья Льва Озерова. М. «Художественная литература». 1978. 397 стр.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЬВА КВИТКО. Составители Б. Квитко и М. Петровский. Оформление Е. Гавнушкина и Е. Яковлева. М. «Детская литература». 1976. 289 стр.

Когда-то Л. Толстой сказал о лирической дерзости в поэзии Фета как о свойстве великих поэтов. Оставив в стороне слово «великий» и задержавшись на другом слове — «свойство», скажем, что, взятое в толстовском контексте, оно вполне приложимо к поэзии Л. Квитко.

Сильный свет бьет из глубины поэзии Квитко, а источник света — любовь к первоосновам бытия: к воде, огню, дереву, траве, камню. Соки жизни как бы перелились из мира природы в мир поэзии Л. Квитко. Почти детская по своей ясности и незамутненности вера в светлые и добрые начала токами пронизывает поэзию Л. Квитко.

Не следует, однако, думать, что мир этот вневременной. Нет, реальные приметы нашей советской современности заняли в нем свое место. Дух этой современности, социальные ее основы сформировали новое, подлинно человеческое понимание окружающей жизни и всего сущего, бережное отношение ко всему живому, поистине творческое любопытство к обступающей тебя жизни, стремление участвовать в ее творчестве. Вчитаемся в такие строки поэта:

Что это: сказки, песня
Или чудесный сон?
Арбуз тяжеловесный
Из семечка рожден.

Запотошно подошвой
То семечко, но в срок
Пророс из влажной почвы
Зеленый стебелек.

Л. Квитко не просто сближает природу и человека, но, так же как и М. Пришвин, видит и в природе и в человеке общее начало — жизнь:

В листочках, как в пеленках,
На крошке-стебельке
Висит на шее тонкой
Арбузик весь в пушке.

Маленький герой стихотворения — ну прямо-таки как маленький принц со своей розой! — сплел арбузику «ограду, сберег от жадных коз». У Л. Квитко жизнь спешит на помощь жизни. Человек и бессловесный мир — союзники. И об их союзе говорится без лобовой назидательности.

Свободное от аллегоризма, объемное поэтическое мышление отличает и «взрослые» стихи Л. Квитко. Его пристальная наблюдательность, его точное видение сами по себе рождают второй, третий и т. д. смысловые планы. И заключенное в них значение не поймает на удочку прозаической формулы.

Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду,
Когда ведро, гремя, спускается на дно,
Где, жесткою губой вливаясь в грунт, оно
Звонит студеной ключ из мрака на свободу.

За такими строками особенно явственно видна личность поэта. Кстати, о личности... Книга «Жизнь и творчество Льва Квитко» прекрасно дополняет «Избранное». Воспоминания о классике советской поэзии для детей, вошедшие в эту книгу, принадлежат перу таких писателей, как В. Смирнова, К. Чуковский, С. Михалков, Л. Кассиль, Э. Казакевич, П. Тычина, А. Барто, Е. Благинина, Л. Пантелеев. В книгу включены воспоминания М. Петровского, автора отдельной книги о Л. Квитко, и ценные воспоминания жены поэта Б. Квитко. Думается, в книге можно было шире представить воспоминания писателей Украины, с которой связаны многие годы творчества Л. Квитко, а также соратников по перу в еврейской поэзии.

Книга «Жизнь и творчество Льва Квитко» разнообразна по материалу. Интересен раздел, озаглавленный «Л. Квитко о себе, о детях и литературе». Привлечет внимание читателей «Беседа с Павлом Тычиной об Ошере Шварцмане», основоположнике еврейской поэзии, погибшем на фронте гражданской войны. Замечательный его образ с любовью воссоздан и в стихотворном романе Л. Квитко «Годы молодые». В разделе «Л. Квитко. Из переписки» опубликованы письма П. Тычине, С. Маршаку, К. Чуковскому, Е. Благиной.

Мне тоже посчастливилось лично знать Л. Квитко. Впервые мне его открыл и с восторгом говорил о нем П. Тычина. А последнее мое воспоминание о поэте — встреча Л. Квитко с ребятами из литературного объединения Дома пионеров Красногвардейского района столицы.

Как известно, Л. Квитко писал на еврейском языке. Но творчество его принадлежит

всем народам Советского Союза. Оно общечеловечно.

Пройдут годы, одно поколение сменится другим. Поэзия, созданная для народа, будет жить.

Григорий Левин.



Д. УРНОВ, М. УРНОВ. Литература и движение времени (Из опыта английской и американской литературы XX века). М. «Художественная литература». 1978. 269 стр.

Книга Д. и М. Урновых соотносит английскую и американскую литературы XX века прежде всего с реализмом XIX века и его «предшественниками». Исследователи интересно сопоставляют Шекспира, Сервантеса, Дефо, Пушкина, Бальзака, Диккенса, Толстого с Конрадом, Г. Джеймсом, Т. С. Элиотом, Джойсом. Приходя к выводу, что классики минувших веков достигали по сравнению с этими писателями непревзойденной глубины, точности и цельности изображения.

Определяя действительный масштаб литературного явления, авторы прежде всего берут в расчет его верность правде жизни, уровень законченности художественного целого, а значит, и взаимосвязанность всех компонентов произведения. Суждения исследователей органически вырастают из живого спора и опираются на тезисы классиков, прежде всего на положения эстетической системы Л. Н. Толстого.

Догматическая классификация духовных ценностей, предлагаемая рядом западных критиков, остроумно опровергается, авторы на конкретных примерах демонстрируют ее претенциозность и несостоятельность. Это, в частности, относится к распространеному на Западе табу на обсуждение уязвимых мест модернизма. Урновы показывают, что адвокатство теоретиков не спасает практику модернизма, неспособного полноценно осмыслить движение времени, выявить закономерный ход истории.

Неприятие авторов вызывает модная в нашем веке тенденция к усложнению текста. Сверхсложность, как они устанавливают, возникает либо когда жизненный материал не обработан как следует, либо когда искусство сознательно отказывается осмысливать действительность, либо когда писатель стремится продемонстрировать виртуозное владение приемами.

В книге Урновых почти все сопоставления художников новейшего времени с корифеями мирового искусства проведены тактично, с учетом различного уровня дарований. Впрочем, авторы книги, проводя свои параллели, концентрируют внимание не на природной одаренности художников, а на творческих принципах, поддающихся сличению.

По убеждению исследователей, реализм не стареет со временем, «вечно продуктивен этот метод». С этой позиции и ведется война с теми, кто в «теории» или в художественной практике пытается обосновать ис-

черпанность метода Бальзака, Диккенса и Толстого.

Немалое место занимает в книге и прямой анализ художественного текста. С нарастающим любопытством мы следим, как обнажается структура «Дези Миллер» Г. Джеймса, или как выявляется национальная основа характеров в рассказах Ш. Андерсона, или как анализируется ритм и диапазон «минутного времени» в романе Джойса. Порой у нас возникает возражения, но это в порядке вещей: книга Урновых не только сама полемична, но и зовет к полемике.

Отметим, например, что «безвременье», отсутствие движения в «Улиссе» Джойса отнюдь не показатель слабости романиста. Авторы в конце книги как будто уже и не настаивают на первоначальных определениях, делая существенное уточнение... В самой манере повествования Джойса, пишут они, «бился бунт против иезуитской и буржуазной застойности, душившей художника». Остается добавить: ту же застойность Джойс запечатлел в самой конструкции «Улисса» — статичной, не передающей движения времени.

Но вот издержки полемического темперамента двух авторов весьма ощутимы. Например, когда писателя Ф. М. Форда называют «средней руки литературным поденщиком». Или когда настаивают на том, что «каригина разорванного сознания» в романе Фолкнера «Шум и ярость» «не создана творчески».

Авторы книги предупреждают, что они стремятся раскрыть издержки литературного развития XX века. Это второе серьезное ограничение общей темы, обозначенной в заглавии книги. Но то, что сделано с большой степенью точности и завидной энергией мысли.

И. Дубашинский.

Даугавпилс.



ФЕЛИКС РОЗИНЕР. Токката жизни. Музыковедческое повествование. М. «Молодая гвардия». 1978. 207 стр.

Писать о музыке трудно: слово вряд ли может, вряд ли должно пытаться описывать мелодию — ее рождение, развитие, тайну ее воздействия на душу слушателя. Музыку каждый воспринимает по-своему: она обращена непосредственно не только к слуху — ко всему эмоциональному миру человека. А мир этот у каждого свой.

Писать о композиторе трудно: проникнуть в его творческую мастерскую — в святая святых его замыслов, в процесс их реализации — необычайно сложно. Еще сложнее рассказать о сочинениях гениального музыканта в нерасторжимой связи с его личностью, с его характером, целеустремленным с детства и до последнего дыхания, с характером сильного человека, которому ничто человеческое не чуждо...

И, вероятно, Феликсу Розинеру было очень и очень нелегко написать свою повесть о Сергее Прокофьеве. Помимо общих сложностей, упомянутых выше, автора ре-

цензурируемой работы подстерегали, так сказать, частные трудности, связанные с неповторимой индивидуальностью композитора, с противоречивостью его пути в искусстве, с его музыкой. Она—новое слово, сказанное композитором смело, во всеуслышание, дерзостно. И если допустить (разумеется, несколько условную) аналогию с литературой, то Прокофьев — это Маяковский в музыке. Ниспровергая отжившее, они оба создавали новое, свое, поначалу непонятное, шокирующее. Пройдя предначертанный путь, пришли к великой ясности и великой любви своего народа, всего прогрессивного человечества...

Вот о каком пути взялась рассказать «Токката жизни». Не претендуя на то, чтобы решить все задачи, связанные с жизнью и творчеством великого советского композитора, книга достигла главного: когда вы ее читаете, вам хочется немедленно услышать музыку Прокофьева. И, может быть, эту книгу лучше всего читать, имея под рукой свою прокофьевскую дискотеку. Потому что буквально с первых шагов сочинительства—с появления оперы «Великан», написанной девятилетним Сережей,—его творения заинтересовывают необычайно. Вот этой горячей заинтересованности читателя в созданиях композитора, этого читательского стремления узнать и понять все, что написал Прокофьев — от его первых консерваторских опытов (в консерваторию он был принят в тринадцать лет!) до ясной, красивой и возвышенной последней, Седьмой, симфонии,—и добивается автор «Токкаты жизни».

...А почему «Токкаты»? Заглавие представляется мне чрезвычайно удачным. Эпиграфом книги служит справка музыкального словаря: «Токката — музыкальная пьеса свободной виртуозной формы, исполняемая с ударной техникой в быстром, непрерывном, четком ритме».

Да, жизнь Прокофьева с его свободно, без оглядки на авторитеты созданными сочинениями можно уподобить токкате. Его умение виртуозно разработать каждую тему, найти небывалые оркестровые краски, представить композитором, в совершенстве владеющим тонкой лирикой и высокой патетикой,

изяществом миниатюры в «Мимолетностях» и монументальностью патриотической оперы «Война и мир» (по Толстому),— все здесь уникально.

«Токката жизни» состоит из шести глав. Они соответствуют хронологии жизни и последовательности появления на свет важнейших произведений композитора. Рассказывая о формировании его личности — о его родителях, педагогах, консерваторском окружении, первых выступлениях на концертной эстраде, где Прокофьев предстал как непревзойденный пианист и интерпретатор своих сочинений,— все шесть глав выглядят теми ступенями, по которым все выше и выше подымался талант композитора. Каждая глава заканчивается своеобразным «эпилогом» — подведением итогов сделанному композитором за определенный отрезок времени. Такое построение главы кажется нам весьма целесообразным.

Отдельное замечание: увлекательно рассказывая об истории создания и судьбе лучшего балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», Ф. Розинер, к сожалению, допустил досадную неточность — желая подчеркнуть смелость автора музыки, автор книги утверждает, что никто до Прокофьева «не замахивался» на эту шекспировскую тему в балете. Между тем все дело в том, что «замахивались» неоднократно — от постановки в Мантуе в конце XVIII века до балета, сочиненного Иваном Лесоговым в XIX веке. Тем больше заслуга Прокофьева. Ибо только ему удалось создать произведение, достойное Шекспира и ему адекватное. Вот почему все прежние воплощения «Ромео и Джульетты» остались малоизвестными и лишь прокофьевский балет живет и здравствует во всем мире...

Конечно, данное замечание — частность. Но такую хорошую книгу, как «Токката жизни», хотелось бы видеть без всяких орехов. Тем более что и ее редактор Людмила Лузянина и художник Наталья Маркова с ее изысканными и содержательными графическими композициями сделали все от них зависящее, чтобы работа о Сергее Прокофьеве выглядела исключительно привлекательной. Так оно и получилось.

Анна Илущина.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. 63 стр. Цена 10 к.

В. И. Ленин. КПСС о работе с кадрами. Сборник. 703 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. И. Ленин. Памяти Герцена. 16 стр. Цена 3 к.

Воспоминание о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти тт. Т. 1. 646 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Гуро, А. Андреева. Горизонты. Повесть о Станиславе Косноре. 407 стр. Цена 1 р. 50 к.

Марксизм-ленинизм и современная эпоха. Сборник выступлений. 95 стр. Цена 15 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бэл. Клетка.—Полигон. Романы. Перевод с латышского. 254 стр. Цена 1 р.

П. Вегин. Над крышами. Стихи. 152 стр. Цена 45 к.

И. Вишневская. Комедия на орбите. Очерк творчества А. Макаенка. 238 стр. Цена 75 к.

Н. Студенинин. Без страха и упрека. Повесть. 423 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ш. Рашидов. Могучая волна. Роман. Перевод с узбекского. 319 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Ференчук. Стойкий туман. Роман. 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Андреев. Рассказы и повести. 288 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Абашидзе. Избранное. Стихотворения. Перевод с грузинского. 343 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Асеев. Избранное. Стихотворения и поэмы. 430 стр. Цена 2 р. 30 к.

Ю. Гончаров. Последняя жатва. Повесть. 111 стр. Цена 70 к.

А. Твардовский. Василий Теркин. Сувенирное издание. 285 стр. Цена 4 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Лиханов. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. 510 стр. Цена 1 р. 10 к. Т. 2. 445 стр. Цена 1 р.

В. Маканин. Ключарев и Алимусшкин. Роман и рассказы. 286 стр. Цена 1 р. 20 к.

Александр Ренемчук. Нежный возраст. Роман. 400 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Сухомлинский. Рождение гражданина. 335 стр. Цена 80 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Демьянов. Скороговорка. Считалки. Скороговорки. Загадки. Дразнилки. 44 стр. Цена 35 к.

Ю. Крелин. Письмо сыну. Повесть и рассказы. 254 стр. Цена 60 к.

В. Лифшиц. Видел сам. Стихи. 22 стр. Цена 30 к.

Л. Пантелеев. О маленьких и больших. Рассказы. — Литературные портреты. — Публицистика. 316 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Семенов. К зиме, минувшая осень. Повесть. 175 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Р. Ахматова. Откровение. Стихи. Перевод с чеченского. Предисловие И. Озеровой. 335 стр. Цена 1 р.

М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Издание 4-е. 318 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Козырин. Дело было в Заозерье. («Писатель и время. Письма с заводов истроек») 86 стр. Цена 10 к.

Е. Максимов. Зори на Гжати. («Писатель и время. Письма из деревни») 84 стр. Цена 10 к.

Б. Можжевель. Уважение к земле. Очерки и киноповесть. Предисловие В. Степанова. 256 стр. Цена 55 к.

В. Песков. Лесные глаза. Рассказы о природе. («По земле Российской») 255 стр. Цена 45 к.

И. Соколов-Мининтов. Медовое сено. Рассказы. Составитель В. Смирнов. Предисловие М. Дудина. («Земля родная») 333 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Фесенко. «Пророк» оставляет следы. Повесть. 190 стр. Цена 55 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 30/V 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 17/VII 1979 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8} мм. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 00984. Тираж 271.000 экз. Заказ 1918.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 02864

Цена 70 коп.

70636